

An impressionistic painting of a street scene. The style uses thick, visible brushstrokes and a vibrant color palette. On the left, a multi-story building with a gabled roof is rendered in warm, golden-yellow and brown tones. In the center, a large, leafy tree is painted with rich green and yellow-green hues. The street is filled with cars, including a prominent blue car in the foreground and a white car further down. A person is walking on the sidewalk in the lower right. The sky is a mix of blue and white, suggesting a bright, slightly overcast day. The overall composition is dynamic and captures a moment of everyday life.

ПЕРЕ-УЛЛОК

(в окрестностях
квартиры №2)

Ольга
Вельчинская

П Е Р Е У Л О К

(в о к р е с т н о с т я х к в а р т и р ы № 2)

Ольга Вельчинская

П Е Р Е У Л О К

(в окрестностях квартиры № 2)

Москва • Викмо-М • Русский путь •

2018

УДК 947
ББК 84 (2 Рос) 6
В-286

ISBN 978-5-98454-043-8 (Викмо-М)
ISBN 978-5-85887-501-7 (Русский путь)

Издано при финансовой поддержке
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА РОССИИ (2012–2018 ГОДЫ)»

Дизайн Е.Л. Вельчинского

*В оформлении книги использованы
рисунки А.С. Айзенмана
и материалы из семейного архива автора*

© О.А. Вельчинская, 2018
© Е.Л. Вельчинский, дизайн, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Викмо-М», 2018

Содержание

| | |
|--|-----|
| Наш переулоч | 7 |
| Чужие письма | 23 |
| Серебряная свадьба Бухгеймов под сенью ласковой лиственницы Chiostro St. Marco <i>(люди, письма, эпизоды)</i> | 45 |
| Дневник моей тетушки <i>(1941–1943 — эвакуация)</i> | 101 |
| Похвала групповым фото | 121 |
| Мурка, Машенька и медведь | 147 |
| Бибабо и квивпрокво <i>(про игрушки и не только)</i> | 161 |
| Вокруг елки | 177 |
| Был город-сад... | 193 |
| Первый день в школе, московские подвалы, женские рукоделия и прочая житейская белиберда | 201 |
| Хинди-руси бхай-бхай | 213 |
| Около самовара <i>(дачная пастораль в сиреневом колорите)</i> | 225 |
| Комета Беннета | 233 |
| Байки нераскаявшейся барахольщицы <i>Похвала пыли / Мебельная рухлядь и сублимированный картофель / Одна лисичка, двенадцать львов, четыре собаки и двадцать лошадиных голов / Гиря пушкинской поры / Пасочница / Вафельница– хромоножка / Про пивные кружки и прочие странности нашей жизни / Морские камешки, бараний череп и голубой кил / Juniperus sabina (можжевельник древесный) / Ножик на память / Первая попытка итога / Вторая попытка итога</i> | 239 |
| Потаповский переулоч | 339 |
| Дары и дарители | 347 |



Бывает, что нечто якобы временное оказывается самым что ни на есть постоянным, и именно так случилось с жилищем, приютившим семью деда моего и бабушки весной 1918 года. Обстоятельств

ва сложились так обидно и грустно, что пришлось срочно покинуть родительский дом, а отношения с родственниками надолго разладились. Времена на дворе стояли суровые, тетушка моя Татьяна была еще крошкой, и к концу лета ожидалось рождение младенца. Обескураженные и не закаленные в борьбе с бытовыми трудностями (этот изъян с лихвой компенсирует ближайшее будущее), дедушка с бабушкой кинули клич друзьям, и жилье нашлось. Прежде здесь жил брат бабушкиной подруги Наташи Заяицкой (в замужестве Давыдовой), внучки Кондитера (именно так, с большой буквы!) Алексея Ивановича Абрикосова. Бабушка и Наташа вместе учились в Первой московской гимназии, а став взрослыми, каждую весну встречались в Риме, куда еще в начале девятисотых, расставшись с мужем, Наташа перебралась с сыном и дочерью на ПМЖ. Встречались, путешествовали, наслаждались страной и дружили до тех самых пор, пока их не разлучили известные исторические обстоятельства.

Наташин брат, журналист, писатель и гитарист Сергей Сергеевич Заяицкий человеком был оригинальным и во всех отношениях замечательным. Веселый мистификатор и щеголь, он обряжался в цилиндры, перчатки и кружевные жабо и видом своим ошеломлял публику. Случалось, шествуя по Пречистенке к Пречистенским воротам, встречал простака, чересчур откровенно

(в окрестностях квартиры № 2)

изумлявшегося его экзотическому облику. В этом случае Сергей Сергеевич садился в трамвай, шедший в обратном направлении, проезжал остановку и снова направлялся к Пречистенским воротам. Тот же прохожий опять встречал странного человека и изумлялся вдвойне. Неленивый, азартный и артистичный Сергей Сергеевич снова садился в трамвай и проделывал фокус с самого начала, вводя встречных в транс. Неутомимому Сергею Сергеевичу шутка неизменно удавалась, тем более что до Октябрьского переворота трамваи по Пречистенке ходили регулярно и не были так переполнены, как в последующие времена. А для того чтобы представить, каков был Сергей Сергеевич, как наблюдатель и остроумен, для затравки и для начала советую прочитать его повести «Баклажаны» и «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова».

Квартира на первом этаже дома, выстроенного в стиле скромного модерна (признаки модерна ограничивались конфигурацией подъезда, и вправду довольно изящного), оказалась темноватой и сыроватой, из пяти комнат жить можно было только в двух, остальные никуда не годились. Видно, Сергей Сергеевич нашел для семьи что-то получше, тем более что и у него в 1917 году родился сын Сергей, однако нашим выбирать не приходилось (не до жиру, быть бы живу...), обрадовались и такой, понадеялись, что это ненадолго, что к следующей весне морок развеется и найдется жилье получше...

Но случилось иначе, и семейство наше задержалось в квартире № 2 дома 5 на восемьдесят зим, столько же весен, лет и осеней и окончательно покинуло переулок между Пречистенкой и Остоженкой за два года до наступления следующего тысячелетия.

В сентябре 1918 года прибыл в Мансуровский переулок будущий мой отец младенец Алексей, через тридцать лет сюда же привезли меня, а еще через двадцать шесть дочь нашу Наталью. Разумеется, почти сразу квартира стала коммунальной, и это обстоятельство одарило семью бездной разнообразных впечатлений, встречами с яркими людьми, а также уймой ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Но это тема отдельная и неисчерпаемая...

Но и соседи по переулку оказались людьми не абы какими... Визави с нашим домом № 5 громоздилось (и громоздится ныне) удивительное сооружение, выстроенное по заказу богатого крестьянина Лоськова. До поры до времени трудолюбивый крестьянин жил себе поживал в простеньком деревянном домишке, но в 1901 году случился пожар, и дом сгорел. То ли не справились пожарные, прибывшие из расположенной по соседству Пречистенской пожарной части, то ли туда ему была и дорога, ветхому этому домику. К счастью, крестьянин успел поднакопить денег и на месте скромного домика выстроил каменные палаты и в 1906 году отпраздновал новоселье. Но на излете старого лоськовского домика в нем успела пожить Мария Александровна Ульянова, и ее средний сын Владимир, тогдашний нелегал, доставивший в Москву груз марксистской литературы, несколько дней гостил у матери. В чем сам же чистосердечно признался на одном из допросов:

По возвращении из-за границы я прямо поехал к матери в Москву: Пречистенка, Мансуровский переулок, дом Лоськова.

Неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба крестьянина, ясно одно — на свою голову приютил он в своем доме будущего лидера мирового пролетариата.

Так вот, в основе архитектурного замысла нового дома Лоськова средневековый замок с круглой угловой башней, острой готической кровлей и винтовой лестницей. К фасаду готического замка прилепили мавританский балкон, а стены щедро орнаментировали. То есть вышло нечто фантастическое. Грезы Лоськова, «нового русского» начала прошедшего столетия, воплощенные в жизнь архитектором Зеленко, схожи с архитектурными фантазиями нынешних «новых». Вот только лоськовский дом камернее и теплее нынешних сооружений. Хотя сегодняшний облик дома совсем не тот, что в моем детстве. В 60-е в процессе длительного ремонта дом дважды горел, орнаментальные рельефы на стенах восстанавливать не стали, отказались от всяких там тонкостей и деталей, дом опростился, хотя и сейчас забавен. Теперь там посольство Сирии, да...

А в конце июля 1917 года, освобожденный Временным правительством от должности Верховного главнокомандующего, в фантастическом лоськовском гнезде (дом 4, квартира 7) поселился генерал Алексей Алексеевич Брусилов. И совершенно напрасно поселился, потому что в ближайшем будущем, во время октябрьских боев, в квартиру Брусиловых попал снаряд, Алексей Алексеевич получил тяжелое ранение в ногу и до июля 1918 года находился на излечении в клинике. И это притом, что за всю свою боевую жизнь генерал не был ранен ни разу.

А дело-то в том, что между Мансуровским и Еропкинским переулками, по тем самым проходным дворам, где годы спустя прошло детство отца моего и тетушки, мое и моей дочери, проходила линия фронта между красными и белыми. Жилец дома № 3 Евгений Вахтангов, живший напротив дома Лоськова, так описывал те жутковатые дни:

У нас на Остоженке, в Мансуровском переулке, пальба идет весь день почти непрерывно. Выстрелы ружейные, револьверные и пушечные. Два дня уже не выходим на улицу. Хлеб сегодня не доставили. Кормимся тем, что есть. На ночь забиваем окна, чтоб не проникал свет. Газеты не выходят. В чем дело и кто в кого стреляет — не знаем.

Алексей Алексеевич Брусилов вернулся домой за два месяца до рождения моего отца, а еще через восемь лет, 21 марта 1926 года, инспектор красной кавалерии скончался от паралича сердца, и папа мой, большой уже мальчик, на всю жизнь запомнил торжественные похороны по высшему советскому разряду, с тьмой запрудивших переулок кавалеристов и оркестров.

(в окрестностях квартиры № 2)

Запомнил и долго еще с увлечением рисовал всадников в островерхих буденновках со звездами. Почет, которым пользовался генерал в советской республике, не защитил Брусиловых от «уплотнения». Генеральской семье оставили три комнаты из восьми, в остальные, как водится, подселили чекистов.

Прошло шестьдесят лет, и в середине 80-х в квартире нашей раздался звонок... За дверь обнаружился военный историк Александр Георгиевич Кавтарадзе, разыскивавший местных долгожителей, помнивших, где проживал генерал Брусилов. Разыскиваемыми долгожителями оказались отец мой и тетушка. Папа мой был уверен, что Брусилов жил в главном лоськовском доме, а вот долгожительница дома № 11 искусствовед Ирина Александровна Кузнецова полагала, что на самом деле генерал жил во флигеле, тоже очень забавном домишке с двумя симметричными башенками и треугольными эркерами. На наших глазах во флигеле случился пожар (то есть в XX веке лоськовский дом горел четырежды), жителей в мгновение ока переселили и выстроили на пепелище кооперативное жилье, в котором нынче проживает немало пользователей фейсбука, в том числе и мои френды.

А еще Ирина Александровна рассказывала, как в один из октябрьских дней 1917 года, может даже накануне ранения, Алексей Алексеевич по-соседски зашел к отцу ее архитектору обсудить происходящее, посоветоваться, как быть, как жить и что делать.

В те же дни с письмом-просьбой взять на себя командование силами сопротивления к Брусилову пришла группа офицеров, одним из которых был Сергей Яковлевич Эфрон. Переговоры, длившиеся не менее часа, успехом не увенчались, сославшись на болезнь, Брусилов отказался принять командование. Этот эпизод, а также напряженная атмосфера тех дней лаконично, но чрезвычайно выразительно описаны в «Записках добровольца» Сергея Эфрона.

Сам Эфрон не поднимался в квартиру генерала, а ожидал товарищей в одном из окрестных дворов, может быть в том самом, где через два года предстояло родиться Третьей студии МХАТ, шесть лет спустя обернувшейся театром имени своего основателя Евгения Багратионовича Вахтангова. По причине мансуровского происхождения театра первая из первых принцесс Турандот блистательная Цецилия Воллерштейн и взяла себе псевдоним Мансурова, породнившись таким манером с бригадиршей (то бишь вдовой бригадного генерала) и домовладелицей Аграфеной Мансуровой. А в еще более незапамятные времена переулочек наш носил имена предыдущих домовладельцев и назывался сначала Талызиным, а потом Мосальским.

Представляю, какая жизнь кипела в соседнем с нами дворе, какие молодые и ослепительно талантливые люди сновали по нашему переулку, как они увлекались друг другом и своим театральным делом, как фонтанировали, невзирая на тяжелейшие, бесприютные, голодные времена. Из дневниковых записей девочки Али Эфрон, едва ли не каждый вечер бывавшей с мамой своей Мариной в мансуровской студии, выяснилось, что в крошечном с виду

двухэтажном особнячке чудесным образом умещался всамделишный зрительный зал с настоящей театральной сценой.

На моей памяти в домике обитала колоритная пара, может даже оставшаяся от тех самых вахтанговских времен: сухощавый старик породистого облика в чем-то сером и полотняном, с горделивой серебристой левреткой. А на латунной табличке, привинченной к двери, ведущей с улицы в жилище старика и левретки, возле кнопки старорежимного звонка изящным курсивом выгравирована была фамилия «Морской» (инициалов, увы, не помню). Сама-то я бывала всего лишь в дворницкой, прилепившейся к вахтанговскому дому наподобие ласточкина гнезда. Там в тесноте и убожестве обитало семейство няни моей Ани Гордеевой. Дворницкая в статусе памятника канувшей эпохе сохранилась в неприкосновенности по сей день, и можно пофантазировать, каких блистательных людей, сидя на своей завалинке или стоя с метлой у ворот, повидали предшественники дворников Гордеевых. А может, и общались запросто, накоротке, потому что вскоре после неудачного визита Сергея Эфрона со товарищи к генералу Брусилову грянула эпоха равенства и братства, а театральные люди и без того в большинстве своем демократы...

В те же времена костюмер для первой постановки «Принцессы Турандот» нашелся по соседству, в том же дворе. И не абы кто, а сама Надежда Петровна Ламанова, до переворота имевшая статус поставщика двора ея императорского величества и одевавшая дам артистического и аристократического бомонда. Премьера спектакля, навеки ставшего символом театра, состоялась в 1922 году, в предельно скудные времена, и по эскизам Игнатия Нивинского Надежда Ламанова сшила костюмы из бельевой бязи, магически преобразив простецкую ткань в шелка, парчу и бархат.

Квартиру на пятом этаже нового доходного дома муж Ламановой председатель страхового общества «Россия» Андрей Каютов купил в 1911 году и обставил на широкую ногу золоченой мебелью в стиле третьего рококо. Но вскоре, так же как и для всех прочих российских граждан, для Надежды Петровны настала иная пора. Муж канул в лубянских подвалах, а Ламанову «уплотнили», кроме неперменных чекистов вселили в просторную квартиру множество разношерстного люда, но милостиво оставили во владении бывшей хозяйки большую гостиную, а в нагрузку к ней должность ответственного квартиросъемщика.

Очень надеюсь, что великой Ламановой не приходилось взгромождать на стул из драгоценного гарнитура, снимать показания электросчетчика, делить эту цифру на количество душ квартирному населению, составлять на разграфленном тетрадном листке ежемесячную сводку и взимать плату с уклоняющихся от платы соседей.

Все же для этой черной работы имелись помощники. Уж чего-чего, а дефицита домработниц в 20-е и 30-е годы в Москве не наблюдалось. И в широких квартирных коридорах до поры до времени находилось место для огромных сундуков — традиционных спальных мест прислуги.

(в окрестностях квартиры № 2)

В советскую эпоху Ламанова обслуживала большевистскую знать, желавшую одеваться не хуже императорской фамилии, и по-прежнему обшивала актрис. Одной из ее заказчиц и была Цецилия Мансурова, являвшаяся на примерки в дом № 4 по Еропкинскому переулку, но входившая в него через подворотню со стороны переулка Мансуровского. Утверждаю это с уверенностью, потому что отец мой, безмерно почитавший актрису, не раз был тому свидетелем.

Ламанова прожила здесь тридцать лет, до тех самых пор, пока в октябре 1941 года не скончалась скоропостижно в скверике возле Большого театра. В те времена давно уже служила она во МХАТе и собиралась с театром в эвакуацию. В назначенный день, нагруженные скарбом, вместе с младшей сестрой добрались они до театра, но никого не застали. То ли опоздали к назначенному часу, то ли в панике и ужасе тех дней о Ламановой забыли. Как бы то ни было, но на дверях театра сестры увидели объявление: «Театр уехал в эвакуацию». На обратном пути, в растерянности и смятении, сестры присели передохнуть. Но начался авианалет, и, потрясенная всем этим совокупным ужасом, здесь же, на скамейке, во время бомбежки семидесятидевятiletняя Ламанова скончалась. Эти печальные сведения сообщил мне историк моды Александр Васильев. От него же я узнала, что дальние родственники и наследники Ламановой дожили в доме до начала 70-х, а когда уезжали, ненужное им тряпье — ворох расшитых бисером шифоновых лоскутов (те самые ламановские шедевры) связали попросту в узел и отнесли на помойку.

Между тем истинная жемчужина нашего переулка — это вовсе не дом Лоськова, а крошечная городская усадьба, пережившая пожар 1812 года и сменившая на протяжении XIX столетия нескольких владельцев. В 1913 году архитектор Александр Васильевич Кузнецов купил ампирный особнячок у старушки-купчихи Воскобоевой и перестроил его так талантливо и толково, с таким тонким и точным пониманием стиля, что сохранилось, а может и преумножилось, обаяние века предыдущего. Чудесным образом усадьбу под сенью древнего тополя не экспроприировали, и она осталась в собственности семьи. Изюминка и загадка усадьбы — крошечная калитка в каменной ограде, сколько себя помню, из Мансуровского переулка проникнуть внутрь можно было только через нее. Только мелкий ребенок не старше четырех лет может войти в калитку, не сгибаясь в три погибели. Вот и возникла легенда о человеке-карлике, некогда выстроившем дом с учетом собственных параметров.

И еще одно переулочное чудо — густо, до самой крыши завитый девичьим виноградом брандмауэр соседнего с кузнецовским доходного трехэтажного дома № 13. Поколения мансуровских жителей сменяют друг друга, а виноград, посаженный архитектором, вьется и вьется, завивает и завивает стену, матерееет, осенью багровеет и облетает, весной возрождается.

Висит на стене пейзаж: лето 1946 года, кузнецовский дворик в густой июньской тени, разбавленной солнечными бликами. На крылечке моя юная мама листает конспект, готовится к госэкзамену. Видно, Ирочка, Ирина

Александровна Кузнецова, разрешила отцу моему написать будущую мою маму в своем саду. Что неудивительно, ведь с тетушкой моей они познакомились в раннем детстве. Обе родились в 1914 году, только Ирочка прибыла в Мансуровский переулок годовалым ребенком, а тетушку мою Татьяну привезли сюда четырехлетней. Вместе они занимались в кружке юных искусствоведов при Музее изящных искусств, одновременно учились в ИФЛИ. И всю свою последующую жизнь Ирина Александровна работала в музее Александра III, то есть в ГМИИ им. Пушкина. Наша Таня прожила в Мансуровском переулке семьдесят четыре года из отпущенных ей семидесяти восьми, Ирочка задержалась на десятилетие.

В одном из Таниных писем обнаружилось описание дивного июньского вечера 1939 года:

Вчера провела необыкновенно поэтический вечер... В саду, в тени деревьев, полулежа в гамаке, распивала чай из кузнецовского сервиза, а прелестная бледная девушка в пышном платье тем временем по какой-то удивительной книге (арабский кабалистик!!) гадала для меня, поступать ли мне в аспирантуру. Получилось: жестокая лютость рока противится тому, чего надеешься!

Увы, арабское гадание в точности предсказало мучительную и оскорбительно тщетную эпопею Таниного поступления в аспирантуру, но это отдельный сюжет, органично вписавшийся в эпоху и выразительно ее иллюстрирующий. Что же касается сервиза, из которого семья Кузнецовых распивала чаи под сенью собственных деревьев в самом центре Москвы, то остается только гадать, изготовило ли его Товарищество фарфорового и фаянсового производства Матвея Сидоровича Кузнецова, однофамильца архитектора, назвала ли Таня сервиз «кузнецовским» по имени его владельцев или же это шуточный парадокс?

В войну Кузнецовы не покинули своего домика. Из семейных бумажных залежей возникло письмо, посланное на Урал тетушке моей Татьяне 3 июля 1942 года:

Мы живем по-старому в нашем маленьком домике, который в свое время храбро выдержал 3 «зажигалки», свалившиеся ему на крышу. В саду же у нас Верушка навела всякие эстетические усовершенствования и даже щель (которую мы выкопали в углу сада у ворот) всю засадила мавританским газоном. Сейчас у нее вид безобидной клумбы, а помню, как, бывало, мы бегали туда в чудные лунные ночи (я теперь всю жизнь не смогу смотреть на луну, не вспоминая бомбежек) или в ноябрьские дни, когда тревоги бывали по 6, по 7 раз в сутки и надо было урывками ловить время, чтобы сбежать за хлебом и что-нибудь сварить на обед. Меня эти дневные тревоги, по правде говоря, даже забавляли. Мне нравилось спешно закрывать ставни, проверять воду и лопаты, бегать туда и

(в окрестностях квартиры № 2)

обратно. Торопиться перехватить чего-нибудь поесть и т.д. В реальную опасность днем как-то не верилось, а в то же время необычность обстановки действовала как-то возбуждающе и «интересно». Ночью — это было, конечно, другое дело. Но и тут должна сказать, что бояться мы все очень скоро перестали. Сидя в щели, читали французские романы, рукодельничали (у нас туда проведено электричество), я связала себе целых 2 пары нарядных летних перчаток, в которых щеголяю сейчас и которые были сделаны только за часы тревог. Как только стрельба немного утихла, мы с папой вылезали и разгуливали по саду, болтали с соседом Топлениновым, потом опять прятались.

Затем пришло время, когда и на тревоги не стали обращать внимания и прекратили даже вылезать из дому, так что щель у нас уж давным-давно пустует, мечтаю, чтоб это и дальше так было подольше.

Сейчас у Москвы опять «нормальный» вид, почти совсем такой, как в мирное время, если бы не большое количество военных на улицах, не сказала бы, что это война. Следов бомбежек почти не заметно, на улицах оживление, в Сокольниках и парке культуры толпы гуляющих. Только бы не вернулись опять те дни, что мы переживали осенью!

В очерке Ирины Александровны «Между Остоженкой и Пречистенкой», напечатанном в журнале «Наше наследие» (№ 29–30 за 1994 г.), с прекрасными фотографиями Александра Викторова, трогательные строки:

Когда в темный осенний вечер я спешу с работы домой, то, едва войдя в свой переулок, начинаю всматриваться вперед, и какое-то радостное успокоение проникает в сердце, как завизжу под деревьями очертания знакомого ампирного особняка и засветившиеся в нем окошки. «Здравствуй, милый домик, здравствуй, мой родной, я пришла», — шепчу я ему и знаю, что он слышит мои слова.

Бывало, идешь мимо кузнецовского домика, а из крошечной калитки (едва ли не из-под ног твоих) выпархивает, словно птичка из гнезда, Ирина Александровна, Ирочка, худенькая как девочка, гладко причесанная, в очках с толстыми линзами. Выпархивает, улыбается близоруко и мечтательно чему-то своему, вроде бы не замечает никого и летит, летит по переулку, торопится в музей.

А в начале 20-х коммунальная напасть не обошла и Кузнецовых, в их аристократической усадьбе поселилась (к счастью, ненадолго, пока не подыскали жилья получше, попросторнее) громогласная семья удалого Гаи Дмитриевича Гая — личного друга Семена Буденного и командира легендарной Железной дивизии.

Сосед же Топленинов, тот самый, с которым Кузнецовы болтали в промежутках между ночными тревогами, — это один из братьев Топлениновых, хозяев дома № 9, театральных людей и друзей Булгакова. В уютном подвальчике их деревянного дома на белокаменном фундаменте Михаил Афанасьевич поселил своего Мастера с его Маргаритой. Дом Топлениновых, выстроенный в 30-х годах XIX столетия, переходил из рук в руки до тех пор, пока его не купил купец I гильдии Сергей Топленинов, и по наследству дом перешел к двум его сыновьям, Владимиру и Сергею. И в подвальчике, описанном Булгаковым с документальной точностью, театральный художник, гитарист, любитель романсов и компанейский человек Сергей Топленинов устроил свою мастерскую. А другую половину топлениновского дома в булгаковские же времена снимал другой друг Михаила Афанасьевича, драматург Сергей Ермолинский. И конечно же, Сергей Сергеевич Заяицкий, принадлежавший к тому же кругу и друживший со всеми этими людьми, бывал в этом доме.

В детстве моем окрестная публика (в том числе дворники, самые осведомленные люди) звали топлениновский домик «домом Власовой», и действительно некая старая дама в нем проживала. Видимо, это и была Евгения Владимировна Власова, жена Сергея Сергеевича Топленинова. Чудо чудесное, но в советские времена дом Топлениновых оставался в частной собственности, так же как и кузнецовская усадьба, и я знала людей, которым и в позднейшие времена повезло жить в этом подвальчике. А его прославившиеся на весь свет окошки и сейчас можно разглядеть, если прильнуть к щели в заборе, несколько дней назад я в очередной раз так поступила и убедилась, что окошки на месте.

А ведь когда-то между нашим домом №5 и топлениновским №9 существовал, что логично, дом №7. На моих глазах в самом конце 50-х его аккуратнейшим образом разобрали по бревнышку, каждое тщательно пронумеровали, погрузили на грузовики и увезли куда-то туда, где ему предстояло возродиться для следующей жизни наподобие птицы феникс. В деревянном том доме, упорхнувшем на наших глазах в неизвестном направлении, в семье архитектора Георгия Гольца и балерины Галины Щегловой родилась в 1925 году художница Ника Георгиевна Гольц, и прожила в нем детство свое и отрочество. Блистательный в будущем иллюстратор Ника Гольц и подруга ее Таня Лившиц (дружбе этих художниц, познакомившихся пятилетними девочками, жизнь щедро отпустила восемьдесят лет!) посещали одну из рисовальных групп, которые бабушка моя вела для детей московской интеллигенции, продолжавшей, невзирая ни на какие житейские и исторические катаклизмы, учить детей не только насущному...

Что же касается дома № 13, вплотную примыкающего к кузнецовской усадьбе (это его брандмауэр вот уже сотню лет обвивает реликтовый девичий виноград), то из всех его жителей я знала одну лишь Надежду Николаевну Победоносцеву, машинистку. По слухам, эта суровая светлоглазая дама пострадала за родного своего дядюшку Константина Петровича Победоносцева. Того

(в окрестностях квартиры № 2)

самого обер-прокурора Святейшего синода, который в блоковской интерпретации мало того что над Россией простер совиные крыла и четверть века пребывал в этой неудобной позе, так еще и очертил ее каким-то дивным кругом, при этом заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна... На мой взгляд, одно из самых жутких стихотворений Серебряного века.

Надежда Николаевна сотрудничала с несколькими нашими знакомыми, машинописью в те годы зарабатывало на жизнь множество интеллигентных московских дам. И я бывала в ее аскетической безбытной комнате, относила тетушкины рукописи, забирала выполненную работу и отчего-то неуютно и зябко ощущала себя под испытующим взглядом хозяйки...

Обо всех домах, составляющих наш переулок, и об их жителях не расскажешь в недлинном тексте, но завершает коротенькую московскую трассу дом № 12/21. Скромным торцом это здание выходит в наш переулочек, а нарядным фасадом обращено к аристократической Пречистенке. Теперь-то это Российская академия художеств, но судьба породистого здания не так уж проста. Выстроенная на рубеже XVIII и XIX веков для семейства Потемкиных, неоднократно перестроенная и в конце XIX века приобретенная Иваном Морозовым, тем самым, из когорты просвещенных российских предпринимателей, меценатов и благотворителей, которые пытались и гипотетически могли сделать Россию процветающей европейской страной...

После череды исторических катаклизмов в 1928 году здесь открыли чудом-музей, объединивший в единое целое два великолепных собрания нового западного искусства: Ивана Абрамовича Морозова и Сергея Ивановича Щукина. Ничего не скажешь, знали образованные российские купцы толк в изобразительном искусстве, покупали лучшее...

И многие годы бабушка с дедушкой и отец мой с тетушкой запросто приходили в музей, удачно расположенный в двух минутах ходьбы от нашего дома, и наслаждались живописью любимых художников. Но чудится мне, будто возле тех прекрасных полотен старшие вспоминали с горечью, какой свободной, яркой и радостной бывает обычная человеческая жизнь, а догадывались ли об этом младшие члены семьи, этого я не знаю... Увы, Государственный музей нового западного искусства в славные годы «борьбы с космополитизмом» ликвидировали как особо злостный рассадник низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой. Спасибо, экспонаты не уничтожили, а поделили между ГМИИ им. Пушкина и Эрмитажем, в чьих запасниках они и пребывали до поры до времени.

Но настал момент, когда в тех же залах Музея изящных искусств, которые долго-долго оккупировала выставка подарков, поднесенных населением городов и весей товарищу Сталину к его 70-летию юбилею (меня водили на эту выставку, но запомнила я только высоченные стопки простыней и огромный портрет вождя, выполненный из каких-то раскрашенных зерен), в самом конце ужасного и прекрасного 1953 года чудесным образом появились любимые французы. Но не все, далеко не все любители западной живописи

дождались этой радостной встречи. Дедушка мой скоропостижно скончался в день сталинской конституции, 5 декабря 1953 года, бабушка к тому времени ослепла и пережила его всего на четыре месяца...

Так вот, во дворе дома № 12/21, в одном из его флигелей жила Наталья Михайловна Вавилова, гениальный без преувеличения врач-гомеопат. Наталья Михайловна лечила и бабушку мою, и маму, и даже меня-подростка. К удивлению многих, знавших эту «нравную», даже грубоватую даму, мама моя подружилась с Натальей Михайловной, и вдвоем они принялись переводить «Фармацевтический лексикон» отца гомеопатии Самуила Ганемана, более чем за 200 лет не потерявший актуальность.

А когда Наталья Михайловна, любительница путешествий, уезжала куда-нибудь (а путешествовала она на собственной «Волге» с личным шофером и по совместительству племянницей кудрявой разбитной Ириной), то просила нас с мамой присматривать за ее квартирой и иногда ночевать, что мы и делали с удовольствием. Переселение пусть и на одну ночь в ее дом становилось путешествием в другую эпоху. В двух шагах от нашего коммунального житья-бытья существовал мир, устроенный совсем иначе, полный антикварных чудес и старинных книг, а главное, с собственным садом (не важно, что крохотным) и с собственной яблоней посреди сада. Круглый год, в любое время суток, хоть днем, хоть ночью распахивай высокие застекленные двери, выходи в сад, окруженный каменной стеной, задирай голову, любуйся небом, вроде бы и на московское-то не очень похожим... Почти игрушечная, но и всамделишная модель канувшей в небытие городской усадебной жизни, оазис посреди советской действительности, давным-давно изжившей подобные роскошества.

Однако пришла пора, и совсем уже старенькую Наталью Михайловну изгнали из укромного ее жилища, переселили в тесную квартирку на Комсомольском проспекте, но недолго, совсем недолго она там прожила, всего-то несколько месяцев.

Но не одной только Вавиловой представлена была наша мансуровская медицина. И если требовалась срочная, экстренная помощь, призывали доктора Дилигенского, аллопата. Дилигенскому звонили по телефону в любое время суток, и он немедленно являлся. Худой, сутуловатый, неулыбчивый человек с классическим докторским чемоданчиком, доктор Дилигенский жил напротив нас, в доме № 8, пользовался абсолютным доверием, и любое его указание выполнялось незамедлительно и беспрекословно. Не раз в чрезвычайных обстоятельствах спасал он членов нашей семьи, вот и отец мой обязан ему жизнью...

Нынче облик переулочка изменился, хотя главные достопримечательности пока на месте. Это затянутый зеленоватой сеткой и без особой надежды ожидающий реставрации домик бывшей вахтанговской студии, деревянный дом Топлениновых и прелестная кузнецовская усадьба. Дом Лоськова, пусть и не в первоначальном своем облике, существует по-прежнему...

(в окрестностях квартиры № 2)

Но главное — тени, все тени на месте, и несть им числа. Всякий раз, когда я сворачиваю в свой переулок и иду недлинным его маршрутом, что в одну сторону, что в другую, и о чем бы я ни думала за минуту до этого, непременно случается непредсказуемая встреча (а то и несколько встреч) с когда-то знакомыми или вовсе незнакомыми бывшими мансуровскими жителями, привычными некогда лицами. Являются они неожиданно, без всякой системы и из разных времен. Вдруг будто из-под земли явится приветливая и неунывающая рыжая Лиза, поднимавшая петли на капроновых чулках окрестного женского населения. Вдвоем с сыном, бледненьким веснушчатым Женькой, блистательным и бесстрашным озорником, артистическими своими проказами доведившим до белого каления строгую нашу учительницу Тамару Ивановну, они и вправду обитали под землей, в глубочайшем, лишенном даже признаков дневного света, а теперь уж давно закатанном асфальтом подвале возле нынешнего грузинского ресторана.

Ни с того ни с сего, будто бы не умер вечность назад, повстречается горбатенький Эмик, кроткий человек без возраста в старомодном пальто кофейного цвета с цигейковым воротником и шапке-ушанке с опущенными ушами (всегда только в зимнем обличье, никогда в летнем), повстречается и улыбнется смущенно и виновато. Вот уж, казалось бы, навсегда позабытая фигура из далекого-далекого детства.

Тяжело переваливаясь, со стороны Пречистенки прошествует со своими котомками грузная Эмма Федоровна в роговых очках в пол-лица, замотанная в платки и шали и увенчанная бархатной шляпой из иных времен. «Немка» Эмма Федоровна выпасала на «иностранным» скверике многие поколения окрестных детишек, слегка обучая их в процессе гуляния немецкому языку.

А то ловко вынырнет из крошечных своих воротец Ирина Александровна Кузнецова, застучит каблучками по переулку, а за окном бельэтажа бледным пятном замаячит трагическое лицо Надежды Николаевны Победоносцевой.

Изредка мелькнут молодые мои родители. Улыбающиеся, но какие-то невеселые, они обыкновенно стоят в устье двора напротив нашего дома, в точности такие, как на снимке, сделанном солнечным майским днем 48-го года папиным товарищем художником Петей Шебашовым. И в любую, даже пасмурную погоду, отбрасывают тени. Что неудивительно, потому что это остановившееся мгновение, вставленное в овальную мозаичную рамочку, привезенную бабушкой из Равенны (кто же уезжает из Равенны без рамочки), всегда перед моими глазами. Снимок бледненький, выцветший, а мозаика как новая, ничего ей не сделалось за сто с лишним лет.

Или увижу себя тринадцатилетнюю в апрельских сумерках 1961 года. В лучезарнейшем настроении, на душевном подъеме такого накала, какого впредь в жизни моей не случалось ни разу, возвращаюсь я со встречи Гагарина. В тот незабываемый и беспрецедентный по силе всеобщего ликования и единения день мы, отпущенные с уроков одноклассницы, внедрились в колонну ткацкой фабрики «Красная Роза» и в едином порыве с ткачихами

и ткачами устремились на Красную площадь. Несколько часов то двигались черепашьям шагом, то топтались на месте, но в конце концов, восклицая нечто ликующее, трепеща и чем-то даже размахивая, промаршировали мимо мавзолея.

Но маме-то моей в те радостные часы виделась иная картина, жуткая и совсем еще свежая. Вождь-то всех времен и народов помер всего-навсего восемью годами ранее. А чем всенародная российская скорбь отличается от всенародного российского ликования? Мама ни минуты не сомневалась, что опять случится трагедия, и ее, с раннего детства заряженную тревожностью, зашкаливающей за разумные пределы (что неудивительно для сироты 37-го года), обуял смертный ужас. Мама уже не чаяла увидеть меня живой, а сидеть в бездействии дома, ничего не предпринимать и ждать у моря погоды — это было не по ее силам и не в ее характере, и она абсолютно иррационально и немотивированно металась несколько часов по окрестностям. Металась не в одиночестве, а вместе с соседкой Анной Васильевной, не так давно поселившейся в нашей квартире вместе с мужем-инвалидом и старенькой слепой свекровью. Двумя убогими, практически нежилыми комнатенками людей этих, вернувшихся с северов, где провели они долгие годы вовсе не по собственной воле и не в погоне за длинным рублем, наградили за несправедный суд и многолетние страдания.

И стоило мне в тот ранний апрельский вечер свернуть в наш гулкий по-весеннему переулок, как я сразу увидела Анну Васильевну, мчавшуюся навстречу с развевающимися по ветру серо-седыми космами и обезумевшим взором актрисы немого кинематографа в апофеозе мелодраматического сюжета. Простирая худые руки, выпрастывающиеся из растянутых рукавов нищенской одежки, Анна Васильевна возглашала на весь переулок нечто ликующее и одновременно яростное. А настигнув меня, мертвой хваткой вцепилась в предплечье (да так, что синяки остались) и доставила к изнемогшей и вконец обессиленной маме, ожидавшей неминуемой трагедии. Так это и осталось навечно в маминой благодарной памяти — Анна Васильевна, возвратившая целым и невредимым ее единственное дитя. И этот сюжет обрел статус остановившегося мгновения.

Границы переулочка тени не пересекают, не покидают мансуровского пространства, растворяются и тают бесследно, едва выйдешь из переулочного коридора на просторы Остоженки или Пречистенки. Непросто, ох как непросто сконструирован этот мир... таинственно...

И еще одно умозаключение: видно, жизнь на первом этаже (пусть даже и в бельэтаже) существенно отличается от жизни на втором, третьем, а тем более на шестнадцатом, где мы обитаем вот уже много лет, и по-своему формирует мироощущение. Жизнь Мансуровского переулочка текла не мимо нашей угловой комнаты, а сквозь нее, весь световой день мы находились в ее потоке и только на ночь задергивали шторы. Поэтому при свете дня наша жизнь была абсолютно прозрачна. На глазах у жителей переулочка и случайных прохожих

(в окрестностях квартиры № 2)

мы завтракали и обедали, отец мой работал за своим мольбертом, мама давала уроки, я читала и рисовала, а знакомые, проходившие мимо нашего окна, приветственно постукивали по стеклу костяшками пальцев. И нас это ничуть не смущало, напротив, вносило в жизнь некий уютный компонент и связывало с мансуровской местностью и ее социумом почти родственными узами. Да ведь и мы из года в год увлеченно следили из своего окна, вроде как из логи бенуара, за жизнью земляков, взрослением их и развитием судеб, комментировали возникавшие сюжеты, обсуждали ситуации и делились наблюдениями. Не скрою, до сих пор осталась у меня стыдная привычка заглядывать в чужие окна. Знаю, что некой любопытной Варваре на базаре нос оторвали, но не могу отделаться от дурной привычки... да и не хочу...

Да уж, давненько я покинула эти края, полжизни прожила по другим адресам, редко, очень редко бываю здесь, но ведь никуда не денешься, недлинный переулок между Остоженкой и Пречистенкой — это и есть моя малая родина. Милая малая историческая родина, полагающаяся каждому человеку.

Постскриптум или вдогонку...

Рассказ про писателя Заяицкого уже возникал там и сям и проник, разумеется, во всемирную сеть, вот поэтому девяносто восемь лет спустя после того, как в Мансуровском переулке поселилось наше семейство, пришло письмо от правнука Сергея Сергеевича Миши Заяицкого. Письмо с вопросом: а вдруг мне известны интересные подробности о прадедушках его и прабабушках, если уж моя бабушка дружила с его двоюродной прабабушкой? Увы-увы, ничего я о семье Заяицких не знала, зато давно уж сложила в стопку (немаленькую такую стопочку) Наташины письма, первые из которых датируются 1896 годом. Правильно, как оказалось, поступила, хотя и в голову не могло прийти, что появится человек, которому эти письма понадобятся.

И фотографии Наташи и детей ее Юры и Мани дождалась своего часа, и даже фото брошенного мужа Давыдова среди них затесалось. То есть все это бумажное хозяйство, долгие века жившее в нашем доме, попало в родственные руки (двоюродное родство не такое уж дальнее, скорее близкое), а значит, и письмам, и фотографиям гарантирована дальнейшая жизнь.

А семья у Миши замечательная! Мама Мишина Эстелла Сергеевна, внучка писателя, полюбила студента из Эфиопии, вышла замуж, уехала на родину мужа, но спустя время вернулась с семилетним сыном домой. Миша вырос в Ленинграде, отслужил положенный срок в российской армии и уехал в дальние страны. В Китае встретил прелестную девушку, и дети их Майя и Кай, израильтяне и праправнуки потомка уральских казаков Сергея Сергеевича Заяицкого и жены его Елизаветы Ивановны Поливановой, наполовину китайцы, на четверть эфиопы и на четверть русские. Жизнеутверждающая такая история, дающая всем нам надежду на светлое будущее... С Мишиной семьей мы встретились на Пречистенке, в устье Мансуровского переулка, и я рассказала и показала славным потомкам Сергея Сергеевича все, о чем написано в этом тексте.

А вот две истории из серии «слава фейсбуку». Сначала написала мансуровская моя соседка Татьяна Притула, прожившая существенную часть жизни в одном из флигелей бывшего потемкинского дворца по соседству с Натальей Михайловной Вавиловой, лечившая всех без исключения соседей. Много интересных историй узнала я о жителях чудесного дворика, изображенного отцом моим в конце 30-х. Работа эта так и называется: «Дворик Академии художеств». И может быть, в тот летний день, когда отец мой установил посреди двора свой этюдник и принялся за работу, маленькая Таня видела молодого художника...

И еще утешительный сюжет. Ну никак не могла я вспомнить имени чудесного доктора Дилигенского, недоумевала, как такое могло случиться, что за неблагодарность... Подставляла, как водится, разные имена, в том числе редкие, ни одно не подходило. Так бы и не вспомнила никогда, если бы не пришло письмо от Марины Соколинской. Оказалось, что мама ее Мария Викторовна Вавченко, 1920 года рождения (а нынче-то на дворе 2017), жила до войны на Арбате и лечилась у доктора Дилигенского. Она-то никогда не забывала, что звали доктора Горгоний Александрович! Ну как, как я могла забыть удивительное имя прекрасного доктора! Ведь оно вошло в обиход семьи, сопровождало ей по жизни, однако выпало из памяти, закатилось куда-то... Но случилось чудо — имя нашлось! А вслед за именем хранившиеся в московских семьях и всплывшие из интернета чудесные истории о деяниях Врача, истинного целителя...





see

see

see
see

see

see
see
see

Мучительный вопрос — что делать со старыми письмами, а также с давным-давно девальвированными, а некогда жизненно важными и даже судьбоносными бумажками, сопровождающими всякого

человека? С разнообразными удостоверениями, справками и прочей бумажной трухой? Должно ли это хозяйство переживать тех, кому оно принадлежало? Когда наступает пора уничтожать этот архив сугубо местного значения: сжигать, рвать в клочки, крошить в лапшу посредством уничтожителя бумаг фирмы Shreder? Пропустишь момент — и ничтожная бумажонка окажется бесценной, а то и обретет статус свидетеля эпохи... а на свидетеля рука не поднимется...

Но особенно заботит судьба старых писем. Ведь для потомков-то наших письма эти не более чем эпистолярная макулатура. А если попадутся среди потомков интересующиеся письмами предков, стоит ли грузить любознательных этих бедняг откровениями, терзаниями и признаниями, которым в обед сто лет, ошарашивать канувшими в небытие фактами семейной истории, бесстыдно распахивать двери шкафов с позабытыми в них скелетами? Им это нужно, потомкам, своих проблем у них мало?

И что делать мне, обремененной килограммами эпистолярного балласта, своими и чужими? С собственными-то эпистолярными разобраться проще, ими я могу распоряжаться по собственному усмотрению, но как быть с пожелтевшими листками, испещренными чужими, а чаще всего неизвестными почерками и существующими в виде бумажного конгломерата вот уж вторую сотню

(в окрестностях квартиры № 2)

лет? Давным-давно удалились в неведомые дали те, кто писал эти письма, получал их, чьи имена в них упоминаются. Но с другой стороны, ведь это чьи-то последние следы на этой земле, и если сжечь их, порубить в лапшу, исчезнут и они... Удача, что несколько сотен писем я сбаврила заинтересованным лицам: правнукам бабушкиных сестер, в музейные архивы, а также немолодым потомкам друзей семьи, счастливо обнаруженным в социальных сетях. Спасибо им (сетям)! Потому что случаются чудеса!

Нашлась, к примеру, потерявшаяся в перипетиях прошедшего века крымская ветвь семьи, довоенные жители Алупки. Мы-то думали, все погибли в войну, а оказалось, родственники спаслись, и теперь неподалеку от нас процветает большое семейство, правнуки дедушкиной кузины Веры Фарбштейн-Швединовой. И я возвратила образовавшимся нежданно-негаданно родственникам стопку писем и документов, тех, что в начале 20-х Вера посылала моему деду-юристу, тщетно надеясь на московское заступничество от произвола алупкинских властей, отнявших у нее дом. Дом, в котором двадцать лет Вера, педиатр по образованию, выхаживала детей — пациентов туберкулезного санатория, на годы закованных в гипсовые кровати. Сегодня практической пользы в этих бумажках нет, на реституцию рассчитывать не приходится (хотя верин дом существует и называется ныне «Вилла Мария»), однако для потомков это семейная память, и хорошо, что все это не оказалось на помойке...

А то ведь вот как случается... Вышла я однажды на станции метро «Беговая» и пошла по давнему своему обыкновению сквозь прелестное, утопающее в зелени, теперь уж сметенное с лица земли крошечное поселение, спланированное наподобие игрушечного городка со своим центром — маленькой круглой площадью, травянистыми улочками-переулочками, с уютными, добросовестно выстроенными пленными немцами двухэтажными особнячками, с жасминово-сиреневыми палисадниками. Пока была в метро, прошел дождь, летний ливень. Помнится, я порадовалась, что дождь прибил тополиный пух (следовательно, на дворе стоял июнь, а у меня аллергия на эту субстанцию). Так вот, круглая площадь, тропинки, дорожки и газончики вперемешку с комками тополиного пуха устилало бумажное, безнадежно раскисшее месиво, и чьи-то нездешние лица смотрели в небеса с размокших фотографий. Местный ребенок азартно колесил по бумажным останкам на велосипеде, выписывал восьмерки. На моих глазах погибал (уже погиб) чей-то огромный выморочный архив, видно, вынесли его на помойку, а ветер разметал по ближайшим окрестностям. Не важно, чей архив, хотя известно, что жили в том игрушечном городке прекрасные люди. И не исключено, что хрестоматийный можжевельниковый куст: *Я увидел во сне можжевельниковый куст. / Я услышал вдали металлический хруст. / Аметистовых ягод услышал я звон. / И во сне, в тишине, мне понравился он...* — все еще рос в одном из тех палисадников, можжевельниковый век долго, гораздо дольше человеческого...

Другой вариант судьбы семейных архивов... Нынче в букинистических магазинчиках, в лавочках, торгующих раритетами, представлены в

ассортименте разнообразные артефакты прошедших эпох. Встречаются забавные, и даже «прикольные», и трагические. И бумажки эти, сопутствовавшие по жизни родителям нашим, дедам и прадедам, с реальными именами и адресами людей, оказываются в чужих руках. Хорошо ли это? Плохо ли? Трагедия это или удача? Вопрос открыт...

Вот и старинные фотографии востребованы нынче не только собирателями и ценителями фотоискусства. Однажды в букинистическом магазине я не без ехидства наблюдала супружескую пару, судя по прононсу, недавних москвичей, сосредоточенно перебиравших колоду стареньких «картолин» (фотографий, наклеенных на плотный картон). Они внимательно рассматривали очередное фото, вглядывались друг в друга, перешептывались, кое-что откладывали. Я исхитрилась и разглядела одну из отложенных фотографий, ту, что лежала сверху. Опиравшаяся на резную колонку немолодая дама в траурном платье с турнюром чем-то походила на мужчину-покупателя. Близко посаженные глаза, густые брови... похоже, для каких-то особых целей или просто для самоощущения семейству понадобилось проиллюстрировать свое генеалогическое древо.

У нас и своих-то фотографий сотни, а еще множество доставшихся (оставшихся) от старших друзей, ушедших в мир иной и наследников не оставивших. Но нам и этого мало. В начале 90-х в букинистических магазинах Таллина продавалось не задорого множество старых и даже старинных фотографий, и даже целые фотоальбомы. Из этого изобилия мы выбрали две групповые фотографии, обе времен буржуазной Эстонии, за каждую заплатили по 10 крон (курса той новоявленной эстонской валюты я не помню, но стоила она недорого). На одной фотографии церковный хор — молодые мужчины во фраках (и среди них парнишка в военной гимнастерке и круглых проволочных очках) и юные женщины в белых платьях. В центре первого ряда три торжественных пастора в евангелических мантиях (реверендах), парадное такое фото.

Но душу тронула другая фотография — группа девочек лет одиннадцати-двенадцати в форменных платьицах и нарядных белых передниках. В центре три строгие молодые дамы. Большая часть девочек расположилась широким полукругом за спинами сидящих на стульях учительниц, все они светленькие, разной степени миловидности, очень серьезные, но безмятежны. А шесть темненьких девочек, устроившихся на полу в ногах учительниц, глядят в объектив печально, а может даже тревожно. У одной, в самом нарядном переднике и самой взрослой на вид — узколицей, с тонким длинноватым носиком и густыми, расчесанными на косой пробор волосами, заплетенными в косу, взгляд трагический, глаза ее, полные слез, глядят мимо объектива. Лица этих девочек не оставляют сомнения в национальной их принадлежности, каждая напоминает кого-то из моих родственниц или знакомых семьи. А девочка слева, та, что со стрижкой каре, поразительно похожа на мою маму в том же возрасте.

Судя по всему, это конец 30-х. Никогда не узнать имен девочек и их учительниц, но варианты судеб просматриваются, вариантов этих немного, и

(в окрестностях квартиры № 2)

идеализировать их не приходится. Июнь 1941 года не за горами, а может уже на пороге. А 14–17 июня 1941 года, согласно приказу Москвы, изданному накануне, из Эстонии депортировали свыше десяти тысяч человек, в том числе более семи тысяч женщин, детей и стариков. А многих из тех, кто счастливо избежал предвоенной высылки, та же участь постигла после войны.

Ну, а шестерым темненьким (если и их семьи не выслали, потому что акция коснулась всего населения Эстонии, независимо от национальной принадлежности), этим уж точно оставалось прожить самую чуточку, и прах их в неведомых рвах, забытых и сровнявшихся с землей. Но думается, девочки глядят в объектив так печально не оттого, что провидят скорую свою судьбу, и на пресловутую вселенскую скорбь эту детскую грусть не спишешь. Дело, мне кажется, в том, что в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, еврейское население Прибалтики подвергалось со стороны своих же соседей нештучному прессингу. Не знаю, какова была государственная политика в буржуазной Эстонии, но на бытовом уровне агрессивный антисемитизм бушевал, и свидетельств этому множество. Видно, и в гимназии девочкам жилось несладко, не случайно же фотограф усадил их наособицу, не перемешал с одноклассницами, провел черту оседлости в пространстве одного фото.

Вероятно, пока она не оказалась в одном из букинистических магазинов столицы свободной Эстонии, фотография хранилась в семье одной из уцелевших светленьких девочек, и теперь темноволосые девочки, скорее всего так и не ставшие взрослыми, глядят на меня с книжного стеллажа. А со светленькими, так же как с их учительницами, я отчего-то взглядами не встречаюсь, они почему-то глядят поверх моей головы...

Впрочем, все это далековато от того, о чем я собиралась написать. Возвращаюсь к началу. Передо мной два письма, писанных в апреле 1897 года. Даже если бы я совсем ничего не знала о человеке, их написавшем, и о его адресате, если бы коллизия эта не касалась нашей семьи, все равно рука не поднялась бы уничтожить эти эпистолярные образцы.

Итак, письмо первое:

*Его высокоблагородию Александру Вениаминовичу Бари
Близ Курского вокзала. Д. Борисовского.*

Глубокоуважаемый Александр Вениаминович!

В старину пуритан называли людьми извечной верности и чести. По всему видно, в этом смысле Вы такой же пуританин и не сделаете мне зла за то, что я искренно обращаюсь к Вам. Могу указать ряд весьма почтенных людей, которые знают меня давно и близко — таковы, напр., проф. Ключевский, кн. В.М. Голицын, В.А. Абрикосов — они скажут Вам, что я всюду шел прямым путем.

Всякая ложь губит человека. Ложью я считаю свою попытку сблизиться с Вашей семьей как бы независимо от Вас. В данном случае я не различаю Вас и Зинаиды Яковлевны.

Теперь молодежь пользуется свободой и сама подбирает свой кружок. Но мне было стыдно и больно жать Вашу руку, смотреть Вам в глаза и молчать на вопрос, который невольно читал на Вашем лице: «Зачем ты здесь? что тебе нужно?»

Вот уже больше десяти лет я живу своим трудом и вполне одиноко. Кроме праведника, дожить до 34 лет и остаться безгрешным — едва ли кто может. Однако я не имел ни досуга, ни денег, ни охоты заводить любовные связи, кутить, делать долги; весь склад моей жизни, близость к детям, служба, наука, желание сохранить доброе имя — держали меня на цепи.

Что особенного, если учитель стал все больше думать об одной из своих учениц? Старая, давно знакомая песня! Однако, когда мы, бывало, встречались с О.А., я уклонялся от знакомства с нею, чтобы заслужить свое чувство. Мне думалось — мы не пара. Я знал и знаю не одну Ольгу Александровну; но я не решался просить чьей-нибудь руки: я не нашел бы любимой, доброй жены... Вы скажете: не одна же Ольга Александровна на свете! Что же делать, если больше я никого не люблю?

Много я думал о своей бедности и Вашем богатстве. Говорят, Вы богаты, по крайней мере в сравнении со мной... Мысль, что я могу угодить в число искателей приданого, не давала мне покоя. Страшно потерять последнее, что ставит бедняка иной раз выше «миллионщика» — доброе, честное имя!

И все-таки мы познакомились с Ольгой Александровной. Я имел много оснований думать, что и она меня любит. Мне казалось, что она так еще чиста и молода, что легко могла бы отвыкнуть от резиновых шин и бархатных ковров. А я сам вырос в богатстве, мог быть гораздо богаче, долго жил и теперь живу в богатом кругу — и только одно знаю, что не в деньгах счастье. Мне говорил один англичанин: если Вы проживаете меньше, чем хотите, вы богаче многих миллионеров.

Стыдно и глупо хвалить себя. Но мне хочется показать, что я не проходимец, который преследует какие-то темные цели. Правда, Вы были со мной любезны и приветливы, и я глубоко благодарен Вам за внимание. Тем не менее я хорошо знаю, как часто и справедливо осуждают людей именно за то, что они молчат и скрывают для всех очевидные мысли и чувства. Если бы этого молчания не хотела Ольга Александровна, я давно и даже сегодня сказал бы Вам все.

Простите, что я пишу Вам так стремительно. Вы сами знаете, как трудно переживать дни, когда вся жизнь сошлась в одной мертвой точке. Видеться и говорить с Ольгой Александровной и в то же время молчать перед Вами — нет больше сил.

(в окрестностях квартиры № 2)

На днях В.А. Абрикосов сказал мне, что где-то ему пришлось защищать меня против нелепого упрека, будто я ищу богатой невесты. Вл. Ал. любит меня и, может быть, даже смягчил выражения... Подумайте, как больно было улыбнуться в ответ при мысли, что нас видели где-нибудь вместе с Ольгой Александровной и «сочинили»!

Каков бы ни был Ваш ответ, позвольте на него надеяться. Ум и чувство говорят мне, что я отдаю себя в добрые, честные руки. Конечно, я постараюсь склониться пред Вашей волей.

Последняя просьба: пусть Ольга Александровна не знает ничего об этом письме. Видеться и говорить с ней я не буду вопреки Вашей воле. Искренно говорю: я не хочу Вас обкрадывать, ибо не знаю, что хуже — украсть дочь или деньги?

Еще раз простите: так хочется жить и быть счастливым. Думается, что я не принес бы зла и горя ни Ольге Александровне, ни Вам. Если судьба такая, что надо жить одиноким, — буду опять жить и учиться.

Совет не упрекать меня в отношении к Ольге Александровне, к Вам, к Вашему дому. Но больно будет расстаться с тем, кого любишь — а Ольга Александровна, я знаю, и Вас горячо любит — и думать, что там почему-нибудь осталась дурная память и злоба. Получив Ваш ответ, я бы должен немедленно удалиться из Москвы, если Вы не позволите нам видеться. Но в мае у нашего брата море работы, и я безвыходно могу быть в гимназии, в редакции, на службе, за делом... Да и куда же еще могу пойти, если нельзя будет пойти к Вам?

Я. Барсков

Письмо второе:

Искренно и глубокоуважаемый Александр Вениаминович!

Простите, что я беспокою Вас. Для меня больше нет личной жизни. Не Вы, конечно, я сам разбил ее. Ольга Александровна будет жива, здорова и счастлива, молодость возьмет свое! Мне остается жить для других. Когда я шел отдать Вам письма Ольги Александровны, не знал, что со мной будет? Вы помогли мне образумиться. Сердечно благодарю Вас и глубоко раскаиваюсь в своей вине. Не один год я боролся, устал, измучился, смутно предчувствуя, чем все может кончиться — и вот пришел конец. Вы умный, добрый и честный человек; Вы знаете, когда и почему Ваша воля стала для меня законом. Не откажите в последней просьбе. Как ни малы мои дела и обязанности, в них есть одна, совсем не личная сторона: нет никакой возможности передать класс в чужие руки в такую пору, когда учащиеся боятся даже своих учителей. Тяжело сознавать свое

бессилие, но что делать, если я чувствую, как дорога Ваша помощь! Говорят, я умел работать не хуже, если не лучше других. Теперь у меня все ускользает из рук. Дайте хоть соломинку и позвольте заодно с Вашими рабочими считать Вас своим «отцом» за поддержку в нужде и горе. Может быть, летом я уеду из Москвы, из России — я ничего не знаю. Но теперь Вы имеете надо мной полную власть, Вы все можете: что-нибудь сказать, посоветовать, просто приказать. Я не преувеличиваю, не лгу, не играю комедии. Окажите мне внешний знак примирения и прощения, если я его заслуживаю: дайте мне на память портрет Ольги Александровны и свой. У нас — учителей — много карточек, которыми мы обмениваемся с учениками: это в порядке вещей. А про Вас и говорить нечего. Поймите, что ничего, кроме горя, нет в моей душе. Вы сказали: «Ампутация будет легка, и корни сидят не глубоко». Только не в мои годы! Ведь я приближался к счастью, к семье, к жене, а не просто к женитьбе. И вот рухнула вся жизнь! Мало того — я не могу забыть ни Ольги Александровны, ни Вас, ни Вашего дома, ничего, что только ей дорого и связано с нею. Вместе с тем и днем и ночью, на каждом шагу тревожит мысль, что я бессознательно мог обидеть Вас, оскорбить. Простите меня. Я пишу Вам правду. Это не бред, не вспышка страсти. Я помню все, все, что Вы сказали, и много обязан Вам за внимание и справедливость. Случайно узнал я, что намек В.А. Абрикосова, о котором говорил и писал Вам, касается совсем другой стороны моей жизни и вне всякой связи с Ольгой Александровной и Вами.

Можно ли надеяться так же пожать Вашу руку, как это было в последний раз? Нельзя зайти к Вам домой. Позвольте повидать Вас в конторе. Во вторник и пятницу я совершенно свободен с 12 до 6.

Вы сами говорили о своей горячности. Боюсь, что это письмо возбудит Ваш гнев. Но подумайте: у меня ничего нет, ни надежды, ни сил, ни желаний! Не велика во мне потеря для человечества, я знаю. А совесть велит терпеть и бороться до конца.

Выходит, как будто я потерял родных — и только Вы властны вернуть их мне. Позвольте повидаться с Вами! Больно, горько сказать — «спасите!», но это правда.

Я. Барсков. 18 апр. 1897

Письма написаны Яковом Лазаревичем Барсковым и адресованы моему прадеду Александру Вениаминовичу Бари, а речь в них о будущей моей бабушке Ольге. Оба письма время пигментировало, щедро осыпало старческой гречкой. Первое написано на недешевой бумаге с филигранью, второе — на бумаге попроще. И почерк первого письма отличается от почерка второго. И в том и в другом случае он внятный, учительский, но ясно, что в промежутке между письмами настроение человека изменилось,

(в окрестностях квартиры № 2)

не исключено, что с души его спала тяжесть. Буковки первого письма продуманные, аккуратно бисерные, строки идеально ровные. Второе написано эмоциональнее, почерк крупнее, раскованнее, и даже подпись: «Я. Барсков» размашистее. Почерк второго послания мне симпатичнее, а ведь в процессе доморощенной графологической экспертизы первого письма я заподозрила в авторе хитреца.

Теперь-то я знаю, кем был Яков Барсков, и охотно сняла бы перед ним шляпу, если бы таковая у меня имелась. В те времена Барсков преподавал историю в Первой московской женской гимназии, которую бабушка моя Ольга окончила в 1895 году. Конечно же, бабушкины письма к учителю, те, которые Барсков возвратил прадеду, не сохранились. Но есть их черновики, свидетельствующие о смятении чувств, охвативших юную бабушку и зародившихся в ее душе едва ли не в двенадцать лет.

Человек основательный, Яков Лазаревич счел необходимым назвать прадеду имена общих знакомых, поручителей и гарантов своей порядочности: Василия Осиповича Ключевского — автора «Полного курса русской истории», Владимира Алексеевича Абрикосова (того самого, который «Абрикосов и сыновья»), просвещенного человека и общественного деятеля, а также князя Михаила Федоровича Голицына, в том же 1897 году оставившего пост московского генерал-губернатора и избранного городским головой.

Однако предусмотрительность Якова Лазаревича не повлияла на решение прадеда, отказавшего Барскову в руке дочери. А сильно ли страдала бабушка моя Ольга, об этом можно только догадываться, но известно, что в промежутке между двумя письмами, а именно 9 апреля 1897 года три сестры: Анна, Ольга и Евгения — отбыли в длительное заграничное путешествие. Уехать пришлось Ольге, а не Якову Лазаревичу, потому что и вправду не мог же педагог в середине весны оставить гимназические свои обязанности. В записях позднейших времен конспективно и по годам бабушка отметила важные события своей жизни, есть там и строки, относящиеся к 1897 году: *9 апреля. 1-я поездка за границу... тоска по Барскову...*

Вообще-то Александр Вениаминович был нежнейшим отцом, а вовсе не самодуром, и бабушка не была кроткой смиренницей, так что вряд ли в случае со сватовством Барскова случилось семейное насилие во вкусе драматурга Островского. Вероятно, состоялся тяжелый разговор, догадываюсь, что слез бабушка пролила немало, но отцовские аргументы выслушала, признала их правоту и решению отца доверилась, ведь не случайно письма к дочери прадед подписывал: «Твой друг и папа».

Ну а если бы случилось иначе (ох уж это сослагательное наклонение...) и бабушка приняла предложение Барскова, то совсем по-другому сложилась бы ее жизнь. Может, и поступила бы она на Высшие женские курсы, увлеклась бы лекциями Трубецкого, Виппера, Ключевского и Герье, но в мастерскую к Леониду Осиповичу Пастернаку пришла бы навряд ли, а значит, не стала бы художником...

Между тем взрослая жизнь бабушки складывалась непросто, переживала она и увлечения, и депрессии, и одиночество, а собственной семьей обзавелась спустя 16 лет. Каким образом и как скоро Яков Барсков устроил свою личную жизнь, мне неизвестно, однако жизнь профессиональная ему удалась, и карьеру он сделал блестящую, став в скором времени тайным советником и сенатором.

По первому впечатлению кое-какие фразы в письмах Барскова царапнули слух то ли вычурной, то ли фальшивой нотой. К примеру, опус относительно свойств, присущих пуританину, показался мне льстивым. Но ведь прадед и вправду резко отрицательно относился к роскоши и расточительству, придерживался истинно пуританской строгости нравов, и качества эти, переданные дочерям, помогли им в последующей жизни. Да, прадед был человеком верности и чести, а также помощником гонимых и ущемленных, и свидетельств этому множество.

Смутила меня и такая фраза: *...позвольте заодно с Вашими рабочими считать Вас своим «отцом» за поддержку в нужде и горе.* Но узнав, что Барсков происходил из поморской старообрядческой среды и занимался историей русского старообрядчества, я поняла, что за фразой этой кроется вовсе не самоуничижительный реверанс. Ведь рабочие котельного завода Бари, в большинстве своем жители города Гороховца и его окрестностей, были староверами того же поморского согласия, что и Яков Лазаревич, и, по-видимому, между ними существовала конфессиональная связь.

Долго ли Барсков преподавал в гимназиях, мужских и женских, этого я не знаю, но, как бы то ни было, он успел оказать влияние на мировоззрение ученика Пятой московской гимназии, будущего историка Георгия Вернадского, которому *особенно нравились уроки истории, которые вел Яков Лазаревич Барсков, ученик великого Ключевского. Я.Л. Барсков добивался от гимназистов не только знания предмета, но и его понимания, учил самостоятельно мыслить* (Борис Николаев. «Жизнь и труды Г.В. Вернадского»).

Сохранилась фотография Якова Барскова, пребывающая ныне в семейном альбоме среди фотографий близких и дальних родственников, друзей семьи и просто знакомых, среди узнаваемых и так и неузнанных лиц. На фотографии молодой пышноволосый мужчина с окладистой бородой, лицо значительное, взгляд стараниями ретушера острый и даже пронзительный. Извлекла я ее из пачки «картолин» с изображениями учителей, классных дам и гимназисток – девушек рождения 1878–1879 годов, бабушкиных одноклассниц. Такая существовала традиция, окончив гимназию и расставаясь навеки, обмениваться фотокарточками с добрыми словами и пожеланиями. Толстенькая, крест-накрест перевязанная выцветшей тесемкой колода фотографических карточек 1895 года. Изредка я перебираю «картолины», тасую их, вглядываюсь в лица, задумываюсь о судьбах девушек, к Октябрьскому перевороту достигших цветущего женского возраста. А для того чтобы вообразить, как сложились их жизни, что всем им пришлось претерпеть, где, как и когда

(в окрестностях квартиры № 2)

закончили они свой век, для этого фантасмагорическая эпоха предоставила немало вариантов, несть им числа...

И учителя, и ученицы Первой женской гимназии сфотографировались в одном формате, но в разных фотоателье. Все фото наклеены на плотный картон с декоративными оборотами — рекламой ателье. Одна композиция изощреннее другой, некоторые изящны, другие перегружены красотами, бесконечно разнообразны шрифты. Большинство гимназисток, в том числе бабушка, выбрали «Большую Французскую фотографию» (Столешников пер., дом Никифорова). Некоторые сфотографировались у Ю. Мебиуса на Большой Лубянке (дом Мосолова, против Кузнецкого Моста). Кто-то предпочел Овчаренко (Тверская, дом Олсуфьева близ дома генерал-губернатора, рядом с магазином Андреева в Москве). А так как в позапрошлом веке между московскими фотоаграфами существовала серьезная (и надеюсь здоровая) конкуренция, то фотографировались и у И. Данилова (Мясницкие ворота, д. Кабанова против телеграфа); и у «придворного фотографа Его Величества шаха Персидского, Его Величества короля Сербского, Его высочества Эрцгерцога Австрийского, Его Высочества Князя Черногорского и Его Высочества наследного Принца Швеции и Норвегии» Г.В. Трунова (Петровка, д. Ферсановой, над магазином Вандраг); и у М.П. Волокова (Бол. Лубянка, д. кн. Голицина); и у Бродовского (Газетный пер., угол Кузнецкого Моста, д. Хомяковых); и у Павлова (Мясницкая, дом Вятского подворья против книжного магазина бр. Салаевых); и у Д. Бутаева (Тверская, д. Шепинга против Страстного монастыря); и в «Общедоступной фотографии Покровка» (близ Земляного вала, дом Шишелова); и у Курбатова (Тверская, дом Мятлева); и в «фотографии Его Императорского Величества под фирмою Шерера, Набольца и Ко у Шиндлера и Мэя» (Большая Дмитровка, против Купеческого клуба д. Пустышкиной); а также у «классного художника С.-Петербургской Императорской Академии Художеств Фр. Опитца» (Петровка, дом Самариной против Петровского монастыря). А бабушкина одноклассница Анна Герценберг незадолго до выпуска побывала в Санкт-Петербурге и сфотографировалась в «Фотографии Его Императорского Высочества В.К. Владимира Александровича и Ея Императорского Высочества В.К. Марии Павловны» (Невский, 18–12). Что же касается Якова Лазаревича Барского, то он, как и многие его ученицы, предпочел фотоателье Р.Ю. Тиле, «фотографа его Величества короля Саксонии, Общества русских врачей, Московского общества любителей художеств и Всероссийского исторического музея» (угол Кузнецкого Моста и Петровки, д. Михалкова). Перечисление фотоателье длинно, однако чудится мне, будто музыка имен, названий и адресов давным-давно не существующих фотографов и фотоателье согревает сердца старых москвичей (сужу по себе)...

Судьба бабушкиного наставника и несостоявшегося жениха после Октябрьского переворота складывалась драматически. Вот, к примеру, приказ по Министерству иностранных дел:





Н а ш | п е р е у л о к

Изобразительный
ряд
выстроен
в соответствии
с последовательностью
очерков



Семен Борисович Айзенман и Ольга Александровна Бари-Айзенман. 1914 г.



С. Б. Айзенманг

КВАРТИРНАЯ

РАЗЧЕТНАЯ КНИЖКА

по дому *№5*
состоящему по *Мансуровскому*
части участка, на
Серебряной Пресне улице.

Н. В. Н.

ИЗДАНИЕ

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ.



МОСКВА
Государственная Типография.
1916

Квартирная расчетная книжка. 1918 г.

Двор дома №3 по Мансуровскому переулку,
на заднем плане дом Лоськова, справа дворницкая Гордеевых



Мансуровский переулок.

Дом № 3.

Дом № 9 (дом Топлениновых) и ограда дома Кузнецовых

Н а ш переулок



Мы с мамой во дворе нашего дома. 8 мая 1948 г.



Таня и Алеша Айзенман. 1922 г.



*С мамой и бабушкой. 1953 г.
Алексей и Изольда. Середина 50-х*



Евгений и Наталья Вельчинские. 1974 г.



Натasha с фокстерьером Пегги. 1979 г.



Школьницы. Таллин. Конец 30-х

Аттестат Ольги Бари. 1895 г.



*Шереръ, Набгольцъ и Ко
Москва!*

Александр Вениаминович Бари. 1895 г.



Ольга Александровна Бари. 1895 г.



Яков Лазаревич Барсков. 1895 г.



Альфред ле Петит. Портрет Ольги Бари. Париж. 1897 г.



Серебряная свадьба Бухгеймов...



Александр Вениаминович и Зинаида Яковлевна Бари. 1898 г.

*Фотография — подарок детей
к серебряной свадьбе родителей. 1898 г.
На первом плане: Екатерина, Анна, Мария, Виктор,
Георгий и бабушка Генриетта Сергеевна Бари;
стоят: Владимир, Лидия, Ольга, Евгения*

*Дом Бари на перекрестии
Архангельского,
Кривоколенного
и Потаповского
переулков*

Серебряная свадьба Бухгеймов...



*Свадьба Семена Айзенмана и Ольги Бари.
15 сентября 1913 г.*



*Ольга и Семен Айзенман
с дочерью Татьяной. 1914 г.*



*Евгения Эдуардовна
и Борис Николаевич Бухгейм. 1910-е*

Серебряная свадьба Бухгеймов...

ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ

Орган партбюро ВКП(б), рудкома и управления Дегтярмедьруды

Среда,
9 июня 1943 г.
Цена 5 коп.

Демонстрация народного патриотизма

Яркой демонстрацией народного патриотизма прошла по стране подписка на Второй Государственный Военный Заем. В предельно ко-

Подписку закончили за час

В энергонехе подписка за час была закончена ровно через час после объявления постановления правительства о выпуске займа. Сумма подписки значительно превышает месячный заработок коллектива. Многие, как, например, тт. Михеева, Рязанов, Иванов

Готовы подписать рапорт вождю

Коллектив цеха №1 2-го июня закончил выполнение полугодового плана по выпуску продукции. Этим коллектив еще раз доказал свою работоспособность, свою преданность родине и товарищу Сталину. 28 дней мы будем работать в фонд Верховного Главного Командования, давая продукцию сверх нормы на.

результаты. В мае одна из них — Тамара Шумилова выполнила норму на 200 процентов, Селезнева — на 162 процента, Зоя Мазунина — на 153 процента.

Замечательно работают по-прежнему наши стахановцы кадровики. Матвеева выполнила в мае норму на 141 процент, т. Ключкин — на проц., Кутергина — на проц., Кучева — на проц., Боброва — на проц., Соловьева — на проц.

Выставка кружка юных художников

В библиотеке школы №16 организована небольшая отчетная выставка кружка изобразительного искусства. На выставке представлены работы учащихся — иллюстрации к произведениям Пушкина, натюрморты, карандашные наброски, стенные газеты.

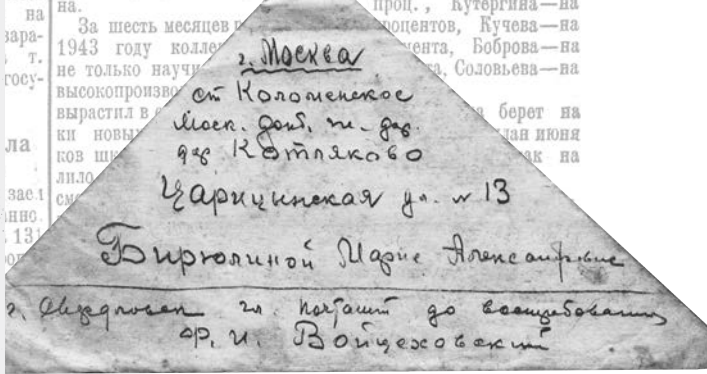
С большой любовью и тщательностью подготовили юные художники щиты пушкинской выставки, упорный труд ребят, выскательность и требовательность руководителя кружка — Ольги Александровны Айзенман

чувствуются в исполненных акварелью натюрмортах и карандашных набросках с натуры, о кропотливой работе говорят оригинально оформленные стенгазеты.

Из работ, представленных на выставке, выделяются рисунки даровитых учеников Аркадия Коренева, Михаила Пинятева, Пупышевой, Семенничева.

Надо только пожелать, чтобы в будущем году ценная работа по художественному воспитанию учащихся была продолжена и расширена.

И. Белов.



Заметка о выставке кружка юных художников, который вела бабушка, в газете «За Большую Дегтярку». 9 июня 1943 г.

Неотправленное письмо Ф.И. Войцеховского. Июль 1943 г.

Дневник моей тетушки



Эмик Гроссман за роялем. 1920 г.



Эммануил Иосифович Гроссман с дочерью Таней. Середина 40-х



*Таня Айзенман и Валя Старикова
в Музее изобразительных искусств.
1930 г.*



*Алексей Айзенман.
Портрет сестры Татьяны.
1947 г.*



Марк Сливаков и Иза Дасковская
с пойнтером Грезой. Курск. 1925 г.



Рахиль, Иза и Татьяна Дасковские.
Харьков. 1930 г.



В пионерском лагере в окрестностях Харькова.
Начало 30-х





*Восьмой класс школы № 10. Во втором ряду в центре Иза Дасковская и Оля Лысяк. Новосибирск. 1936 г.
Иза Дасковская и Лидя Змиева. Томск. 1938 г.*

Похвала групповым фото



*Нелли Зислин, Лева Иоффе, Шура Лебидинская
с сыном Марком. 1939 г.*

*Мама (справа) с сослуживицами по школе-семилетке
шахтерского города Прокопьевска. 1939 г.*



*Выпускницы
Московского института
иностраннх языков
с любимым преподавателем.
Изольда Дасковская
в первом ряду слева. Москва. 1946 г.*



*Мелита Оттовна Кушкий
со студентами. Начало 50-х*



Кафедра иностранных языков Московского института тонких химических технологий (МИТХТ). Сидят: в центре заведующая кафедрой Е.Н. Гуревич, крайняя справа М.С. Казеева, остальных идентифицировать не удалось; стоят: неизв., Е.А. Барыкова, С.С. Малая, М.А. Погодина, М.О. Кушкий, И.Ф. Дасковская, Р.П. Байч, М.Г. Русина. Конец 40-х.

Педагоги кафедры иностранных языков МИТХТ.

Сидят: М.С. Казеева, М.А. Погодина, заведующая кафедрой Е.А. Барыкова, С.С. Малая, И.Ф. Дасковская; стоят: М.Г. Русина, Л.Ф. Бессонова, Р.П. Байч, Н.А. Крайнова (Этуш). Начало 60-х

П о х в а л а групповым фото



*Наша квартира в Мансуровском переулке
Коммунальная кухня в квартире № 2*





*Комната моей тетушки Татьяны
Во дворе с соседкой тетей Дусей и ее внуком Славиком
Телефон на стене нашего коридора
Дедушка – Семен Борисович Айзенман
Бабушка – Ольга Александровна Бари-Айзенман*



Рисовальная группа бабушки. Арбат, д. 4, квартира Василенко–Шамбинаго. 30-е



*Художники
Ника Гольц, Татьяна Лившиц, Илларион Голицын. 90-е*



Елизавета Александровна Барыкова



*Тетя Феня со своими сыновьями
и сыном Елизаветы Александровны
моряком Андреем Мельниковым*



*Поздравительные открытка
и телеграмма от журнала «Крокодил»*

*Художники копийного цеха
на первомайской демонстрации. Конец 40-х*



*1-й класс «В» московской школы № 50. 1956 г.
В день окончания первого класса*



*В пионерском лагере
с подругами Леной Мироновой
и Олей Никоновой. 1957 г.*



На ВДНХ. Мы с мамой и Мария Николаевна Калмыкова с семьей сына Алексея. 1958 г.

Пикник на ВДНХ. Мария Константинова, Татьяна Горячева, Лолита Петрашина, Наталья Вельчинская, Вера Хлебникова, Анна Альчук, Ирина Затуловская. 1994 г.

Хинди - руси бхай-бхай



*С внуком Егором
на даче в Троицкой.
2004 г.*



*Наташа Вельчинская и Саша Васин
Евгений с нашим шпицем Федей
Егор Васин*



Аппликация ученика бабушки
Юрия Рыжова. 1945 г.

Интерьер. Фотография. 1910-е.

Интерьер. Акварель Юрия Рыжова. 1945 г.

Б а й к и — нераскаявшейся бархольщицы



*Открытие памятника Гоголю.
26 апреля 1909 г. Скульптор Николай Андреев*



*Дети на Гоголевском бульваре.
Алексей Айзенман крайний справа. 1927 г.*

Б а й к и — нераскаявшейся бархольщицы



Palanga
/84

Творческая группа
промграфиков



*Владимир Иванович Костин и Татьяна Семеновна Айзенман
на выставке Союза художников. Конец 50-х*

*В Паланге. Дом на углу улиц Меджиотою и Пионерю. Петя Калмыков,
Тема Майданек, девочка Наташа, мы с кузиной Ирой Фишгойт. 1959 г.*

Творческая группа в Паланге. 1984 г.



С. С. С. Р.
Союз труда и обороны
Высший совет
по стандартизации

ИЗДЕЛОВОЕ СТАНДАРТ
КРУЖКА ДЛЯ ПИВА, ИВАСА и т.п.
Формы и размеры

ОСТ 3560

| Положительные отклонения | Условные размеры в условных единицах | | | | | | Выс 100 мм, округленные значения |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | H | B | h | b | R | r | |
| 100 | 100 ± 1 | 60 ± 1 | 40 ± 1 | 30 ± 1 | 20 ± 1 | 10 ± 1 | 100 |
| 200 | 200 ± 1 | 120 ± 1 | 80 ± 1 | 60 ± 1 | 40 ± 1 | 20 ± 1 | 200 |

Примечания: 1. Нормальные размеры указаны в условных единицах.
2. Для фактических размеров, указанных в таблице, отклонения для изделий с общей допусковой категорией 2 и 3 (ГОСТ 1801) г.
3. Толщину и высоту стенок specify выс размер.

Утверждено. Издательство стандартов. Москва. 1976 г.

Борьба за качество продукции. Без стандартизации.



*Домик в Зачатьевском монастыре.
Наша мастерская на первом этаже*

С Наташей возле нашей мастерской. 1976 г.

*Параметры пивной кружки и одна из подобранных кружечек
предполагаемого авторства Веры Мухиной*

Б а й к и нераскаившейся барохольщицы





*Дом Нины Ранд в Вызу
Нина Ранд в молодости*

*В Коктебеле с Сережей Коваленковым
и Леной Трофимовой. Конец 70-х*

*В саду Нины Ранд. Рина Бренер,
Натasha Вельчинская, Инга Саранд,
Нина Ранд и я. 1994 г.*



СИМОНОВСКИЙ ЛАЗАРЕТЪ



ВИДЪ НА СИМОНОВЪ МОНАСТЫРЬ.

МОСКВА.



ЗЕМСКИЙ ЛАЗАРЕТЪ
ФАБР.-ЗАВ. И ПРОМ. ПРЕДПРИЯТІЙ
СИМОНОВСКАГО РАЙОНА
ПРИ ЗАВ. ИНЖ. А. В. БАРИ.



КРЕМЛЬ.

*Земский лазарет при заводе инженера А.В. Бари.
Открытка*

*Мария Александровна Бари.
Весна, 1908 г.*

Манин приданое.

28. февраля 1917 года.

Ситровый сг
агурный рудовый } 84.

12 полотенец 41.

Линная скатерть ^{1 3/4 арш.}
с узором в сиреневом } 13.60.

Линная скатерть
голубая в сиреневом ^{3 арш.} } 23.45.

Скатерть белая
на 12 персон } 35.55.

и 12 салфеток } 14.
12 носовых
полотенечков } 21.90к.

Октябрь 1917 г. 411.52.

24. Кофрейнская мед-
зашифованная } 54.60.
полоскательница } 20.-

Ноябрь 1917.

16 Записная
12 полотенец } 8.40.

Декабрь 1917.

122. Туча-тоника 9.-

6.493.52к.

Январь 1918.

252. Дано на
визитницы } 400.

Февраль 1918

Губернская
тисуда } 109.

5 скверодов

3 кюветы

3 фартука

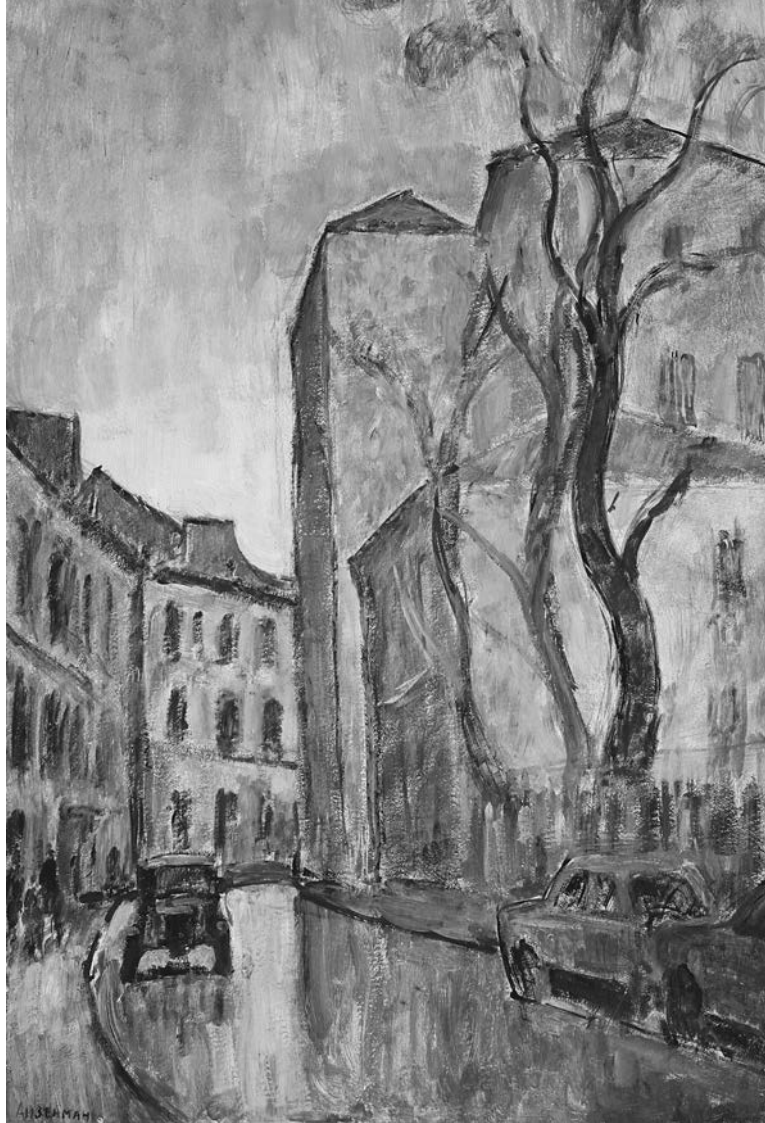
Март 1918

Ситовый обдирный
кушетки у } 150р

Козме Алексеев

7.15252к.

Страницы из записной книжки
с перечнем Маниного приданого

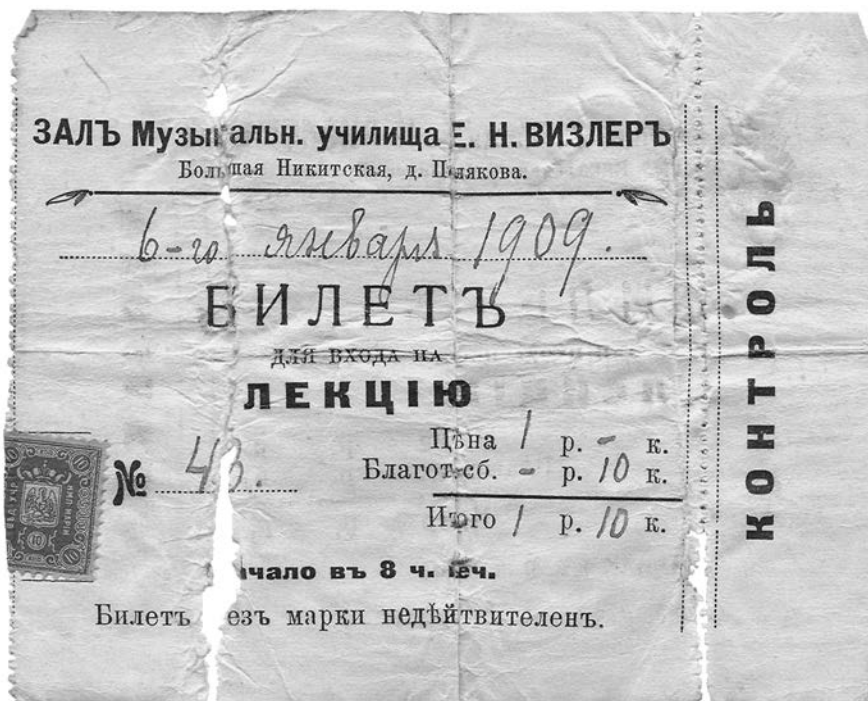


Алексей Айзенман. «В Потаповском переулке». 1971 г.

Павел Гиленсон



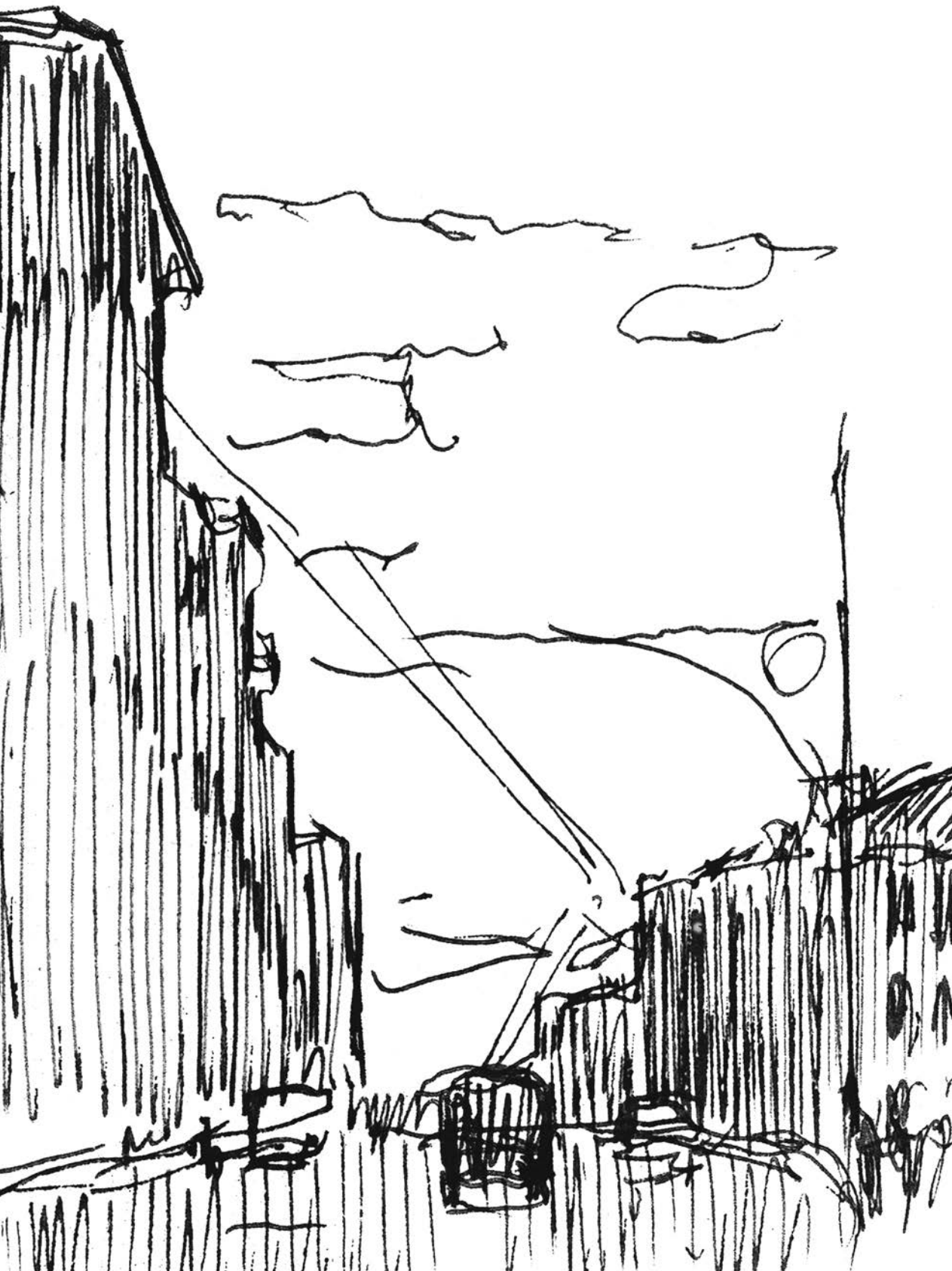
Алексей Айзенман



Билет на лекцію Андрея Белого

Рисунок Ольги Бари на обороте билета. 6 января 1909 г.

Д а р ы и дарители



За отказ от подчинения Совету народных комиссаров увольняются от должности без права на пенсию:

Товарищ министра иностранных дел Анатолий Анатолиевич Нератов.

Директор канцелярии Борис Алексеевич Татищев.

Товарищ министра Александр Михайлович Петряев и чиновники министерства: Герман Павлович Ухтомский, Владимир Борисович Лопухин, Николай Петрович Юдин, Василий Иоаннович Шавельский, Григорий Григорьевич Епифанов, Алексей Николаевич Орлов, Яков Лазаревич Барсков, Иван Карпович Лысенко, Александр Николаевич Раевский, Александр Эдуардович Нюман, Григорий Евгеньевич Пащенко, Федор Андреевич Семенченко, Алексей Константинович Беляев, Владимир Иванович Некрасов, Алексей Алексеевич Губарь, Николай Николаевич Маслов, Михаил Иванович Муромцев, Алексей Васильевич Блинов, Константин Карлович Фетерлейн, Евгений Карлович Памерский, Карл Владимирович Циглер, Александр Оттович Струве, Юрий Геннадиевич Удинцов, Николай Николаевич Щелкунов, Александр Николаевич Марисов, Александр Владимирович Григорьев, Василий Иванович Беляев, Николай Михайлович Старченко, Лев Владимирович Урусов, Владимир Владимирович Таубе.

Список остальных увольняемых чинов будет опубликован завтра. Народный комиссар по иностранным делам Л. Троцкий.

13 ноября 1917 года.

*«Известия» № 225,
14 ноября 1917 г.*

А из писем старообрядческого публициста Ивана Акимовича Кириллова Якову Лазаревичу Барскову («Благодарю Бога, что привел мне родиться в старообрядческой семье», библиотека Якова Кротова, приложение к журналу «Церковь», выпуск 4, 2007), писанных в 1917–1918 годах, выяснилось, что Яков Лазаревич был-таки женат, имел сына и жил в Питере, и Иван Акимович настоятельно уговаривал Барскова перебраться в Москву, поступить на службу в Первую учительскую семинарию и обещал добрый прием в кружке единомышленников и близких по духу людей. Ответы Барскова на теплые письма Кириллова в публикации отсутствуют, видно, не сохранились...

В Москву Барсков не переехал, остался в Питере, исполнял обязанности директора бывшего Государственного и Петроградского главного архива МИДа, а в 1919 году стал одним из инициаторов издания журнала «Исторический архив», членом издательской комиссии Петроградского отделения ГУАД (Главного управления архивным делом) и заведующим III отделением I секции ЕГАФ (Единого государственного архивного фонда).

Сохранилась анкета 1929 года, из которой выяснилось, что к своим шестидесяти семи годам Барсков заработал звание «бригадира-ударника».

(в окрестностях квартиры № 2)

А в середине 30-х Яков Лазаревич подготовил к изданию в серии «Библиотека поэта» две книги: «Вирши. Силлабическая поэзия XVII–XVIII веков» и «Поэты XVIII века».

Да уж, слава, слава интернету! Мои потуги если и не реконструировать образ Якова Лазаревича, то хотя бы что-то узнать об этом человеке увенчались-таки успехом! Вот статья Натана Яковлевича Эйдельмана, написанная в 1989 году и опубликованная в блоге ПЕДСОВЕТ.ORG, 12-й Всероссийский интернет-педсовет.

Яков Лазаревич Барсков (1863–1937 гг.) происходил из поморской старообрядческой среды (кстати, среди его работ имеется обширная публикация «Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб. 1912»). Преподаватель гимназии, допущенный позже к разбору рукописей дворцового архива, он имел доступ к разнообразным, порою практически недостижимым для многих ученых историко-литературным материалам. Занимая заметные официальные посты, став тайным советником и сенатором, Барсков тем не менее сохранил широкий подход к проблемам истории и литературы XVIII столетия. Его профессиональные интересы сосредоточивались в основном на двух темах. Одна — литературная и общественная, в том числе революционная, мысль (ученый до и после социалистической революции опубликовал значительные работы об А.Н. Радищеве, Н.И. Новикове, Кутузове, И.В. Лопухине и др.). Другая его постоянная тема — Екатерина II, ее государственная и литературная деятельность; 12-томное академическое издание сочинений Екатерины II после кончины в 1904 г. А.Н. Пыпина возглавил Барсков. Ему же принадлежит заслуга в составлении и комментировании последнего тома екатерининского собрания, вышедшего в 1907 г. и включившего в себя семь редакций мемуаров царицы, а также ряд мемуарных фрагментов. Публикацией Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева (1859 г.) в русской легальной печати впервые были обнародованы эти ценные документы. Об особенностях издания мемуаров царицы, достижениях и трудностях комментаторов Барсков рассказал во вступлении к изданию. Среди приложений к основному тексту записок императрицы публиковалось несколько важных документов, связанных с Потемкиным: «Чистосердечная исповедь», открывавшая переписку царицы с фаворитом, а также одно из позднейших (июнь 1789 г.) писем Екатерины князю Таврическому. В комментариях к этим фрагментам Барсков рассказал о том, как эти документы с соблюдением большой секретности хранились во дворце: ознакомившись с «Чистосердечной исповедью», Николай I, например, приказал 1 декабря 1841 г. запечатать документы «в секретном шкафу кабинета в Аничковом»; из этого шкафа рукопись

была извлечена лишь 24 сентября 1898 г. для подготовки академического издания.

При подготовке академического издания сочинений Екатерины II Барсков ознакомился с сотнями ее писем и записок Потемкину: как с теми, что публиковались в разных изданиях, так и с неопубликованными. Обнародование откровенных, а порою интимных документов императрицы было невозможно или, во всяком случае, затруднительно даже в начале XX в., поэтому некоторые из собранных им материалов ученый смог предложить издательствам только после 1917 года. В 1918 г. он публикует комплекс, «родственный» тому, который позже предложит Бонч-Бруевичу: 63 письма Екатерины II одному из ее фаворитов, П.В. Завадовскому. Многие соображения ученого, высказанные в этой и других публикациях, обнаруживали наличие большого, еще не полностью реализованного запаса исторических, литературных и бытовых сведений о Екатерине II и ее времени.

Колоритная личность Барскова осталась в памяти исследователей старшего поколения. Известный филолог профессор С.А. Рейсер по просьбе автора этих строк в письме от 22 июля 1988 г. поделился своими воспоминаниями о Барскове, которые мы цитируем с разрешения мемуариста: «По моим записям, Яков Лазаревич Барсков скончался 17 августа 1937 г. Из большой барской квартиры его все время вытесняли, и он говорил, что пока ему оставили ванную — довольно большую комнату. Он шутил, что в ванне спать очень удобно. В сущности, он проводил почти все время в Публичной библиотеке, в так называемом „предбаннике“ — фойе перед залом для научных работников, тогда на первом этаже, сейчас это отдел картографии и стол записи новых читателей. Там мы (Гуковский, я и другие) сидели часами, беседуя с ним... Он не раз касался вопроса о происхождении Екатерины II и считал не лишним основания слух о том, что она дочь Бецкого. По его словам, когда Бецкой умирал, Екатерина просидела в кресле возле его постели всю ночь — откуда он это взял, не помню.

Если не ошибаюсь, он получал пенсию — тогда ее давали немногим. Основания были такие: „Был у меня племянник, сын покойного брата, человек ‘предсудительного’ (его слова) образа мыслей — все путался с революционерами и не раз скрывался у меня. А я был уже в высоком чине, и полиция не рисковала ко мне являться. Племянник привел как-то какого-то революционера, и я его несколько дней у себя скрывал. Мы с ним много спорили о революции. После революции я узнал, что это был Молотов (я не вполне уверен в этой фамилии, может быть, кто-то другой, но видный большевик). Это было одно из оснований выплаты мне пенсии“...

(в окрестностях квартиры № 2)

Хорошо знал Я.Л. и интимную хронику столицы. Помню вечер „соревнований“ с одесским Б.В. Варнеке, который тоже ее хорошо знал, — сам сын Садовского, артиста... Был Я.Л. очень по-старомодному учтив. Очень интересовался старообрядцами, и подозреваю, что сам был их веры».

Сверх того, Барсков рассказывал Рейсеру, что Александр III справлялся у него, кто был истинным отцом Павла I: узнав, что сама Екатерина намекала на отцовство С.В. Салтыкова, царь бурно радовался, что у него больший процент русской крови, чем принято было считать. Подборка, публикуемая почти через 60 лет после ее создания, приобретает ныне дополнительную историческую и историографическую ценность. Незаурядность исследователя, уникальность его знаний, воспоминаний и наблюдений делают его вступительную статью к «Письмам» неотъемлемой частью историко-литературного памятника. Вряд ли кто-либо в ту пору, да и сегодня, мог бы произвести столь объемное сопоставление эпистолярного наследия Екатерины II с ее мемуарами и кругом чтения, а также определить место переписки в политической биографии императрицы. Отметим также, что во вступительной статье помещены отдельные мемуарные заметки Барскова, носящие одновременно исторический и историографический характер. Таково указание на (очевидно, устную) информацию, полученную им в начале XX в. от историка Шумигорского. «Тщательное сопоставление всех редакций „Мемуаров“ (Екатерины) и других данных привело Е.С. Шумигорского к уверенности, что Павел был Петрови-чем не только по имени, но и по происхождению»; таковы же, по всей видимости, сведения о явном предпочтении, которое Николай II отдавал Павлу I по сравнению с его матерью. Даже с позиций сегодняшней науки мы не находим особой апологетики во взглядах Барскова на Екатерину II; как раз за это он упрекает одного из своих предшественников, В.А. Бильбасова, и подчеркивает, что после подавления восстания Пугачева начался период деспотизма. Интерес представляют соображения Барскова о механизме самодержавной власти в XVIII в. и роли в нем фаворитизма. Отнюдь не ради смакования сплетен и копания в интимных подробностях он анализирует историю екатерининских фаворитов, ясно понимая и показывая, что каждый из них и затем смена любого имели немалое влияние как в России, так и порою за ее пределами на судьбы миллионов людей. Поэтому тот, кто хочет изучать реальные судьбы народов, не может пройти мимо данного обстоятельства. Еще публикуя письма Екатерины II Завадовскому, Барсков составил своеобразную хронику фаворитов: 1752–1754 гг. — С.В. Салтыков; 1756–1758 гг. — С. Понятовский; 1761–1772 гг. — Г.Г. Орлов;

1772–1774 гг. — А.С. Васильчиков; 1774–1776 гг. — Г.А. Потемкин; 1776–1777 гг. — П.В. Завадовский; 1777–1778 гг. — С.Г. Зорич; 1778–1779 гг. — И.Н. Корсаков; 1780–1784 гг. — А.Д. Ланской; 1785–1786 гг. — А.П. Ермолов; 1786–1789 гг. — А.М. Мамонов; 1789–1796 гг. — П.А. Зубов. Сверх того, Барсков называет еще несколько, менее известных в данном качестве лиц: Стахиев, Страхов, Левашов, Ронцов, Высоцкий, Мордвинов.

Указанные французским публицистом Кастера 92,5 млн. руб., потраченные Екатериной II на фаворитов, Барсков считал заниженной цифрой, ибо «под чужим именем они участвовали в выгодных предприятиях, откупах, поставках, подрядах». Интересны наблюдения Барскова, касающиеся борьбы за власть и разных политических перемещений в результате смены очередного фаворита. Так, политические затруднения 1774 г. после окончания турецкой войны и в ходе восстания Пугачева, а также опасные притязания партии братьев Орловых стимулируют стремление Екатерины найти твердую политическую опору в давно известном ей участнике переворота 1762 г. Григории Потемкине. Личная склонность и политика здесь соединяются, о чем было откровенно сказано Екатериной II в упоминавшейся «Чистосердечной исповеди».

Эйдельман Н. Я. 1989

Вдохновившись чудесным уловом, я снова забросила виртуальную удочку и вытащила из глубин интернета статью Сергея Шумихина «Бонч и Зильбер. Правдивая история переписки Екатерины с Потемкиным», имеющая самое непосредственное отношение к Якову Лазаревичу.

Работая над книгой «Грань веков», историк Натан Эйдельман обнаружил в фонде Бонч-Бруевича в отделе рукописей Ленинской библиотеки корректуру «Писем Екатерины II к Григорию Потемкину» с предисловием и комментариями Я. Барскова. К ней была приложена записка Бонч-Бруевича от 10 октября 1950 г. Это исследование «Писем Екатерины II к Потемкину» с предисловием и комментариями Я. Барскова не было разрешено к печати в советское время. Придет время, когда его у нас напечатают. Они нуждаются в остро-политическом предисловии. Я хотел их напечатать в «Летописях» Гослитмузея. Получил я их в 1932 году и тогда намеревался поместить в сборниках «Звенья». На время пришлось отложить. Предисловие Барскова аполитично. Он не вскрыл по ним всю ту мерзость и запустение, которые царили при дворе Екатерины II и ее окружении — этой кульминационной точки разложения феодального дворянства и аристократии. Если написать такое предисловие, то и эти письма, и записочки великой блудницы принесут пользу истории. Этот единственный сохранившийся оттиск надо

(в окрестностях квартиры № 2)

хранить среди рукописей и на правах рукописи — в коробках материалов для сборников «Звенья». Может быть, удастся их напечатать при моей жизни. Мне очень желательно написать предисловие и политически осветить эту закулисную придворную жизнь того времени, а также характеристику действующих лиц.

Эйдельман опубликовал найденную корректуру переписки императрицы со своим фаворитом. К сожалению, эта публикация стала последней работой ученого и завершилась печатанием уже после его смерти.

В 1997 г. в серии «Литературные памятники» вышел монументальный том «Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791». Подготовивший публикацию В.С. Лопатин в предисловии цитирует донос, поступивший в 1937 г. в Народный комиссариат иностранных дел (почему же не в НКВД?). Указан архивный шифр доноса (ГАРФ. Ф. 5325. Д. 1219. Л. 2), однако имя доносчика не разглашается. Аноним сообщал, что «...профессор Г.А. Гуковский в разговоре совершенно частного характера рассказал, что год-полтора тому назад в Ленинграде был сотрудник газеты „Пари суар“ (Франция) Удар, опубликовавший после своего возвращения в Париж неопубликованную до того интимнейшую переписку Екатерины II с Потемкиным. В это издание вошло около двухсот писем Екатерины вместе с комментариями, расшифровывающими намеки, клички и т. п. В комментариях узнал свою собственную работу известный ленинградский историк-архивист Барсков, обработавший письма для печати. Работа его была доведена до стадии корректурных гранок, когда в Париже вышло помянутое издание Удара, после чего выход книги Барскова не состоялся, а письма Екатерины (подлинники) значатся, как говорил профессор Гуковский, утерянными!»

Далее В.С. Лопатин пишет: «Началось расследование, к которому подключилось НКВД. Оказалось, что подлинники писем целы, что работа Барскова действительно стояла в плане и была набрана, когда несколько лет тому назад она была продана при посредстве М.Е. Кольцова французскому журналисту Удару, специально приехавшему для этого в Москву. Тогдашний глава архивного ведомства настаивал на выяснении обстоятельств „этой сделки, несомненно, не выгодной и политически неправильной“, и требовал привлечь к ответственности виновных».

Кольцов вскоре оказался в застенках НКВД. Надо полагать, не за передачу Жоржу Удару писем Екатерины II. Зильберштейн и другой участник сделки К.А. Уманский (тогдашний глава Литературного агентства, впоследствии видный советский дипломат) не пострадали. Барсков умер в 1937 г. своей смертью. Но дело было сделано. Письма появились в печати, правда в переводе на французский

язык (*Lettre d'amour de Catherine II a'Potemkine, publiéets par Georges Oudard. Paris: Calman-Leévy, 1934*).

Думается, что меркантильные соображения в этом деле не имели места, и Лопатин напрасно пишет как о тройственной «делке», так и о покупке (интересно, у кого же? У Зильберштейна? Или у Кольцова?) Бонч-Бруевичем гранок подготовленной публикации. Дополнительный свет на эту темноватую историю проливает письмо Зильберштейна Бонч-Бруевичу от 7 декабря 1934 г.:

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич,

Разрешите проинформировать Вас по поводу появления в журнале «Revue de Parise» публикации писем Екатерины к Потемкину.

Год назад в Москву приехал французский журналист Жорж Удар. Здесь он посетил ряд издательств, в том числе и «Журнально-газетное объединение». Руководитель — М.Е. Кольцов показал Удару последние издания «Журнально-газетного объединения», в том числе и номера «Литературного наследства». Удар заинтересовался дальнейшими планами этого журнала, в частности номером, посвященным XVIII веку, в состав верстки которого и входила публикация писем Екатерины Потемкину с примечаниями Я.Л. Барского. Эту публикацию Удар просил разрешить ему одновременно опубликовать в Париже, и так как выход номера, посвященного 18 веку, с этой публикацией предполагался в самые ближайшие месяцы, то т. Кольцов лично и передал Удару верстку писем Екатерины к Потемкину. Причем казалось совершенно очевидным, что при публикации самих писем Удар полностью сохранит аппарат Барского и тем самым его имя.

Ознакомившись уже с последними двумя номерами журнала «Revue de Parise», в которых Жорж Удар опубликовал со своим предисловием и якобы со своими примечаниями 100 с лишним писем Екатерины, я убедился, что передо мной факт литературного мародерства, так как и его предисловие, и его примечания целиком заимствованы из аппарата Барского к этим письмам, предполагавшимся к опубликованию в «Литературном наследстве».

С искренним уважением И. Зильберштейн

Публикация Ж. Удара, фактически украденная у «Литературного наследства», произвела большое впечатление на русскую эмиграцию, не имевшую повода заподозрить во французском журналисте литературного мародера. В №№40–43 за 1934 г. парижского популярного журнала «Иллюстрированная Россия» печаталась большая статья Анны Кашиной-Евреиновой (жены театрального режиссера и драматурга Н.Н. Евреинова) «Великая в любви. Екатерина II по недавно опубликованным письмам к кн. Потемкину», где сама находка

(в окрестностях квартиры № 2)

писем приписывалась Удару, который на деле ни к истории, ни к археологии никакого отношения не имел. «Жорж Удар, известный французский журналист, побывавший несколько раз в Советской России, вывез оттуда недавно найденную и еще не опубликованную переписку Екатерины Второй с Потемкиным. Он решил немедленно опубликовать эти письма по-французски и поручил мне их перевод и комментарии», — писала Кашина-Евреинова. Лопатин же в своем послесловии к изданию серии «Литературные памятники» отмечал: «Переписка раскрывала не только взаимоотношения возлюбленной женщины-императрицы со своим избранником. Она показывала, как в огромной империи можно править, не прибегая к перманентному террору, запущенному в Советской России „старой ленинской гвардией“, к которой, кстати говоря, принадлежал и В.Д. Бонч-Бруевич, один из первых организаторов специальных служб нового режима. Знал ли соратник В.И. Ленина о том, что подготовленные профессором Я.Л. Барсковым письма были напечатаны во Франции и вызвали настоящий ажиотаж?!»

Конечно знал. Но говорить не хотел, даже в 1950 г., даже в личной, предназначенной для хранения в архиве записке. Кроме того, из его записки неясно, в каком же издании предполагалось поместить публикацию Барскова: Бонч-Бруевич пишет вначале о «Звеньях», затем о «Летописях ГЛМ». И то и другое неверно. На последней странице 7/8 тома «Литературного наследства» (1931) можно прочесть объявление о находящемся в печати томе 9/10 (вышел в свет в 1933 г.), посвященном литературе XVIII в., в котором анонсировалась эта переписка.

Но и Зильберштейн, спустя 34 года давая интервью «Литературной газете», также не захотел вспоминать подноготную этой истории. Он свидетельствовал: «Когда мы с И.В. Сергиевским в 1933 году подготовили том „XVIII век“, один из авторов тома, известный ученый Я.Л. Барсков, предложил нам публикацию неизданных писем Екатерины II к Потемкину, но мы от нее отказались: документы эти не имели никакого отношения ни к литературе, ни к истории и отличались изрядным количеством интимных подробностей».

На деле интимностей в переписке было немного, а по сегодняшним меркам не было вовсе. А прозвучавшие в послесловии Лопатина обвинения не «просто» в нарушении научной этики, но фактически в уголовном преступлении, выразившемся в продаже иностранцу готового к печати материала через голову публикатора (насколько можно судить, Барсков в этой истории вообще остался не у дел), должны быть безоговорочно сняты как с И.С. Зильберштейна, так и с М.Е. Кольцова, а также с неизвестного нам К.А. Уманского.

Характерно, что, основанные на доносе неназванного осведомителя, вышли на свет эти обвинения только в «эпоху гласности», в 1997 г., а за полстолетия до того даже НКВД образца 1937-го не дал доносу хода, то есть признал его лживость. Хотя и самые лживые доносы, как мы сейчас знаем, «органы» преспокойно пускали в дело.

Да уж, загадочная история, почти детективная... И хоть сам Барсков остался «в этой истории не у дел», может, она-то и сократила дни Якова Лазаревича, слава богу скончавшегося своей смертью в треклятом 37-м в возрасте 74 лет.

Как это всегда и случается, ломкие от старости листочки, выдернутые из бумажных напластований, завели невесть куда... Но можно отправиться в Ленинку или Театралку и заказать том «Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791» с комментариями Якова Лазаревича Барскова. А при желании хоть сегодня заказать в OZON'е антикварные издания:

*«Памятники первых лет русского старообрядчества»
Антикварное издание
Автор: Я.Л. Барсков
Издательство: Типография М.А. Александрова
Сохранность: Хорошая
1912 г., 426 стр., твердый переплет*

А также:

*«Переписка московских масонов XVIII века»
Антикварное издание
Издательство: Издание Императорской Академии Наук
Сохранность: Очень хорошая
1915 г., 340 стр., твердый переплет*

И все же интересно, когда и при каких обстоятельствах оказались письма Якова Лазаревича у моей бабушки? В какой момент прадед счел нужным отдать их дочери, или они попали к ней уже после его смерти? Что она испытала, прочитав их, перечитывала ли, сожалела или иронизировала по поводу девического своего увлечения и зачем сохранила письма?

А на закуску или на десерт письмо Антона Павловича Чехова (Яков Лазаревич в свободное от иных занятий время редактировал журнал «Детский отдых»), написанное спустя полгода после неудавшегося сватовства. Жизнь его отнюдь не рухнула, он никуда не уехал, а нашел утешение в разнообразной деятельности, работал не покладая рук, и дела его, слава богу, шли в гору.

*12 (24) октября 1897 г. Ницца
Многоуважаемый Яков Лазаревич, немножко я запаздываю ответом на Ваше письмо, так как оно должно было пропутешествовать из Биаррица в Ниццу, где я теперь пребываю.*

Не знаю, как мне благодарить Вас. На Ваше доброе, милое письмо — искренно говоря, мною совершенно незаслуженное — отвечаю Вам одну сущую правду: во-первых, Вы обязали меня Вашим участием на всю жизнь, и, во-вторых, нет надобности присылать мне деньги, так как в настоящее время я имею в своем распоряжении более 7 тысяч франков. Этого мне хватит, тем более что у меня расходы не бог весть какие, а главное — я теперь в таком настроении, что могу работать, и, по всей вероятности, это настроение не мимолетно. Мне хочется писать. Стало быть, если бы, представьте, у меня украли те 7 тысяч, то все-таки я не остался бы на бобах.

Вместо денег пришлите мне что-нибудь интересное почитать, какую-нибудь брошюрку. И пишите мне хоть один раз в месяц, только, пожалуйста, не посылайте писем заказными: здесь за ними надо ходить на почту, а почта далеко от меня. Кстати, мой адрес: Nice, Pension Russe.

Погода здесь чудесная. Тепло, живем на летнем положении. Не скучно, так как поблизости живет Максим Ковалевский, с которым я выдаюсь почти каждый день и играю в пикет; здесь, кроме М. Ковалевского, есть еще интересные русские, и между прочим Вас. Немирович-Данченко, художник Якоби, с которым я тоже играю в пикет.

*Крепко жму Вам руку и желаю всего хорошего.
Большое спасибо!*

Душевно Ваш А. Чехов

Не знаю, как сложилось то спасительное путешествие, в которое три сестры, Анна, Ольга и Евгения, отправились весной 1897 года, однако известно, что в числе прочих городов побывали они и в Париже, о чем свидетельствует карандашный рисуночек, на котором художник Альфред ле Петит (Aumale, Seine-Maritime) с большим сходством изобразил мою юную бабушку в невообразимой какой-то шляпе... И теперь, сто двадцать лет спустя, бабушкиной причудливой шляпой можно полюбоваться...

Car - m





Серебряная

свадьба Бухгеймов
под сенью ласковой лиственницы
Chiostro St. Marco
(люди, письма, эпизоды)

Не так уж часто мы с родителями ходили в гости, а тем более к малознакомым людям, поэтому тот зимний визит запомнился. Семья жила возле Чистых прудов, в доме № 2 по Лобковскому переулку.

Вечность назад переулков переименовали в улицу Макаренко, но роскошный доходный дом, принадлежавший некогда супруге потомственного почетного гражданина Василия Арсеньевича Ясунинского, на своем месте, и над его подъездом по-прежнему впечатляющий рельеф аж из двенадцати римских цифр, как бы повышающий статус дома и придающий ему значительность: MDCCCLXXXIX. Не каждый сходу распознает дату, однако, как ни крути, из нее следует, что дом выстроили в 1899 году.

А неподалеку, по другую сторону Чистопрудного бульвара, в Архангельском переулке, поселилось в 1901 году семейство моего прадеда, и я во взрослом уже состоянии ощутила с этой местностью слабое подобие генетической связи. Проходя мимо дома на стыке-перекрестии трех переулков — Архангельского (некогда Меншикова, еще раньше Котельникова, а в советские времена Телеграфного), Потаповского (бывшего Большого Успенского) и Кривоколенного (прежде звавшегося попросту Кривое колено), пытаюсь представить себе просто так, забавы ради, тот или иной эпизод из жизни родственного семейства. Воображаю, к примеру, в жизни мною не виданную, но присутствующую на множестве фотографий и во всех возрастах (от отроческого до глубоко старческого) прабабушку Зинаиду Яковлевну в платье из тяжелого шелка, с неременным пенсне на шнурке. Приземистая и полноватая Зинаида Яковлевна

(в окрестностях квартиры № 2)

Бари (урожденная Эдда фон Грюнберг) происходила из семьи обрусевших прибалтийских немцев. И будто бы чудным весенним вечером (а может на раннем осеннем закате) более чем столетней давности вышла прабабка моя на балкон, огороженный узорчатой чугунной решеткой, и вглядывается близоруко в перспективу Архангельского переулка, вослед одному из многочисленных чад своих, удаляющемуся в направлении Чистых (некогда Поганных) прудов. А в это самое время для полноты причудлившейся пасторали у Архангела Гавриила или у Феодора Стратилата (два этих храма составляют ныне Антиохийское подворье) звонят к вечерне.

Отсюда же, из этого дома 8 апреля 1913 года отправился в последний земной путь муж ее Александр Вениаминович Бари. Отпевали прадеда в храме Святых апостолов Петра и Павла, что в Старосадском переулке, неоготическом здании, выстроенном в 1905 году (на месте старой церкви) по проекту архитектора В.А. Коссова. Наутро в газете «Утро России» появилось описание заупокойной службы:

Вчера состоялись похороны скончавшегося в ночь на 6 апреля известного инженера и заводчика А.В. Бари.

Гроб с телом покойного из дома его, в Архангельском пер., рабочими и служащими, в сопровождении множества почитателей умершего был перенесен в лютеранскую церковь Свв. Петра и Павла. Церковь и хоры, задрапированные черной материей, были полны молящимися, в числе которых находились многие представители науки и торгово-промышленного мира. Присутствовали профессора: Я.В. и А.Ф. Самойловы, С.А. Федоров, А.И. Сидоров, И.М. Гольдштейн, Л.Г. Крефер и Н.А. Алексеев; гг.: Г.А. Крестовников, Ю.П. Гужон, Г.М. фон-Вогау, Г.М. Марк, К.К. Арно, А.Д. Шлезингер, Прохоровы, Грачовы, Н.А. Куров, Ю.И. Поплавский и др., директора заводов, инженеры, многочисленные друзья и знакомые почившаго, служащие его и рабочие.

Заупокойное богослужение совершал настоятель церкви Р.К. Вальтер. Пели хоры — хор немецкого общества квартетного пения «Лидертафель» и русский хор слепых приюта общества призрения слепых детей, при звуках органа.

Р.К. Вальтер во время богослужения произнес речь, посвященную памяти А.В., на немецком, а затем на русском языках, в которой охарактеризовал покойного как энергичного, неутомимого работника, безукоризненного и добрейшего человека, строгого к себе и снисходительного к другим. Соединенным хором после речи г. Вальтера было исполнено «Отче наш» и «Со святыми упокой».

По окончании богослужения гроб с телом А.В. вынесли из церкви рабочие и впереди траурной процессии несли на руках до самой могилы, на Введенских горах, где было совершено погребение.

Громадную траурную процессию замыкали пять больших колесниц с венками. Среди венков были: «Дорогому хозяину — от его рабочих», «Дорогому и горячо любимому А.В. Бари — от рабочих котельного завода», от служащих этого завода, от главной конторы, от сочленов комитета по железнодорожным делам при московской бирже, от «глубоко-признательного Комиссаровского технического училища», от общества для продажи изделий русского металлургического завода, от очень многих фирм и отдельных лиц.

А вот рабочие завода Бари, прозорливо нанятые прадедом потомственные котельщики высочайшей квалификации, те самые, что на руках несли гроб до Немецкого кладбища на Введенских горах, по причине иной профессиональной принадлежности на отпевании не присутствовали и ожидали окончания службы в переулке. Все они, старoverы беспоповского поморского согласия, происходили из города Гороховца, и из книги Николая Ивановича Андреева «Котельщики. Гороховецкие отходники» (Владимир-Транзит-ИКС, 2012), а также от потомков рабочих котельного завода и сотрудников строительной конторы Бари мне известно, что имя прадеда не кануло бесследно и в Гороховце о нем не забыли.

В подтверждение того, что и впрямь неплохо жилось рабочим завода Бари, приведу отрывок из статьи Б.Б. Глинского «Фабрично-заводская Россия», напечатанной в журнале «Исторический вестник» (№ 9 за 1896 год):

Мне удалось побывать на одном заводе, где введен совершенно новый строй рабочей жизни. Завод этот (котельный) — инженера А.В. Бари. Я не стану по недостатку места описывать оригинальной постройки этого завода с его крышей в виде опрокинутой воронки широкого диаметра, еще не оцененной нашими инженерами, не стану описывать и, так сказать, лагерного, подвижного способа работать во всевозможных углах России фирмы почтенного инженера. Остановлюсь лишь на рабочем режиме, установленном энергичным хозяином. Рабочий день на заводе г. Бари измеряется всего лишь десятичасовой работой, причем это сокращение рабочего времени не имеет никакого влияния на размер заработной платы: она выше платы на остальных фабриках на 10%. Система штрафного наказания совершенно здесь изгнана, а увольнения рабочих практикуются только в исключительных случаях. Рабочие получают в день от завода совершенно бесплатно по 6 кусков сахара на человека и чай 2 раза в день, без всякого ограничения порции, а также обед, состоящий из двух блюд: 1) супа с мясом (порция 1/2 ф.) и 2) каши с салом, причем хлеба можно потреблять вволю.

Я явился на завод экспромтом с одним из своих товарищей по работе исследования торгово-промышленной Москвы и регистрации фабрик и застал рабочих за обедом. Представьте себе длинный

(в окрестностях квартиры № 2)

деревянный барак (к сожалению, несколько темноватый), где за столами, разделенные на десятки, с своими десятскими во главе, сидят тихо, чинно целых 700 человек. Ложки быстро мелькают в воздухе. И проголодавшиеся на тяжелом труде рабочие вволю насыщаются вкусным, здоровым и бесплатным обедом. Не думайте, чтоб их порции супа (при мне была картофельная мясная похлебка и каша) были на немецкий манер аккуратно развешены и определены. Нет — хочет десяток еще есть — десятский берет опорожненную миску, идет к буфетной стойке, и фельдшер, наблюдающий за кухней, наливает новую: кушайте, мол, братцы, на здоровье, набирайте сил — они нужны заводу.

Не думайте, говорил мне при свидании А.В. Бари, чтоб мною руководили какиенибудь филантропические затеи. Я кормлю рабочих за свой счет потому, что мне это выгодно. Их еда (9–10 коп. на человека в день) меня не разорит, а, напротив, дает прибыль на количестве и качестве работ. Я экономизирую здоровье, время, расположение духа рабочих и тем выиграю только в барышах. Подумайте только: русский рабочий, существовавший доселе впроголодь и кормившийся разной мерзостью, вдруг получает вволю хлеба, мясной суп, кашу и излюбленный им чай, — подумайте только, каков отсюда должен быть подъем его духа, его самочувствие, и вы поймете, почему он работает у меня самым добросовестным образом и почему случаи увольнения с моего завода редки. Здесь не возникнет вопроса о стачках, и я решительно не знаю, как отбояриться от предложения рабочих рук. Большинство моих рабочих живут у меня годами, а есть и такие, которые всецело принадлежат заводу уже десять-двенадцать лет и которые успели, благодаря существованию сберегательной кассы, скопить себе тысячный капиталчик.

Действительно, подъезжая к заводу, вы уже издалека видите большой аншлаг, оповещающий о существовании сберегательной кассы государственного банка при заводе г. Бари. Еженедельно, по субботам, сюда приезжает чиновник ко времени расчета и принимает от рабочих сбережения, пока те еще не перешагнули порога конторы и не успели насладиться прелестью соседних кабаков.

Приемный покой при заводе представляет собою образец порядка и чистоты, но что важнее всего — заболевшие рабочие сохраняют свою заработную плату в течение первой недели в полном размере, а потом в половинном. Этот остроумный и гуманный порядок повел к тому, что количество больных на заводе значительно сократилось: рабочему нечего перемотаться, и он прямо идет к доктору. Два-три дня полного отдыха на хорошей пище быстро восстанавливают железное здоровье русского мужика, и он спешит из скучной больничной комнаты снова к своему молоту и станку. Семьи умерших

также не остаются на миру: завод принимает на себя заботу о них, и вдовы, в виде пожизненной пенсии, получают половину годовичного заработка покойных мужей. Нечего и говорить, что европейски образованный инженер г. Бари сумел устроить на заводе усовершенствованные ретирады, дезинфицируемые паром, отличную вентиляцию и прекрасное освещение всех отделений завода. В текущем году г. Бари имеет в виду устроить для рабочих квасоварню и бесплатную баню.

Два часа, проведенные мною здесь, на заводе, на живописном берегу Москвы-реки, остаются лучшим воспоминанием моей московской поездки: я видел уголок, где русскому чернорабочему живет сытно и хорошо, где около него имеются интеллигентные люди, которые ценят его и как силу нравственную, и как великолепное живое орудие производства. Если бы пример г. Бари, основанный на практическом и умном расчете, нашел себе побольше подражаний... Но пока, увы! Такие, как г. Бари, более чем малочисленны.

На заупокойной службе рабочие-староверы не присутствовали, но до кладбища хозяина проводили и возложили на его могилу самый большой венок, выполненный из серебра. Всего-то венков, как известно из газетных отчетов, было пять колесниц, и среди них тот, скромная сопроводительная карточка к которому сохранилась по сей день:

Прсят возложить на гроб. От неизвестных.

Видно, венок тот прислал кто-то из тех людей, которым прадед помогал в тяжелых жизненных обстоятельствах, а людей таких было немало...

Многочисленные ленты, увивавшие скорбные венки, сохранила дочь Евгения, и судьба их имела продолжение, о котором в апреле 1913 года и помыслить было нельзя. Со смерти Александра Вениаминовича прошло 28 лет, мир в очередной раз покатился в тартарары, и судьбы людей вместе с ним. Летом 41-го наши оказались в эвакуации в уральском поселке Дегтярка. А Женина семья осталась в Москве. Сестры переписывались, и Женя, сама с трудом выживая, старалась по мере сил помочь сестре:

Я посылаю вам немного риса и ленты от папиных венков.

Говорят, что в провинции их можно променять на молоко.

Больше нечего...

Есть, есть нечто утешительное в отцовской руке, протянутой из-за гроба, через годы и расстояния, хотя маловероятно, что тетушка моя решилась вынести эти ленты на дегтярскую барахолку, хотя кто знает, спросить-то не у кого...

В 1950 году дом в Архангельском переулке, изначально двухэтажный, перешел во владение лубянского ведомства и, лишившись мансарды,

(в окрестностях квартиры № 2)

в которой некогда обитала прислуга, подрост на три этажа. Ко времени того строительного катарсиса в одной из квартир жила Женина семья, и просто чудо чудесное, что лубянские гуманисты не вышвырнули огромное семейство на улицу, а после перестройки переселили наших родственников этажом выше. До последней минуты трепетали и не верили в возможность такого счастья, однако 3 декабря 1951 года бабушка получила от сестры радостную весть:

Квартиру мы получили, и очень хорошую. Еще за час до получения ее мы все сомневались в возможности этого получения. Тотчас же бросились переезжать и ту же ночь уже провели в новой квартире. Она чудесная, и до сих пор не верится, что мы ею владеем.

Кузен мой, в те времена отрок, оказался свидетелем происшествия, чудом не завершившегося бедой. В преддверии глобальной перестройки в квартиру родственников явилась комиссия и принялась простукивать стены и распахивать стенные шкафы. Добрались до антресоли, забитой, как водится, чем-то невнятным и давным-давно позабытым. Дверцы отворили, и из антресольного нутра, будто из рога изобилия, хлынул разнообразный хлам, в том числе бумажный. По счастью, бумажки комиссию не заинтересовали, в тот день перед лубянскими стояла иная задача. А среди тех бумажек, помимо прочих свидетельств жизни огромной семьи, обнаружилось письмо друзей и поклонников самой младшей из сестер Бари, красавицы Екатерины, в том числе жениха ее, канувшего в Добровольческой армии. Сама-то Катя добралась до Америки, прожила долгую трудовую жизнь, и кое-что о ее судьбе известно, а вот от жениха Катиного в коллективной семейной памяти осталась только фамилия Кривошеин (даже имя позабыто), потому что сразу же после визита злополучной комиссии содержимое антресоли (без разбора, не до сортировки было) поспешно сожгли. Одним словом, пробегая привычным маршрутом мимо дома в Архангельском переулке, предаюсь мимоходом разного рода воспоминаниям, своим и чужим, а также развлекаюсь досужими предположениями и реконструкциями.

Сохранилась фотография, запечатлевшая семейство Бари (увы, не в полном составе) в день бабушкиного венчания во дворе дома на фоне церкви Архангела Гавриила, известной москвичам как Меншикова башня, выстроенная в стиле нарядного московского барокко и похожая на устремленную в небо бело-розовую многоступенчатую ракету. Первоначально башня принадлежала масонской ложе и была украшена лепниной со знаками ордена, позже, естественно, сбитой без следа.

Это свадебное событие подтверждено записью на обороте свидетельства о присвоении бабушке звания домашней учительницы, выданном существенно раньше, а именно 2 февраля 1906 года:

Означенная в сем свидетельстве девица Ольга-Амалия-Вера Александровна Бари повенчана первым законным браком с Присяжным Поверенным Семеном Борисовичем Айзенман — Православного

вероисповедания — в Московской Гавриило-Архангельской, при Почтамте, церкви 1913 года 15 Сентября. Вышеозначенной церкви: Священник И. Сиповин. Диакон М. Воскресенский.

Прадед скончался за полгода до свадьбы дочери, и на законном его месте, за спиной прабабушки монументально возвышается ее деверь Вильям Бари, мужчина впечатляющей внешности, в эти как раз дни приехавший по делам из Петербурга и фамильным сходством со старшим братом вводящий в заблуждение далеких потомков. Люди разного возраста, от мала до велика, сгруппировались, как водится, вокруг молодоженов, однако никто на этой свадебной фотографии не улыбается, в том числе жених в смокинге и невеста в фате, традиционно украшенной флердоранжем, все глядят в объектив хмуро. Даже крошечный мальчик (первенец старшего из трех бабушкиных братьев, тот самый, которому в обозримом будущем предстояло стать едва ли не беспризорником, да не где-нибудь, а в Нью-Йорке) и темноглазая девочка с тугими косичками (любимая бабушкина племянница Риночка, прародительница многолюдного клана, проживающего ныне в Москве и ее окрестностях) очень серьезны. Ясное дело — свадьбе семья не рада, но фотограф по традиции приглашен.

Что же касается сумрачности членов семьи, то не исключено, что все объясняется проще простого — предыдущей ночью, за несколько часов до венчания и свадебной фотосессии у сестры Жени родилась младшая дочь Зиночка. У той самой Жени, которой предстояло прожить в отцовском доме до глубокой старости и лишь на позднем закате переселиться на московскую окраину. То есть ночь выдалась бессонная, родственники устали и переволновались, а наутро еще и эта свадьба... Хотя, на мой взгляд, рождение ребенка, в особенности девочки, событие не только радостное, но и хорошее предзнаменование.

Но отчего-то в семье считалось, что бабушка моя, художница тридцати четырех лет от роду, не создана для брака, что время ее ушло, что жених, ожидавший бабушку семнадцать лет, ей не пара и брак этот не более чем семейная досада и мезальянс. Из чрезвычайно грустного, настоящего на многолетней обиде письма, написанного бабушкой сестре Лиде в иные времена, я узнала, что возвратившихся из свадебного путешествия молодоженов большая часть семейного клана встретила бойкотом. Не пришелся мой дедушка ко двору, и после нескольких лет существования в атмосфере семейного остракизма бабушке с дедушкой пришлось покинуть отчий дом, не по своей воле и в самое неподходящее для этой затеи время, весной 1918 года. С просьбой о помощи бабушка обратилась к друзьям, и среди прочих к давнему своему другу Павлу Давыдовичу Эттингеру:

Большая просьба к Вам, Павел Давыдович! Может быть, можете нам? Нас выселяют из нашей квартиры. Выселяют мои родные. Они решили взять верхнюю квартиру всю под контору, а нашу квартиру — для себя. А мы... — куда хотим. В 4–5 дней мы должны им

(в окрестностях квартиры № 2)

освободить квартиру. Будь я здорова — еще не так жутко было бы. Может быть, Вы сегодня порасспросите или разузнаете у кого-либо, хоть полквартиры, 3 комнаты, но без мебели. Нам и мебель некуда девать...

Павел Давыдович помочь не смог, но по счастью освободилась квартира в переулке между Остоженкой и Пречистенкой, и края эти до конца жизни стали родными для отца моего и тетушки, а спустя годы и для меня...

Вскоре братья и самая младшая из сестер Россию покинули, а отношения с пятью сестрами, оставшимися на родине, жизнь без церемоний скорректировала, расставила правильные акценты и определила истинные ценности. Да и как могло быть иначе с наступлением новейших, тяжелейших времен, поставивших семьи всех пятерых на грань физического выживания? Хотя осадок, увы, остался, ничто не проходит бесследно, это уж как водится... И нынче мы с кузинами с понятным интересом читаем-перечитываем-перепечатаваем письма своих бабушек-сестер, а тексты пересылаем друг другу электронной почтой, пылко их обсуждаем и пытаемся реконструировать семейную ситуацию столетней давности.

А тогда, 15 сентября 1913 года (то есть 28 сентября по новому стилю), тотчас же после венчания молодожены отбыли в свадебное путешествие, разумеется в Италию. Отнюдь не в пасторальном настроении отбыли, потому что время было тревожное, семья-то сложилась на фоне взбудоражившего Россию «дела Бейлиса», отечественного ремейка «дела Дрейфуса». Представляю, как напряженно, с каким волнением следили за ходом процесса бабушка с дедушкой, и как жаль, что именно на это тягостное время пришелся их итальянский вояж...

Подробного маршрута молодоженов я не знаю, но известно, что из Неаполя, посетив, разумеется, Венецию, бабушка с дедушкой перебрались в Сорренто и остановились в отеле Cосumella, расположенном в волшебном саду среди пальм, персиковых и лимонных деревьев. Нынче это Grand Hôtel Cосumella 5*, старейший на Соррентийском полуострове. Он по-прежнему расположен в здании XVII века, изначально принадлежавшем ордену иезуитов, а в конце XVIII века приобретенном Пьетро Антонио Гарджиуло, надстроившим второй этаж и превратившим виллу в отель. Адрес отеля все тот же: Via Cосumella 248/b 80067 Sorrento. То есть начало свадебного путешествия складывалось сказочно, и этот, увы, кратковременный для наших молодоженов земной рай запечатлен на нескольких бабушкиных пастелях. Если зайти на сайт отеля www.cosumella.com, можно увидеть ту самую белоснежную балюстраду, которую рисовала бабушка, совершить виртуальную прогулку по огромному саду с пальмами и мандариновыми деревьями, а из сада спуститься к морю...

Но 16 октября 1913 года, уплатив по счету 12480 лир (не могу удержать-ся и не привести эти цифры из чудом сохранившегося гостиничного счета),

невзирая на тревожное ожидание сообщений с родины (сестра Лида регулярно присылала московские газеты с хроникой процесса), предвкушая продолжение итальянского счастья, добрались до любимой бабушкиной Флоренции и поселились в отеле Albion. Бабушка прекрасно знала город, бывала во Флоренции не однажды и еще в Москве вдохновенно продумала маршруты флорентийских прогулок.

Там-то, в отеле Albion, пять дней спустя дедушка и заболел паратифом, загубившим свадебное путешествие. В температурной таблице (tavola termometrica) дедушкин диагноз так и обозначен — paratifo. Для восстановления дедушкиных сил и поддержания бабушкиных (в Италии зародилась жизнь тетушки моей Татьяны) пришлось перебраться в санаторий в окрестностях Флоренции. А жаль, потому что отель расположен исключительно удачно: в 400 м от Санта-Мария Новелла, в 500 — от Сан-Спирито, в 700 — от Уффици, и рукой подать до Понте Веккио. Отель «Альбион» — единственное во Флоренции здание, выстроенное в английском неоготическом стиле, и раньше у него имелся только почтовый адрес: Via il Prato 22, но теперь Hôtel Albion 4* обрел еще и электронные координаты: www.hotelalbion.it.

Через сто лет после вышеописанных событий я прочла бабушкины открытки и письма, адресованные Павлу Давыдовичу Эттингеру, и убедилась, что моя реконструкция обстоятельств свадебного путешествия и атмосферы, окружавшей молодоженов, похожа на правду. Вот некоторые из тех посланий.

Москва.

10.IX.13

Пишу Вам, Павел Давидович, чтобы сообщить Вам нечто важное. Не хочется, чтобы Вы узнали об этом от других, не от меня. 15 сент. — я выхожу замуж за Семена Борисовича и в тот же день мы уезжаем в Италию.

Хотела рассказать Вам об этом, но писать это, оказывается, легче. Пока я никому еще из не родных не рассказывала об этом.

Вернемся в Москву 24 октября и жить будем дома у нас, чему я рада. Не могла бы решиться сейчас оставить маму. И то мучаюсь угрызениями, что решаюсь сейчас уехать, но сама мама уговорила поехать отдохнуть.

Пока до свидания. До отъезда еще увидимся, я надеюсь. Позвоните!

Ольга Бари

Открытое письмо. Wien, Schenbrunn — Gloriette

Вена

17/30.IX.13

Как хорошо было в Schenbrunn'e! Спасибо большое за совет. Наслаждались мы. А утром — очаровалась Canaletto, Moretto, и Сусанной Tintoretto. Завтра утром едем дальше. Погода дивная.

(в окрестностях квартиры № 2)

А знаете, я верно предчувствовала: в ночь на 15-е родилась у Нерсесовых дочь.

*Спасибо, П.Д., за цветы, была тронута.
До свидания.*

Ольга Бари-Айзенман

*Открытое письмо. Venezia, R. Accademia — Tintoretto.
La donna adultera.*

Venezia

22 IX/4/X.13

Получила Вашу открытку. Спасибо. Наслаждаемся очень. Летняя погода, очаровательная Венеция, любимая Италия: я довольна. Если бы можно было здесь писать, — была бы счастлива вполне... Академией наслаждалась больше, чем когда-либо. Особенно Veronese, Tintoretto, Bonifatio. Тоже Tisiano и Bellini, Carraccio. На этот раз особенно поняла, что такое «венецианцы»... Прожили 3 дня; завтра едем в Неаполь.

*Ольга Бари-Айзенман
С.Б. шлет привет.*

Открытое письмо. Hotel Cocumella-Sorrento.

27/10. IX/X.13

Вчера вечером приехали сюда. Проживем здесь 2½ недели. Здесь — сон голубой, сказка какая-то. Дивно-хорошо!.. Пишите сюда. Я и не поблагодарила Вас за прелестные цветы 15-20. Спасибо!

Позади: дивный Неаполь — только музей. Тицан покорил совсем.

Ольга Бари-Айзенман

Открытое письмо. Sorrento. Panorama da Capodimonte.

Sorrento.

9.X.13.

Сегодня получила, Павел Давидович, Вашу открытку из Кельна. Теперь Вы, значит, в Париже... А мы через три дня уезжаем отсюда во Флоренцию на недолго, а там и домой. Жаль покидать нашу Cocumella. Так хорошо здесь отдыхать, греться на солнце, слушать тишину и смотреть, смотреть без конца!

Ольга Бари-Айзенман

Poddio Imperiale, villa Betania.

30.X.13.

Вот уже пятый день, как мы здесь живем, Павел Давидович. Переехать сюда пришлось из-за болезни Семена Борисовича. В отеле нас больше не захотели держать с серьезной болезнью, да и очень мне трудно там было. За 10 дней, что он лежал там

в жару — я совсем измучилась и нервы никуда не годились. А здесь лучше для нас обоих. Это маленький санаторий для иностранцев, за городом, в саду. Здесь тихо очень, хороший воздух, прекрасный уход (швейцарский). Теперь с меня сняты все заботы о больном и теперь ухаживают и за мной, так как чувствую себя нехорошо. Но хоть ответственность с меня снята — и то облегчение. Болезнь оказалась паратифом. Говорят, надо радоваться, что не мальтийская лихорадка, которую предполагали и которая тянется месяцами.

По лечению это то же, что мой тиф. Такие же предосторожности, такая же бездна последствий. Ежедневно бывает доктор, очень хороший. (Наверное, тот самый доктор, на вечную память о котором осталось в семье утешительное словечко «тэрпинью», призывавшее растерявшихся и приунывших молодоженов к терпению.)

Терпим, стараемся быть кротки и мужественны, стараемся не роптать на судьбу, но не всегда это удается. Главное, впереди горизонты наши так неопределенны. Кто знает, когда С.Б. поправится, когда окрепнет настолько, чтобы ехать?! И я с моими куриными силами — в качестве garde-malade!

Где-то далеко позади остались музеи, церкви Флоренции, фрески и весь этот мир искусства! Будь у меня сейчас силы, конечно, я смогла бы ездить туда или работать здесь, но пока я так еще утомлена, что едва хватает меня на газету и на письмо.

А здесь — красиво. Правда, пока я это только сознаю головой — еще не чувствую душой. Похоже на наш сентябрь. Желтые, красные листья, георгины — это напоминает Россию; но тут же кипарисы, пинии, магнолии и хризантемы — хризантемы всюду, и это уже не Россия, не так поэтично... Да, жалкое зрелище представляем сейчас мы оба...

Ольга Бари-Айзенман

18.XI.13

Собираемся наконец уезжать в среду. Страшно мне пускаться в путь. Но оставаться нет смысла: здесь стало холодно и сыро. Особенно плохо в комнатах без печей, только с камином. А как хочется в Москву! Только бы не помешало что-нибудь...

До скорого свидания.

Ольга Бари-Айзенман

Через 98 лет после того свадебного путешествия в апогее 98-й осени я своими глазами увидела флорентийское пристанище молодоженов. Еще в Москве наметила несложный маршрут, прочертила пунктир на карте города. Так и вышло. Ближе к вечеру, на горячем флорентийском закате (едва ли существенно отличавшемся от тех, которыми поначалу любовалась бабушка из окна отеля) от piazza Santa Maria Novella, прямоком по via della Scala мы с подругой,

(в окрестностях квартиры № 2)

составившей мне компанию в этой мемориальной экскурсии, свернули на via Degli orti (пятый поворот налево) и на ее пересечении с via il Prato обнаружили четырехэтажное здание со стрельчатыми окнами — Hotel Albion, 11 октября 2011 года одетый строительными лесами. Фасад здания обращен к реке, на противоположном берегу череда пиний, исключительно выразительных по силуэту в любое время суток, но особенно на фоне рассветных и закатных небес.

Мы побродили по ближайшим окрестностям и зашли в церковь Св. Лючии, что через узкую улочку от гостиницы, ту самую via Degli orti. Над входом в церковь изящной антиквой выбито: Deo et divae Luciae virdini et martyri patronage. Церковь крошечная, с фрагментами плоховато сохранившихся стареньких фресок и несколькими современными, относительно свежими картинами. На одной из картин кисти художника-любителя распятый Иисус и группа слепцов, сгрудившихся у подножия креста. Ведь это от нее, от святой Лючии, ждут помощи страдающие глазными недугами (и у меня есть крошечный образок из церкви Св. Лючии в Сиракузах).

На спинках церковных скамей медные таблички с именами нынешних прихожан, а также в память ушедших:

*Familia Tognetti, Marucelli Guido, in memoria di Claudia Biaggi,
Calabresi Alfonso e Dina a suffragio dei dofunti di familia, in memoria
Anna Maria Gambino, A suffragio di Tina e Carlo Marescotti.*

Гипотетически с кем-то из членов этих флорентийских семейств, местными аборигенами, прадедушками и прабабушками нынешних прихожан, в немногие отпущенные судьбой благополучные флорентийские дни дедушка с бабушкой могли мельком пересечься — на набережной Арно или в окрестных лавчонках, принадлежавших этим людям. И не исключено, что кто-то из тех прихожан служил в отеле и сочувствовал молодоженам, оказавшимся в печальной ситуации.

В конце октября перебрались в маленький санаторий для иностранцев по адресу: Viale del Poggio Imperiale, villa Betania, тоже расположенный очень славно, неподалеку от садов Боболи. Ну до чего же утешительна эта итальянская стабильность, теперь уже не санаторий, но скромный отель Villa Betania***, существует по прежнему адресу.

О душевном состоянии бабушки, и не подозревавшей о том, что за родственная встреча ожидает ее в Москве, можно судить по письму сестре Лиде, посланному в Москву с виллы Бетания:

Firenze Понедельник 4/17. 11. 13

Спасибо, милая Лиди, что пишешь. Это мне сейчас так много дает. На меня часто находит такая тоска по дому, по маме, по всем дома, по Москве, какой я за собой не запомню. Не дождусь просто, когда мы уедем. Благодаря всему перенесенному, благодаря моему нездоровью, слабости Италия для меня — не «Италия» и Флоренция

с ее искусством, которое так много дало мне за первые пять дней, — отошла куда-то далеко-далеко, несмотря на то что, в сущности, я в 20 минутах от нее. Вместить в себя искусство, оказывается, не могу сейчас вовсе. Идут дни, идут ночи — все одинаковые и напоминающие по всему дни и ночи моего тифа три года назад. Возможно, что, если бы я чувствовала бы себя лучше, я все таки, перешибала бы это больничное впечатлениями Флоренции, но вот — не могу! Еще ни разу не выходила. Сажу в саду — вот и все. Похоже теперь на наш сентябрь, если исключить пальмы, кипарисы, магнолии... Много цветов в саду. Но смотрю-смотрю на все это только головой, а не сердцем. А сердце хочет России, полей, снега, облетевших деревьев... Это со мной в Италии в первый раз! Возможно, что благодаря этой болезни, а м.б., благодаря мыслям постоянным о папочке и маме...

Вчера пришел пакет с газетами, — набросилась на него с жадностью и читала все насквозь.

По-видимому, когда на душе тяжело и когда здоровье не хорошо, — тогда не надо впечатлений вовсе, — а надо покой, уют, родной дом. С другой стороны, как-то обидно мне за Флоренцию, что не могу я принять ее в себя сейчас...

Увы, свадебный тот вояж оказался последним итальянским путешествием, и никогда больше бабушка с дедушкой не покидали России! Но на память остался путеводитель «L'ITALIE des Alpes à Naples», составленный Карлом Бедкером и изданный в 1909 году «с 25 цветными картами, а также подробными планами 29 вилл и 23 музеев».

В этом месте повествования возникает сюжет, из которого следует, что и прежние встречи с Италией наполнены были не только ощущением счастья, не одни лишь светлые чувства суждено было испытать бабушке в этой стране. Чтобы не бросить тень на безупречную семейную репутацию, эта история более чем столетней давности некоторыми членами семьи табуировалась в течение всего прошедшего века. И я послушно обходила ее молчанием. Но теперь решила нарушить табу, ведь и без моего участия громкое дело давным-давно обрело известность, и сведений о нем полным-полно в разнообразных источниках информации. Итак, вставная новелла в бульварном жанре.

У сестер и братьев Бари имелся кузен Донат, сын родной их тетушки Софьи Бари и Дмитрия Прилукова, первого из упокоившихся в семейном пантеоне на Введенских горах. К моменту описываемых событий сорокалетний Донат, модный московский адвокат, специалист по бракоразводным процессам, был глубоко семейным человеком, отцом трех детей. Однажды к Донату обратилась дама, намеревавшаяся развестись с мужем, меценатом и коллекционером Василием Тарновским. И эта роковая встреча испепелила

(в окрестностях квартиры № 2)

благополучную жизнь нашего родственника. На его беду Мария Тарновская, урожденная О'Рурк, дочь Екатерины Петровны Селецкой и графа Николая Морицевича О'Рурка, чьи предки, связанные с Россией с XVIII века, состояли в родстве с ирландскими потомками Стюартов, оказалась женщиной вампирического склада. К моменту встречи с Донатом на ее совести была вереница ею же спровоцированных дуэлей и самоубийств. И мужа своего подвигла она на дуэль с соперником, закончившуюся трагически. Именно так рассчитывала от него избавиться, но суд Василия оправдал, и Марии понадобились услуги хо-рошего адвоката.

Встретившись с этой женщиной, Донат потерял себя. До какого мѐ-рока доводила Мария Тарновская влюбленных в неё мужчин, можно пред-ставить по эпизоду, случившемуся во МХАТе на представлении пьесы Чехо-ва «Дядя Ваня». Во время действия Тарновская спросила Доната, любит ли он ее, но одним только утвердительным ответом не удовлетворилась, а по-требовала доказательств и предложила Донату выпрыгнуть из ложи на мха-товскую сцену. И добропорядочный Донат совершил этот безумный и пош-лый поступок...

В конце концов Донат оставил семью и совершил немыслимое — изъ-ял из сейфа 80 тысяч рублей, принадлежавших его клиентам, и вдвоем с Тар-новской отправился в Европу. А когда деньги закончились, Тарновская, от-нюдь не отлучив от себя Доната, воссоединилась в Венеции с давним своим поклонником и свежим вдовцом графом Комаровским. А еще сопровождал ей по жизни родственник Ивана Сергеевича Тургенева юный Николай Наумов, гу-бернский секретарь из города Орла. Случилось так, что в результате получен-ной травмы (пролетевший мимо лузы бильярдный шар угодил ему в голову) психика Николая претерпела изменения, у него появилась склонность к ма-зохизму, и своеобразные отношения с Марией Тарновской были как раз тем, в чем нуждались душа его и тело. К примеру, Тарновская к обоюдному удо-вольствию гасила пахитоски о жаждущего именно этого ощущения Наумова. То есть случилась небывалая, цинично обыгранная в анекдотах встреча сади-ста с мазохистом.

Манипулируя тремя мужчинами: богатым графом, клиническим мазо-хистом и обезумевшим Донатом, Мария Тарновская придумала и осуществи-ла затейливую комбинацию. По ее настоянию Комаровский застраховал свою жизнь на пятьсот тысяч золотых рублей в пользу Тарновской, Николаю Наумо-ву поручалось графа убить, а Донату следовало проследить за выполнением задания и сдать убийцу полиции. И только после этого сопровождать Тарнов-скую в жизненных ее странствиях.

Из семейного апокрифа известно, что 4 сентября 1907 года бабушка собиралась в театр. А перед театром прилегла, и в эти полчаса ей приснился престранный сон. Снился Донат, обыкновенно красивый и вальяжный, в этом сне он был не похож на себя. С лихорадочным блеском в глазах и чужерод-ной черной бородой Донат вел себя престранно — метался, таился, опасно

оглядывался. Самое же удивительное, что все увиденное в дневном ее сне происходило на фоне любимой и детально изученной Венеции. Бабушка узнавала маршруты мечущегося по Венеции Доната — каналы, мостики, набережные. Подавленная странным сном, бабушка тут же пересказала его сестре и родителям и с трудом избавилась от ощущения реальности происходивших во сне событий.

А через несколько дней узнали из газет, что именно в этот день Николай Наумов явился в арендованное Комаровским Campo Santa Maria del Giglio, вызвал графа в вестибюль палатки и выстрелил в упор, да не один раз, а пять! А наш Донат с фальшивой бородой из театрального реквизита следовал за Наумовым по пятам. Видно, руки у Наумова тряслись, и хотя стрелял он с близкого расстояния, пули попали графу в плечо, в щиколотку, еще куда-то... Известно, что, рухнув на мраморный пол, граф, прежде считавший Наумова другом, вроде бы изумленно воскликнул: *Зачем вы меня убиваете? Что станет с моим сыном Евграфом?* Потрясенный случившимся, Наумов лишился сознания, а очнувшись, кликнул гондольера и покинул место преступления. Ни одна из ран Комаровского не была смертельной, его доставили в Ospedale, но через месяц граф скончался от заражения крови. Но успел послать Марии Тарновской, переживавшей преступление и его последствия в Киеве, телеграмму: *«Меня убил Наумов»*.

Преступники не были профессионалами, за дело дружно взялись итальянская, российская и австрийская полиция, дело раскрыли по свежим следам и всех арестовали. Марию Тарновскую, в сопровождении камеристки Луизы Перье возвращавшуюся в Венецию для вступления в наследственные права, Доната, успевшего уехать в Вену, и впечатлительного Николая Наумова. Процесс Тарновской и зомбированных ею мужчин оказался одним из самых громких процессов начала века. Он широко освещался в европейской и российской прессе. По его материалам психиатр Владимир Михайлович Бехтерев сделал доклад на тему: «Можно ли вылечить любовь гипнозом».

Общество разделилось на сторонников Тарновской и ее противников. К примеру, балерина Тамара Карсавина сочувствовала пострадавшим мужчинам и считала их жертвами гипноза, а режиссер Владимир Иванович Немирович-Данченко, напротив, мужчин осуждал и занял сторону Тарновской. Следствие длилось почти три года, процесс три месяца. Итальянские актрисы в ажиотаже прикинулись стенографистками, чтобы понаблюдать за Тарновской с близкого расстояния и перенять манеры ее и повадки. Охранников Марии Тарновской меняли ежедневно, потому что все как один они поддавали под ее обаяние и готовы были на все. А в день объявления приговора, 7 мая 1910 года, две группы венецианцев, сторонники и противники Тарновской, устроили кровавую потасовку.

Тарновскую осудили на восемь лет каторги на соляных коях, Наумова на три года тюрьмы с зачетом уже отбытого срока, квалифицировав смерть Комаровского как результат неправильного лечения (раны-то не были

(в окрестностях квартиры № 2)

смертельными), а Доната Прилукова, якобы автора плана коварного преступления и его вдохновителя, на десять лет заключения. Оправдали одну только камеристку Луизу Перье. Во время следствия Донат трижды пытался покончить с собой, а на суде выступил с речью. Вот цитата из газеты тех дней:

Между прочим, печать обращает внимание на блестящую эрудицию обвиняемого Прилукова, давшего в своих «объяснениях» тонкий анализ итальянской судебной процедуры.

Характерно, что в некоторых частях Прилуков словно повторяет объяснения, которыми снабдил министр юстиции проект изменений и дополнений к уголовному уложению, представленный в палату депутатов и имеющий обсуждаться в будущую парламентскую сессию.

И во время бесконечного следствия, и в годы заключения наши не оставляли Доната, считали его жертвой чужого злодейства, жалели... В семейной переписке тех лет то и дело возникает его имя и прочитывается постоянная озабоченность его судьбой. Вот что писала бабушка сестре Лиде:

25.06.08. Донат последние дни что-то не пишет, так что я беспокоюсь. Скажу тебе, но под секретом, что мы с ним, кроме официальных французских просмотренных начальством писем, обмениваемся и русскими письмами через одно подставное лицо. И вот мне пришлось узнать настоящего несчастного Доната. Душа болит за него, да и за всю его прежнюю жизнь. Но как странно все в жизни: меня что-то давно вот толкало к нему, — и вот суждено было стать его единственным корреспондентом настоящим... Таких писем, как его последнее письмо — никогда в жизни я не получала. До слез. И такой он стал близкий, родной... Но с большими трудностями сопряжена эта переписка; каждую минуту может она лопнуть... Да, его жизнь — это такая драма, перед которой бледнеют драмы в книгах. Не говори обо всем этом никому. Что можно будет, сама расскажу нашим. В апреле он покушался опять на свою жизнь, но неудачно. Его жизнь сейчас — ужас, сплошные страдания. По сравнению с нею — все кажется пустяковым, шуткой. Средневековая тюрьма, ужаснейшие нравственные мучения и никаких перспектив в будущем. Я рада, что я хоть что-нибудь могу дать ему своими письмами, своими постоянными думами о нем...

В следующем уже веке оказавшись в Венеции, я вовсе не планировала посещение средневековой тюрьмы. Но как не зайти во Дворец дожей и не пройти по Мосту вздохов, ведущему в каземат, где, может и по заслугам, томился дальний мой родственник?

Дело Доната вела адвокатская контора Луццати. Летом 1909 года, путешествуя по Италии с женой и младшими дочерьми Марией и Екатериной,

прадед навестил Доната и встретился с его адвокатами. Адвокаты вызвали доверие, и появилась надежда на благоприятный исход дела, о чем прадед и написал в Москву дочери Ольге:

Дело Доната устроил. Luzzati и Prof. Fiorian мне оба понравились, и думаю, что они удачно проведут это дело. Подробности Luzzati обещал тебе написать. Доната мы видали 2 раза. Я был с Мамой на второй день нашего приезда в Венецию, а на другой день Маня и Катя также пошли с нами. — Донат был очень обрадован моим посещением. Он на вид здоров и спокоен.

Однако надежды не оправдались. Расходы на адвокатов и на пристойное содержание Доната в венецианской тюрьме, разумеется, взял на себя прадед, а мать Доната тетя Соня Прилукова поселилась в семье брата в Архангельском переулке. Бабушка моя переписывалась и с самим Донатом, и с его адвокатами, а ее подруга Наташа Давыдова, жившая в Италии, навещала Доната и снабжала его всем необходимым. Шли годы, и 29 мая 1915 года тетя Соня получила от Луццати письмо:

Мадам, я пишу, чтобы сообщить Вам очень приятную новость. На основе акта высочайшей милости Вашему сыну, так же как и всем другим заключенным, содержащимся в подобных мучительных условиях, срок пребывания в тюрьме сокращен на 1 год. Я также представил ходатайство с просьбой о его освобождении. Надеюсь, что оно сможет быть удовлетворено. Не будем же терять надежду на лучшее...

О дальнейшей судьбе зловещей женщины-вампа во вкусе начала прошлого века я узнала кое-что из книги художницы Нины Серпинской «Флирт с жизнью». Серпинская, почитательница Тарновской, цитирует газетную статью 1910 года:

Мария Тарновская вышла после трех лет заключения (то есть восемь лет соляных копей не состоялись) элегантная, вся в черном, величественная, как королева... ни слова жалобы на свою судьбу. «Любовь — это трагедия», — сказала она нам и подарила карточки с автографом. О, за такую женщину — не жаль отдать жизнь.

Этот криминальный сюжет всплывал на протяжении XX века, разумеется не в России, в России собственных сюжетов хватало, куда круче, куда страшнее... Оказывается, через шестьдесят лет после жутковатой истории режиссер Лукино Висконти намеревался снять трехчастный фильм «Смерть в Венеции». Задумывался рассказ от лица трех главных героев: Марии Тарновской, Николая Наумова и Доната Прилукова. Вечность спустя после жизни ее и смерти у Марии Тарновской появился шанс стать «черным ангелом» мирового кинематографа. Фильм не состоялся, по слухам из-за того, что звезды кино не

(в окрестностях квартиры № 2)

поделили между собой главную женскую роль. Зато есть стихотворение Игоря Северянина (отнюдь не из лучших), которое так и называется:

ТАРНОВСКАЯ

(сонет с кодой)

*По подвигам, по рыцарским сердцам,
Змея, голубка, кошечка, романтик, —
Она томилась с детства. В прейскуранте
Стереотипов нет ее мечтам
Названья и цены. К ее устам
Льнут ровные «заставки». Но — отстаньте! —
Вот как-то не сказалось. В бриллианте
Есть место электрическим огням.
О, внешний сверк на хрупости мизинца!
Ты не привлек властительного принца:
Поработитель медлил. И змея
В романтика и в кошечку с голубкой
Вонзала жало. Расцвела преступкой,
От электрических ядов, — не моя!.. —
Тарновская.*

Веймарн (август 1913)

Правда это или неправда, но будто бы американский миллионер, заочно влюбившийся в Тарновскую, сразу после освобождения увез ее за океан, где роковая женщина тихо и мирно прожила свой век, торгуя тканями в собственном магазинчике, а в Венеции нынче есть заведение TARNOVSKA'S AMERICAN BAR...

Ну а Донат большую часть срока отбывал в городе Бари, а вовсе не на соляных копях, служил писарем и в конце 1916 года (стало быть, досрочное освобождение состоялось) объявился в Москве и открылся с коварной и злонамеренной стороны. Видно, годы заточения закалили Доната, а личность претерпела кардинальные изменения (а может, просто раскрылась в неожиданной полноте), и именно он немало способствовал раздору в семье, осиротевшей в апреле 1913 года. А все потому, что родные прадеда (в том числе сестра Софья Вениаминовна), равно как и сотрудники его предприятий, все были держателями акций Строительной конторы. И вернувшийся в Россию Донат, как оказалось, вовсе не изможденный заключением, а, напротив того, полный сил, агрессивно вмешался в дела. Самая старшая из сестер, Анна, пыталась противостоять Донату, защищала оказавшиеся под угрозой интересы сестер, зато братьев он сумел сделать своими союзниками. Впрочем, не более чем через год, а именно следующей осенью 1917 года, конфликт разрешился сам собой. Дальнейший жизненный путь бабушкиного кузена в силу исторических обстоятельств покрыт мраком, и теперь эта декадентская драма в сравнении с последующими бедами и трагедиями

прошедшего столетия кажется не более чем занимательным сюжетом, едва ли не опереточным...

От неприятной для семьи истории Доната возвращаюсь к бабушкиной свадьбе. Если сестры и братья замужеству ее не обрадовались, то брак этот горячо приветствовали друзья, и на долгие годы сохранились дружеские связи с теми из них, кто не канул бесследно в водовороте последующих десятилетий. А так как свадебного торжества по обыкновению тех времен не случилось, то вослед отправившимся в путешествие молодоженам полетели поздравительные письма с добрыми пожеланиями (и немало тех писем чудесным образом сохранилось).

Вот и в доме в Лобковском переулке, где мы с родителями очутились зимним вечером в середине прошлого века, жил давний друг бабушки и дедушки, может самый последний на белом свете. Ведь пришли-то мы не к семейству, состоявшему из отца, матери и девочки постарше меня года на два, а к старичку, обитавшему в огороженном ширмой углом темноватой проходной комнаты. Изможденный старичок, издавая не слишком внятные, но приветливые звуки, слабо сжал мою руку костлявой желтоватой ладонью и улыбнулся из своего полумрака (уголок старичка освещала настольная лампа-грибок с зеленым жестяным абажуром, в точности такая, как у нас дома) так радостно, что я смутилась. Помню, как старательно и с каким удовольствием произносил он мое имя и с каким трудом это у него получалось.

А дело-то в том, что у нас с бабушкой имя одно и то же. Ожидая рождения ребенка и мечтая о дочери (о мальчике она не хотела и думать), мама собиралась назвать меня Ниной. Я и родилась 27 января, в день св. равноапостольной Нины, просветительницы Грузии и племянницы иерусалимского патриарха. Но когда на семейном совете принялись обсуждать имя новорожденной, мамин брат Лев, горняк, наезжавший по служебной надобности из города Джезказгана и в те как раз дни очутившийся в столице, желая подружиться с новой родней и произвести наилучшее впечатление, предложил назвать меня в честь бабушки. А мама так слаба была и изнурена, так измучилась и устала, что ей уже было все равно, и она с легкостью отказалась от первоначального своего намерения. В результате того семейного совета день моих именин приходится не на пик зимы, а случается в апогее лета, в день св. равноапостольной княгини Ольги, супруги князя Игоря Рюриковича и бабушки св. равноапостольного князя Владимира.

Разумеется, ни о просветительнице Грузии, ни о великой княгине родители мои не думали и не помышляли, просто назвали дочь хорошим именем скандинавского происхождения, и дело с концом. На самом-то деле и по справедливости меня следовало назвать не Ниной и не Ольгой, а Рахилью — в честь маминой мамы, скончавшейся за одиннадцать лет и два дня до моего рождения.

Ветхозаветная Рахиль, в переводе с древнееврейского «овечка», любимая жена праотца нашего Иакова, дочь коварного Лавана, младшая сестра

(в окрестностях квартиры № 2)

Лии и мать Беньямина. В соответствии с еврейской традицией новорожденно-го называют в честь родственника, уже покинувшего земную юдоль. Имя человека — вещь мистическая, и есть мнение, будто бы двум людям с одним и тем же именем не ужиться в одной семье, кто-то кого-то непременно вытеснит (я-то на этом не настаиваю, потому что знаю иные примеры). Короче говоря, я Ольга, а не Рахиль, имя мое мне нравится, я к нему привыкла, тем более что и на овечку ничуть не похожа ни внешностью, ни характером.

Более сорока лет старичок из Лобковского переулка дружил с бабушкой и дедушкой, но к моменту нашего посещения их обоих уже не было на свете. Видно, старичок сильно по ним соскучился, особенно по бабушке, и ему очень хотелось произнести вслух ее, а с некоторых пор и мое имя. Смущенно потоптавшись возле старичка, сказав ему что-то ласковое, перешли в соседнюю комнату, где в процессе недлинного церемонного чаепития девочка, родственница старичка, громко и отчетливо протараторила множество презабавных скороговорок, а немолодые ее родители (постарше моих) восторженно гордились дочкой. Оказалось, что девочка посещает кружок художественного слова во Дворце пионеров в переулке Стопани.

Нынче переулку вернули первородное его имя, он снова стал Огородной слободой. И если раньше любой москвич, понятия не имевший, кто такой или что такое Стопани и с чем это стопани едят, с легкостью объяснял приезжему человеку, как найти переулок, теперь все недоуменно пожимают плечами в ответ на вопрос: а где тут у вас Огородная слобода? Сама-то я прежде думала, что Стопани из той же компании, что бедолаги Сакко с Ванцетти, Николо и Бартоломео, чьи жалостливые изображения в гробах все детство щемили душу. Имена их советские граждане помнили крепко, ибо ежедневно прочитывали на всех без исключения карандашах, круглых и ребристых, тонких и толстых, простых и цветных, производства московской карандашной фабрики им. Сакко и Ванцетти. Лично я более всех ценила ребристые, толстенькие, красно-синие, заточенные с двух концов, кажется, они назывались «Кремль»...

На самом-то деле, даже если предки Александра Митрофановича в незапамятные времена и вправду прибыли из Италии (якобы из Сицилии), сам он родился стопроцентно российским человеком, нормальным сибиряком из села Усолье Иркутской губернии. Александру Митрофановичу, в отличие от Николо с Бартоломео, довелось дожить до победы если не мирового, то хотя бы российского пролетариата, он даже возглавил Общество старых большевиков и умер своей смертью. Хотя итальянских единомышленников пережил всего-то на пять лет — Сакко и Ванцетти казнили в 1927 году, а Стопани скончался в 32-м. К слову сказать, среди потомков Александра Митрофановича чудесным образом обнаружилась прекраснейшая Белла Ахатовна Ахмадулина, и за это он заслуживает нашей благодарной памяти.

Под крышей Дворца пионеров на Стопани, так же как во многих других пионерских домах, спасалось в советскую пору множество детей и

взрослых. Люди самых разных профессий, укрывшись под пионерским кровом, щедро делились с детьми знаниями и умениями, не востребованными в других советских учреждениях, вкладывали в дело талант и душу, не жалели личного времени, заражали и заряжали школьников собственной увлеченностью, формировали их вкусы и жизненную позицию. Худо-бедно выживали со своими семьями сами, а множеству детей, угнетенных школьной демагогией (а также домашним неблагополучием, нищетой, темнотой родительской и семейным деспотизмом), открывали миры, о которых при другом раскладе пионеры и школьники никогда бы ничего не узнали. Именно в Домах и Дворцах пионеров дети получали импульсы для будущей профессиональной жизни и судьбы.

С девочкой, талантливо тараторившей скороговорки, мы больше не свиделись, но завистливое чувство, возникшее в тот зимний вечер, отчего-то запомнилось. И родители мои не подружился с ее родителями, просто выпили чаю с тортом, украшенным кремовой розой с зелеными марципановыми листочками, посидели за столом, покрытым торжественной белой скатертью ровно столько, сколько требовали приличия, попрощались (как оказалось, навсегда) со старичком за ширмой и с облегчением откланялись.

Видно, позавидовала я той девочке черной завистью, мне-то по причине территориальной отдаленности Дворец пионеров в переулке Стопани не светил. А позавидовать и вправду стоило, ведь девочке той не просто повезло, но повезло исключительно, потому что кружок художественного слова вела блистательная Анна Гавриловна Бовшек, актриса, педагог, жена и хранительница наследия писателя Сигизмунда Кржижановского, открывшегося широко читателю в новейшие уже времена.

И все же в причудливом доме на улице Стопани я побывала, и не однажды. Выстроил его в 1900 году для семьи Давида Васильевича Высоцкого (директора Товарищества чайной торговли «В. Высоцкий и Ко») маститый архитектор Роман Клейн при участии племянника своего, молодого, входящего в моду архитектора Владимира Дриттенпрейса. Старшую дочь Высоцкого Иду в юности горячо любил Борис Пастернак, стихотворение «Марбург» (один из ранних его поэтических шедевров) связано с ней, с Идой:

*В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.*

После Октябрьского переворота домом Высоцких вместе со всем его содержимым завладело Общество старых большевиков, а когда в 1935 году общество упразднили и членов его уничтожили едва ли не всех поголовно, здание передали другу и покровительнице советских детей Н.К. Крупской для ее подопечных пионеров и октябрят. До конца своих дней, может по долгу службы, а может по душевной склонности, Крупская опекала чужих ребятешек, и

(в окрестностях квартиры № 2)

похоже, многочисленные детские учреждения, в том числе родильные дома, еще при жизни Надежды Константиновны названные ее именем, — изощренное (нетрудно догадаться чье) издевательство над бездетной вдовой.

А побывала я в доме чаеоторговца потому, что на смену семьям прежних соседей-гегемонов, счастливо переселившись в микрорайон Черемушки, в две освободившиеся убогие комнатки въехали три интеллигентных пожилых человека: Иван Григорьевич Морозов — приветливый словоохотливый рыжеватый человек на протезе, жена его Анна Васильевна, по контрасту с мужем немногословная смугло-седая дама со скорбным взглядом, вся будто переплом подернутая (видно, жизнью здорово обожженная), и слепая старушка в черном чепце — мать Ивана Григорьевича. С высоты сегодняшних моих лет вижу, что Ивану Григорьевичу было едва за пятьдесят, а может и меньше, Анне Васильевне ближе к шестидесяти, но не более, однако мне они казались едва ли не старичками.

Комнатки Морозовых находились в противоположных концах квартиры, а старушка в чепце нуждалась в постоянном уходе, поэтому днем и ночью Иван Григорьевич, постукивая протезом, сновал по замысловатому нашему коридору. Старушка (звали ее Варварой Алексеевной) никогда не выходила из своей каморки, и видели мы ее мельком лишь однажды, в день переезда, а дробное постукивание протеза стало лейтмотивом морозовского периода нашей жизни.

Даже самыми светлыми солнечными утрами в обеих комнатах стояли глубокие сумерки. Тусклый свет проникал в мизерной дозе, впрочем, слепой старушке в чепце свет был ни к чему, а у себя Иван Григорьевич соорудил другие окна, круглосуточно смотревшие в нарядный подводный мир. По периметру комнаты он смонтировал несколько вместительных аквариумов, оборудованных лампами дневного света, и населил это сине-зеленое царство красными меченосцами, синими петухами, люминесцентными неонами, множеством разноцветных гуппи и причудливыми водорослями всех оттенков зеленого цвета. Рыбки деловито сновали, водоросли колыхались, мир подводный сиял, а по воскресеньям Иван Григорьевич отправлялся на Птичий рынок, где товар его пользовался большим спросом, в особенности неоны, не так давно появившиеся в московской реальности.

Через пару лет, когда отношения между нами сложились почти родственные, на осторожный мамин вопрос, при каких обстоятельствах Иван Григорьевич лишился ноги, Анна Васильевна ответила, что ногу он отморозил на севере. И мы решили, что нынешний сосед-трезвенник прежде сильно пил и по пьяному делу заснул на морозе. Чем объяснить тогдашнее наше наивное неведение, а попросту говоря глупость? Отчего спустя целую вечность после смерти Морозовых я наконец-то задумалась об истинной их судьбе? Почему мы не удивились хотя бы тому, отчего эти немолодые люди прибыли на новое место жительства без какого бы то ни было имущества, налегке, с жалкими какими-то пожитками? Отчего не было у них ни родственников, ни знакомых?

Знала ли об истинной их судьбе мама, и сама осиротевшая в злосчастном 37-м? Как бы то ни было, мама не оставляла Морозовых до конца их дней, она же их и хоронила...

А покинули нас славные наши соседи вскоре после того, как скончалась безмолвная старушка в чепце, и Морозовы встревожились не на шутку, как бы не отняли освободившуюся комнатушку (а ведь запросто могли и отнять). Разволновались, запаниковали и обменяли две паршивеньких комнаты на одну неплохую, неподалеку от нас, в Соймоновском проезде, с видом на бассейн «Москва». Комната-то новая была просторнее и гораздо светлее, зато соседи оказались гадкими, и жилось Морозовым в новом жилище плохо.

Перебираясь в дом престарелых на станции «Левобережная» (уже из отдельной окраинной квартиры, куда их выселили из московского центра и где жизнь на отшибе оказалась им не по силам), Морозовы подарили нам две серебряные вилки с чьими-то чужими, красиво выгравированными инициалами «LE». Это память о славных наших соседях и о зимнем вечере бог знает какой давности, отчего-то запомнившемся, когда на общей нашей кухне Иван Григорьевич горделиво представил жильцам удачную покупку, вот эти вот вилки, только что обретенные задешево в комиссионке на Арбате. В маленьком, одноэтажном, памятном старым москвичам магазинчике неподалеку от Арбатской площади. Так уж сложилась жизнь, что на склоне лет пришлось обзаводиться самым необходимым и радоваться любой мелочи...

А на форзаце альбома для рисования, подарке Морозовых, стишок, написанный безупречным каллиграфическим почерком (писала, конечно же, Анна Васильевна, успевшая поучиться в гимназии):

*В день твоего рожденья — в девять лет,
Дарю тебе альбом для рисованья.
Художником ты будешь или нет,
Но сохрани о нас воспоминанье.*

И еще один эфемерный, почти бесплотный, но все же материализованный клочок памяти — повидавшие виды, аккуратно заштопанные черные митенки с вышитыми розочками, в давней, бесследно канувшей жизни принадлежавшие старушке в чепце. В пятом классе на новогоднем маскараде я изображала тонную леди с черепаховым лорнетом, прибывшую в Москву из Ливерпуля. Нравилось мне название этого города (а ведь в тот самый год явилась миру «ливерпульская четверка»).

Маскарадный костюм соорудили с миру по нитке. Мама не пожалела креп-сатиновых останков некогда нарядного темно-зеленого платья, доставшегося на исходе войны по лендлизу (креп-сатин — ткань, блестящая как атлас с одной стороны и матово-зернистая с другой). Старушка Юлия Александровна, бабушкина с незапамятных времен приятельница и натурщица, пожертвовала золотистый лорнет с замысловатой ручкой, затейливо обвитой китайским

(в окрестностях квартиры № 2)

драконом (увы-увы, тем же вечером старинный лорнет угодил в дверную щель и обратился горстью черепахового праха). А старенькие митенки нашлись у Морозовых, в точности по руке субтильной пятиклассницы.

Костюм-то свой я задумывала не ради митенок и антикварного лорнета, а чтобы продемонстрировать одноклассницам бабушкин черный веер. Дивно шелковистый изрядно потрепанный веер с прекраснейшим прошлым. Не знаю, случалось ли ему бывать на балах (отчего-то не представляю я бабушку на балу), но совершенно точно он бывал с нею в Художественном, а также Малом театрах и на концертах пианистов Артура Никиша, Иосифа Гофмана и Ванды Ландовской, дававшихся московскими зимами в Благородном собрании, в последующие времена обернувшимся Домом союзов.

Жизнь-то потрепала веер позже, в советскую уже эпоху, во времена театральные постановки, которые бабушка с дедушкой, невзирая на жизненные реалии, устраивали для сына и дочери, а также для родственного и дружеского детского окружения. Похоже, тот новогодний школьный праздник стал последним выходом веера в свет...

Так вот, Иван Григорьевич торговал рыбками, а Анна Васильевна подрабатывала к скудной пенсии во Дворце пионеров в переулке Стопани, совмещая две должности — смотрительницы и гардеробщицы. И ежегодно вручала мне билет на новогоднюю елку. Новогодний праздник во Дворце пионеров, кроме прыжков, ужимок и гримас, предполагал еще и многоступенчатый конкурс с невысокой интеллектуальной планкой. В прихожей дома Высоцкого каждому пионеру выдавали ведомость, с которой, не теряя попусту ни минуты и действуя собранно, следовало обойти несколько комнат, украшенных сохранившейся со времен чаеоторговцев и старых большевиков потолочной лепниной, в каждой из них ответить на незатейливые вопросы из разных областей знаний и заработать баллы.

В заключение праздника самых удачливых и расторопных конкурсантов вызывали на сцену и вручали призы. И однажды я нечаянно попала в число счастливых, вышла на сцену и получила награду — книжку про пионерагероя Марата Казея. Совершая круг почета, чувствовала себя до слез нелепо и сторала со стыда, а все потому, что на мне была длинная-предлинная, до середины икры, плиссированная юбка, подаренная только что, к Новому году, и не подшитая из-за недостатка времени (плиссированную-то юбку быстро не подошьешь). Юбок такой длины в те времена никто не носил, и после того триумфального позора порога Дворца пионеров в переулке Стопани я не переступила ни разу.

Спустя несколько лет пионерскую плиссировку размочили, разгладили и соорудили из образовавшегося немалого метража полноценное платье для шестнадцатилетней комсомолки. И синее платье, в отличие от злосчастной юбки, я носила долго и с удовольствием. Само собой, к синей юбке полагалась белая рубашка (светлый верх, темный низ) и пионерский галстук. Явиться во Дворец пионеров без пионерского галстука было бы натуральным нонсенсом.

Именно сюда подверстывается история нашего приятеля, урожденно-го киевлянина. Когда очередной внук многодетного киевского дедушки достиг пионерского возраста, на ближайшем по времени семейном собрании жестом фокусника старичок извлекал из кармана обыкновенное куриное яйцо средней величины, самое что ни на есть заурядное яичко, и вручал его юному пионеру. Яйцо передавали по кругу, гости и родственники пристрастно его разглядывали, крутили-вертели, а убедившись, что яичко целенькое, беленькое и абсолютно гладенькое, возвращали пионеру. И наступал апофеоз действия! Свежеиспеченный пионер разбивал яйцо и... о чудо... на глазах изумленной публики извлекал на свет божий отнюдь не иглу, на конце которой трепетала жизнь Кощея Бессмертного, а новенький, абсолютно девственный пионерский галстук. Жаль, что это ноу-хау дедушка унес с собой в могилу, хотя не знаю, пригодилось ли бы оно в нынешней нашей жизни.

Что касается меня, то я свой пионерский галстук любила, потому что он был мне к лицу. Собственная-то внешность в совокупности с черно-коричневой школьной формой и круглыми очечками à la Александр Сергеевич Грибоедов казалась пресной, скучной до невозможности, а красный галстук ее оживлял. Из этих-то соображений я и носила яркий лоскут дольше своих одноклассников и неохотно с ним рассталась.

А обрела я сей символ в Музее В.И. Ленина. Именно там в начале третьего класса в дни осенних революционных торжеств мне повязали его в соответствующей случаю обстановке. К моему глубокому огорчению, потому что я надеялась, что ошеломительное событие произойдет гораздо торжественнее, на Красной площади, на глазах у всего советского народа, перед мавзолеем. Задолго до наступления судьбоносного дня грезила, как шагну вперед, вытянусь в струнку и звонко отчеканю пионерскую клятву: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...». Но из экономии времени клялись хором, и получилось невыразительно, без пафоса, не в унисон, а вразброд, кто в лес кто по дрова, короче говоря — невпопад и кое-как. Можно было вообще не учить клятву наизусть и сто раз не репетировать дома перед родителями. Не утешило даже последующее посещение подземного царства и созерцание его обитателей. В те годы в хрустальных гробах лежали бок о бок двое, вот только первый в темном штатском костюмчике здорово проигрывал второму, наряженному в белоснежный мундир генералиссимуса, украшенный сверкающими орденами.

Однако через полгода я отчасти компенсировала неслучившееся счастье. Меня-то, отличницу, приняли в ряды в первую очередь, а дворовую подружку мою Ленку Фыряеву, двоичницу и второгодницу, самой последней. Ленке повезло, ее звездный час пришелся не на зябкий ноябрь, а на погожие майские деньки. На этот раз галстук перед мавзолеем повязывали не мне, зато я, ощущая себя умудренным партийным опытом ветераном, чеканным шагом, под барабанную дробь, гордо ступая по брусчатке, подошла к оробевшей Ленке (в обычное время хамке, хабалке и деспотической предводительнице

(в окрестностях квартиры № 2)

дворового сообщества) и собственноручно повязала ей галстук. Уж в чем в чем, а в завязывании пионерского узла я к этому времени поднаторела. И снова, все вместе, ветераны и новообращенные, пионеры и пионервожатые, спустились в преисподнюю, и опять мундир генералиссимуса затмил штатский костюмчик. К счастью для нашего с Ленкой душевного здоровья, тем же вечером во дворе все встало на свои места, и Ленка-уже-пионерка по-прежнему всеми командовала и всем хамила, в том числе и мне, своему в каком-то смысле партайгеноссе.

К счастью, больше по тем гранитным ступеням мне спускаться не довелось, так и живу под впечатлением более чем полувековой давности. Только так всегда и случается: Кремль, к примеру, со всеми своими соборами, буквально под боком, а бываешь там раз в несколько лет, цирк на Цветном за всю жизнь посетила раза три, не более, мавзолей — вот он, пятнадцать минут на метро, а с внуком до сих пор не выбрались и вряд ли выберемся. Вот если б пришлось ехать издалека...

Беспрецедентно жарким августом 1972 года, ожидая в привокзальном скверике советского города Риги посадки на московский поезд, мы с мамой разговорились с миловидной дамой и семилетним ее сынком, славным черноглазым ребенком. Эти жители латвийской глубинки тоже ждали московского поезда, а в столицу направлялись на один день (ночь — туда, ночь — обратно) с одной-единственной целью — посетить мавзолей. *Вот уедем в Израиль, а Ленина так и не увидим. Потом сами себе не простим!* — пояснила женщина. Не знаю, выстояли ли эти простодушные люди многочасовую очередь (жара-то стояла несусветная, Подмосковьё горело, и город затянуло удушливым дымом), попали ли в мавзолей, полюбовались ли вождем, давно уж обитавшим в своей преисподней в одиночестве... Надеюсь, счастье это в их жизни случилось...

Но не все дорожили пионерским галстуком так, как мы с киевским дедушкой нашего приятеля. В те же самые времена одна девочка (бывшая одноклассница будущей моей однокурсницы) ни с того ни с сего сорвала с шеи этот символ красного знамени (широкий конец неправильного треугольника якобы коммунистическая партия, узкий и длинный — комсомол, короткий — пионерия, а все вместе соответствующее триединство) и, воскликнув в запальчивости: *Надоел до чертиков!* — вышвырнула из окна электрички (пустила по ветру). По воспоминаниям очевидицы, красный лоскут, прежде чем взмахнуть тремя замахрившимися крылами и упорхнуть на волю, натерпелся от своей хозяйки — был изорван, измят и замусолен. Видно, и в те правоторные времена встречались плохие пионерки, диссидентки в своей возрастной группе, а в тот весенний день девочки возвращались из Москвы в родной город Люберцы.

Так вот, старичка, доживавшего жизнь в семье девочки-декламатора, шлифовавшей дикцию в кружке Анны Гавриловны Бовшек, звали Борис Николаевич Бухгейм. Борис Николаевич родился в 1885 году, при рождении

получил имя Бернгард, окончил историко-филологический факультет Московского университета и факультет истории искусства в Мюнхене. В начале девятисотых Борис Николаевич, а позже и жена его Евгения Эдуардовна, прихорюдившаяся мужу своему кузиной, подружались с бабушкой моей и дедом.

О Борисе Николаевиче в сборнике, составленном А. А. Демской и Н.Ю. Семеновой: «П.Д. Эттингер. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников» (М.: Советский художник, 1989) сказано, что был он библиофилом, и в архиве ГМИИ, а также в Отделе рукописей ГБЛ хранятся его воспоминания о Павле Давыдовиче Эттингере. Что же касается Павла Давыдовича, то до выхода на пенсию в 1911 году он служил в Московском международном торговом банке, что на углу Рождественки и Кузнецкого Моста, но во все времена — и в «мирные», и после Октябрьского переворота — по душевной склонности был беззаветным любителем искусства, собирателем книг и страстным коллекционером живописи и графики. Существует гравюра Михаила Полякова с подписью «вот пещера Эттингера», которую Павел Давыдович использовал в качестве эскиза. С большим портретным сходством художник изобразил погруженного в чтение Павла Давыдовича в профессорской ермолке на фоне комнаты, меблированной во вкусе московской интеллигенции. Это достоверное изображение жилища Эттингера в коммунальной квартире по адресу Новая Басманная, дом 10, квартира 92. Здесь он и обитал до последнего дня жизни, завершившейся на эскалаторе станции метро «Красные Ворота» в декабре 1948 года.

Поляков изобразил «пещеру Эттингера» графически, а художница Симонович-Ефимова ее описала:

Никаких признаков повседневной жизни. Тут лишь шкафы с редкими книгами по искусству, тут посредине большой квадратный стол, уложенный периодическими изданиями, тут стопа с акварелями, небольшими масляными картинами, прекрасно обрамленными.

В архиве ГМИИ им. Пушкина среди множества писем бесчисленных корреспондентов хранятся два письма моего деда и восемьдесят четыре бабушкиных письма (фонд 29, опись III, №№ 36–120), писанные в течение сорока двух лет, с 1906 по 1948 год, а с недавних пор и письма Павла Давыдовича бабушке (я передала их в музей). В их переписке то и дело встречается имя Бориса Николаевича.

Неведомо для себя я успела познакомиться с Павлом Давыдовичем, вернее, он познакомился со мной. Этот достойный человек скончался в конце 48-го года, а я родилась в самом его начале. То есть явилась на свет 27 января, а 7 февраля (25 января по старому стилю) день бабушкиного рождения. Что подтверждает занятный документец, чудесным образом сохранившийся в семейном архиве. Это конверт с надписью: *Вес Девуцы Ольги Александровны Бари. 26 января 1879. 8⁵⁴/₁₀₀ ф. русск. весу*, а в нем листочек с шутивным текстом следующего содержания:

(в окрестностях квартиры № 2)

С.Петербург Января 26-го дня 1879 года в доме № 63 на Сергиевской улице происходило взвешивание вчера родившейся дочери Американского гражданина инженера Александра Вениаминовича Бари от матери ея Зинаиды Яковлевны, причем оказалось, что она деввица весит Американских фунтов $7\frac{3}{4}$ (семь и три четверти) чистого веса, т.е. без нарядов и украшений. В русских фунтах сей весь будет на 11 процентов более, следовательно 8,54 фунта (восемь и пятьдесят четыре сотых русского фунта)». А.В. Бари, весовщик. Акушерка Ав. В. Авельникова. Свидетель Анна Бари, сестра старшая новорожденной.

Так вот, всего-то навсего через 69 лет после того радостного события и по аналогичному поводу для гостей, пришедших поздравить бабушку, устроили аттракцион — демонстрацию новорожденной внучки бывшей девицы, весившей в начале жизненного пути $7\frac{3}{4}$ американского фунта. То есть мимо младенца, лежавшего в глубинах темно-зеленого кресла с высокой спинкой и пухлыми валиками, служившего мне ложем, прошествовала на цыпочках вереница умиленных бабушкиных друзей — такая вот пастораль... И среди славных тех старичков и старушек был конечно же Павел Давыдович Эттингер.

Идея в принципе неплохая — представить друзьям нового члена семьи, но то ли не все те старички и старушки были добрыми волшебниками и волшебницами, то ли не стоило на столь раннем этапе показывать младенца чужим людям, пусть даже самым что ни на есть доброжелательным. Как бы то ни было, но после лестной для меня презентации я перестала спать, бодрствовала днем и ночью и целый год орала как оглашенная. Хотя аппетит не потеряла... Этот круглосуточный ор дорого стоил маме. К концу года она почти дематериализовалась, на фотографию того времени не взглянешь без слез, такой изнуренной и почти бесплотной выглядит на ней моя молодая мама. Так уж сложилось, что после бессонной ночи, скинув дитя няньке (сначала соседке Мане Лошадкиной, потом приходящей домработнице Ане Гордеевой), мама устремлялась на работу. Хорошо еще, что до ее института на Малой Пироговской (некогда Малой Царицынской) всего четыре троллейбусные остановки, и поэтому в перерыве между занятиями, в так называемое окно, мама успевала примчаться и покормить дитя (молока, несмотря на предельную изнуренность, у мамы было с избытком). Орала-то я громко, зато ела быстро и с жадностью.

А через пять лет в том же кресле, где лежал некогда десятидневный младенец, якобы умилявший отменно воспитанных друзей дома, в этом же самом кресле скоростижно скончался дедушка. И я помню его, уже неживого, но все еще сидящего в этом кресле, и помню морозный пар из открытой форточки, клубившийся над запрокинутой его головой. Остановившееся мгновение, одно из первых в жизни.

А вот Бориса Николаевича среди бабушкиных гостей не было, с ним мы познакомились гораздо позже, а спустя еще вечность я узнала из интернета, что букинистический магазин «Аукционъ М.Я.Чапкина» располагает книгой Б.Н. Бухгейма «По Италии. Впечатления, настроения, размышления» (М., 1914, 308 с. 32 л. ил. 21,4 × 16,3, обл. и титул с виньетками Ф.И. Захарова). До магазина-то я не добралась, зато на экране компьютера всплыло иронически интонированное впечатление одного из нынешних читателей этой книги:

Забавно, что некто Борис Бухгейм в 1914 году назвал «городом контрастов» вовсе не Лондон, Стамбул или Нью-Йорк, а, не поверите, Венецию, обычно фигурирующую в путеводителях в качестве «жемчужины Адриатики». Русского вояжера (свои впечатления он изложил в объемистой книге) поразил «вечный покой» в городе св. Марка, напомнивший ему «дремоту Обломовки». Интересно, что автор и словом не обмолвился о фестивале современного искусства, уже тогда смущавшем умы. (Страсти бушевали и впрямь нешуточные: в 1912 году Маринетти предлагал бойкотировать биеннале, и его воззвание подписали около 300 художников.) Гораздо больше современника «серебряной эпохи» смутили орды попрошаек на фоне «прекрасных древностей» и «призраки вечной пустоты», являвшиеся ему по ночам.

Из чего следует, что к современным веяниям Борис Николаевич был равнодушен и однозначно предпочитал им «прекрасные древности». Из того же источника выяснилось, что, когда летом 1915 года издательство Иосифа Кнебеля пало жертвой антинемецкого погрома, издатель не отчаялся, рук не опустил, а в надежде на лучшие времена вместе со своими партнерами Б.Н. Бухгеймом и В.А. Альшулером учредил акционерное общество на паях «Товарищество И. Кнебель».

Бабушка-то моя в те жутковатые дни жила с годовалой дочерью на даче в подмосковных Мурашках, и в письме к Павлу Давыдовичу Эттингеру писала:

Московский погром я, к счастью, не видела, но отголоски его были и здесь. Фабричные и деревенские ходили по дачам и выселяли дачников с немецкими фамилиями. Неприятно было...

Что же касается дружбы бабушки и Бориса Николаевича, то любовь к Италии, навеки вошедшая в состав их крови, конечно же ее скрепила. В Италии бабушка получила заряд такой силы, что, распрощавшись со страной, ставшей для советских граждан не более чем миражом, сумела поделиться им не только с родными детьми (ни отцу моему, ни тетушке ни разу не довелось пересечь границу СССР ни в одном направлении, а уж тем более побывать в Италии, но итальянские переживания матери пронизали и их жизни), но и с учениками нескольких поколений. Все бабушкины ученики, встречавшиеся мне в течение жизни, помнили ее итальянские рассказы. Вечность спустя после посещения нашего дома (незадолго до войны его, еще подростка, привел

(в окрестностях квартиры № 2)

к ней приятель и бабушкин ученик Юра Рябинин) художник Михаил Матвеевич Шварцман вспоминал, как удивился, услышав от «старушки Бари», что она любит «маленьких итальянцев» больше мастеров Высокого Возрождения, удивился, но намотал на ус и со временем согласился.

Сохранились бабушкины письма, посланные из Италии сестрам и родителям в разные годы жизни и в разных душевных состояниях. По контрасту к процитированному в начале этого текста грустному октябрьскому письму 1913 года приведу кусочек одного из самых светлых, самых радостных посланий, написанных девятью годами раньше, 21 марта 1904 года:

Живу хорошо, красиво так, что даже как-то не стою того, уж слишком много всюду красоты и величия, даже не успеваешь ухватить. Интересного много. Вчера испытала обаятельнейшую вещь: знаменитый Borri, архитектор, заведующий раскопками на Forum'e, читал на самом Forum'e лекцию по-английски для иностранцев, рассказывал о своих последних находках. И все это тут на самом месте, и под этим небом, все камни эти, бесконечно дорогие, эти нежные обломки колонн — все это ослепительно освещенное солнцем и оживающее в образах талантливого человека; это могучее веяние истории, которому я всегда попадаюсь в плен. Мое всегдашнее тяготение к истории вздрагивает, остро чувствуется до жуткости... и ведь все тут, тут кругом меня, под моими ногами... Головокружительно прекрасно, обаятельно, интересно и страшно, страшно, потому что чувствуешь всю свою несостоятельность, свое невежество и только благоговейно трепещешь! А хотелось бы работать, работать вот в таком деле, как работает этот обаятельный, талантливый и бесконечно милый Borri! И как изящно кончил он! Описал растения, цветы, которые когда-то покрывали форум, которые употреблялись для священных курений, сожжений и пр. А потом появились служители с массой веток цветущих. Borri раздавал их всем. Так что каждый уходил с этого святого места с большими пучками когда-то священных веток; тут и лавры, и маслина в цвету, которую жгли весталки, и мирт, и еще какие-то ветки патрициев и плебеев, и еще много, много... Я уходила с форума с полнотой и волнением, каких не испытывала очень-очень давно...

Так вот, о Борисе Николаевиче и Евгении Эдуардовне Бухгейм сведения у меня самые мизерные, но кое-что реконструировать удалось. Пока живы были отец мой и тетушка, я многое могла бы узнать об этих людях, о судьбах их и характерах, но отчего-то вопросов не задавала. В этом и состоит парадокс: в большинстве случаев жадный интерес к прошлому семьи и ее окружения возникает с исчезновением источника информации — с уходом родителей. Есть, конечно, мудрые дальновидные люди, с которыми не происходит такого конфуза. А ведь папа с тетушкой не были молчунами, напротив, обрадовались бы

расспросам, с ощущением счастья погрузились бы в детство свое и юность, охотно рассказали бы все, что знали и помнили. Наши несостоявшиеся разговоры скрасили бы их последние тяжкие дни, поддержали бы силы лучше любых лекарств.

Не знаю, как это случается у других, но, оглядываясь на прошедшую жизнь, все более и более ужасаюсь собственной слепоте, глухоте душевной и непониманию очевидного. Это тем более странно, что с родными своими я рассталась не в детстве, не в ранней юности, а более чем взрослым человеком. Да уж, качество нынешнего самоощущения было бы иным, если бы каждодневно и еженощно не озадачивали своей нелепостью и необратимостью проявляющиеся в памяти (вроде как на фото пленке) картинки, вызывающие у меня сегодняшней оторопь и недоумение. И несть им числа, и ничто, оказывается, не забыто, никуда не кануло, все хранится в отведенной для этой цели ячейке памяти, теперь уж переполненной, вот и живи со всем этим, если можешь... Одна польза — только-только соберешься осудить кого-нибудь, а то и заклеить, как в то же мгновение получишь подзатыльник от собственного alter ego, мол, помолчи-ка, на себя посмотри!

Запомнилось мне одно-единственное папино воспоминание с участием Бориса Николаевича. Когда в детстве папы и тетушки в нашем доме по какому-нибудь праздничному случаю собирались гости, дедушка мой Семен Борисович Айзенман вместе с Борисом Николаевичем Бухгеймом и Павлом Давыдовичем Эттингером (не такие уж молодые, но еще и не пожилые люди) дурачились и отплясывали краковяк. Распевая при этом: «Русский, немец и поляк танцевали краковяк, танцевали не спеша, наступили на мыша». Все смеялись, а папа-мальчик хохотал до упаду и думал, что поют они сами про себя. Бориса Николаевича папа считал немцем (что соответствовало действительности), Павла Давыдовича, уроженца польского Люблина, поляком, а отца своего, разумеется, русским.

Брак Бухгеймов (то ли к сожалению, то ли к счастью) оказался бездетным, но были родственные семьи брата Александра Бухгейма и сестер Марии Масленниковой и Дагмары Феттер (урожденных Бухгейм). С семьей Александра съехались, когда началось «уплотнение» и «подселение». Спасаясь от нашествия невесть кого (а ожидать приходилось только худшего и самого худшего), прозорливые люди торопились объединиться с родственниками или хорошими знакомыми, и некоторым это удавалось.

В 1935 году свояков Бориса Бухгейма и Николая Феттера сослали в дальние края, а жен их, сестер Евгению и Дагмару, выселили всего лишь за «101-й километр», в город Александров (бывшую Александровскую слободу Владимирской губернии), приютивший несметное множество московских изгнанников. Там-то, в Александровской слободе, в 1939 году Евгения Эдуардовна и скончалась от болезни сердца. После смерти жены, уже в одиночестве, поселился в Александрове и Борис Николаевич, прожил там всю войну, а в родной дом в Лобковском переулке возвратился хлопотами родных после

(в окрестностях квартиры № 2)

тяжелейшего инсульта, случившегося в 47-м. В квартиру, где по-прежнему жила семья брата Александра.

Текст этот всего лишь убогий комментарий (с пространной преамбулой и наштапованным множеством немотивированных отступлений) к нескольким письмам, надолго пережившим авторов и адресатов и дождавшимся среди залежей бумажного хлама аж третьего тысячелетия *anno domini*. Никому письма эти не пригодятся, вряд ли кого-то заинтересуют, но при желании можно прислушаться к далеким голосам, выудить из колодца времени детали тяжкого быта, подивиться бескорыстию, высоте помыслов и силе духа давно ушедшего поколения, прожившего отпущенный ему век со смирением и достоинством. Не зная жизненных историй этих людей, имен их и обстоятельств, но проследившая эпистолярный пунктир, сегодняшний осведомленный читатель (ежели таковой случится) волей-неволей догадается об участии авторов писем и тех, кто в них упоминается. То есть непонятно зачем и неизвестно для кого я приведу здесь тексты нескольких писем, по возможности без купюр и сокращений — эта хрупкая, грозящая рассыпаться в прах субстанция нуждается в бережном обращении. Жаль было бы утратить интонацию (ошеломляюще простодушную для тех жутковатых времен) и ощущение атмосферы, сохранявшейся до поры до времени и вопреки всем бедам в том дружеском кругу. Начну с двух писем, написанных по свежим следам торжественного события — серебряного юбилея четы Бухгейм, на котором бабушка моя не присутствовала, потому что в то лето блаженствовала с детьми в городе Мценске.

1/14.7.1933 Москва

Шлем Вам, дорогая Ольга Александровна, Таня и Алеша, сердечную благодарность за память, поздравление и оценку нашей жизненной «идеологии». Очень жалели, что Таня и Алеша не осуществили своего намерения и не создали «легенды» для этого дня. Ваше письмо и телеграмму получили вовремя. Стихотворно очень искренно нас приветствовал от семьи Айзенманов Семен Борисович и преподнес большой букет синих (прекрасного цвета) цветов.

Для нас обоих вечер прошел очень быстро и неожиданно светло. В нашей комнате было очень празднично. На столах и окне расцвел целый цветник, а со стен смотрели старые мастера и силуэты и образы, которые рождаются в человеческой душе на берегу полуденного моря. Не забыт был и Chiostro St. Marco с его ласковой лиственнойницей, и задумчивый Доминик Beato Angelico, и лагуна Венеции. Когда осенью это «окно» в Европу снова сменится оригиналами художников, то мы с большой признательностью среди них поместим обещанный Вами этюд: радостный, яркий и непосредственный — из числа Ваших «скитальческих» работ последних лет.

Очень, очень жалею, что Вы не были в этот вечер с нами; было что вместе вспомнить, было на что вместе порадоваться.

На нас обоих наш день произвел такое сильное впечатление, что вот уже прошло 5 дней, а нам кажется, что кругом все еще продолжается праздник: для нас сияет солнце, для нас пахнут липы и цветут цветы. Все наши близкие и друзья в этот день излили на нас столько внимания, что забыть это и вернуться к обыденной жизни очень трудно.

На сегодня только эта короткая благодарность и самый искренний и сердечный привет.

Ваши Бухгеймы

Вслед совместному письму супругов Бухгейм и в его дополнение пришло письмо от Евгении Эдуардовны:

24.7.1933

Г. Юрьеvec Ивановской обл. Ленинская 107. У Поспеловых.

Дорогая Ольга Александровна.

Сегодня Вы именинница, и я хотя и не поздравила Вас, т.к. была в дороге, но мысленно сегодня с Вами в Мценске. У Вас, вероятно, как обычно, в этот день много цветов и какой-нибудь пирог.

Еще раз благодарю Вас и детей за письмо и телеграмму к нашему празднику. День этот я долго не забуду. Было так все хорошо, что несколько дней мы оба ходили под сильным впечатлением и нам все казалось, что мы все еще празднуем. Жаль только, через 5 дней Б.Н. сказал, ну теперь опять начались будни. Как могу опишу Вам, как все было. Гости наши сошлись к 9 часам. Всего было 20 человек. Комнату мы приготовили за несколько дней. Б.Н. снял все картины и повесил репродукции старых мастеров. Большинство из них пришлось вставлять в рамки или окантовывать. Все это он делал сам, помогла только немного Дагмара Эдуардовна. Стены были очень красивы. Кровать мы разобрали и вынесли, шкаф тоже. Умывальник задрапировали, и он был весь в цветах.

Во всю комнату стоял стол, на нем было множество цветов и насыпаны ромашки. Еды было не много, но все очень вкусно. Семен Борисович сказал прекрасную речь в стихах, и очень хорошо говорил Николай. В обоих текстах и в Вашем письме приблизительно одни и те же мысли. Мы сидели рядом, и конечно нам крикнули «горько». Это уж так водится. Б.Н. очень хорошо ответил на все пожелания. Получили мы кое-какие подарки и очень много цветов. Благодарю за обещанный Ваш подарок. Разошлись гости около часу. Все родные и мы сами как-то очень готовились к этому дню, и настроение у всех было какое-то приподнятое. Главная причина к тому, что все было так хорошо, конечно та, что мы так счастливо прожили эти 25 лет. Ведь между нами всегда было согласие, всегда было понимание и никаких серьезных недоразумений. Не знаю, сколько лет

(в окрестностях квартиры № 2)

нам суждено еще прожить вместе, ясно для меня только одно, что мы так же дружески и хорошо проживем и дальше те года, которые нам суждено прожить вместе.

Ваша Е.Б.

Отчет о вечере, случившемся в апогее июля 1933 года, написал и дедушка мой Семен Борисович Айзенман. Прочсть письмо нелегко, потому что написано оно на половинке типографского бланка старорежимной нотариальной доверенности, поверх мелкого типографского текста, который и сам по себе занят как подробность канувшей в небытие эпохи. Из любви к такого рода раритетам, превратившимся едва ли не в артефакты, приведу эти ополовиненные строчки, обрывающиеся на середине фразы, вспоминая ахматовское: «...а так как мне бумаги не хватило, я на твоём пишу черновике». Своеобразный привет из его профессионального прошлого в совсем другую эпоху послужил фоном дедушкиному письму:

Милостивый государь. Уполномочив Вас на ведение в Общих судебных местах, Мировых учреждениях, Уездных членов Округных Судов, Земских Начальников и в Уездных Съездах, в Коммерческих Судах, Присутственных, Административных местах, в городских и земских учреждениях и везде, где надобность укажет, всех ... дел в гражданском и уголовном порядке; вчинять от имени ... иски, возбуждать преследования и отвечать по таковым предъявленным к ...; подавать всюду прошения, заявления, объявления, отзывы и другого рода бумаги; участвовать в судоговорениях в качестве истца, ответчика, обвинителя и в уголовных делах в качестве гражданского истца; давать объяснения и представлять доказательства в защиту прав ...; просить о присуждении исков, убытков, судебных издержек и вознаграждения за ведение дел, предъявлять отводы и споры о подлоге и отвечать по ним; просить об обеспечении исков и предварительном исполнении решений; выслушивать решения и приговоры; изъявлять на них удовольствие и неудовольствие; приносить частные, апелляцион... (на этом-то полуслове текст, звучащий из сегодняшнего далека не более чем завораживающей белибердой, обрывается, видно, вторую половину листа дедушка оставил для следующего письма).

А дело в том, что на дворе-то стоял лютый бумажный голод, и долго-долго еще бумаге как таковой суждено было оставаться дефицитом. К счастью, дедушкиных нотариальных запасов хватило на годы и годы... А вот когда летом 1928 года мама моя, собравшаяся поступать в первый класс (дело было в Харькове), вместе со своей мамой пришла за тетрадками в лавочку, торговавшую товарами первой необходимости, продавец саркастически посоветовал покупательницам зайти за тетрадками в пятой пятилетке, хотя буквально

на днях объявили первый пятилетний план, тот самый, который якобы удалось выполнить в четыре года.

А вот и фрагмент собственно дедушкиного письма, написанного 16 июля 1933 года:

...а я получил 14-го впечатления очень хорошие. Был на 25-летию у Бухгеймов. Борис Николаевич заново повесил все картины. Все новые. На спинке дивана лежала вновь подаренная пестрая покрывка — турецкая или персидская. Масса цветов. Столько давно не приходилось видеть. Розы в горшках — кусты целые. Розы в вазах — настоящие, прекрасные. Васильки и много других. Прекрасно накрытый стол на 20 человек. Очень хороший ужин. Салат оливье, бутерброды с ветчиной, семгой, кулебяка, мороженое, водка, вино, крушон, чай с конфетами. У Евгении Эдуардовны была приколата серебряного цвета круглая этакая висюля. Форма одежды летняя. Павел Давыдович в белом пикейном пиджаке. Я в свежей блузе с лиловым галстуком. Я прочел стихи, которые посылаю вам. Ник. Ник. произнес речь о том, как вначале все не верили в прочность этого брака и он, Ник. Ник., тоже не верил, и как потом все было хорошо. Говорил и о том, что и в моем стихотворении: приверженность к науке и искусству и о добре, оказанном его семье. Я принес цветы «Дельфиниум». 15-го Борис Николаевич звонил мне, благодарил за «выступление» и сказал, что он только на другой день при дневном свете оценил мои цветы, что они прекрасного синего цвета. В общем было складно, гармонично, но без особого пафоса. Борис Николаевич, отвечая на речь Ник. Ник. — мой номер был раньше, сказал, что нужно вообще ценить жизнь, как подарок, и что особенно он это советует молодым.

И Павел Давыдович Эттингер в своем письме к бабушке не забыл о славном событии в жизни общих друзей:

О торжестве у Бухг. Вам, конечно, подробно писал С.Б. Было, действительно, очень празднично, а главное, что мне доставило истинное удовольствие, был вид виновников торжества — они оба сияли и были счастливы. А это теперь ведь не часто наблюдаешь.

Вечность спустя после того светлого вечера в доме Бухгеймов я на удивление хорошо представляю себе ночную Москву 1933 года, звуки ее и запахи. Думаю, город тот мало отличался от Москвы начала 50-х, отчетливо отпечатавшейся в детской памяти. Явственно вижу дедушку, от души насладившегося дружеским общением и застольной беседой, надышавшегося ароматом роз и разомлевшего от праздничных угощений, дедушку в «свежей» блузе и новом лиловом галстуке, ощущающего себя элегантною мужчиной пятидесяти четырех лет от роду, удобно устроившимся у открытого окошка неторопливой

(в окрестностях квартиры № 2)

«аннушки» (красенького трамвайчика маршрута «А»). Представляю, как под благодушное трамвайное позвякивание ночным Бульварным кольцом (лето, запах цветущих лип — коротенькая пауза в утомительном жизненном марафоне) дедушка доехал до Пречистенских ворот, к этому времени уже переименованных в честь обаятельного анархиста Петра Кропоткина, однако долго еще вызывавших у москвичей оторопь (а может, и ужас) зияющим небесным провалом на месте привычных золотых куполов Храма Христа Спасителя (со мной-то сегодня все случается ровно наоборот — я-то никак не привыкну к громоздкому храмовому массиву вместо перламутровых миражей, круглосуточно клубившихся над бассейном «Москва»). Ну а далее по прежней и нынешней Пречистенке (в промежутке между эпохами Кропоткинской улице) всего-то пара остановок до Малого Левшинского, и там уж две минуты до нашего дома в Мансуровском...

Хочу заметить, что, проживая в эпоху Москвошвея, дедушка умудрялся носить не жестяные топорщившиеся пиджаки, а блузы, отнюдь не артистические бархатные, а скромные портновские сооружения наподобие курток. Блузы одного и того же, раз и навсегда утвержденного фасона шила дедушке знакомая портниха, не исключено, что Алена Ивановна, проживавшая в Гусятниковом переулке, д. 32/1, кв. 48, 2-й этаж (именно ее адрес сохранился в бабушкиной записной книжке). Одну из тех блуз, последнюю в дедушкиной жизни, я, как ни странно, помню. Ну а без галстука мужчины его формации из дому не выходили (между прочим, синие дельфиниумы в сочетании с лиловым дедушкиным галстуком должны были смотреться изысканно).

А наутро (и об этом я знаю из того же дедушкиного письма) нужно было доставить на Курский вокзал сухари, которые дружественная семья Запорожцев (Запорожцы жили в двух шагах от наших в Померанцевом переулке, и Наталья училась у бабушки рисованию) согласилась отвезти в город Мценск. Летом 1933 года хлеб в Мценске не продавался, местные жители пекли его сами, а дачники устраивались, как могли. С задачей этой дедушка справился, полпуда сухарей, упакованных в полотняный тючок, доехали до Курского вокзала, устроились на третьей багажной полке и благополучно прибыли в Мценск, где их и встретил мой четырнадцатилетний отец.

Удивительно, как много письменных свидетельств сохранилось о том июльском вечере в доме Бухгеймов и о ничтожных событиях, случившихся в те же дни, а ведь сколько лет прошло, и каких лет! Из чего можно сделать вывод, что бытовые эти подробности вовсе не так ничтожны, как кажется, что из таких мелочей и складывается портрет эпохи...

Увы, но в обозримом будущем, о котором Борис Николаевич и Евгения Эдуардовна тем вечером не подозревали, их разлучат навеки... Вообразив, как два немолодых человека, давно лишившись иллюзий, но пока еще не надежд, в преддверии праздника и в память счастливого путешествия 25-летней давности вдохновенно украшали единственную свою комнату в некогда собственной просторной квартире репродукциями картин любимых итальянцев,

я догадалась, что старичок в доме возле Чистых прудов жил двойной жизнью. Все думали, будто он в одиночестве терпеливо болеет за ширмой, а на самом деле Борис Николаевич (вместе с Евгенией Эдуардовной) перемещался мысленно в иных мирах и пространствах, бродил по набережным и площадям, заходил в соборы, дышал воздухом иных стран. Похоже, этот душевный ресурс, впрок отпущенный Кем-то, знающим все о прошлом, настоящем и будущем, и Борису Николаевичу, и бабушке моей, и множеству других людей, помогал выживать в последующей жизни.

А вот и тот самый спич, сочиненный моим дедом к серебряному юбилею друзей и не раз упомянутый в этом тексте — своего рода стихотворный конспект жизни семьи, подводившей предварительные итоги и не подозревавшей об испытаниях, припасенных для них веком-волкодавом. Черновик того стихотворного подношения сохранился у нас дома, а окончательный вариант находится в архиве Павла Давыдовича Эттингера.

*Евгении Эдуардовне
и Борису Николаевичу Бухгейм
1908–1933*

*Не знал Бухгеймов мирный кров
Не только ссор, но резких слов.
И ровно двадцать и пять лет
Под ним сияет ровный свет.
Пусть по традиции зовут
Квартал столетья серебром.
Нет! Когда так, как Вы, живут,
Его назвать должно Добром.
Сначала шли довольства годы,
Потом период трудных дней.
Сначала булки были в моде,
А после стало победней.
Подчас совсем бывало пусто...
Вы не сдавались и тогда.
Литература и искусство
Вас вдохновляли — не еда.
А кто не продал первородства
И кто не для похлебки жил,
Тот сохраняет благородство
Среди враждебных духу сил.
И Вам за то дана награда.
Ценнее золота она.
(В Торгсин нести ее не надо:
Хотя она и так ценна,
Торгсин не даст Вам ни гроша).*

(в окрестностях квартиры № 2)

*Дана Вам юная душа.
А те, кому судьба дала
Друзьями Вашей быть семьи, –
Те долю света и тепла
От Вас в семью свою несли —
В числе друзей — моя семья.
Она во Мценске, здесь лишь я.
И я имею порученье
От нас привет и поздравленья
Вам стихотворно передать
И горячо Вам пожелать
Хранить и впредь огонь священный
Духовных ценностей нетленных.*

А в это самое время в славном городе Мценске бабушка с упоением рисовала. По контрасту с зимним житьем-бытьем летние месяцы, где бы и как бы ни доводилось их проводить, казались бабушке раем. Уверена, что обещание свое бабушка выполнила и один из рисунков осенью подарила Бухгеймам. К сожалению, подаренные и проданные работы исчезли без следа. Судьба тех, что очутились в родственных семействах (сестры любили и ценили ее творчество), складывается по-разному. Некоторые потомки дорожат бабушкиными работами и числят их среди семейных реликвий, другие относятся к ним иначе, поколения сменяются и вкусы тоже. И все же не исключено, что канувшие в небытие работы где-то все еще существуют. Вот, к примеру, из города Ставрополя пришло электронное письмо следующего содержания:

Уважаемая Ольга Алексеевна! Посылаю Вам фото. «Дама в розовом». Бумага, пастель 68×68. Справа внизу: Ольга Бари 1913. Кто изображен ею? Как Вам кажется? На монтировке этой работы имеется печатная наклейка с рукописной, плохо сохранившейся надписью: Художники Москвы — жертвам войны. Ольга Александровна Бари. Дама в розовом. Адресь автора: Мясницкая, Кривоколенный пер. д. 11 кв. 1. О.А. Бари-Айзенмань тел. 277-76. Что Вам известно о выставке, судя по названию благотворительной, и участии в ней Ольги Александровны? Интересно, какова судьба данной работы? Почему она оказалась в Ставрополе? По документам, в Ставропольский краевой музей изобразительных искусств «Дама в розовом» поступила в 1962 году (год открытия музея) из Ставропольского краеведческого музея, куда в свою очередь поступила в 1928 году из ГМФ (Государственный музейный фонд). Все эти вопросы волнуют меня не случайно. Я работаю над каталогом музейной коллекции. Какая фотография О.А. Бари могла бы сопровождать биографические сведения о художнике в каталоге? Возможно, в Вашем архиве

*есть подходящее фото этого периода, пришлите, пожалуйста.
Буду благодарна. Всего хорошего! Л.В. Волошенко*

К письму приложена фотография бабушкиной работы, известной по сохранившемуся, но не подписанному черно-белому фотоотпечатку. То есть о том, что у работы есть название, а похожее на пеньюар одеяние неизвестной дамы розового цвета, я и не подозревала. В жанре портрета бабушка работала редко, потому что по сути своей была пейзажистом, и «Дама в розовом» это, конечно же, заказная и не самая сильная ее работа.

К счастью, каталоги выставок сохранились, некоторые в крайне плачевном состоянии, потому что на протяжении прошедшего века случались разнообразные катаклизмы, и на каком-то жизненном этапе ими от души полакомились крысы. Когда это случилось, в Гражданскую ли войну, в годы военного коммунизма, в Отечественную, этого я не знаю, но некоторые из них превратились в бумажное кружево и свидетельствуют об эпохе и о жизни художника.

В каталоге выставки картин и скульптур «Художники Москвы — жертвам войны», организованной Московским губернским комитетом Всероссийского земского союза помощи раненым и Центральным бюро при городской управе и прошедшей в начале 1915 года в доме Лианозова (Камергерский п., д. 5), три бабушкиных работы: «Дама в розовом», «Скирды», «Летний пейзаж». Возле «Дамы» пометка — продано г. Мюраур за 50 руб. На выставке, судя по перечню авторов, бабушка оказалась в неплохой компании, а 21 июня 1915 года получила из Земского союза письмо:

Ее высокородию О.А. Бари

Милостивая государыня Ольга Александровна. Губернский комитет, рассмотрев предоставленный Комиссией отчет по устройству выставки «Художники Москвы — жертвам войны» в д. Лианозова, в пользу Губернского Комитета и Городского Бюро имеет честь выразить Вам свою глубокую благодарность за пожертвование части суммы, поступившей от продажи на выставке Ваших произведений. Делопроизводитель по сбору пожертвований — Н.Новиков

В надежде идентифицировать даму в розовом, обитающую нынче в Ставропольском музее, я задала вопрос в никуда — спросила мага и волшебника по имени Интернет, знаком ли ему господин Мюраур, купивший за 50 рублей бабушкину работу. И через мгновение мне открылась страница адресной книги «Вся Москва»: «Мюраур Жан, Б. Дмитровка 22, кв. 8. Т. 531-80. Вице-консул Аргентин. республ.; чл. Моск. Автомоб. О-ва; Представитель заграничных фирм».

А поскольку это единственный московский Мюраур, других в адресной книге не нашлось, не исключено, что дама в розовом одеянии — это и есть г-жа Мюраур (знакомством с Мюраурами, судя по всему, бабушка обязана брату Виктору, одному из первых и заядлых московских автомобилистов).

(в окрестностях квартиры № 2)

Множество раз проходила я по Большой Дмитровке мимо пятиэтажного дома с треугольными эркерами, портиками и балконами, облицованного декоративной керамической плиткой. Некогда это был дом Московского товарищества для ссуды под заклад движимого имущества (попросту говоря, ломбард). Проходила и не догадывалась, что на стене одной из его квартир висела некогда бабушкина постель.

В ставропольский музей отправилась фотография бабушки тех же времен, что и портрет розовой дамы, а также сведения о портрете, которые удалось реконструировать, ну а какими путями работа попала в Ставрополь и какова судьба семьи Мюраур, этого не узнать, потому что для возможных предположений эпоха предоставила широчайший спектр сценариев, большей частью невеселых...

Сначала-то я предположила, что моделью для розовой дамы послужила бабушкина приятельница Юлия Александровна Терпиловская-Бессер, та самая, что не пожалела ради детской забавы старинного черепахового лорнета, бесславно погибшего, стоило ему попасть в мои неловкие руки. Мы с папой бывали в гостях у этой худенькой оживленной старушки с аккуратной головкой в иссиня-черных буклях (она жила в одном из конструктивистских домов в районе Усачевки) и пили чай с трюфелями в уютной комнате, сверху донизу увешанной картинами. Среди прочих картин помню несколько бабушкиных, в том числе написанный маслом в горячих тонах портрет самой Юлии Александровны, молодой женщины в крупных локонах цвета воронова крыла, с гитарой, в накинутой на красивые плечи яркой цыганской шали. На IV Государственной выставке картин, состоявшейся в 1919 году в доме № 19 по Пречистенке, портрет этот так и назывался: «Цыганский романс». Нет, конечно же, та знойная, полная жизни и огня цветущая женщина ничуть не походила на вяловатую, избыточно женственную и болезненно расслабленную даму в розовом.

Одно из тех посещений Юлии Александровны закончилось для меня страшным позором и чудовищной головомойкой. Очарованная трюфелями и огорченная тем, что с нами нет мамы, и ей драгоценной конфеты не досталось, я без спросу сунула один трюфель в карман. А дома извлекла на свет божий размякшую свою добычу и сюрпризным жестом преподнесла ее маме, ожидая радостного благодарного восклицания. Но боже, что за этим последовало! Как ужасно кричал на меня папа, в какую ярость впал от моего позорного поступка, какое трагическое и замкнутое на весь оставшийся вечер лицо сделалось у мамы! Было так жутко, что с тех самых пор (событию этому более шестидесяти лет!) и до сегодняшнего дня, то и дело бывая в гостях, я не похитила из чужого дома ни одной шоколадной конфеты, ни одного леденца и ни одной сливочной помадки... А так иногда хочется...

Однажды, когда папа был в дальней командировке от Центрального дома народного творчества (кажется, на Сахалине), позвонила Юлия Александровна и попросила зайти за этудом Крымова, висевшим на стене ее комнаты.

Хочу, чтобы этот этюд был у Леши, — сказала Юлия Александровна. И мы с мамой пошли, завернули этюд в газету и забрали домой. Случилось это уже после смерти Николая Петровича, скончавшегося 6 мая 1958 года. Помню хлопоты его учеников, большей частью людей нищих, собравших немалые по тем временам и по их возможностям деньги на венок, сплетенный из живых белых роз (в 50-е даже весной живые розы были малодоступной роскошью).

Конечно, наш скромный этюд не из тех крымских шедевров, от которых сердце заходится. Это не кучевые облака и горячие купы деревьев с изумрудными тенями на летнем закате, не залитые лунным светом серебряные ели, не заснеженные московские крыши с розовыми дымами, но все же это Крымов Николай Петрович — папин учитель, несравненный и незабываемый.

После смерти Юлии Александровны папа позвонил ее дальней родственнице-наследнице, спросил о судьбе бабушкиных работ, но та сухо ответила, что их нет... Вот и участь работ, в разные годы подаренных Бухгеймам и ими приобретенных, тоже неизвестна. В каталоге XXII выставки картин и скульптуры Московского товарищества художников (МТХ), состоявшейся в феврале 1916 года, карандашная пометка, дескать, картина О.А. Бари «На озере» (холст, масло) продана Б.Н. Бухгейму аж за 250 рублей, деньги немалые! На самом деле это не озеро, а пруд в подмосковном имении «Быково», где бабушка с дедушкой и двухлетней тетушкой моей Татьяной снимали дачу. Думаю, во времена нашего визита в Лобковский переулок бабушкины картины висели на стенах этого дома. Иллюзий же относительно их дальнейшей судьбы не питаю, тем более что в большинстве своем это не масло, а пастель на бумаге, субстанция хрупкая, эфемерная, вовсе не жизнестойкая.

Картины канули безвозвратно, зато письма сохранились... Вот фрагмент одного, написанного уже разлученной с мужем Евгенией Эдуардовной спустя немногим более трех лет после того светлого серебряного юбилея...

13.10.1936 Александров

От Б.Н. получила недавно очень хорошее письмо. Пишет, что слушает радио, и наслаждается, и весь переносится мыслями в Большой театр, и представляет его себе во всех подробностях. Пишет доклад о Пушкине, чтобы прочесть его, если у них будет Пушкинский вечер со временем. Пишет, что совершенно не с кем делиться своими мыслями об искусстве, литературе, музыке, живописи. Очень скучает и беспокоится обо мне. Какое будет счастье, если пройдут эти ужасные годы и мы снова будем вместе. Как будет хорошо. Где бы ни жить, лишь бы вместе...

Сейчас узнала, что у Б.Н. украли его хорошее пальто. Бедный! Как мне его жалко. Беспокоюсь, не простудился бы. Ведь занять не у кого. Выслали ему теплые вещи, но пока еще он их не получил. Очень меня эта новость разволновала, да и пальто жалко, оно очень хорошее, на ватине, осенью только сшито. Он собирался его выслать

(в окрестностях квартиры № 2)

домой, когда получит что-нибудь попроще. Это у него уже вторая кража. Первая была новые галоши...

А вот письмо самого Бориса Николаевича — образец эпистолярного творчества забубенного идеалиста, вызывающее даже некоторое недоумение...

6.12.1936

*Дорогие друзья. Шлю всем вам самый сердечный привет. Часто, часто вспоминаю часы, проведенные в вашей среде. Радуюсь каждой весточке о вашей жизни, которая доходит до меня. Так, на днях узнал об участии Алеши в оформлении одной из колонн октябрьских торжеств, о работе Тани в музее и, наконец, о впечатлении на Ольгу Александровну рембрандтовской выставки. Все эти моменты всколыхнули во мне ряд мыслей и настроений, которые вы хорошо поймете. Вспомнилось мне святое семейство Рембрандта, которым вы все теперь любуетесь, и особенно красное одеяльце, отороченное рыжим мехом, которое приковывает взор, как цветной центр картины. А от этого красного цвета мысль перенеслась к другим подобным цветным фокусам (красным): у Серова в портрете Гиришман — красный флакон на туалете; у Веласкеза — в *Las Meninas* — красная чашечка на подносе, которую держит перед инфантой коленопреклоненная камеристка (фрагмент этот я очень любил видеть на стене в своей комнате).*

И всего этого я теперь больше не вижу, а только помню, как сказку. Мысль часто переносится в Мадрид, к судьбе сокровищ в Прадо. Тицианы, Рубенсы, Веласкезы, Гойя — что теперь с ними? Избегнут ли они фашистского пленения, не грозит ли им гибель. Так и чудится, в связи с празднованием принятия конституции, что выставка в Москве Рембрандта — это символ раскрепощения, обобществления, раскрытия для народа, масс — драгоценных памятников искусства; кажется, что все картины в немецких, итальянских, венских, голландских и бельгийских музеях — в плену... и ждут освобождения.

На днях получил от Павла Давыдовича однотомник Пушкина и летний № Нового Мира с гл. биографией Пушкина Чулкова. К однотомнику отношусь, как в старину верующие к библии. Черпаю в нем бодрость и ясность духа. Хочется еще почитать хорошую книгу по астрономии, астрофизике, познакомиться с новейшими учениями в области познания вещества и энергии. Все, что осталось от школы, ведь устарело, как «дормёз» перед ракетным самолетом. И это — на протяжении одной еще не совсем окончившейся жизни. Не буду больше тревожить вас своими одиночными мыслями.

Обо мне вы, вероятно, кое-что узнаете через наших. Еще раз всем привет. Передайте запоздалое поздравление Павлу Давыдовичу. Каков был юбиляр?

Вот, оказывается, чем спасался в ссылке шестидесятилетний человек — размышлениями о красном одеяльце младенца Иисуса, воспоминаниями о флаконе рубинового стекла на туалетном столике Генриетты Гиршман, о красной чашечке испанской инфанты.

Так случилось, что через 77 (!) лет после давнего письма Бориса Николаевича я оказалась лицом к лицу с инфантой и внимательно разглядела красную чашечку в форме кувшинчика (чтобы ребенок не пролил питье на роскошнейший свой наряд) не на репродукции, а в оригинале. И чудесным образом в нашей с Маргаритой-Терезой компании оказался Борис Николаевич, я почти ощутила его присутствие... Видно, не случайно и не зря возникли из семейных закровов письма, пролежавшие бумажным конгломератом бездну лет...

К моменту нашей осенней встречи недели две бастовали мадридские мусорщики. Великолепный город замело мусором, он запаршилел и зашелушился. И в нагромождениях скопившегося и взвихривающегося смерчем сора, состоящего из всяческой городской шелухи: билетиков, рекламных листовок, обрывков, обломков, объедков и ошметков человеческой жизнедеятельности, — тут и там мелькало личико инфанты, давно уж ставшее брендом города и растиражированное в непредставимых количествах на продукции широчайшего спектра и разнообразнейшего назначения. И фасад музея затягивало гигантское полотнище с изображением детского личика, то есть каждый посетитель ощущал себя Гулливером на пороге жилища девочки-великанши.

Отрадно, что от немыслимой своей популярности живописный шедевр ничуть не девальвировался. И совершенно напрасно Борис Николаевич беспокоился о его судьбе, равно как и о судьбах других полотен из того же собрания, полотна-то, в отличие от него самого, жены его, родных и знакомых, благополучно пережили все времена и режимы и ничуть не пострадали от «фашистского пленения» и генерала Франко с его фалангистами.

Отматываем время назад, и из Мадрида с бастующими мусорщиками возвращаемся в Александров. Вот поздравительное письмо Евгении Эдуардовны, на этот раз присланное по случаю серебряного юбилея бабушки и дедушки.

26.9.1938 Александров

Дорогая Ольга Александровна. От души поздравляю Вас и Семёна Борисовича с Вашим великим днем. Желаю Вам счастья еще на многие, многие годы. От души желаю Вам отпраздновать и золотую свадьбу в кругу своих детей, внуков и правнуков.

Очень, очень жалею, что судьба разлучила нас и мы не можем в такой большой Ваш семейный праздник быть с Вами, как всегда бывали с Вами на всех Ваших семейных торжествах.

(в окрестностях квартиры № 2)

Надеюсь, что скоро увидимся и услышим, как Вы провели этот день. Детям привет. Жму руку Семену Борисовичу, а Вас крепко обнимаю и целую. Если Мария Борисовна с Вами, то и ей привет.

Ваша Е.Б.

Самой-то Евгении Эдуардовне поездка в Москву была не по силам, ссыльным запрещалось ночевать в городе, а за один день пожилому и нездоровому человеку никак было не обернуться. Зато наши навещали сестер Бухгейм, по мере сил участвовали в их жизни, и одно из свидетельств этой практической связи и взаимопомощи — письмо Дагмары Эдуардовны:

25.1.1937 Александров

Дорогая Ольга Александровна. Вчера Женя получила Ваше письмо с заказами для меня. Большое, большое Вам спасибо, что Вы подумали обо мне. Как только Вы уехали, я связала перчатки с крагами, как Вы просили, и если они Вам не нужны, может быть, их можно предложить кому-нибудь другому. Только дело в том, что на них ушло гораздо больше шерсти, чем я предполагала, т.ч. если будете кому-нибудь предлагать, то я хотела бы получить за них 35 р. Перчатки Эмику я могу связать, но двойные вязать я не умею, т.ч. спросите его, пожалуйста, устраивают ли его обычные, но из теплой, хорошей шерсти. Относительно шарфа же предлагаю другую комбинацию, ввиду того что белой шерсти у меня немного — связать темно-синий, а на концах с белыми полосками, но нужно знать, какой длины и ширины. Перчатки с крагами для сестры Эмика могу тоже связать, но серой шерсти у меня нет, можно синие с белым или совсем синие. За перчатки с крагами цена 36 р., за перчатки Эмику — 30 р., а шарф будет стоить в зависимости от его величины — за работу 20 р. — а за шерсть — сколько пойдет — думаю, около 60 р. Как только я получу от Вас ответ, то сейчас же приступлю к работе.

Сегодня житейское это письмо может показаться мизерным и удручающе бытовым. Какие-то перчатки с крагами, мелочные расчеты, тоска зеленая и крохоборство... Однако в незначительном и более чем обыденном сюжете кроются важные подробности эпохи. Разбитые и разлученные семьи, тяжелейший быт на чужбине (удача, что всего-то в ста с небольшим километрах от родного дома), неустройство, нищета и тотальный дефицит, но и забота друг о друге, и пристальное внимание к нуждам друга друга. Кропотливая взаимопомощь — закон земного существования (и выживания) людей того круга и того поколения. Брат и сестра Эммануил и Эмма Гроссманы, о перчатках для которых пеклись бабушка и ссыльные сестры, это друзья нашей семьи: Эмик — блистательный пианист, ученик Генриха Нейгауза, лауреат II Международного конкурса им. Фредерика Шопена в

Варшаве (обстоятельство, в связи с которым тема теплых перчаток обретает особый смысл) и Эмма — не менее блистательный ученый, проектировщик нефтеперерабатывающих заводов. Впрочем, о драматической судьбе семьи Гроссман разговор отдельный.

А вот письмо уже осиротевшего Бориса Николаевича. Евгения Эдуардовна скончалась ранней весной 1939 года, и я не знаю, повидались ли Бухгеймы перед вечной разлукой, хоронил ли Борис Николаевич жену...

19.3.1940 Александров

Дорогая Ольга Александровна. Вчера из письма Екатерины Карловны я узнал о смерти глубокоуважаемой Зинаиды Яковлевны. Искренно сочувствую Вашему горю, т.к. знаю о Вашей сердечной привязанности и дружбе к маме, как Вы ее всегда называли в рассказах нам о том, что Вы скорбите при мысли о невозможности заботой и участием облегчить ей страдания последних лет ее жизни. В моем представлении из жизни ушел человек с большим и мудрым сердцем. Мир ее праху.

Екатерина Карловна писала мне, что была у Вас и что Вы вспомнили о моем прошлогоднем желании иметь Natur morte, напоминающий нашу дорогую Евгению Эдуардовну. Если у Алеши действительно есть желание и время написать подобную небольшую вещь, то я бы просил из вещей Е.Э. взять ее чашку (белую с синими цветами) и пуховую серую шапочку с зеленым украшением (есть и подобные варежки) и связать это с небольшим количеством подснежников (не обязательно в стакане или вазочке, а можно и прямо на столе), белыми или синими. В гробу лежали белые подснежники, а потом уже на могилу ей близкие посылали из Москвы синие подснежники. Остальное все предоставляю Алешиному вкусу и настроению. Если он надумает это осуществить, то Екатерина Карловна не откажет доставить Вам вещи. Пусть Алеша не сердится, что пишу об этом через Вас.

Жизнь здесь проходит грустно и тягостно, а перспектив никаких. Сейчас моя мечта — попасть в Москву и повидать всех близких: родных и друзей. Когда это будет, не знаю. Чтобы напомнить Вам о всем прошлом, посылаю фотографию Е.Э. (1909 г.), снятую в Peglio близ Генуи и только после ее смерти напечатанную. Вот такая иногда бывает странная судьба карточек...

Всем Вашим сердечный привет.

Дружески преданный Вам Б.Б.

Для ясности: Зинаида Яковлевна — моя прабабушка, овдовевшая в 63 года, пережившая обожаемого мужа на 27 лет и скончавшаяся 18 февраля 1940 года в Нью-Йорке. О ее эмиграции, случившейся в 1925 году и навеки разлучившей с московскими дочерьми, я знаю немало, сохранилось более

(в окрестностях квартиры № 2)

ста писем из американских краев, и все они полны неизбывного старческого одиночества и бесконечной печали. Кем была Екатерина Карловна, чей она друг и приходилась ли Бухгеймам родственницей, я пока не вычислила, однако надежды не теряю. Написал ли отец мой мемориальный натюрморт из вещиц, принадлежавших Евгении Эдуардовне, композицию которого так проникновенно продумал Борис Николаевич, неизвестно...

А через пятнадцать месяцев началась война, и от тех лет сохранилось несколько горьких открыток, через полстраны добравшихся из Александрова (Красноармейская ул., д. 16) до уральского поселка Дегтярка Ревдинского района Свердловской области. Вот одна из них, написанная в один из самых тяжких, самых черных дней войны.

22.10.1941

Дорогая Ольга Александровна. Каждый день жду от Вас весточки. В полном неведении, получаете ли Вы мои сообщения (было письмо и несколько открыток). С 12 октября на душе и в окружении стало очень тревожно и смутно. Живем же мы все здесь по-прежнему, и пока изменения в нашей личной жизни скорее морального порядка. За весь октябрь из Москвы не имел писем и вдруг 20-го получил от Александра Николаевича телеграмму от 18.X, что Масленниковы все выехали в Ашхабад, остальные в Москве. Вот как всех разбрасывает по СССР рука войны. Пишите о себе, не предавайтесь унынию, настанет снова светлое время и окружающая и, главное, наступающая на нас тьма — разобьется о нашу сплоченность и единодушие. Верьте в это. Пишите, не забывайте. Всем, всем привет.

Дружески Ваш Б.Б.

И снова для ясности: Александр Николаевич Бухгейм — брат Бориса Николаевича, профессор Тимирязевской академии, миколог, житель Лобковского переулка. Масленниковы — семья сестры Бориса Николаевича Марии, муж ее Кондратий и дети Сергей и Татьяна.

Еще открытка:

21.5.1943

Дорогая Ольга Александровна. Не прошло и 10 дней, что я узнал о гибели от руки фашистских извергов Марии Борисовны в Армавире, как снова удар, жестокий по своей нелепости и ненужности. В полном одиночестве и неизвестности умер Лев. Он него лично известий не было с конца ноября, и только недавно удалось установить..... а через несколько дней пришло известие (брату моему), что он умер 24/IV. Как это тяжело..... Каково было ему умереть вдали от всех.

В этой открытке восемнадцать строк, из них восемь (на их месте многоочия) вымараны цензурой. Мария Борисовна Айзенман, в замужестве Ферлиевич, это родная сестра моего деда, расстрелянная фашистами на окраине

Армавира в августе 1942 года. Лев, обстоятельства смерти которого тщательно замазаны фиолетовыми чернилами, родной брат Евгении Эдуардовны (и кузен Бориса Николаевича) Лев Эдуардович Бухгейм, книговед, библиофил, издатель, в начале 1942 года высланный по причине немецкого происхождения в Казахстан и 4 апреля того же года там же скончавшийся. Ни за что бы мне не догадаться, о каком Льве идет речь в открытке, если б из интернета не возникла внезапно (и похоже, не случайно) публикация украинского журналиста Артура Рудзицкого от 11 червня 2011 года «Киев понемногу превращается в глухую провинцию...». Это письма искусствоведа, переводчика, издателя и коллекционера Владимира Наумовича Вайсблата (1882–1945), адресованные Павлу Давыдовичу Эттингеру и опубликованные Української секцією Асоціації Європейських Журналістів. В письмах Вайсблата упоминается имя Льва Бухгейма, и в публикации репродуцирован его фотографический портрет.

А раз уж чудесным образом возникло из небытия и конкретизировалось это имя, в текст мой, как в копилку, попадут строки, написанные о Льве Эдуардовиче писателем Вл. Лидиным («Друзья мои книги». Заметки книголюбца):

На многих книгах и поныне можно встретить особенный экслибрис, изображающий несколько томов, лежащих один на другом; на корешках томов значатся имена Буслаева, Шевырева, Пыпина и Тихонравова, как вехи литературоведческих интересов издателя этих книг Льва Эдуардовича Бухгейма, а также как знак его преклонения перед этими именами. Я хорошо помню этого существовавшего всегда в своем особом мире книжника. Он был глуховат и, как все люди, которые плохо слышат, жил отъединенно. Но мир, в котором он жил, действительно был особый, и редко у кого встретишь такую любовь к книге, какая была у Бухгейма. Он собирал и в то же время издавал книги, и такие именно книги, которые не могли оправдать себя и до чрезвычайности трудно расходились; но Бухгейм был одержим страстью к книге: его не только не интересовали доходы, но даже не слишком огорчало, если книга залеживалась и, по существу, мало-помалу разоряла его. В букинистических магазинах и сейчас можно изредка найти книги, изданные Бухгеймом: «Письма к библиографу С. И. Пономареву», «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель» или «Из записной книжки Л. П. Бахрушина». Правда, время идет, и книги эти мало-помалу становятся библиографической редкостью, однако в свое время они прочно лежали на складах, что могло бы у человека, не влюбленного в книгу, отбить всякую охоту выпускать подобные издания. Но Бухгейм был влюблен в книгу, а где любовь, там нет расчета и тем более корысти. Книги из личной библиотеки Бухгейма хранят особый след, помимо экслибриса, указующего интересы владельца: Бухгейм вплетал или вклеивал в книги вырезки, относящиеся к тому или другому автору,

(в окрестностях квартиры № 2)

и таковы в моей библиотеке распухшие книги «Архив села Карабихи» или «Герцен» Ч. Ветринского с десятками газетных вырезок, любовно вклеенных Бухгеймом и поучительно расширяющих познания, связанные с содержанием книг. Лев Эдуардович Бухгейм был неутомимым собирателем. След его мысли и интересов можно почувствовать не только в изданных им книгах, но и почти в каждой книге из его литературоведческой библиотеки, широкой, побуждавшей изучать и думать.

А недавно чудесный Леонид Видгоф показал дом в Подсосенском переулке, где проживала некогда семья почетного потомственного гражданина, предпринимателя и домовладельца Эдуарда Карловича Бухгейма (1858–1934), дом, где родились и выросли дети его Лев, Евгения и Дагмара. За прошедший век, как это ни удивительно, переулок не претерпел существенных изменений, всамделишный аутентичный московский переулок, по теперешним временам редчайшая редкость! А пристрастия библиофила Эдуарда Карловича, владельца десяти тысячной библиотеки, в полной мере передались его сыну Льву и племяннику Борису... И в июле 1933 года все они, похоже, сидели за тем пиршественным столом в Лобковском переулке и любовались синими дедушкиными дельфиниумами...

Из письма Бориса Николаевича, написанного вскоре после победы:

24.5.1945

...В дни победы я послал Вам приветственную открытку, в которой «пытался» передать Вам те мысли и перспективы, которые, как мне казалось, открываются в нашем русском и международном масштабе для искусства, в его «музейном» подразделе. Сейчас повторяться не хочу, намекну только: мечтали ли Вы когда-нибудь увидеть рядом Сурикова и Веласкеза, Гойю и Серова, Тициана и Репина и, наконец, Рубенса, Рембрандта, Тициана, того же Веласкеза, Гойю и Мане-Энгера в одном зале, низко развешанными, освещенными сверху ровным матовым светом, окруженными вечной зеленью лавра, в зале, устланном мягким ковром, куда не достигнет шум толпы и только слышен плеск воды от падающего снаружи фонтана среди больших спокойных полотен, то горизонтальных, то вертикальных в своих дивных пропорциях. Я об этом мечтал и мечтаю. Международная встреча мировых шедевров искусства — вот триумф. Победа над нацизмом, символ победы.

...И вдруг после победы такой туман международной обстановки, тревога по поводу Балкан и Польши, и неуверенность в том: пережили ли мы «конец» или приближаемся к новому еще более ужасному началу. Как трудно и тяжело на своей шкуре чувствовать поступь истории. Интересно, любопытно... да минует нас чаша сия.

Спасибо Вам, дорогая Ольга Александровна, за Вашу любовь и память о моей чудесной Евг. Эд. Смерть разлучила нас с ней, но творческое воспоминание заставляет ее образ жить вместе с нами в радостные и тяжелые минуты жизни. Как бы она радовалась вместе с нами 8–9 мая... Вот как хочется сегодня помянуть ее...

То есть горе и беды прошедших и длящихся лет, конца которым, увы, не предвиделось, не исказили душу идеалиста и интеллигента, не снизили высоты помыслов... Но однажды пришло письмо:

6.3.1947

Дорогая Ольга Александровна.

Неудержимо хочется поделиться с Вами большим несчастьем, постигшим нашего всеми любимого Бориса Николаевича. Я знаю, как Вы и вся ваша семья привязаны к нему и к памяти Евгении Эдуардовны, и уверена, что Вы вместе с нами глубоко переживаете случившееся. Весть эта поразила нас ужасно, и я не могу освоиться с мыслью, что он, бедный, может на долгие годы остаться инвалидом. С его ясной мыслью, трудоспособностью и подвижностью — это было бы ужасно. Всей душой надеюсь, что этого не будет, но все же страшно думать о будущем.

И нет около него самого близкого, любящего человека, который окружил бы его теплом и лаской. Если только он настолько поправится, что сможет приехать к нам, то мы оба будем ухаживать за ним. Очевидно, переживания последних месяцев, уход со службы в Александрове, переезд и новая служба, которой он так увлекался, и трудные бытовые условия — все это повлияло на него. До чего же его жалко, и сказать не могу.

Пишу Вам, потому что хочется поделиться своей скорбью. Ник. Ник. очень переживает болезнь Б.Н. как самого близкого человека и друга. Привет всем Вашим. Вас крепко целую.

Сегодня день рождения Бори, и мы хотели его порадовать — увеличили очень хороший снимок Евг. Эд. — боюсь ему сейчас посылать.

Дагмара

Ну кому это нужно — посредством пунктира, сложившегося из случайно сохранившихся писем, реконструировать (более чем фрагментарно) жизненную одиссею забытого и только однажды виденного человека, скончавшегося вскоре после единственной нашей встречи? Однако продолжаю...

Вот строчки, написанные Борисом Николаевичем за той самой ширмой, при свете настольной лампы с зеленым жестяным абажуром, возможно, в той же комнате, где семнадцатью годами ранее Бухгеймы праздновали свой уютный серебряный юбилей. Стершиеся разбегающиеся карандашные буквы-калеки поддаются прочтению нелегко:

(в окрестностях квартиры № 2)

6.1.1950 (20 часов)

Дорогая Ольга Александровна. Спасибо Вам за поздравление и желание приехать меня поздравить. Я, быть может, поступил неверно, отклонив последнее, т.к. мне гораздо приятнее видеть Вас и всякого, кто приедет с Вами, вне той обстановки, какая обычно создается в таких случаях и которая особенно теперь, после болезни, особенно тяжела.

Я буду очень рад, если Вы, когда начнется весна, будут уже солнечные дни, приедете с Марией Николаевной или с Майей посидеть со мной лучше около моей постели, чем, б.м., за столом, покрытым белой скатертью и тортом. Мы найдем, чем заменить в беседе и то и другое.

Приезжайте, дорогая О.А., как только сможете. Мне сегодня оч. трудно писать — физически.

Привет всем Вашим.

Преданный Вам Б.Б.

Определенно в старых письмах присутствует магия. Людей вроде бы нет, но голоса-то звучат, а значит, и судьбы отчасти делятся. И нынешним читателям не так уж сложно на этой эпистолярной машине времени перебраться поближе к их авторам и адресатам. Мысль самая простенькая, до ужаса банальная, но не станем опасаться банальностей и во что бы то ни стало их избегать. Разве банальность — это не сформулированный жизненный опыт несметного множества людей? Эстафетная такая палочка?

В одном из следующих писем, написанных в связи с оказавшейся в его руках книгой о художнике Поленове, Борис Николаевич вспоминает лето 1929 года, когда Бухгеймы и Айзенманы жили в Тарусе по соседству друг с другом (наши снимали дачу на Пушкинской улице, в доме №14). Тем летом бабушка часто навещала Наталью Васильевну — жену Василия Дмитриевича Поленова и старшую сестру рано скончавшейся художницы Марии Якунчиковой, фигуры знаковой в русском искусстве начала XX века. В девятисотые годы бабушка не раз гостила у Поленовых вместе со своими подругами Екатериной Тимковской и Варварой Давыдовой (обе умерли молодыми, но оставили по себе долгую и светлую память). Вот и выходит, что письмо Бориса Николаевича — это нечто вроде анфилады памяти.

5.4.1950

Дорогая Ольга Александровна. Чем дальше у меня лежит для Вас Поленов, тем приятнее и дороже для меня бывает возможность в «него» заглядывать. Я не читал книги подряд, страницу за страницей, так что не уверен, что прочел все. Поэтому тем сильнее впечатление от страниц, «попадающих» на глаза вторично, в новой связи, под новыми впечатлениями. Я помню, как Вы ходили из Тарусы в Поленово (Борок) и возвращались полные впечатлений, не от

дома-музея, этюдов и т.п., а от Натальи Васильевны, ее рассказов и вспоминали Давыдову. Я с Вами не ходил. Помню, как мы с Евгенией Эдуардовной обсуждали, что нам «лучше» не ходить, чтобы не мешать Вашей беседе, что Натальи Васильевны и ее жизни мы не знали и будем «лишними». Мы, конечно, были «правы». Говорю это без всякого упрека и сожаления. Милая моя Женя, какая ты была скромная, никогда не завидовала, как любила тарусскую тишину, стальную Оку и задумчивые молчащие парки под Тарусой. Наши последние, самые последние дни, проведенные вдвоем, были в сентябре 1935 г. В Поленове...!

*В воскресенье будет светлый праздник. Будет весна.
У нас дома сумрачно, для меня грустно. Что-то будет?
Вашим привет. Крепко жму Вашу руку.*

Б.Б.

Легко догадаться, о чем и о ком говорили бабушка с Натальей Васильевной. Разумеется, об общих друзьях, но в первую очередь о Василии Дмитриевиче, скончавшемся двумя годами ранее. Письмо Бориса Пастернака отцу, написанное в середине октября 1929 года, подтверждает это предположение:

Ольга Александровна жила этим летом в Тарусе. Она бывала в поленовском доме и теперь с большим чувством рассказывает, как однажды вдова Поленова усадила ее слушать твои воспоминанья о покойном, которым нет равных среди остальных, посланных ей друзьями художниками.

Она не может забыть этого вечера, и волновалась и гордилась тобой, слушая эти страницы. Я от нее никогда никому таких похвал не слышал, как при этой встрече с ней, когда она мне все это рассказала...

Воспоминания эти Леонид Осипович написал по просьбе Натальи Васильевны в 1928 году, следующим летом она прочитала их бабушке, а теперь, спустя всего-навсего еще восемьдесят пять, прочла их и я. Они опубликованы в книге: Пастернак Л. Заметки об искусстве. Переписка. М.: Азбуковник, 2013. Помимо многого прочего, в толстый том включены и те письма Леонида Осиповича, которые в разные годы и из разных стран на протяжении тридцати лет он писал своей ученице, моей бабушке. Заметки Пастернака о Поленове изумительно яркие, только художник может написать о человеке или явлении так зримо и разноцветно.

И вот совпадение из разряда тех, которым нельзя не изумиться. В своих воспоминаниях Леонид Осипович обстоятельно и радостно описал счастливые рисовальные вечера в доме Поленова, еженедельно происходившие с 1889 по 1893 год во флигеле того самого дома № 11 по Кривоколенному

(в окрестностях квартиры № 2)

переулку (он же № 10 по Архангельскому), который в 1901 году купил мой прадед. Именно сюда, в знакомый дом инженера А.В. Бари, за почтамт, на угол Кривоколенного и Телеграфного (Архангельского) переулков во время Московского восстания 1905 года из своей квартиры при Московском училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице перебралась на несколько дней семья Пастернак (Пастернак Е. Борис Пастернак: Материалы для биографии. М.: Сов. писатель, 1989). Еще один из множества закольцевавшихся сюжетов...

А вот напутственная записка к той самой книге о Поленове, наконец-то посланной Борисом Николаевичем почти ослепшей к этому времени моей бабушке:

7.7.1950

Дорогая Ольга Александровна. Снова о Поленове.

Когда будете читать эту книгу, а я надеюсь, Вам кто-нибудь ее прочтет, то обратите внимание на письма Чижова. У меня много-много лет на примете эта любопытнейшая фигура капиталистической Москвы, подобная Козьме Терентьевичу Солдатенкову, семье Боткиных и пр. Т.к. Александр Дмитриевич по первой жене стал-квивался с семьей Крестовниковых и, думаю, Морозовых (хотя бы со стороны быта), я просил Лидию Александровну расспросить его, не слышал ли он о «преданиях» в семье жены о Чижове и подобных ему дельцах («колоритных»). Сюда бы включить Захарьина. История купеческой коммерческой Москвы николаевского времени (1825–55) и расцвета грюндерства и кончая фигурами Четверикова, Коновалова, Бахрушина, Второва, Алексеевых и т.п., которые ставили последние точки на истории буржуазного класса, замыкали эпоху. Я в таких книгах, как Поленов, читаю больше, чем в них написано...

Не знаю, как у Вас уложится в представлении мое сумбурное письмо.

Хочется открыть окно и вдохнуть весну, солнце и всем светом осветить годы 1800–1950 и охватить то, что здесь перечислено — без желаний рассчитывать со всем.

Ау, всех благ. Пишу дурно, как могу.

Простите. Б.Б.

Всякий раз, оказавшись в Третьяковке возле картины Поленова «Большая», вспоминаю Бориса Николаевича. Композиция, колорит, настроение этой печальной работы в точности совпадает с давним, но незабытым ощущением: сумрак, зеленый абажур...

Однако, как бы сурово ни обходилась с ним жизнь, Борис Николаевич не терял высоты духа и широты интересов. Каждая из упомянутых в письме фигур принадлежала к когорте тех самых просвещенных российских предпринимателей и благотворителей, которые пытались и гипотетически (при ином

ментальном и историческом раскладе) могли бы сделать Россию процветающей европейской страной... И обездвиженный Борис Николаевич, вечность спустя после славных их дел лежа в темном углу за ширмой, размышлял о судьбах этих людей и об их начинаниях, восхищался, сетовал, проводил параллели и, наверное, пересматривал историю в сослагательном наклонении, которого якобы эта самая история не терпит. И ему очень хотелось поделиться своими соображениями с близким по духу человеком, очевидцем и участником той жизни...

А упомянутая в письме Майя Бондаренко, в сопровождении которой Борис Николаевич ожидал к себе в гости мою бабушку, — это взрослая девочка с длинными косами совсем из другой эпохи, жительница нашего Мансуровского переулочка, последняя, до конца преданная бабушке ученица, я ее помню, и есть где-то портрет Майи, написанный папой. Ну а Мария Николаевна Семёнова, тоже возможное сопровождающее лицо, художница, давний, с незапамятных времен бабушкин друг.

Дедушка мой скончался в декабре 53-го (счастье, что на девять месяцев пережил душегуба), бабушка умерла в марте 54-го. И так случилось, что прах деда моего и бабушки пребывает не в семейном пантеоне на Введенских горах, где упокоились прадед и бабушкины сестры со своими мужьями, а в колумбарии Донского кладбища, в народе известном как «донской крематорий».

Прадед мой, глава огромного клана, умница и здравомыслящий человек, в надежде на то что дети его проживут долгие жизни, тем не менее предусмотрительно купил на Немецком кладбище просторный участок для неизбежных семейных захоронений. Предполагалась, что места хватит всем. Однако семейный пазл сложился таким образом, что жена его и четверо детей покинули Россию, и ко дню смерти моего деда места в пантеоне было еще предостаточно. Но ведь какое время стояло на дворе! Борьба с космополитами то ли завершилась, то ли замерла ненадолго и того и гляди вспыхнет снова, да и вообще... То есть при любом раскладе родственники опасались, что фамилия деда не украсит семейный пантеон... А может быть, дело в том, что за сорок лет, прошедших со дня их свадьбы, бабушкина родня так и не признала дедушку за своего и по-прежнему смотрела на него так же отчужденно, как на давней свадебной фотографии. Как бы то ни было, но наутро после дедушкиной смерти одна из бабушкиных племянниц пришла к тетушке моей и отцу с документами на право владения участком на том же Немецком кладбище, и даже в недалеком соседстве с семейным захоронением, однако в стороне от него. Жест щедрый, но ведь и обидный... Разумеется, дар отвергли, от права захоронения на законных квадратных метрах, купленных прадедом в расчете на всех детей, отец с тетушкой отказались. Ссоры не было, но случилось многолетнее отчуждение, и в результате мы с многочисленными кузенами и кузинами в детстве были едва знакомы, виделись мельком, а взаимным интересом прониклись только на ощутимом склоне лет. Теперь-то, спустя целую вечность

(в окрестностях квартиры № 2)

после того визита бабушкиной племянницы, в семейном пантеоне на Введенских горах и дециметра свободного не осталось, теперь-то туда при всем желании не втиснуться...

И все же праху родителей моего отца я могу поклониться, а на могилах маминых родителей никогда не была и не побываю. Знаю только, что бабушку мою Рахиль похоронили в конце января 1937 года на еврейском Преображенском кладбище в Ленинграде, проводить ее из далекого Томска дедушка приехал в одиночестве, и маме моей, подростку, об этой смерти сообщили не сразу. Исторические обстоятельства распорядились могилой жестко — просто-напросто стерли с лица земли. Через год после бабушкиной смерти расстреляли деда, а ведь он один знал местоположение захоронения. Вслед за тем последовало круглое мамино сиротство, скитания, война, ленинградская блокада, тяжелейшие обстоятельства послевоенной жизни... Короче говоря, ни один из ее потомков на могиле Рахили Исааковны не побывал, да и могла ли она сохраниться? Ну а прах дедушки моего Фауста Львовича Дасковского в гигантской общей могиле в пригороде Томска, в скорбной местности, аналогичной Бутовскому полигону и Коммунарке, под названием Каштачная гора.

Люди, возникшие в этом хаотичном повествовании, прожили не свои, а навязанные им жизни, так и не узнали истинных своих берегов, но пролили озера, моря и океаны собственных слез. Не все, но многие встречались в домах общих знакомых, на бульварах, в переулках, в очередях за насущным и в скорбных очередях, а иногда в консерватории и в театрах — Художественном и Малом, а до поры до времени и в ГОСЕТе, и у Мейерхольда, и у Таирова. Кого-то с кем-то связывали родственные и дружеские узы, а также затейливые хитросплетения и скрещения судеб, кто-то к кому-то относился с симпатией или иронически, а бывало, что и с опаской, некоторые друг друга на дух не выносили, но никто, надо думать, не злорадствовал по поводу чужих злоключений, горестей и потерь, потому что никто ни от чего не был застрахован в той жизни, равно как и в этой...

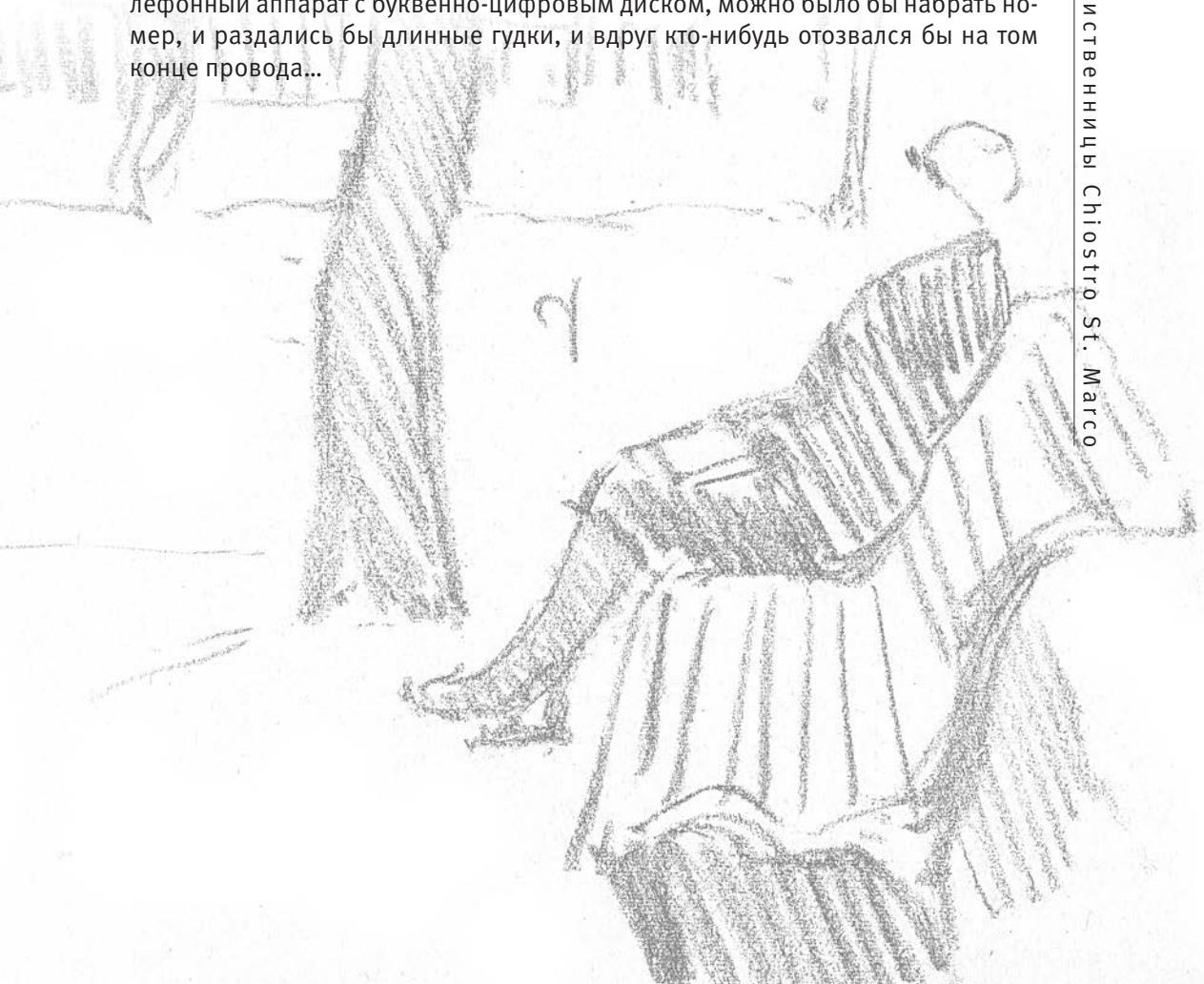
По загадочной какой-то закономерности если в чьей-то случайной памяти (на сей раз в моей) возникают стершиеся образы и вроде бы навсегда забытые имена ничем не замечательных людей, тут же явятся на подмогу ветхие бумажки — прямые или косвенные подтверждения чьих-то канувших или истаявших судеб. А вдруг это не случайность, вдруг всем этим людям хочется, чтобы о них вспомнили, и они деликатно напоминают о себе и даже окликают друг друга? Текст такого рода можно сравнить с попыткой реставрации много претерпевшего произведения живописи или графики. Есть разные взгляды на реставрацию. Кто-то считает, что утраченное нуждается в реконструкции, кто-то придерживается мнения, что такое вторжение недопустимо и даже губительно, что достаточно укрепить и деликатно расчистить сохранившееся, оставив зрителю (читателю) возможность нечто додумать и о чем-то догадаться.

Увы, ничего ценного, кроме отдельных примет времени и немногих деталей быта в приведенных выше сюжетах и скромных письмах скромных

людей нет. Эта человеческая Атлантида канула безвозвратно, но остались слабые признаки ее существования (мизерные детские воспоминания, старые письма и сюрпризы интернета). Мне кажется, что на вышеприведенные письма тайна чужой переписки не распространяется, ведь никого, никого из тех, кто писал их и кому они адресованы, давным-давно нет на этом свете. В конце-то концов адресат писем моя бабушка, а я ее единственная внучка...

В этом тексте я утилизировала без намека на логику уйму разнородных сюжетов и имен. Хотя понимаю, как важен строгий отбор материала. Беспощадный отбор — залог успеха в любом деле, будь то выставка живописи или литературный текст. А так как ни от одного из имен и ни от одного из сюжетов отказываться не хочется, я придумала себе оправдание — пусть мутноватый поток сознания, в котором без разбору, закручиваясь в воронки, несется все что ни попадя, — это мой творческий метод, метод закосневшего графомана!

И вот еще, до кучи: передо мной записная книжка начала 50-х. Теперь это мартиролог, да и номеров таких сто лет как нет... А между тем имеются в книжечке номера телефонов Бориса Николаевича Бухгейма — К-7-01-63 и Дагмары Эдуардовны Феттер — К-7-29-76. Вот если б нашелся старинный телефонный аппарат с буквенно-цифровым диском, можно было бы набрать номер, и раздались бы длинные гудки, и вдруг кто-нибудь отозвался бы на том конце провода...





Дневник

моей тетушки

(1941–1943 — эвакуация)

Два военных года прожили наши на Урале, в шахтерском поселке Дегтярка Ревдинского района Свердловской области. Именно туда эвакуировали семьи сотрудников Наркомцветмета, в системе

которого служил дедушка. Эшелон ушел из Москвы 23 июля 1941 года, а когда достиг Урала, этого я не знаю, поезда с эвакуированными тащились медленно. В Дегтярке поселились по адресу: Соцгородок, 21, квартира 3.

Тетушка моя Татьяна преподавала литературу в местной школе. Приняли ее туда отчасти по недоразумению. Вообще-то Таня окончила знаменитый МИФЛИ (Московский институт философии, литературы, истории) по специальности «история искусства». Прочитав в названии института слово «литература», директор школы решил, что это и есть Танина специальность.

Отрицать Таня не стала, но, в ужасе от своего самозванства, целый год спала по три часа в сутки и освоила новую специальность с блеском. А когда позволяли обстоятельства, ездила в Свердловск, добиралась туда по военному времени с большими трудностями, но сумела блестяще сдать экзамены в аспирантуру (в этот город эвакуировали филфак МГУ — преобразованный до-военный МИФЛИ).

Кое-какие последствия Таниной педагогической деятельности налично — именно в этой географической точке и по этой причине пересеклись судьбы двух семейств, отца моего и матери. Став на два года школьной учительницей и на этом поприще, впрочем как и на всех прочих, проявив себя личностью незаурядной, Таня увлекла детей своим предметом и запомнилась

(в окрестностях квартиры № 2)

им на всю дальнейшую жизнь (сужу об этом по письмам учеников, дегтярских жителей и эвакуированных москвичей).

И двоюродная сестра мамы, четырнадцатилетняя Нелли, тоже стала ее ученицей. Девочка подружилась с молодой учительницей, после возвращения из эвакуации связь их не прервалась, и вследствие этого уже после войны познакомились отец мой и мама. А все потому, что однажды папа задумал написать портрет юной Нелли, вдохновившись жизнеутверждающим ее колоритом — тяжелыми золотисто-рыжими косами и чудным цветом лица, а повстречал в том же доме маму, девушку бледную и черноволосую.

Таня преподавала литературу, бабушка вела кружок рисования, а жаванье получала дровами. Бабушкин дегтярский след сохранила заметка, опубликованная в № 58 (998) газеты «За большую Дегтярку», «орган партбюро ВКП(б) рудкома и управления Дегтярмедьруды» от 9 июня 1943 года» (с годами Дегтярка стала-таки большой и превратилась в город Дегтярск, у меня даже была ученица, жительница этого города). Вот эта заметка:

Выставка кружка юных художников

В библиотеке школы № 16 организована небольшая отчетная выставка кружка изобразительного искусства. На выставке представлены работы учащихся — иллюстрации к произведениям Пушкина, натюрморты, карандашные наброски, стенные газеты.

С большой любовью и тщательностью подготовили юные художники щиты пушкинской выставки, упорный труд ребят, взыскательность руководителя кружка — Ольги Александровны Айзенман чувствуются в исполненных акварелью натюрмортах и карандашных набросках с натуры, о кропотливой работе говорят оригинально оформленные стенгазеты.

Из работ, представленных на выставке, выделяются рисунки даровитых учеников Аркадия Коренева, Михаила Игнатьева, Пупышевой, Семенищева.

Надо только пожелать, чтобы в будущем году ценная работа по художественному воспитанию учащихся была продолжена и расширена.

И. Белов

Мама о своей жизни в эвакуации рассказывала, но о том, как прожила эти годы семья отца, я ничего не знала, не говорилось дома об этом времени. Видно, тяжело оно вспоминалось, а я и не расспрашивала. И теперь на запоздалые мои вопросы дают скудные ответы случайно сохранившиеся бумажки из семейного архива. Забавно, что, если я их слишком долго не ворошу, они возникают сами, по собственной инициативе.

Явилась вдруг школьная тетрадка в линейку, не тоненькая, в 48 листов. Произведенную Московской фабрикой беловых товаров при Респуб-

ликанском тресте школьных письменных принадлежностей НКМП РСФСР по адресу Олсуфьевский переулок, 10 (то есть в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома), Таня купила ее за 55 копеек («продажа по цене выше обозначенной карается по закону»), привезла в Дегтярку и заполнила всего на треть.

Всю свою жизнь Таня писала неразборчиво, будто специально зашифровывала свои записи, чтобы никто, кроме нее самой, не смог их прочесть. Поэтому тетрадку я открыла без особой надежды, что смогу разобраться в ее содержании. Однако прочла, перепечатала и из фрагментов прочитанного и перепечатанного, опустив записи сугубо личного свойства, скомпоновала этот текст. Танины наблюдения, смешные и трагические эпизоды дегтярской жизни, характеристики людей, кусочки их судеб, строчки из чьих-то писем — еще один документ эпохи. Один из разделов дневника называется «Уральские самоцветы».

5.8.42

В «детсади́ке», как здесь говорят, сегодня на ужин дали 3 ломтика черного хлеба (несколько сантиметров), кружочек (очень маленький) колбасы и чай б/сахара, почему-то холодный. После ужина дети съели настурцию, которую старательно выращивала старушка-руководительница.

Все самые интересные места из книг библиотечных вырваны читателями. Библиотекарша говорит: «Курят жители. Курят и читают».

Уральские выражения:

рассыпаться — рассмеяться

сгальный — чудный

метельшиться

тушеваться — стесняться

баско — хорошо

стайка — сарай

околь — стоить

пал — упал

«зачем?» вместо «почему?»

«я дивно рада» — очень рада

Мне Вахрамеева (12 лет) рассказала, что «зеленый клуб», что открыли для военных из батальона, местным закроют. Появилась болезнь, и ею там заражаются. «Это когда под ручку ходят и еще каким-то способом. Забыла, как называется, кажется, на «си» начинается».

(в окрестностях квартиры № 2)

В жакете нового соцгорода, в кабинете начальника по политике, висит портрет Бетховена.

Девочка спросила на кухне: «Ты из чего суп варишь?» Я ей: «2 картошки, грибы и укроп. А ты?» — «Мама мне не разрешает рассказывать!» — «Ну, значит хороший...»

«Когда Лермонтов был еще маленький, бабушка наняла ему губернаторов» (6-й класс).

Сторожиха «Гипромедьруда»: «Сегодня тюре давали» (пюре? тюря?)

Комиссар госпиталя. Ничего не делает. «Что ж! Я в голову ранетый...»

Розовая веселая девушка: «Вы знаете, я за капиталом Маркса отдыхаю, ну просто душой отдыхаю!»

Девочка пишет письмо отцу в армию на Дальний Восток. На письме приписывает: «Дорогая цензура! Спиши это письмо, пожалуйста, поскорее!»

Беленькая, приветливая, голубоглазенькая Инезьетта Калягина. В одном классе: белобрысая, очень курносая девочка с писклявым голосом, дочь бухгалтера Аида Миронова, Родэлла Смоляникова, Римма, Ангелина, Анжелика, Лилия Гнездилова, Диана (тощий цыпленок 12 лет, лохматая зубрежка) и т.д.

«Очень удачная покупка»: на неделе в первом «магазине» куклы-грелки давали (только эвакуированным!) — Зачем же вам-то? — Как зачем? Она набита обрезками трикотажа, я ее распорол — на нитки пошло, платьишко на заплатки. А из головки — из головки новую куклу сделала и за 800 грамм «хлеба» продала. Надо же жить-то, поворачиваться как-то.

Январь 1943 г.

Елка в здании Свердловской филармонии, нарядная лестница, большой плакат: «Подарки будут выдавать только по предъявлению сахарной карточки при наличии талона №8».

В Дегтярке. Зима. Очередь за хлебом. Девочка лет 10. Большой черный платок, из-под него — белое ситцевое платье в цветах,

на ногах огромные валенки — втиснутые в галоши на высоком каблучке. Такое не приснится и Таирову!

Рыжий, застенчивый, очень нескладный музыкант, «не от мира сего». В 25 лет мама мыла голову и читала ему вслух по вечерам. В 28 — война. Записался в ополчение. Через 10 дней вернули из казармы. В октябре 41-го эвакуировали в Саратов. Тосковал без семьи. Вселили в семью по ордеру. Через 2 месяца женился по ордеру.

Мать с сыном, эвакуированные. Странная фамилия Тутурины. Мальчик (12 лет) высокий, рыжий, нескладный — удивленное лицо бледное. Начитанный, каждый день пасет белую курицу перед домом. Мать: «Я ее обожаю просто! По 30 р. яичко на базаре продаю».

На заводе — два парня: «На вот тебе, Свердловск. Вот, говорят, здесь царя Николая расстрелили. Неправда. Я знаю. Он в уборную вышел и в дыру-то уборной-то и утек. И сейчас живой. Я знаю».

В дет. садике, «на елке», девочка декламирует Некрасова: «А что у отца-то большая семья-то?»

В школе № 17 физик огромный рыжий детина. Ребята всех классов его зовут со злобой: «У-у! Купрум!»

Каждое учреждение постаралось стенгазету новогоднюю сделать как можно лучше. Но всех перещеголял «дет. садик»: заведующая нашла и поместила фотографию виселицы с десятью повешенными! И в программе, кроме декламации, эти же зверства были представлены. Ребятишки, видимо, находят в этом нечто забавное.

«Да, милиционеру нашему Репину сильно не повезло! Ну, ладно. Получила жена летом похоронную. Ну, поплакала-поплакала, жить-то надо — перестала плакать, в зеленый клуб ходить стала (сами знаете — для военных исключительно построенный и армейские частенько его навещают).

Вдруг — письмо от милиционера Репина: ошибка вышла! Живой! Ну, ладно. Жена обрадовалась, в клуб перестала ходить: муж в госпитале оздоровительном лежит, в Дегтярку скоро приедет. Только уехал Репин из госпиталя, снова не едет. Писем опять не шлет, жена скучает.

Зимой получает жена похоронную: погиб геройски на службе милиционер Репин. Загрустила жена: наверняка милиционер погибнул. Ну, а жить-то надо? Поплакала, поплакала — и вышла взамуж

(в окрестностях квартиры № 2)

за лейтенанта-танкиста. Только и месяца не прошло — слышим: привезли в наш-то в госпиталь-то раненого легко милиционера Репина. Что жена будет делать — не знаем. Только вот как наши-то органы работают!»

Отбила телеграмму. Бить телеграмму. Спустить письмо.

«И что это вы, Марина, все это время в баню ходили?» — «Ну да, как же ты думаешь — просто теперь в баню сходить? Вадик у меня на круглосуточном в дет. садике (я в вахтерской служу). Взяла ребенка — вымыть — пошла. Ну, вода, конечно, есть — повезло. Ну и пар есть. Повезло. Ну, и свет есть — повезло. Лампочек только в общей нету. Не повезло. Может, говорю, я за своей сбегая? Строго заведующий, этак зло глянул. Ну что ж, говорит, пожалуй, сбегай. Сбегала (а до службы от бани 2 км-то будет), ну и вымылись. И вымылось публики столько! Я только домой начну собираться — а бабы: „Ну, как тебя звать, Мариша, погоди ты еще выкручивать! Без нее ж не помыться. А главное — не постирать!“ Опять жду. Ну и так далее. А ты говоришь — долго в баню хожу».

В художественном училище «в Свердловске» преподаватели Суриков и Репкин.

Математик. Круглолицый, круглоглазый, очень близорукий нескладный Матвей Семенович Маучин, молодой, суетливый. Тонкий голос, падок до женского пола, ухаживает глубоко провинциально. Математику знает, но ребята его не слушаются, называют его «мотя» и песенку о нем поют в коридорах: «Дано: Матвей Семенович лезет в окно. Требуется доказать: Как он будет вылезать?» Но он добряк: старается и суетится неизменно, и на педсовете выступает: «В моем классе ряд примеров настоящего патриотизма: ребята занимаются! Ребята стараются получить хорошие отметки. Прекрасный класс!»

Худая, тихая, скромно, по-старомодному одетая учительница начальной школы, немолода. Заплаканное лицо — трудно живется. Окает (с Волги). Девочки у нее способные, учатся хорошо. Сама же она «не очень» — по словам завуча. На уроке естествознания объясняет своим 3-классникам: тема — замерзание воды. Что же происходит с водой из-за замерзания? Она сжимается? Верно, ребята. Вот вам пример: если в бутылке вода замерзнет, что с бутылкой будет? Разорвет бутылку — хором отвечают 3-классники. Верно, ребята, вот вам и пример...

Старый профессор — историк Киевского университета, ныне эвакуированный в Уфу, писал коллеге в Свердловск — «Всем нашим, кого встретите, расскажите вот что: „наш“ Оглоблин остался все-таки в Киеве, на следующий день, после того как немцы пришли — был назначен генерал-губернатором города и выпустил листовки: бей жидов и москалей! И т.д.»

Об Оглоблине мне рассказала аспирантка Киевского университета. «Как же его не знать! И старик был видный. Книгу по истории Украины написал, курсы читал. Умный, знающий, вежливый, лощеный очень. Но поговаривали, что гомосексуалист. Немцы подступали — он тянул, эвакуироваться отказался и остался-таки. Противно мне в диплом мой смотреть: он председателем экзаменационной комиссии был. Так диплом мой им подписан — так и останется изгаженным».

Не валенки, а пимы. Говорят: «Посажу его в пим» (то есть в галошу). Бахилы — прозодежда шахтера, чуни — род галош — род брезентовых чулок.

Полька: «Вы видите плохо — поэтому и очки носите? А вот у нас польки так просто, для фантазии очки покупают».

Боец, парень лет 20, колхозник: «Теперь Гитлеру — труба! Он, говорят, уж и землянку себе в Японии купил — скрываться там будет».

Статья: «За улучшение бытовых нужд трудящихся».

Объявление в школе: «Вниманию классных руководителей: к 30.1 — всем классным руководителям в обязательном порядке предлагается сдать письма бойцам РККА по следующей разверстке: 10 кл. — 15 писем, 9 кл. — 15 писем и т.д.»

10.2.43.

11 ч. 30 мин. ночи.

Мне хочется есть. После 2 мес. тепла снизу поднимается и плотно останавливается холод. Тишина — как вата в ушах. Где я буду доставать дрова... Мрачно? Нет... Но хочется хоть малую зарубку этого дня сделать, запомнить его.

2 мес. жили внизу солдаты. Мы привыкли видеть их лица ежедневно, слышать снизу их шум — жизнь (через пол проникал к нам). Приходили чинно послушать радио, прямо сидели на табуретке, забавно похвалялись молодыми петушиными голосами, с нежностью

(в окрестностях квартиры № 2)

брали пилу или топор из рук, когда я выходила с поленьями на улицу: «Сделаем быстро!»

По вечерам мама им читала Зоценко и Чехова. Лампочка слабо светит, мама — старая, похудевшая, сидит на столе — в шубе, в шапке — низко склонившись — читает быстро, молодо, очень звучно. Свисая с полатей (лежат на полатах) — очень хорошо слушают, живые лица, смеются заразительно, кстати. Благодарят. Наутро Борис — самый образованный, с грустным и умным лицом англичанина — приносит палку — «выточил, а то у нее дубина...» На палке, струганная, белая — надпись чернилами: «Человеку большого сердца и ума уважаемой Ольге Александровне — от бойцов нашего подразделения. Январь 1943 г.»

По вечерам скучали. Мама достала мандолину Петинovu Леше (кончил 10-летку, «все любит» — футбол, фото, книги по истории, музыке), на мандолине играл грустные вальсы, песни русские и забористые плясочки по вечерам — все плясали с увлечением с дробным ритмом...

«Старый» (все молодые — по 22–23 года) — «отец» из Краснодара — могучий, задумчивая улыбка, м.б. и с хитрецей. Краснодар освободят не сегодня завтра. А там его жена, мать, ребята. Старший сын погиб — это он знает точно. А эти все — там. Живы? «Не верю. Там жителей вырезали за то, что девушки изнасилованные немцев душили». Сам раненый был — жила на спине разорвалась — лечили. «Немцев руками душить могу».

«Отец» балалайку достал. Проверяешь тетради — а снизу краковяк. И даже мне плясать хочется... Похабные песни поют, анекдоты засаживают, ведут иногда безобразно — это слышно тоже — снизу. Но мы их любили. У каждого — где-то дом, откуда нет писем, и посидеть у нас для них удовольствие. Маму («бабушку») уважают и любят. Чайник наш кипящий (а мы им часто его давали) приносят истово — почтительно.

Мама читала «Метель». Чисто прозвучал кристальный Пушкин, сильно, хорошо. Весело — «Маска» Чехова.

Пляски... Всем хотелось, чтобы и мы плясали. Но не вышло... Сегодня уехали они на фронт. Адреса, пожелания. Трудно нужные придумать. Уходили под вечер. Лампочка не горела. Мы стояли с мамой в передней их квартиры в полутьме. Почему-то многие у меня прикуривали сигарки.

Они мимо нас проходили — мы им жали руки, желали — удачи. Грустно. Забудутся имена, истории, останется улыбка, хватка, тепло рукопожатия. Люди ушли на фронт. Они жить любят. Они любят смеяться. Ели на ходу из котелков — последний раз здесь.

Я сказала: «Последний раз...» Один поморщился: «Будем и обедать, и ужинать уже — там!» Другие подтвердили: «Да... будем, будем». Сентиментально? Не знаю. Грустно очень и на душе очень чисто, редко чисто, почему не знаю. Один мундштук любимый потерял — долго искали с нашей коптилкой по полу — не нашли. Читаю «Грозу». По радио — Пушкин (годовщина смерти). Очень хочется жить. Едут туда — тоже хотят жить, и хочется, чтоб они — эти — остались живы. Эх! Качалов читает стихи: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Да — но только чую трагедию. Холод снизу веет. Гре-ли ребята нас 2 месяца — сквозь щели их тепло к нам шло. «Упорные бои, кровопролитные бои»; «мы вам напишем, но где мы, вы, конечно, не узнаете». Да. Не узнаем.

Это самое «энское подразделение» — лучшее человеческое дег-тярское воспоминание. Десятиклассники.

2.3.43 г.

Строчка из современного стихотворения: «Какое блаженство быть храбрым бойцом!»

Катя из Златоуста, 11 лет, отец директор завода, пишет своей двоюродной сестре в Дегтярку (из эвакуированных): «Дорогая Зочка! Ты спрашиваешь меня, как здоровье бабушки. Ее здоровье хорошо и даже лучше, чем надо. Мы выслали тебе валенки. Если к ним пришить новые подошвы, будут совсем хорошие. Бабушка истрепала мои нервы окончательно. Но я креплюсь. Целую тебя крепко, крепко. И ты всех своих поцелуй крепко. Катя».

Письмо на фронт, Лена П., 12 лет.

«Дорогой папочка! Мы получили твою фотографию и увидели, что ты очень постарел. Но только не огорчайся, ты все равно хороший. И потом, и мама тоже постарела и похудела очень. И мы с Вовкой (12 лет) тоже очень постарели, особенно Вовка!»

23.2.43 г.

На заводе: «Что сегодня на обед рвали?»

«Нейгауз отоваривается...» (Свердловск)

Ученик 3-го класса, сын счетовода Уайльд Георгиевский.

В очереди за хлебом: «У меня Гриша командёр Красной армии».

«Эгоист — это человек, не имеющий веса в обществе».

(в окрестностях квартиры № 2)

Кружка — бокал. «Почем бокал луку?»

«Училась в институте я хорошо. 12 имела по многим предметам. Но 10 по поведению... — Да что ты! — Да, писала классная дама иногда в дневнике: Дерзит глазами...»

28.2.43

Разговор в учительской.

Учительница начальной школы (тугое лицо, маленькие глазки, немолода, «здешняя»): «Узбеков пригнали на шахту работать, выдали? Богато живут. Урюк на базаре продают — девать им некуда, потому и продают. А живут богато... Тридцатками бутылки с молоком затыкают — сама видела, и закуривают — сигарки из тридцаток скручивают».

Физик (крепкий хозяин, мужчина, спец по политике): «Как же, как же. Это они советскую власть дискредитируют».

Математик: «Ну что вы, не может быть, это же и не гигиенично, и неудобно, не может быть!»

В библиотеке школы: «Дайте мне что-нибудь из современной литературы». Библиотекарша: «Из современной? Вот Гете». — «Да что вы, это же классик». — «Ну, вот Гейне». — «А мемуары есть?» — «Да вот письма Пушкина к Зоценко».

13.4.43

Ну, весна... Длинные дни — просторные, яркие. Солнце. Дали синие. Птицы поют. Молодая весна, как и полагается, ликует вовсю, улыбайся — молодая и красивая от счастья молодости. Бестактно как-то, я бы сказала, радуется, неуместно сияет. Нам-то, людям, не так-то уж весело-молодо. Вылезает из жилых нор и шкур на яркий свет — довольно-таки обшарпанные представители прогрессивного человечества. В воскресенье, как полагается, ходила на базар торговать (удачно: продала свою старую красную кофту), чего-чего там не увидишь. Повыползали эвакуированные. Стояла я: «товар» (спорок-воротник, шелковый платочек новый и вышеназванная кофта) — на земле на бумаге почти в луже; с одной стороны очень бледная молчаливая девушка безуспешно продавала горшок с чахлым чем-то зеленым и «картину»; с другой — старик, носатый интеллигент — кожа да кости. Его альбом зеленый бархатный удивлял сердца, будил лучшие эстетические чувства у дегтярцев. Но не продал.

А весна — весна сияет себе... И, признаться, очень стало весело. Не «из-за питания» (как здесь говорят), конечно... А жизнь что-то

уходит впустую. Хоть поговорить с кем-нибудь на своем языке без напряжения. Да, что-то трудно. Говорят, что эшелон с нашими бойцами, что внизу жили, разбомбили...

Кстати, интересный конец истории с Оглоблиным. Партизаны организовали его убийство — и очень удачно. Никто, кажется, из них не пострадал. Во главе отряда этого — его бывшая аспирантка. А жить надо. Надо жить. И крепче жить.

26.4.43

Из разговоров в учительской.

Старший военрук, Илья Иванович, молоденький, смазливенький, хорошенький. Любитель постоять в учительской напротив зеркала — глаза вбок, улыбка — взбивает хохол. Девочки очень за ним бегают. Кажется, и не глуп вроде. Ставка на «культурность». Сегодня речь шла о литературе (только что паек, сильно задержанный — получили — и ликование по поводу муки, сахара и яичного порошка сменилось более благородным и возвышенным настроением). И.И.: «Взял вот Оливер Твиста. Люблю Диккенса, он пишет как настоящий джентльмен, деликатно, вежливо, не то что Мопассан, не интеллигентный, сразу видно, человек, грубый, такой вульгарный — нехорошо!»

Зоя, 12 лет: «Умер Чернов, инженер. Как его хоронили! Сам Малкин пожертвовал шелкового полотна, гроб покрасили красными чернилами».

Учительница музыки, маленькая еврейка, дает уроки дочери местного инженера (плата натурой). Мать — в восторге от уроков, присутствует неизменно, поощряя дочь: «Как тебе не стыдно лениться! Подумай, ведь когда ты ленишься — это все равно что я молоко выливаю на улицу!»

Пасха: еврейский дедушка слышит: «Христос воскрес!» — «Да ну! Вот молодчина! Воскрес! Ловко!»

Весенний лес. Яркое небо, цветут фиалки милые. Я копаю огород. А рядом, на поляне бойкая девушка с погонами учит подразделение молодых парней-бойцов штыковому бою.

Слухи о похоронах инженера Чернова. Молодой был, преуспевающий такой. Снова о нем молва дегтярская: на днях друг любимейший, который его в гроб одевал, на базаре испытал сильное ощущение. Стоит человек, продает костюм, костюм инженера, в котором

(в окрестностях квартиры № 2)

его в гроб клали. Продавец смутился, удрал — не догнали. Могилу разрытой обнаружили.

Лейтенант Фатальчук. Забойщик Раскошный.

На этой оптимистической ноте записи в тетрадке заканчиваются, зато обнаружился вложенный в тетрадку черновик Таниного письма давнему, с отроческих лет, другу Вале, в те времена еще москвичке. Валя с Таней подружались в кружке юных искусствоведов при Музее изобразительных искусств. И так случилось, что предстоящую ей долгую жизнь художник и искусствовед Валентина Гавриловна Старикова, ученица Фаворского, человек яркий, богато и разнообразно одаренный, прожила в Хабаровске и, несомненно, украсила город своим присутствием. А с тетушкой моей они дружили до конца Таниных дней.

Эти два года в Дегтярке — не только не пропащие годы — это очень важный период в моей жизни. Многому меня научила жизнь, многое поняла я в жизни других — и в своей стала разбираться лучше. И никогда еще не было у меня такого интереса, такого жадного, огромного аппетита к жизни, ко всему на свете, как теперь. А как мне хочется работать, Валька, работать головой в полную силу. Вероятно, это зрелость.

В юности, в конце концов, больше всего интересуюсь своей персоной — в разных и утонченных ракурсах, но все же — все это «я» да «я». И жизнь начинает тускнеть и линять «на глазах у зрителя». Какие мы старые бывали в 25 лет! Кажется, что все уже видел, все прочел, все, пожалуй, пережил или почти все: остальное можно себе и так домыслить. Не было с тобой так? А сейчас, когда мир сотрясается в грозах, которым нет конца, когда смерть ходит рядом с близкими, а многих уже поглотила, сейчас мне жизнь кажется бесконечно прекрасной и увлекательной. Как ценишь жизнь, когда жить трудно...

Многое мне пришлось здесь, в провинции, увидеть, пережить. Я вижу, как я была наивна, как мало знала жизнь, видя все в розовом свете. Какое море всяческой гадости человеческой раскрылось сейчас передо мною. И знаешь, никогда еще я не ценила так хорошего в человеке — этих редких бесценных жемчужных зерен. Никогда еще я не любила так свой страшный народ, свою природу. То, что раньше было только привычкой, понятия, слова, наполнилось настоящим чувством. И никогда, Валька, я не ценила так искусства.

Когда возвращаешься годами, с детства, в узком кругу интеллигентных людей, дышишь воздухом культуры, живешь в мире книг и картин и т.д. — оскомину набивает эта «искусственная» жизнь.

Да это и не жизнь, думается, это только отражение жизни. Пытаться создавать эти отражения, изучать их, всю жизнь среди них жить... да стоит ли? Так далеко все это от настоящей жизни и нужно ли это людям, настоящей жизнью живущим? Ну, как сказал Пастернак: «Вымыслов пить головизну тошнит, как от рыбы гнилой». Сейчас я живу среди людей, для которых книга значит очень мало, искусство — ничего не значит. И люди эти очень мало похожи на розовых и красных героев современной беллетристики. Я теперь кое-что понимаю в жизни. И я тебе скажу, Валюшка: искусство нужно людям как хлеб, как воздух, как свежая кровь. Только они этого не понимают, до какой степени это им нужно...

С непоколебимой уверенностью в том, что искусство нужно людям как хлеб, как воздух, как свежая кровь, Таня прожила всю свою жизнь и никогда, ни при каких обстоятельствах ни разу себе не изменила...

От тех военных лет до сегодняшнего дня дошло, как ни странно, немало письменных свидетельств. Кроме открыток бабушкиных сестер (их проще было цензурировать, и они доходили до адресатов быстрее писем) сохранились письма Таниных друзей — треугольники с номерами полевой почты и штампами «проверено военной цензурой», а также письма подруг из тех дальних мест, где они оказались в эвакуации. Никого из тех корреспондентов давно уж нет на свете, открытки сестер розданы правнукам, кое-что удалось пристроить детям Таниных подруг, у кого они родились, эти дети... увы, в большинстве своем молодые те женщины остались бездетными... А следов Таниных друзей-фронтовиков нет как нет... Так что письма эти пока останутся у меня...

Но в сумочке наподобие маленького портфельчика (так называемом ридикюле) я однажды что-то нащупала за частично отпоротившейся подкладкой и извлекла из ридикюльной внутренности треугольник с карандашным адресом: г. Москва, ст. Коломенское, дер. Котляково, Царицынская ул., № 13, Бирюлиной Марии Александровне. Обратный адрес: г. Свердловск, гл. почтамт, до востребования, Ф.И. Войцеховский. Прикинув, что адресат и отправитель вряд ли еще живут на этой земле, я решила прочесть письмо:

Здравствуй, дорогая Марусенька!

Пишу тебе это письмо с дороги. С 23/7 я в командировке неподалеку от Свердловска. Весьма вероятно, что, приехав в Свердловск, опять поеду в более длительную командировку, а именно в Астрахань или в Молотов, поеду или нет, напишу. На этой небольшой станции, откуда пишу (название «Капралово»), встретил и разговаривал с гражданкой, которая едет с матерью и множеством вещей домой в Москву. Видя их беспомощность, я счел своим долгом, тем более женщины, да еще едущие в Москву, помочь им в посадке. Письмо это пойдет из Москвы почтой или передадут тебе лично. Разговорами о Москве я расстроил себя, забыл даже о том, что сегодня

(в окрестностях квартиры № 2)

за весь день купил здесь на Хитром рынке 100 гр. хлеба за 20 руб. и четвертинку молока за 15 руб. Это все, что съел за весь день. Впрочем, ночью недавно новые знакомые угостили меня кусочком хлеба, я не смог отказаться, слишком хотелось кушать. Как я все-таки рад, что тебе и всем вам не приходится переживать подобного, а со мной это бывает. Самая главная у меня, а сейчас в особенности, мысль, когда же наконец и я поеду в Москву и увижу вас, моих дорогих. Пиши почаще и побольше о себе и Шурике. Крепко-крепко целую вас много раз. Любящий тебя твой Ф.

27.7.43

Письмо Ф.И. Войцеховского, как и Танины письма с Урала, написано на бланке издательства «Искусство». Видно, на два года эвакуации хватило Тане запаса бланков (до войны она служила в этом издательстве), и одним из них она поделилась с добрым человеком, выручившим их с бабушкой на станции Капралово. И так случилось, что письмо человека, пришедшего в тяжелейшей ситуации на помощь, не опустили в почтовый ящик... Видно, спрятали для сохранности в ридикюль, добравшись до дому, искали, наверное, весь багаж перерыли, но кто б знал, что оно провалилось за подкладку. Не дошло письмо до адресата, спустя семьдесят с лишним лет оказалось в моих руках, и теперь уж ничего не поправишь, не попросишь прощения у Ф.И. Войцеховского и жены его Марии.

А ведь мы с мужем бывали в тех краях в те еще времена, когда жива была и деревня, и кладбище существовало, и вполне вероятно, что Мария Александровна Бирюлина по-прежнему жила в доме № 13 по Царицынской улице. И можно было опустить в почтовый ящик адресованное ей письмо, пусть и с опозданием...

Зато теперь я знаю, что бабушка с Таней покинули Дегтярку 27 июля 1943 года. При посадке на поезд рассчитывали на помощь учеников, юных художников бабушкиного изокружка, но подростков Аркашу Коренева и друга его Мишу Игнатьева, тех самых, упомянутых в газете «За большую Дегтярку», накануне и совершенно неожиданно послали на покос, о чем они и сообщили бабушке в посланных ей вдогонку покаянных письмах.

А теперь пора вспомнить с благодарностью Прасковью Титовну Филимонову, проработавшую в нашей семье более десятилетия, о чем свидетельствует считая из разнородных листочков тетрадошка, на обложке которой острым дедушкиным почерком значится: «Расчетная книжка домашней работницы Прасковьи Титовны Филимоновой» с нижеследующим текстом на первой ее страничке:

*На основании личного соглашения нанята 20 сент. 1932 года.
Основные работы: приготовление пищи, уборка помещения, стирка, закупка продуктов и др. дом. работы. Число обслуживаемых лиц 5. Зар. плата 34 рубля. Сверх зарплаты помещение и пища.*

Зар. плата выдается 20-го числа м-ца. За спец. одежду по 6 рублей в месяц. Выходной день воскресенье. Срок наема неопределенный.

*Свидетель В. Ромбой
Работница Филимонова*

Подпись свидетеля — единственный след, оставленный соседом тех лет, инженером Ромбоем, покинувшим нашу квартиру в середине 30-х. Похоже, он-то и был тем пятым лицом, которое обязалась кормить и обстирывать Прасковья Титовна (наших-то было четверо). Странички расчетной книжки заполнялись ежемесячно, вот только за стирку платили отдельно, вынося ее отдельной графой, и заработок Прасковьи Титовны достигал, бывало, семидесяти, а то и девяноста рублей в месяц...

Прасковья Титовна сберегла в войну жилплощадь своих хозяев и имущество семьи. Не дала нашим алчным и бесцеремонным соседям (существенно позже со многими из них я близко познакомилась, а к некоторым привязалась всей душой, хотя нынче иллюзий относительно их повадок не питаю) растащить хозяйскую собственность. А ведь случалось и по-другому — занимали комнаты эвакуированных, расхищали имущество. Но Прасковья Титовна хозяев своих отстояла, все сберегла, вот я и перебираю ветхие бумажки, дышу тленом, заглядывая попутно в семейную ретроспективу (а могла бы отряхнуть прах, бодро смотреть в будущее и заниматься чем-нибудь дельным). Вот ее письмо, написанное в дни массового исхода из столицы — своего рода сводка московских событий местного значения.

10 октября 1941 г.

Здравствуйте Ольга Александровна. Привет Семену Борисовичу, Тане и Алеше. Я пока здорова и чувствую себя хорошо. Пока у нас все тихо в квартире благополучно пока и в Москве еще тихо. Приходил ко мне домуправ спросил что не отапливается ли наша печка из соседней комнате. Я ему сказала что нет печка отапливается одним хозяйством. Талоны эти не действительны которые выдали. Он меня спросил сколько вы выпишите дров я записала 4 метра будут привозить коллективом деньги будут собирать в перед но денег у меня таких нет много мне еле еле хватает на питание подработать негде все уехали. У нас в квартире все приехали. Мне не хотели дать дров но я сказала что у меня попортятся вещи во собственности я жалею рояль. Тогда меня домуправ записал. Сейчас топлю через три дня понемногу кое-чем собираю хлам щепки и доски. Квартира как была запечатана так и есть не беспокойтесь все будет сохранно.

Попрежнему никуда не хожу. Привет всем всем.

Остаюсь Прасковья Титовна Филимонова Преданная вам сторож, сторожу как за своим глазом.

Пока досвиданья. Жду ответа.

(в окрестностях квартиры № 2)

В письме, написанном выцветшими фиолетовыми чернилами, будто бы в перевернутом бинокле, можно разглядеть крохотный фрагментик московского быта, такого обыденного всего-то за несколько дней до московской паники 16 октября. В этом контексте слова Прасковьи Титовны «во собенности я жалею рояль» — это и вправду посильнее Фауста Гете... Самого рояля я не видела и игры бабушкиной не слышала, так уж сложились семейные обстоятельства, что его продали до моего рождения, и вряд ли могу представить себе, как грустила о нем бабушка... Но на память о рояле осталась бумажка из иных времен:

Р. С. Ф. С. Р.

КОМИССИЯ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

при Отделе Народного Образов. М. С. Р. Кр. и Кр. Д. № 20071.

8 Марта дня 1921 г. МОСКВА. Петровка, 2, бывш. Голофт. пасс.

Тел. 48 46, 1 24 20

ВРЕМЕННОЕ ОХРАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Музыкальный инструмент Рояль № 107313 фирмы Бехштейн принадлежащий Айзенман (Бари) Ольга Александр. находящийся Остоженка Мансуровский пер. д. 5. кв. 2. состоит на учете в Комиссии по учету и распределению Музыкальных инструментов и согласно постан. Президиума Моск. Совдепа от 5/XI — 20 г. никакими другими учреждениями кроме Комиссии не может быть реквизирован и без разрешения Комиссии не может быть перевозим в другое помещение.

Настоящее охранное свидетельство имеет силу в течении 2-х месяцев со дня его выдачи.

Председатель Комиссии (неразборчиво)

Секретарь Погоржельский

О нем-то и заботилась в войну домашняя работница Прасковья Титовна Филимонова, может даже спасла его, и хочется думать, что он все еще жив и сейчас, в эту самую минуту кто-то играет на нем нечто прекрасное...

Сохранилось еще одно, ноябрьское письмецо 43-го года с почти стершимся текстом, из которого я узнала, что, дождавшись-таки возвращения хозяев, Прасковья Титовна отбыла в родную деревню к племяннице.

Я нахожусь я у Кати ухаживает замною питаюсь я пшеничноми лепешками емь лапшу пшеничною и смясо и емь кипяченое молоко и хаживать за мною как за маленьким ребенком емь хлеб кислою щи питания слава Богу как и невойна — писала Прасковья Титовна. Она волновалась о наших и придумывала, как прислать муки бывшим своим хозяевам, а соседям передавала приветы и всем желала всего хорошева вашей жизни.

И еще один комментарий к тексту. Среди прочего обнаружилось в семейном архиве две папки-скоросшиватели с аккуратнейшим образом подшитыми в них открытками и расправленными треугольниками — письмами друга семьи пианиста Эммануила Гроссмана, ученика Генриха Нейгауза. В дневнике тетушка назвала его рыжим застенчивым музыкантом «не от мира сего».

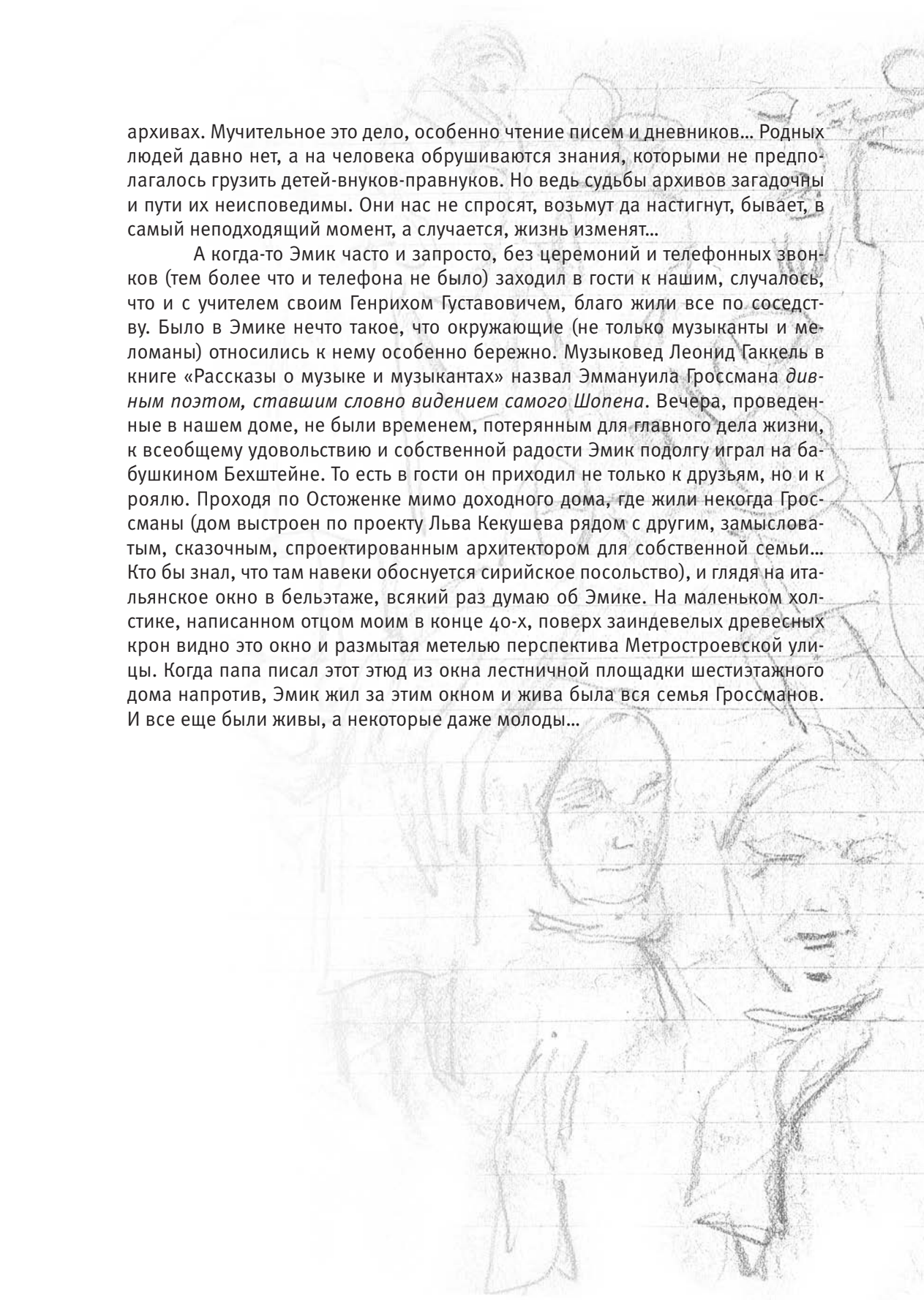
В те же самые дни, когда тетушка делала записи в своем дневнике, но не с Урала, а из Саратова, где находилась в эвакуации Московская консерватория, каждый божий день Эмик, нежнейший и преданнейший сын, брат и дядюшка, писал в Уфу, куда эвакуировалась его семья (родители, сестры и маленькая племянница, будущий журналист и поэт Ляля Розанова). В этом городе сестра Эмика Эмма, проектировщик нефтеперерабатывающих заводов (и кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, между прочим), работала на Уфимском крекинг-заводе.

Письма Эмика — это, по сути, хроника жизни консерватории в эвакуации. Вероятно, оказались они у нас после смерти Эммы, свято хранившей память о брате. Так уж случилось, что никого от большой семьи Гроссманов не осталось в России, все умерли, старые и молодые, а Эмик ушел раньше всех, в сорок один год...

Пару раз в день памяти Эмика тетушка брала меня в гости к Эмме. Приходили его однокашники-пианисты, говорили об Эмике, Яков Зак играл нечто прекрасное... Я пыталась предложить этот бесценный, на мой взгляд, семейный архив в профильные учреждения, но, увы, никого он не заинтересовал, и места ему нигде не нашлось. Но была надежда, что живет где-то дочь Эмика, давным-давно покинувшая пределы. Прелестная кудрявая отроковица некогда восхитила меня смелостью своей и свободой.

В один из тех вечеров в доме Эммы Таня, ученица ЦМШ, по просьбе гостей села к роялю, принялась было играть нечто сугубо классическое и вдруг абсолютно непринужденно преобразовала музыкальный шедевр в буги-вуги. К ужасу тетки и восторгу слушателей, блистательных пианистов в расцвете лет и талантов.

Но как найти эту чудесную Таню, затерявшуюся на просторах вселенной? Да очень просто! Достаточно написать короткий текст в фейсбуке (а если еще и фотографиями сопроводить...), чтобы нашелся канувший человек. Не сразу, не запросто, но дочь Эмика, полвека прожившая в дальних странах и не раз сменившая фамилию, отыскалась, и письма отца, написанные до ее рождения, теперь у нее! Я и радуюсь, и сочувствую Тане, потому что ей предстоит испытание... Откроются, как водится, такие нюансы семейных обстоятельств и взаимоотношений, о которых она не знала и не ведала. Нет, никаких скелетов, вываливающихся из шкафов, разумеется, не случится, Эмик был человеком ангельским, да вся семья Гроссманов самого что ни на есть отменного качества, и тем не менее не исключено, что история семьи увидит-ся Тане в ином ракурсе. Сужу по себе, который год копающейся в семейных



архивах. Мучительное это дело, особенно чтение писем и дневников... Родных людей давно нет, а на человека обрушиваются знания, которыми не предполагалось грузить детей-внуков-правнуков. Но ведь судьбы архивов загадочны и пути их неисповедимы. Они нас не спросят, возьмут да настигнут, бывает, в самый неподходящий момент, а случается, жизнь изменят...

А когда-то Эмик часто и запросто, без церемоний и телефонных звонков (тем более что и телефона не было) заходил в гости к нашим, случалось, что и с учителем своим Генрихом Густавовичем, благо жили все по соседству. Было в Эмике нечто такое, что окружающие (не только музыканты и меломаны) относились к нему особенно бережно. Музыковед Леонид Гаккель в книге «Рассказы о музыке и музыкантах» назвал Эммануила Гроссмана *дивным поэтом, ставшим словно видением самого Шопена*. Вечера, проведенные в нашем доме, не были временем, потерянным для главного дела жизни, к всеобщему удовольствию и собственной радости Эмик подолгу играл на бабушкином Бехштейне. То есть в гости он приходил не только к друзьям, но и к роялю. Проходя по Остоженке мимо доходного дома, где жили некогда Гроссманы (дом выстроен по проекту Льва Кекушева рядом с другим, замысловатым, сказочным, спроектированным архитектором для собственной семьи... Кто бы знал, что там навеки обоснуется сирийское посольство), и глядя на итальянское окно в бельэтаже, всякий раз думаю об Эмике. На маленьком холстике, написанном отцом моим в конце 40-х, поверх заиндевелых древесных крон видно это окно и размытая метелью перспектива Метростроевской улицы. Когда папа писал этот этюд из окна лестничной площадки шестиэтажного дома напротив, Эмик жил за этим окном и жива была вся семья Гроссманов. И все еще были живы, а некоторые даже молоды...





m

Похвала

групповым фото

Мама родилась 7 сентября 1920 года, и жизнь складывалась в соответствии с эпохой, выпавшей ее поколению. Семья не жила подолгу на одном месте, а мигрировала вслед за отцом, ссылавшимся все

дальше и дальше. Начало пути — город Курск. Где-то в окрестностях этого города, в деревне со странным названием Салдыковка (вероятно, ошибка в метрике) Льговского уезда Курской губернии мама и родилась. Из Курска уехали в 26-м. На выставке Александра Дейнеки, случившейся в Центральном доме художника, с понятным интересом и даже волнением вглядывалась я в курские его пейзажи, и сами по себе чудесные. С волнением потому, что написаны они в 1925 году, и, глядя на эти этюды, я живо представляла маму-девочку, которая в те же самые дни и точно в такую же погоду ходила по тем же улицам, и, может быть, через эту вот запечатленную художником лужу перепрыгивала. Не исключено, что этим самым путем, мимо этих самых домишек, возле одного из которых стоял некогда со своим мольбертом молодой художник, давним каким-то утром шла мама-девочка за руку со своей мамой на площадь с неведомым мне названием. Шли для того, чтобы одним глазком взглянуть на отца и мужа, которого в тот летний день (кто-то осведомленный сообщил) должны были перевести из одного тюремного здания в другое. Пришли, долго ждали и дождались — из дверей одного из домов вышел дедушка в сопровождении двух конвоиров, пересек площадь и вошел в подъезд другого дома, симметричного первому. Так они в тот раз и повидались, взглянули друг на друга

(в окрестностях квартиры № 2)

мельком. Двухминутное это свидание, вернее его подобие, мама запомнила на всю жизнь.

Из Курска перебрались в Харьков, и мама лелеяла мечту вернуться в этот город и пройти тем же путем, которым ходила в школу, хотела, да так и не выбралась... Из Харькова переехали в Новосибирск и поселились на улице Красноярской, в доме № 28. Отца тем временем сослали в Колпашево (тогда еще не город, а поселок) Томской области, и четырнадцатилетняя мама ездила туда к отцу, но упомянула об этом лишь однажды, вскользь, и никогда об этой поездке ничего не рассказывала. В тот раз дедушке повезло, и, когда он отбыл срок ссылки, семья перебралась в Томск, но уже без матери, скончавшейся в ленинградской больнице 29 января 1937 года. В Томске поселились на Тверской улице, в доме № 59, в квартире № 3.

В очередной и самый последний раз дедушку арестовали 19 декабря 1937 года. А весной 38-го мама узнала о дне и часе, когда где-то на окраине Томска родственникам сообщат приговоры, вынесенные их близким. Собралась толпа. Ждали долго, но закончилось все быстро. Всех впустили в просторный двор, вынесли подобие трибуны, на нее вскарабкался человек со стопкой бумажных листков. Сначала он перечислил фамилии тех людей (по маминым воспоминаниям, десятка полтора, не более), кто получил небольшие сроки (срока) заключения, а вслед за тем зачитал длиннейший список и собравшимся женам, мужьям, детям и родителям осужденных сообщил один общий для всех приговор: десять лет без права переписки. И многим мерещилась встреча... пусть и через десять лет, и долгие годы родственники надеялись и ждали весточки... Кто ж знал, что приговор этот синоним расстрела... Свою пулю дедушка получил через сорок дней после ареста, а мама узнала об этом шестьдесят лет спустя. И обрадовалась, да-да, обрадовалась, что крестный путь отца завершился так быстро, потому что всю жизнь мучило ее, каково пришлось ему, нездоровому, полуслепому, на пересылках, на этапах, в лагерях. Теперь-то я знаю имена убийц моего деда, нелюдей, входивших в расстрельную команду (среди них одно женское) и приводивших приговоры в исполнение. Проклятые имена сумел узнать молодой человек Денис Карагодин, прадеда которого расстреляли в те же дни, что и моего деда. Странно скомпоновались в маминой жизни январские деньки: 28 января 37-го умерла мать, 29 января 38-го расстреляли отца, а через десять лет, 27 января 48-го, родилась дочь. Такая семейная нумерология...

После ареста отца семью из дома на Тверской улице выселили, старшие брат с сестрой, люди взрослые, худо-бедно устроили свои жизни, а маме пришлось ютиться по чужим «углам». За жилье нужно было платить, и деньги на углы высылала бабушка Софья Борисовна (мама бабушки моей Рахили, а значит, моя прабабушка). Софья Борисовна жила в семье дочери Татьяны, растила московскую внучку Нелли. А так как сама она была человеком неимущим и пенсии не получала, пришлось вытребовать алименты у благополучного в те времена сына, жившего с семьей в Мариуполе. А что было делать

Софье Борисовне, как еще она могла помочь далекой внучке-сироте? Но не так уж долго Борис высылал алименты матери, не так уж долго, потому что и самого его, и жену Марию убили немцы, в самом начале войны сбросившие на Мариуполь десант. То есть убийцы Бориса и Марии, а также многих других мариупольских граждан спустились в прямом смысле слова с небес. А сын их Марк Спиваков, окончивший еще до войны летное училище, через полгода после смерти родителей погиб в воздушном бою. Тогда же в эвакуации в больнице сибирского поселка Дегтярка скончалась и бабушка Софья Борисовна. И таким вот естественным (или противоестественным) образом неприятная для любой семьи история с алиментами сошла на нет.

В Томске мама окончила десятый класс, всего же за годы учения ей пришлось сменить девять школ. Мама вспоминала, как вышла со своим аттестатом из школы и поняла, что некому рассказать об этом событии, никто из родных людей ее не поздравит и за нее не порадует. И все же нашелся добрый человек — сосед по квартире, в которой она снимала тот самый угол. Левочку Быховского мама вспоминала с нежностью и говорила, что не встречала человека добрее его, хотя, по правде сказать, всю жизнь ей везло на хороших людей. Левочка был человеком особенным, в пору мамино с ним соседства носил мужскую одежду и коротко стригся, но однажды вытащил из-под кровати чемодан, раскрыл его, и мама увидела принадлежавшую ему же одежду женскую: белье, платье, туфли на каблуках. Все знали о его необычности, но Левочка был так безобиден, так добр и так расположен к людям, что никто, никто его не обижал. А маму мою Левочка поддерживал, помогал, чем мог, а главное, теплом человеческим делился...

Увы, из Томска пришлось уехать. С детства мама мечтала стать врачом, ни о чем другом не помышляла, и действительно, без труда поступила в медицинский институт. Но вышло распоряжение детям репрессированных родителей стипендии не платить и не предоставлять общежития. Пришлось уйти из института и поступить на десятимесячные курсы немецкого языка (самого нелюбимого в школе предмета) при Томском педагогическом институте, там-то стипендию платили всем, даже детям репрессированных, и после окончания курсов ее распределили в школу-восьмилетку шахтерского города Прокопьевска. Но недолго, всего лишь один учебный год, терпела мама изощренные издевательства жестоких отроков и отроковиц, вдохновенно измывавшихся над юной учительницей, потому что следующим летом отправилась в Москву поступать в институт иностранных языков.

Чудо это приключилось стараниями все той же бабушки Софьи Борисовны, жившей, как уже было сказано, в семье дочери Татьяны в доме Наркоминдела, в народе известном как «вдовый дом». Софья Борисовна поставила дочь перед выбором: либо она уезжает к Изе, либо Иза переезжает в Москву. И Татьяна с мужем Наумом решились принять в семью дочь репрессированного отца, что по тем временам был мужественный поступок, по существу подвиг.

(в окрестностях квартиры № 2)

При поступлении в московский вуз судьбу отца мама утаила, а удалось это потому, что из-за постоянного и отнюдь не добровольного отцовского отсутствия она числилась на иждивении матери и вписана была в ее паспорт — о, эта всесильная власть ничтожных по сути своей бумажек! Мама легко сдала все экзамены, кроме последнего, самого страшного — немецкого сочинения. Вот его-то мама боялась панически и не сомневалась в провале.

В день экзамена абитуриенты пришли в аудиторию и обнаружили, что свежевыкрашенные столы плохо просохли. К счастью, мама захватила из дома старый номер «Правды». Вот тут-то она и пригодилась, эта спасительная «Правда», ее-то мама и постелила на липкую столешницу — никогда не знаешь, откуда придет помощь...

Объявленные темы ужаснули маму. В одной из них предлагалось проанализировать грандиозное значение для советской литературы пролетарского писателя Максима Горького. Мама приуныла, понурилась, и тут-то зрение ее сфокусировалось на газете, постеленной на липкий стол. Оказалось, что газетка-то от 18 июня 1940 года, едва ли не вся посвящена четвертой годовщине смерти Горького (смерти, которой предшествовало и за которой последовало немало трагического), и на газетном листе напечатана статья об этом самом значении этого самого человека в этой самой литературе. Маме оставалось только перевести ее на немецкий язык, что она с успехом и сделала.

Мама истово погрузилась в учебу и с той же истовостью взвалила на себя хозяйство приютившей ее семьи. А на исходе весенней сессии, в день последнего экзамена грянула война. И в начале августа мама оказалась в уральском поселке Дегтярка, где и прожила два военных года. В Москву удалось вернуться в сентябре 43-го, а весной 46-го она вышла замуж, окончила институт и устроилась на работу.

Нет ни одной фотографии, где бы мама была в одиночестве, сама по себе, не считая тех крошечных фото, что клеивались в документы разного рода. Но на них выражение мамино лица соответствует случаю, оно замороженное и неестественное. По счастью, сохранилось несколько групповых снимков, и только благодаря им я знаю, как выглядела мама в разные годы жизни, с кем дружила, училась и работала. И могу хотя бы отчасти реконструировать ее среду. Что ни говори, но традиция групповых фотографий заслуживает всяческих похвал.

А происходило это так: собирались родственники, друзья-подруги-приятельницы, шли в фотоателье (бывало, что ни с того ни с сего и ни по какому случаю, просто под настроение...) и фотографировались на память. Или сам фотограф являлся в малые или большие коллективы: в школу, в институт, на предприятие, и неплохо, кстати говоря, зарабатывал. На групповых фото тех лет никто не дурачится и не кривляется, как это случается нынче, в эпоху тотальной девальвации фотографического жанра, в те времена люди позировали всерьез, ценили остановившиеся мгновения. А фотографы продумывали по мере способностей своих и добросовестности композицию снимка и его суть. Заботились,

чтобы в будущем, которое так или иначе наступит, предки предстали перед гипотетическими своими потомками в достойном виде, чтобы правнуки не удивлялись глуповатым обликам прадедов своих и прабабок.

Если сохранившиеся снимки с маминым участием разложить по порядку, то начать надо с самого что ни на есть детского, но уже группового. На фото трое: мальчик Марк, девочка Иза и пойнтер Греза. За окном фотоателье город Курск, на дворе 1925 год, где-то там бродит с этюдником Александр Дейнека... Марк и Иза дважды кузены, кузены в квадрате (сестра маминого отца Мария была замужем за братом маминой мамы Борисом). Семья вместе жили и Грезой владели совместно. Грезу фотограф поставил между детьми, то есть любимой собаки каждому досталось поровну, и велел Изе обнять брата. И хотя мама послушно дотянулась до шеи Марка, вышло не очень естественно. Не приняты были между детьми нежности, к тому же Марк уродился опасным озорником, и мама его сторонилась. А в подростковом возрасте, к ужасу и отчаянию родителей, Марк вообще стал хулиганом с послужным списком в виде неоднократных приводов в милицию, что не так уж часто случается с еврейскими мальчиками. Чрезвычайно опасные, рискованные для его собственной жизни проказы числились на его счету.

Следующее фото, сделанное уже в харьковском ателье, тоже групповое, хотя и семейное. Фотографироваться пришли втроем — бабушка с двумя дочерьми, Татьяной и Изой. Маме на фото лет десять-одиннадцать. Все трое принарядились, на бабушке парадное платье, видно из прежних еще времен, похоже, что из тяжелого шелка, с узорчатым воротником. На макушке у мамы атласный бант размером в полголовы, с такими бантами не живут, не ходят по улицам, такие водружают на короткое время и исключительно в торжественных случаях — ради выступления на сцене или фотосъемки.

Слов нет, до чего грустное фото! С тоскою глядит в объектив бабушка моя Рахиль, красивая сорокалетняя женщина, и тетка, взрослая уже девушка, всю проживающая беспутную свою биографию, смотрит невесело, да и мама моя печальна. Будто бы нет и не было в природе той самой птички, что по щелчку затвора традиционно вылетает из объектива и вызывает если не улыбку, то хотя бы секундное рефлекторное оживление у старого и у малого. С грустью глядят на меня из далекого далека три пары красивых миндалевидных глаз. Можно, конечно, часть той печали списать на ту самую вековечную, вселенскую... но ведь и вправду невесело жилось семье, хотя самые трагические, самые необратимые события еще предстояли ей в обозримом и стремительно надвигавшемся будущем.

В те же самые времена в особо отчаянный момент, видно на одном из пиков жесточайшей депрессии, от которой через несколько лет ей и предстояло погибнуть, бабушка решила уйти из жизни, но не одна, а вместе с младшей десятилетней дочерью. Не хотела оставлять девочку в безжалостном мире и преждевременно закрыла печную заслонку. К счастью, вовремя одумалась, вытащила дочь во двор, и обе отдышались. Обитатели домов с печным

(в окрестностях квартиры № 2)

отоплением нередко угорали, но мама моя не верила в случайность, помнила ту дурноту и головную боль, но бабушку ничуть не осуждала.

Следующие по времени смутные фото — крошечные изображения, которые нынче называются контрольками. Вот уж эти фотографии самые что ни на есть групповые. Каким-то образом мама, никогда не бывшая ни пионеркой, ни комсомолкой, оказалась в пионерском лагере. На одной из фотографий мама, натуральная верста коломенская, такими ненадолго становятся девочки в период стремительного роста. В кадр попало двадцать четыре человека: четверо взрослых, четыре подростка (двое низкорослых парнишек и две девочки в роли пионервожатых) и шестнадцать мелких ребятешек, некоторые даже не октябрятского, а детсадовского возраста. Не поймешь, кто мальчик, кто девочка, все на одно лицо, стриженные невеселые человечки с очевидными признаками рахита. Взрослые смотрят строго, дети испуганно. Что неудивительно, дело-то происходит в окрестностях Харькова, на дворе начало 30-х, Украина еще не очнулась от голодомора. Похоже, что детишки на фото сироты, очень уж единообразно все они выглядят, цыплята из одного детдомовского инкубатора.

Умиравших на улицах опухших от голода деревенских жителей, чудом добравшихся до города в тщетной надежде на спасение, мама в те годы навидалась, но вспоминать об этом, а тем более рассказывать категорически отказывалась. Тем летом, когда сделано «пионерское» фото, пик голодомора, видно, уже позади, но еще очень и очень близко, и в самом недавнем прошлом все они, большие и маленькие, пережили ужасное...

На шеях подростков (и на маминой тоже) галстуки, но иного фасона, чем в моем пионерском детстве. Первоначальные пионерские галстуки наподобие удавок защелкивались под горлом специальными зажимами, и хвосты у них были длиннющие. Это потом чья-то пламенная фантазия материализовала метафору, и галстуки стали кроить в форме неправильного треугольника. Широкий конец галстука символизировал коммунистическую партию, узкий и длинный — комсомол, короткий — пионерию. А двойной узел, которым завязывался галстук, и по сию пору называется «пионерским», даже если завязываешь им кокетливую косынку.

Рассматривая старые фотографии, всякий раз моделируешь варианты судеб изображенных на них людей. К примеру, шестнадцати малышей, некоторые из которых к 41-му году дорастут до призывного возраста, а те, кого не призовут в начале войны, тоже не останутся в стороне. Все эти маленькие человечки обречены на страшные испытания, никому из них время не сулило поблажек, не важно на чьей стороне и на какой территории они окажутся...

На втором фото из той же «пионерской» серии нечто вроде заседания совета отряда или дружины. За спиной сидящих за столом представителей пионерской элиты (и мама здесь же, не на первых ролях, с краю, но все же...) знамя дружины и плакат, решенный в традициях Родченко–Маяковского. То есть к началу 30-х авангард 20-х добрался и до провинции. Плакат гласит: «Правильный послеобеденный отдых сохраняет силы». По всей видимости, этой-то

декларации и посвящено заседание. Заседающие глядят в объектив чересчур сурово, слишком даже для такой важной проблемы, как правильный послеобеденный отдых.

Из тех же примерно лет невнятная фотография трех отроковиц лет 11–12 в зимних пальто и теплых шапках. Очевидно, что фото случайное, отнюдь не постановочное. Просто счастливый владелец фотоаппарата, может брат чей-то, может сосед, пробегая через харьковский двор, мимоходом щелкнул подружек. На обороте почти стершийся детский почерк: «На память Изольде от Тамары». Ценность карточки вовсе не в дарственной надписи, а в другой, написанной фиолетовыми чернилами поверх Тамариных карандашных букв бабушкой моей Рахилью. Записка самого что ни на есть обыденного содержания, но для меня бесценная:

Изочка, пообедай, возьми корзинку, там лежит мешочек, и пойди в магазин, где я работала. Подойди к Рабенку, отдай декады и скажи: дайте, пожалуйста, риса по новым декадам и крахмалу по старым — мама ушла на работу и поручила мне это. Декады я оставила в корзинке. Я с ним говорила.

В тексте, для сегодняшнего читателя ребусе, речь всего лишь о получении риса и крахмала по продуктовым карточкам текущей декады и декады прошедшей (декада — десять дней). Но случайная записка, не выброшенная, не разорванная, а сохранившаяся потому, что написана на обороте фотографии, позволила вроде как в перевернутом бинокле увидеть крошечный эпизод жизни семьи, услышать бабушкин голос и его заботливую интонацию: *Изочка, пообедай... возьми корзинку...*

На маминой памяти не было у семьи своего жилья, и если в Курске они жили с родственной семьей Спиваковых, то в Харькове поселились у младшей бабушкиной сестры Полины Лебидинской в доме № 20 по Миргородской улице. На групповом фото без маминого участия четверо: мамин кузен (сын самой младшей бабушкиной сестры Евгении) одиннадцатилетний Лева и две кузины, двенадцатилетняя Нелли (дочь московской сестры Татьяны) и взрослая Шура (дочь харьковской Полины) с трехлетним сыном Мариком. Летнее счастливое сияющее фото датируется 1939 годом. Тем летом мама моя еще только перебиралась из Томска в Прокопьевск и оказаться в этой компании никак не могла. А Шура с Мариком приехали в гости к московским родственникам, и однажды радостной юной компанией отправились в фотоателье и сфотографировались на память. Нелли с роскошными перекинутыми на грудь косами, смешной лопухий Лева, крошечный Марк в вышиванке и Шура, цветущая молодая женщина, во внешности которой присутствует несомненное семейное сходство с моей мамой.

Хорошо, что сфотографировались, потому что еще через одно лето началась война, и 9 сентября 41-го года от Полины Лебидинской (город Харків, Подольский переулок, дом № 11, кв. 3) пришла открытка, полная смятения:

(в окрестностях квартиры № 2)

Дорогая Таня! Твою открытку я получила и от мамы телеграмму от третьего числа пока я еще не знаю, что делать Гриша почему-то очутился на Северном Кавказе в каком-то колхозе что он там делает не знаю мы ему телеграфировали что думаем чтобы немедленно приехал ждем его сами тронутся с места нет никаких сил последние три-четыре дня нас начали очень беспокоить что надо непременно выехать как будет не знаю, пока у меня денег на поездку нет выяснится когда приедет Гриша если он не сумеет приехать будет неимоверно плохо маме я написала от Бори имели письмо последнее за 20/VIII числа почтовый ящик 233 ОБС он на фронте пишет жив здоров полон энергии надо надеяться что будет хорошо будь здорова целую Поля.

А в начале октября получили телеграмму с сообщением, что Поля, Шура и Марк решились и едут в Москву. Татьяна с мужем пришли на вокзал, но в последнем эшелоне из Харькова Лебидинских не оказалось. Со слов несостоявшихся их попутчиков, семья уже сидела в вагоне, ждали отправления состава, как вдруг появилась Алла (жена сына Бориса) и уговорила и без того сомневавшуюся свекровь не ехать невесть куда, а вернуться домой. Зачем она это сделала, для чего ей понадобились родственники мужа, загадка. Соседи по дому № 11 в Подольском переулке рассказывали, что однажды Шуре удалось уйти из гетто, устроенного на территории тракторного завода, она пришла к Алле и умоляла ее переправить Марка в деревню к старым надежным друзьям. Была еще такая возможность, и кое-кто успел ею воспользоваться и спасти детей.

Алла Шуре отказала, позволила только вымыть голову. Неизвестно, расстреляли ли семью Лебидинских вместе с другими харьковскими евреями в Дробицком Яре или Шура с Мариком и Полина погибли при иных обстоятельствах... То есть счастливое московское фото единственное сохранило лица двоюродной моей тетки Шуры и троюродного брата Марка.

Из всей семьи Лебидинских выжил один Борис, сапером прошедший войну с первого до последнего дня. Узнав о гибели матери, сестры и племянника, а также о том, что Алла уехала с немцами, офицерский свой аттестат Борис стал высылать моей маме. А после войны женился на Анне, уроженке Львова, чудом уцелевшей в лесах и там же потерявшей отца и братьев. В конце 50-х, воспользовавшись довоенной принадлежностью Львова Польше, Борис с Анной и сыном Соломоном, моим ровесником, уехали в Израиль и поселились в Иерусалиме. По слухам, строительная специальность Бориса пригодилась на исторической родине, он был востребован и материально благополучен, но прижился плохо, иврита толком не выучил, тосковал по России. Однажды, в начале 70-х, в радиопередаче «Где же вы теперь, друзья-однопольчане» некий фронтовик призывал откликнуться своего друга, капитана саперных войск Бориса Лебидинского.

Впрочем, на память о семье Лебидинских осталось еще две фотографии. Харьков, Подольский переулок, 5 апреля 1934 года, серебряная свадьба четы Лебидинских, собрание родственников, мамы моей здесь нет, но есть бабушка Рахиль. В этот апрельский день все веселы, как и полагается в подобных случаях, но очень скоро, в более чем обозримом будущем жизни всех этих людей на фото трагически завершатся. При разных обстоятельствах...

Комментарии к следующему групповому фото с маминым участием представляют собой пространную вставную новеллу, захватывающую разные периоды маминной (а отчасти и моей) жизни.

У большинства советских граждан очередной отпуск равнялся двадцати четырем рабочим дням. Плюс четыре выходных. А у мамы целых два месяца — преимущество преподавательской работы. Два летних месяца 1964 года прожили мы в эстонском городе Хаапсалу. В центре города старинный замок, в одном из окон которого каждый год, в одну и ту же лунную летнюю ночь является гражданам силуэт женщины в белом. Разумеется, женщина в белом символ Хаапсалу.

За два месяца мы прижились в Хаапсалу и обзавелись знакомыми. Марта Ивановна, немолодая эстонка, говорила только по-русски, без намека на акцент, и в ее доме нам было уютно. Муж ее, то ли умерший своей смертью в конце 30-х, то ли канувший в ГУЛАГе (об этом не говорилось), был коренным эстонским жителем, но русским человеком, и в правительстве буржуазной Эстонии занимал некий пост, вроде бы был заместителем министра лесного хозяйства. Говорили только по-русски и считали себя русскими сыновья Марты Ивановны.

Не помню, чтобы за два месяца, прожитых в Хаапсалу, я хоть раз услышала эстонскую речь. Вокруг были люди русскоязычные, и Хаапсалу не казался границей. Хотя облик городка был вполне западным, а отнюдь не российским. Таким он и сохранился в моей памяти и на этюдах отца. Тем летом папа, как обычно, много рисовал, ему нравился городок, не досужий курортный, а трудовой. В Хаапсалу функционировал рыбокомбинат, на котором работали приезжие, большей частью мужчины, жившие в общежитиях. После смены они сбивались в небольшие компании, слонялись по городку, попивали пиво, вели себя мирно. И никто ни за какие коврижки не поверил бы, что когда-нибудь пейзаж эпохи кардинально изменится... Немало бродило по Хаапсалу и отдыхающего народу, большей частью питерцы и москвичи. Публика скромная, кое-кто в одиночку, но чаще интеллигентные семьи.

Однажды светлой вечерней порой, прогуливаясь по улице Выйду, встречали мы худенькую пышноволосяную женщину, и мама бросилась к ней, обняла, и обе заплакали. Так я впервые увидела Ольгу Иосифовну Лысяк, давнюю, с новосибирских времен мамину подругу. Жизнь развела школьных подруг, и встретились они после многолетней разлуки. Оказалось, что Оля с мамой давно уж перебрались в Ленинград и каждое лето соединялись на месяц с любимыми подругами-москвичками — Олиной однокурсницей Верой

(в окрестностях квартиры № 2)

и неразлучными с нею сестрами: Лилей и Лизой. Олю с мамой и московских сестер жизнь и судьба привязали друг другу такими крепкими узами, какие редко случаются между родственниками. Тем летом все пятеро были напряжены и сосредоточены, потому что Вериному здоровью, а может и жизни, угрожало что-то серьезное, и не стоило слишком уж приближаться к этому спяющему тревогой единому женскому организму. И все же время от времени Оля ненадолго отбивалась от своих, нам удалось пообщаться, и никогда больше Оля с мамой не теряли друг друга из виду.

Тем летом Оле исполнилось 44 года, но выглядела она не зрелой женщиной, а девушкой с рыжеватыми волосами редкостного изобилия, и за просто могла сойти за дочь любой из своих подруг, женщин иной конституции — плотных, приземистых, вроде бы уже немолодых. И такой от Оли веяло прелестью, будто от кроткого трогательного ребенка. Оля и была ребенком, послушной дочерью строгой матери, женщины жестковатой, без сантиментов, как и положено педагогу-словеснику, сухарю и педанту. С дочерью Мария Иосифовна была суха, требовательна, и устройство Олиной судьбы ее не заботило. Этот вопрос попросту не стоял на повестке дня. Оля служила библиографом в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, жизнь они с мамой вели скромнейшую, аскетическую, житейские потребности свели к минимуму. Хотя кое-что Оля себе позволяла и однажды побывала в туристической поездке на Кубе — чудо по тем временам!

И все же жила Оля с постоянным ощущением праздника, потому что на свое счастье родилась страстной театралкой. Текст, написанный в незапамятные времена Виссарионом Белинским и вложенный то ли Александром Володиным, то ли Георгием Натансоном в уста Татьяны Дорониной, с общеизвестным зачином: «Любите ли вы театр? Любите ли вы театр так, как люблю его я?» — в самый раз подошел бы Оле. Но апофеоза Олина любовь к театру достигла тогда, когда она и сама смогла участвовать в театральном процессе, приносить реальную и неоценимую пользу, а именно взялась составлять библиографические справочники сначала для любимого своего любимовского «Театра на Таганке», а годы спустя для театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева.

Ежечасно и страстно Оля стремилась в Москву, к любимым людям, в любимые театры и изредка приезжала. Изредка потому, что мама Олина прожила долгую жизнь, и последние годы была абсолютно беспомощна. Трепеща от беспокойства, Оля металась между библиотекой и домом, приезжала в обещанный перерыв, приводила маму в порядок, кормила, мчалась обратно. Никто ей не помогал, близкие люди жили в Москве. И долго мы Олю не видели, но время от времени созванивались. А когда девяностолетняя Мария Иосифовна скончалась, Олины приезды возобновились.

Олины подруги сначала втроем, а после смерти старшей сестры Лили вдвоем по-прежнему жили вместе. В день своего рождения, 16 июля, Оля непременно оказывалась на подмосковной даче сестер, а зимой приезжала на

театральные премьеры. С утра пораньше приходила в театр, дышала его воздухом, упивалась репетициями, оставалась на спектакли, к сестрам возвращалась счастливая. Домой уезжала в тоске и грусти, уже на московском Ленинградском вокзале начинала мечтать о следующем приезде.

Но в Питере Оля не бездействовала, после рабочего дня оставалась в библиотеке, трудилась во славу любимых театров, перебирала горы карточек, перерывала груды газет, журналов, кипы специальной литературы, приносила неоценимую пользу режиссерам и театральным труппам. И написала три солидных работы: библиографический указатель «Театр драмы и комедии на Таганке», исследование, посвященное творчеству режиссера Константина Лазаревича Рудницкого, и библиографический справочник «Театр Анатолия Васильева». Разумеется, работала Оля бесплатно, на чистом энтузиазме и большой любви. Звонила в другие города, наводила справки, что-то уточняла, денег на дело жизни не жалела. При скрупулезно аскетическом существовании сначала зарплаты, а потом одной только пенсии ей каким-то чудом хватало.

Шли годы, Оля старела, сначала просто сутулилась, потом сгорбилась и в конце концов сложилась вдвое, едва ли не под прямым углом. И совсем плоха стала, когда, исполняя в таком вот физическом состоянии коммунальную повинность, мыла в кухне окно и упала со второго этажа. По счастью, то ли на вскопанную грядку, то ли на клумбу, слава богу не на асфальт. Вроде бы ничего не сломала, доплелась кое-как до кровати, отлежалась, но с позвоночником произошло нечто необратимое. А глаза Олины так и не постарели, и даже когда она ослепла на один глаз, оба сияли одинаково. Бывают такие глаза — не поглощающие свет, а продуцирующие. И Олины волосы побледнели, но остались роскошными.

С некоторых пор каждый Олин приезд казался мне подвигом, да такими они и были, эти приезды. Моей обязанностью было встретить ее на вокзале и доставить на Ленинский проспект к подругам. Всякий раз Оля с гипертрофированной своей щепетильностью категорически отказывалась от такси, и мы долго добирались до цели: сначала на метро, потом на троллейбусе. Ступала Оля крошечными шажочками, от напряжения бледное ее лицо голубело, но она мужественно шла, задавала смешные заботливые вопросы о нашей жизни, о культурных московских событиях, ей хотелось рассказов, столичных новостей.

Наконец добредали до пункта назначения, я вздыхала с облегчением, а Оля оживала, радовалась, доставала из сумки крошечные подарки и сверточки с недоеденной дома горбушкой, кусочком сыра, горсточкой творога в бумажке, картошкой в мундире. Разумеется, не от скаредности и крохоборства везла она с собой эти съестные остатки, а от трепетного отношения к Еде. И хотя ленинградскими жительницами они с Марией Иосифовной стали после войны, Оля в полной мере ощущала себя жителем блокадного города и вообразить не могла, что еду можно выбросить в помойное ведро.

(в окрестностях квартиры № 2)

Подруги суетились, спешно варили овсяную кашу, Оля ела ее с восторгом, восхищалась, называла деликатесом. Сама-то ничего себе не варила, может, и не умела, питалась тем самым творогом и картошкой в мундире, не было у нее ни сил на хозяйство, ни интереса, да и в кухню лишний раз не выходила, побаивалась придиричивой соседки.

А через две недели тем же путем, в том же темпе и с теми же трудностями я эскортировала Олю на вокзал и сажала на ленинградский (а со временем Санкт-петербургский) поезд. Оля всерьез гордилась старо-новым названием своего города, говорила, что счастлива жить в Санкт-Петербурге!

В последний раз Оля приехала в Москву за полгода до смерти. Пробыла неделю, чудом добралась до театра. А когда я провожала ее на поезд, перешагнуть щель между вагоном и платформой не смогла, замерла в ужасе. Мы с проводником подхватили ее под руки и внесли в вагон. С легкостью перенесли, потому что Оля была почти невесома. К счастью, в Питере ее должны были встретить.

Вскоре после Олиной смерти позвонили из театра «Школа драматического искусства» и попросили маму написать об Оле. Анатолий Васильев сумел-таки добиться издания библиографического справочника, над составлением которого она так долго работала. И мама припомнила кусочек своего отрочества, тот, который пришелся на город Новосибирск, а я напечатала под ее диктовку недлинное воспоминание. Текст наш мы с мамой так и назвали: «Несколько слов об Ольге Иосифовне Лысяк». Вот он:

1934 год. Город Новосибирск. Еще одна остановка в бесконечных скитаниях нашей семьи, закончившихся тремя годами позже совсем в другом городе смертью мамы и арестом отца. И новосибирская школа № 10 была всего лишь одной из девяти школ, в которых мне пришлось учиться в годы наших странствований. Именно тогда, в седьмом классе, и началась моя дружба с Олей Лысяк.

Оля с мамой, школьной учительницей, и тётушкой, сестрой Олиного отца, раненного белочехом в случайной перестрелке и скончавшегося от гангрены еще до рождения дочери, жили в большой комнате с настоящей русской печью. Топилась печка, суетилась возле нее тетушка-старушка, и, несмотря на аскетический быт маленькой семьи, на суховатость Олиной мамы, мне было уютно.

Едва мы подружались, как Оля сразу же приобщила меня к тому, что тогда уже было главным в ее жизни. Щедрый друг, Оля захотела поделиться со мной большой своей любовью, и одиннадцать раз подряд мы с ней ходили на имевший бешеный успех спектакль Новосибирского ТЮЗа «Сережа Стрельцов» с молоденькой актрисой Агароновой в главной роли.

Истинной театралке, Оле мало было видеть актрису только на сцене, мы набрались смелости и отважно отправились в гости к Агароновой, в гостиничный номер, бывший в то время ее домом.

Агаронова оказалась милым приветливым человеком, вроде бы не заметила нашего смущения, и с этого дня на долгие годы подружилась с Олей. Дружба эта продолжилась в Ленинграде, куда Оля с мамой перебрались после войны, и длилась до последнего дня жизни актрисы Большого драматического театра Елены Герасимовны Агароновой.

Шли годы, менялось и бесследно растворялось в пространстве многое, но только не Олина преданность Театру. Несомненно, что любовь эта была не просто Олиной страстью, а огромным, Божьей милостью отпущенным ей талантом, подразумевавшим только самоотдачу, только самозабвенное служение, напроць исключавшее эгоистическое начало, обыкновенно сопутствующее любой страсти.

В Олиной жизни, жизни человека двадцатого столетия, протекавшей на российских просторах и включившей в себя все сложности, все замысловатости и перипетии, свойственные этому месту и этому времени, главной ее реальностью был Театр. Он затмевал собою все, он один существовал крупным планом в ретроспективе и перспективе Олиной жизни, остальное было второстепенно, незначительно, остальное можно было перетерпеть, со всем остальным смириться.

И другим своим талантом, трудолюбивым талантом библиографа, Ольга Иосифовна Лысяк, сотрудник Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, служила Театру до последнего дня. Полуслепая, измученная болезнью, с трудом передвигавшаяся, Оля приезжала в Москву и привозила очередную порцию кропотливой своей работы, требовавшей профессионализма высочайшего уровня и подразумевавшей истинную интеллигентность. Приезжала, каждый день отправлялась на спектакль или репетицию и возвращалась из Театра счастливая. Спасибо Театру за тайные, но мощные силы, которые он давал Оле, спасибо за счастье, наполнившее и продлившее не только ее творческую жизнь, но и просто Жизнь, обыкновенную, человеческую.

Изольда Дасковская. Январь 2000

Однажды, накануне защиты диплома, оказалась я в доме Владимира Александровича Маркуса, прекрасного старика из «прежнего времени», преподававшего в нашем Полиграфическом институте экономику издательского дела, и на стене его кабинета увидела старинную афишу Новосибирского театра «Красный факел»: Валентина Любимова «Сережа Стрельцов». Оказалось, что пьесу, так мощно и бесповоротно повлиявшую на Олину жизнь и судьбу, ту самую пьесу, в которой Сережу Стрельцова играла молодая актриса Елена Агаронова — друг всей Олиной жизни, написала жена Владимира

(в окрестностях квартиры № 2)

Александровича и мать их мальчиков-близнецов. То есть театральная афиша попала на стену его кабинета прямоком из маминого и Олиного отрочества, а я очень дорожу подобными знаками, и они кажутся мне не случайными.

Библиографический справочник «Театр Анатолия Васильева» посвящен Ольге Иосифовне Лысяк, и на чудесной фотографии, предваряющей текст, она такая же прелестная, как в лето нашего с ней знакомства. Кроме мамы об Оле написали Вера Измайловна Шварцман (Олина подруга, жительница Ленинского проспекта), Олин друг театровед Людмила Левина и режиссер Анатолий Васильев. Васильев написал несколько выпренно (на мой вкус), но хорошо:

*Наконец-таки библиографический указатель будет издан!
В третьем году двадцать первого столетия и... четыре года
спустя после необходимой даты.*

В нищете и одиночестве, в ленинградской коммунальной (двух-комнатной планировки) квартире, что недалеко расположилась от Волкова кладбища, умерла Ольга Иосифовна Лысяк, не дождавшись издания, над которым работала в последние годы.

Ушла нежной, влюбленной в театр, уродливой из-за болезни позвоночника старушкой, навсегда, надолго, на время.

Когда вырывалась в Москву, радовалась, дарила мне конфетки к чаю, ждала на «павловском» диване в прихожей, разворачивала библиотечные карточки, перевязанные резинкой, прибавляла к уже составленному, комментировала, просиживала на репетициях часами, спешила к друзьям, утром возвращалась, уезжала в Ленинград с грустью, до следующих «именин».

О Господи! Скольких кротких душ Ты взял к себе вовремя, чтоб не коснулась их жизнь наша косная, жизнь хамская, жизнь отечественная.

Маленькая голубоглазая старушка вошла в мой дом давно: сначала в бывший «Уран» или на Поварскую, где шли «Персонажи», или еще прежде, в 87-м, когда в Измайловском парке июньскими вечерами играли в «Серсо».

Какая неожиданная привязанность и странная любовь возвращала Ольгу Иосифовну от Невского проспекта в театр на Поварскую, а может быть, из-за Таганки, которой в те годы не стало! Я откровенничал с ней, жаловался на критиков, которых цитаты она вставляла в «жизнеописание режиссера А. Васильева». Нет, не мамой была мне, не женщиной, не другом, все-таки срок — от 87-го года, ах! И мамой, и другом, и женщиной. Какая трогательная верность незнакомому человеку, за что? Звонила, как отыскивала неожиданную ссылку или известий наслушавшись тревожных.

Что остается от людей незаметных — заметные в будущем труды их. Вот труд! В нем театр, которого могло бы не быть,

не так ли! Один не известный никому человек составил этот труд — труда ради. И оставил вместе с ним театр, которого могло бы и не быть!

Вот труд, о котором не просили, за который не платили, который не издали в подходящий для страждущего день. Который есть — прочти его, читатель!

И ты встретишься с театром Ольги Иосифовны Лысяк, театром — который есть.

С благодарностью и памятью, Анатолий Васильев.

9 февраля 03 года

Мама моя не дождалась издания справочника, потому что пережила Олю всего на две осени, две зимы, две весны и одно лето. На фотографии, сделанной в июне 36-го года, восьмой класс новосибирской школы № 10. Оля Лысяк и Иза Дасковская в центре группы, за спиной учительницы в круглых проволочных очках, женщины пожилого облика, но вовсе не пожилой. Этот июньский день оказался одним из самых горьких дней маминой жизни, и фотография об этом свидетельствует.

В это время бабушка моя Рахиль лечилась в клинике Павлова в Ленинграде. И была надежда на гениального доктора, на выздоровление и скорое возвращение домой. Но Павлов умер скоропостижно (при странных, как водилось в те, да и не только в те годы, обстоятельствах), и этим самым июньским утром пришло известие, что состояние бабушки резко ухудшилось и на выздоровление надеяться не приходится.

Мама вошла в класс раздавленная, оглушенная, выпавшая из школьной жизни и из жизни вообще в тот момент, когда все уже приготовились фотографироваться. И Оля Лысяк выбежала ей навстречу, схватила за руку, втащила в центр группы и заставила сфотографироваться вместе со всеми. Воротничок маминой блузки, небрежно выпущенный поверх джемпера, помят, физически она тут, но на самом деле отсутствует, не здесь душа ее и мысли, не здесь...

В каждый свой московский приезд Оля встречалась, а потом, увы, только созванивалась с одноклассником Володей, на фотографии он рядом с учительницей. Отличник, «ворошиловский стрелок», в обозримом будущем фронтовик. Переписывалась Оля и с Лидой Ким, той девушкой, что на фото в центре верхнего ряда. В довоенном письме к маме Оля сообщает завуалировано: *С отцом Лиды Ким случилось то же самое, что с твоим, а сама Лида уехала в Среднюю Азию...* Этой фразы более чем достаточно, чтобы реконструировать судьбу одноклассницы: отец репрессирован, семья выслана.

Вспоминаю и поминаю Олю каждый день и каюсь — нужно было быть гораздо, гораздо внимательнее к ней и добрее. Да разве можно было предположить, каким неподъемным окажется груз накопленных вин, под каким спудом грехов придется доживать жизнь, когда все, все они уйдут... Между тем

(в окрестностях квартиры № 2)

мне мерещится, будто бы, отдаляясь друг от друга во времени, мы на самом деле сближаемся, и кажется, к концу жизни я начинаю понимать кое-что из того, что они деликатно и ненавязчиво, но, увы, безуспешно пытались объяснить при жизни.

Так вот, из Новосибирска семья мамы, уже без бабушки моей Рахили, переехала в Томск, там мама и окончила среднюю школу. На фото две девушки, почти девочки, мама и томская ее подруга Лида Змиева. Волосы Лидины расчесаны на прямой пробор и заплетены в две аккуратные косы, брови по моде тех лет нитевидные. На дворе 1938 год, похоже, это лето после окончания десятого класса, мама на белом свете уже одна, снимает угол. Не исключено, что девушки сфотографировались после успешного поступления в медицинский институт. Узнали, наверное, результаты и на радостях отправились в фотоателье.

И еще одна фотография с Лидиным участием, но без мамы, высланная на память об однокурсниках. Мама то ли еще в Прокопьевске, то ли уже в Москве, а на фото пятнадцать будущих медиков: одиннадцать девушек и четверо юношей. Фото торжественное, девушки в нарядных платьях, молодые люди в пиджаках с широкими лацканами, галстуки завязаны объемными узлами. У одного-единственного парнишки не нашлось, видно, ни пиджака, ни галстука. Лида заметно повзрослела, все девушки женственны и прелестны, у юношей надежные мужественные лица, но фотография не подписана, и ни одного имени я не знаю. В 41-м всех их, кроме Лиды, досрочно выпустят из института и отправят во фронтовые госпитали. И никто из них не вернется с войны, ни у кого, кроме Лиды, не родятся дети. В живых останется одна Лида, на свое счастье родившая перед войной дочку, но об этом мама узнает четверть века спустя. В войну связь их прервалась и больше не возобновилась. Не до того было, не до взаимных поисков и прочих сантиментов. Не знаю, как Лида, но мама жила на пределе сил, выживала.

Летом 1964 года по какой-то забытой надобности мы с мамой оказались на незнакомой московской окраине. Выбираясь из этой тмутаракани (на самом деле Тмутаракань — древнейший город Таманского полуострова), сели в первый попавшийся троллейбус. Есть в этом виде транспорта две пары обращенных друг к другу передних сидений, на них-то мы и уселись и оказались лицом к лицу с попутчиками. А в это самое время мама рассказывала что-то забавное про свою сослуживицу Лидию Федоровну, двоякий персонаж, комический и одновременно пугающий, рассказывала темпераментно, увлеченно, может, чуть громче, чем следует в общественном транспорте. Как вдруг сидевшая напротив нас женщина спросила запальчиво и даже с обидой: *Почему вы произносите мое имя и откуда оно вам известно? А мама с изумлением взглянула на женщину и воскликнула обескуражено: Лида, это ты?*

Случаются чудеса! На окраине многомиллионного города встретились люди, расставшиеся четверть века назад за тысячи километров отсюда. И если

бы не случайное совпадение имен и мамина эмоциональность, ни узнавания, ни встречи не случилось бы.

Встреча тем более удивительная, что Лида приехала в Москву на одну-единственную неделю, чтобы показать стареньким родственникам трехлетнюю дочку (между старшей девочкой, Лидиной спасительницей, и младшей разница более двадцати лет). На следующий день Лида пришла к нам, и мама узнала о судьбах их однокурсников, юношей и девушек с фотографии. Не миновала бы и маму та же судьба, останься она в мединституте, но пути-то, известно чьи, неисповедимы... Эх, если б тогда я подписала то групповое фото, теперь бы назвала имена погибших ребят...

Лидина жизнь сложилась удачно, весь джентльменский набор у нее имелся: профессиональная карьера, муж доктор наук, трое прекрасных детей (две девочки и сын), квартира, машина, дача. А следующей зимой приехала в Москву по аспирантским своим делам Лидина старшая дочка, та, что явилась на свет перед войной. До оторопи похожая на мать рыжеволосая улыбчивая девушка нас навестила, очень уж Лиде хотелось, чтобы подруга юности увидела взрослое ее дитя.

На следующей по времени групповой фотографии совсем еще юная мама и три молодые женщины существенно старше нее. Мама в глухом темном платье (не исключено, что единственном приличном), подружки-сослуживицы более или менее принаряжены. На маминой руке кожаный браслетик. Я изумилась, разглядев эту деталь, на моей памяти никогда не носила мама ни браслетов, ни серег, ни колец, были у нее брошечка и бусы, да и те мною подаренные в мои взрослые годы.

На фотографии четыре учительницы школы-семилетки города Прокопьевска, сгруппировавшиеся вокруг круглого столика, инкрустированного цветами и бабочками. Очевидно, что многим прокопьевским старожилам знаком этот драгоценный столик, жемчужина фотоателье, на множестве старых снимков живут-поживают цветы те и бабочки...

Мама по обыкновению серьезна, на устах у подруг подобия улыбок, но какие-то неуверенные, смазанные подобия. Одну из женщин зовут Дагмара. И однажды Дагмара материализовалась у нас дома. Проездом в Пятигорск по профсоюзной путевке. Появилась нежданно-негаданно, не было у нее номера нашего телефона, зато сохранился адрес. Нарядная женщина в прозрачной капроновой блузке, чрезвычайно модной и дефицитной в том давнем сезоне, и не с пустыми руками, а с тортиком. Торт пришелся очень кстати, мы ведь не ждали гостей... Впрочем, в доме всегда было варенье, варенье мы варили, варим и, надеюсь, будем варить, это семейное обыкновение.

Дагмару жизнь наша удивила, а может и обескуражила. Она-то думала, что перебравшаяся в Москву подруга, окончившая столичный институт, вышедшая замуж за москвича, живущая в центре города и работающая в высшем учебном заведении, живет побогаче, понаряднее, не так убого. Ан нет, ни тебе ковров, ни серванта, ни хрустала, ни сервиза хотя бы чайного, ютится

(в окрестностях квартиры № 2)

с мужем и дочерью в тесной комнате коммунальной квартиры среди старомодной какой-то рухляди, подрамников и холстов. И одета бедненько, совсем не так, как следует одеваться старшему преподавателю московского вуза.

Спустя годы попало письмо, написанное вскоре после того, как мама уехала из Прокопьевска. Судя по всему, очень Дагмара с мамой дружили, поддерживали друг друга в той прокопьевской жизни, может, даже жилье вместе снимали. В письме Дагмара делилась подробными школьными новостями, городскими сплетнями и без всякой зависти, напротив того, вдохновенно, моделировала будущую жизнь младшей подруги, счастливую, столичную, почти сказочную, многого она, оказывается, от мамы моей ожидала. А ведь и правда, разве это не история про Золушку, девушку-сироту, покинувшую шахтерский городок и оказавшуюся волшебным образом в лучшем городе земли, в центре столицы? Да еще замужем! За художником! Нет, не почудилось мне Дагмарино изумление маминому неумению жить. Разочаровала мама Дагмару, не в коня корм оказалась Москва для Изольды. Да и мы с папой Дагмаре не приглянулись, странный какой-то муж, сам как дитя малое, да очкастая дочка с жиденькими косичками и ехидной физиономией. Не заехала к нам Дагмара на обратном пути с курорта, как обещала, и писем больше не писала. Думаю, что и Лида, побывав в нашем доме, испытала схожие чувства. И ту и другую не вдохновило на дружбу наше семейство. Видно, социально чуждым повеяло, непонятным...

Следующее групповое фото датируется июнем 46-го. От временного промежутка, пришедшегося на военные годы, от уральской эвакуации, от трудфронта ни одной фотографии не осталось, да их и быть не могло. Но летом 1946 года мама окончила институт, и по этому торжественному случаю мамина группа, стопроцентно женская, сфотографировалась на память. Конечно же, с любимым педагогом. Но вот беда, не помню я имени, отчества и фамилии этой чудесной женщины, о которой мама говорила с почтением и благодарностью. И спросить не у кого...

Лицо любимого педагога прекрасно, черты тонкие, благородные, да просто-напросто доброе лицо. Одиннадцать маминых однокурсниц (мама двенадцатая), все как одна молоды, привлекательны, однако ни одна из них почему-то не улыбается. Увы, и это фото не подписано, канули в небытие и эти имена и фамилии, никогда не узнаю я ни предыдущих, ни последующих судеб тех девушек... А ведь с каждой из них маму связывали узы и отношения, с кем-то приятельские, с кем-то дружеские. Это они, мамы однокурсницы, в скудные для всех времена собрали маме моей, девушке вовсе неимущей, подобие приданого. Если бы не их забота и щедрость маме и чемодан бы не понадобился, чтобы перевезти вещички на новое место жительства, хватило бы авоськи. Это их стараниями мама переехала к мужу как человек, насущных предметов набралось с полчемодана, было с чего начать семейную жизнь...

Одна единственная девушка по имени Гита узнана мною на этом фото, когда-то я и фамилию ее помнила, и обстоятельства драматической судьбы.

С дочкой Гиты лихой Наталкой постарше меня года на три-четыре я дружила одно лето в деревне Кременье, что на Оке возле Каширы. И в Москве Гита с мамой и дочерью жили неподалеку, в уходящей за горизонт коммуналке в Калошином переулке, в том самом доме напротив театра Вахтангова, где в новейшие времена обосновался Союз театральных деятелей. Впрочем, знаю имя еще одной девушки, самой элегантной из всех, той, что в первом ряду рядом с мамой. Это Наташа Танцова, умершая совсем молодой, замечательный, судя по маминым рассказам, человек.

На этой фотографии в выражении маминого лица чудится подобие безмятежности. Хотя уж чего-чего, а безмятежности в мамином характере не было ни грамма, ни капли, ни микрона, ни йоты — чем обыкновенно измеряется безмятежность? Тревожность, зашкаливающая за разумные пределы была, а безмятежности не было. И все же... война позади (а о грядущих испытаниях никто не подозревает), институт окончен, в самое безмужнее время вышла замуж за чудесного, добрейшего человека, вошла в интеллигентную семью и обрела дом! Не чужой угол, а восемь законных квадратных метров, пусть за фанерной перегородкой, пусть без окна, так ведь это пустяки...

После окончания института многие мамини однокурсницы отбыли в Германию и Австрию, там остро требовались переводчики. А в мамином случае работа за границей была не просто исключена, но смертельно опасна. Ведь при поступлении в институт мама скрыла, что отец ее репрессирован, и если бы обстоятельство это открылось (а оно бы непременно открылось, в первом отделе веников не вяжут), то неизвестно, чем бы это для нее обернулось.

Мама вышла замуж в Москве, а некоторые удачливые однокурсницы обрели мужей, тогда еще не демобилизованных офицеров, в советской зоне оккупации и на родину вернулись нарядными замужними дамами. Мамина подруга Фира, учившаяся на курс моложе мамы и умудрившаяся до последних лет жизни не утратить женственности и сохранить те же параметры и ту же стать, что в молодости, и через пятьдесят лет щеголяла в элегантных австрийских туалетах. И не благодаря гипертрофированной бережливости, а потому, что австрийские шляпки и платица такого свойства и качества, что и полвека спустя не потеряли актуальности! Вот и в последнюю нашу встречу незадолго до маминого ухода на тете Фире было чудное платьице горчичного цвета с эффектными аппликациями — истинное произведение портновского искусства из того разряда, что не дряхлеет, не выбрасывается на помойку, а передается по наследству.

А вот в мамином организме не было даже крошечного пространства, ни щелочки, ни закоулка, где разместились бы традиционные женские ценности: наряды, косметика, украшения.

Она и в зеркало-то смотрелась мимоходом, разве что перед уходом на работу, и никогда, никогда перед ним не вертелась, а также не проделывала никаких ритуалов из тех, что на роду написано проделывать каждой женщине. И в юности, и в молодости не до нарядов маме было и не до украшений, вот

(в окрестностях квартиры № 2)

она и приняла с кротостью вынужденную эту аскезу, а та взяла, да и стала частью ее личности и осталась ею даже тогда, когда появились какие-никакие возможности. Не было у мамы в запасе ни одного упоительного воспоминания о платьице или костюмчике, взволнованного рассказа о шляпке, шарфике, косынке, ни разу в жизни (ни разу!) не покупала она обуви на каблуках. И похоже, от этих лишений ничуть не страдала.

Из детских времен помню три маминых платья. Они возникали последовательно, каждое существовало по несколько лет. Первое из американской помощи, цвета электрик, с поясом и погончиками, вышитыми красной и белой шерстью, оно истлело лет шестьдесят назад, в глубине моего детства, зато тяжелые оловянные пуговицы в виде розочек живы-здоровы, ничего им не делается. Оловянные «лендлизовские» розы пережили не только мамино платье, но и множество моих нарядов: пиджаков, кофт и пальто. Они и сейчас существуют, затаились, ждут своего часа, кто знает, может, им даровано бессмертие. Второе платье из буклированной шерсти цвета беж и без особых примет мама носила все мое отрочество, и оно сохранилось на одной из групповых фотографий.

Ну а третьего платья, самого нарядного, выходного, тоже лендлизовского, я на маме ни разу не видела, потому что оно скончалось в моем младенчестве, зато из его останков мне однажды смастерили маскарадный костюм.

Так вот, одно мамино платье сменяло другое, когда предыдущее приходило в негодность, зато духов-одеколонов у нас было навалом, потому что мама из года в год вела аспирантские группы в институте душистых веществ. И ученики, успешно сдавшие кандидатский минимум, традиционно дарили маме парфюмерные наборы — плоды своих профессиональных усилий. В наборы входили духи, одеколон и пудра, помещенные в драгоценные сосуды и упакованные в расписные ларцы, высланные изнутри волнами атласа — белого или цвета чайной розы.

Если одна аспирантская группа преподносила маме набор «Каменный цветок» (Эверест отечественного парфюмерного дизайнера 50-х), то другая дарила «Белые ночи», по оригинальности оформления уступавшие «Каменному цветку», но тоже роскошные. То есть нам доставались самые первые экземпляры парфюмерного роскошества, выпускавшегося фабрикой «Новая заря» (до Октябрьского переворота называвшейся «Брокер и Ко» или «Империя Брокера» со статусом поставщика высочайшего двора его императорского величества). Советская власть попыталась было опустить «Империю Брокера» до уровня Замоскворецкого мыловаренного комбината № 5, но, к счастью, главный брокеровский парфюмер знаменитый Август Ипполитович Мишель, без которого на первых порах никак было не обойтись (это потом уж, как водится, его сгноили в ГУЛАГе), восстал против такого унижения и убедил власть назвать фабрику «Новая Заря».

Так вот, если неземную эту красоту тотчас не передаривали кому-нибудь, то духи и одеколон шли в дело. Мы использовали их в качестве

гигиенического и дезинфицирующего средства, протирали руки, если перед обедом или ужином не удавалось прорваться к коммунальной раковине (бывало, соседи чистили в раковине гору картошки, а то и зеркальных карпов, а это дело долгое).

Духи-одеколоны шли в дело, а вот пудра в своих сосудах так и оставалась нетронутой и только изредка, если приподнять крышечку, выпускала вздох облегчения (или сожаления) в виде легкого бело-розового облачка.

Девушки с институтского фото отбыли в освобожденную Европу, а мама поселилась в семье мужа под боком у alma mater (в минуте ходьбы — так уж вышло) и поступила на работу в Институт тонких химических технологий, где и преподавала до самой пенсии (тридцать пять лет у нее была одна-единственная запись в трудовой книжке). А в «иностранный» скверике под ампирной сенью дворца Еропкиных, на чугунных скамейках которого прелестные девушки с фотографии каждую весну готовились к экзаменам, прошло и мое детство, и детство моей дочери.

На двух следующих групповых фотографиях мама в компании сослуживиц. Первое фото датируется концом 40-х и многолюднее второго. На фотографии тринадцать женщин, шестеро кажутся пожилыми, четверо почти юными, трое средних лет.

В центре заведующая кафедрой Елена Николаевна Гуревич, давняя знакомая моей бабушки Ольги Александровны. Елена Николаевна приняла маму на кафедру по благу и ничуть об этом не пожалела, мама оправдала доверие. Так уж мама была устроена, где бы и в качестве кого она ни оказывалась, с лихвой оправдывала доверие.

За стеклом книжного шкафа живет старинная открытка из тех, что в «мирные» времена привозили из заграничных путешествий. Девочка с птичкой в тяжеловатом для пятилетнего ребенка царственном одеянии — *Portrait d'une petite Fille*. Репродукция картины Philippe de Champaigne (1602–1674). На обороте написанные впопыхах карандашные строчки: *Дорогая Изольдочка! Поздравляю Вас от души с дочкой. Шлю привет, поцелуй и лучшие пожелания. Ваша Ел. Гуревич.* Подходящую к случаю открытку Елена Николаевна передала маме в роддом в день моего рождения, и с тех самых пор *petite Fille* у нас поселилась...

А надо сказать, что в 40-е, в 50-е и даже в начале 60-х годов атмосфера на маминной кафедре царила едва ли не старорежимная. Напрочь отсутствовали фамильярность и амикошонство. Уважительный тон общения задавали дамы «из бывших», с детства знавшие иностранные языки не хуже родного и успешно их преподававшие. На самом-то деле те седовласые дамы вовсе не были такими уж пожилыми, почти никто из них не достиг тогда еще пенсионного возраста. Сегодня я существенно старше самой старшей из них, но старушкой-то себя все еще не ощущаю... Облики этих прекрасных женщин, родившихся в самом конце девятнадцатого столетия или в начале двадцатого века, их стать и манеры вспоминаю сегодня с некоторой ностальгией.

(в окрестностях квартиры № 2)

Все они считали своим долгом опекать молодых педагогов, вводить их в профессию, делали это деликатно и ненавязчиво, а с мамой моей подружились. Совсем иначе сложилась бы жизнь нашей семьи, если бы не встретились на мамином пути Елизавета Александровна Барыкова, Мария Николаевна Калмыкова, Мария Густавовна Русина, до конца своих дней близкие и любимые люди.

Удивительно, но и молодые преподавательницы до поры до времени не нарушали традицию, следовали установившемуся на кафедре тону и никогда не называли друг друга не только на «ты», но даже просто по имени, без отчества.

Вот и мама моя звала ближайшую свою подругу Мелитой Оттовной, а Мелита Оттовна маму исключительно Изольдой Фаустовной. На фотографии Мелита Оттовна в центре группы, рядом с мамой, на полголовы ниже всех. О ней-то и пойдет речь в следующем отступлении.

Был в глубине моего детства осенний вечер — дождливый, слякотный. Начался он хорошо, даже радостно. Мама вернулась с работы поздно, но не измотанная, как обычно, а бодрая, воодушевленная, кажется (и даже наверняка), принесла что-то вкусное. Потому что в тот день у нее была получка. Половина зарплаты («аванс») выдавалась в начале месяца, а вторая половина («под расчет») через две недели. И то и другое называлось просто «получка». Привычные словосочетания «дотянуть до получки», «перебиться до получки», «одолжить до получки» и даже очевидная тавтология «получить получку» мотыльками витали в воздухе...

Раз в месяц, после одной из получек мама с Мелитой Оттовной отправлялись в скромный какой-нибудь ресторанчик и устраивали себе праздник. Такая у них была традиция, пауза в однообразной педагогической жизни. Как и мама, Мелита Оттовна преподавала немецкий язык, и хотя была она на четырнадцать лет старше, мама дружила с ней, а не с кем-то из своих сверстниц. Думаю, что обыкновение это возникло по инициативе Мелиты Оттовны, женщины одинокой. Одинокой, но не совсем, потому что жила она вместе с семьей брата, хирурга больницы имени Склифосовского, где-то в районе Мещанских улиц в темноватой полуподвальной квартире.

В тот давешний дождливый вечер мама вернулась домой веселая, сразу же ринулась на кухню, принялась что-то готовить, то есть предстоял вкусный ужин и чаепитие, но позвонил обеспокоенный брат Мелиты Оттовны. Прошло уже немало времени, как вернулась домой мама, а Мелита Оттовна все не возвращалась и не возвращалась. Маму мгновенно охватило волнение, ее смятение передалось нам с папой. Помню, как мама металась по комнате, как развевались полы ее длинного байкового халата того оттенка зеленого, который в народе зовется «салатным». Давний тот вечер в коллекции остановившихся мгновений детства.

Домой Мелита Оттовна так и не вернулась. И первое, что увидел наутро пришедший на работу брат Мелиты Оттовны, это сумка сестры на столе

больничного приемного покоя. Оказалось, что накануне Мелиту Оттовну в безнадёжном состоянии доставили в больницу, и она почти сразу скончалась от кровоизлияния, спровоцированного ударом по голове. Мама рассталась с нею в половине седьмого, а в семь Мелиты Оттовны уже не было на свете.

И мама вспомнила, что, когда после кафе они зашли в ближайшую га-лантерею (широко известную женскому населению, ту, что была некогда на углу Сретенки и Сретенского бульвара) и Мелита Оттовна расплачивалась за покупку (за две пары капроновых чулок, если кому-нибудь интересно), возле кассы топтались шпанистого вида парни. И ведь мама с тревожной своей интуицией ощутила тогда беспокойство, но ничего, ничего не предприняла, за что и корила, и терзала себя до конца жизни.

Гибель Мелиты Оттовны стала для мамы огромной потерей. В то последнее их уютное сидение мама дотронулась до руки подруги и поразилась, до чего она горячая, эта рука. А есть мнение, будто бы люди с горячей кровью — долгожители. Мама часто вспоминала Мелиту Оттовну, тужила о ней, и я ее помнила, а фамилию забыла. Помнила только, что фамилия редкая, необычная.

И однажды, пристрастившись к графоманским своим занятиям, я испытала настоящую потребность написать о Мелите Оттовне, зафиксировать факт ее существования в жизни нашей семьи. Огорчаясь, что позабыла фамилию, примеряла самые разные, искала в книгах, прислушивалась. Ни одна не подходила.

Глупое, неплодотворное занятие, навязчивая идея, не то чтобы раздражавшая, но удивлявшая своей навязчивостью. И отчего-то не могла избавиться от ощущения, будто фамилия эта вот-вот всплывет из глубин памяти, что она где-то рядом и кто-то ее подскажет. И зачем-то она мне нужна позарез, просто необходима. Но подсказать-то было некому — ни одного человека, знавшего Мелиту Оттовну, ни одной из прекрасных кафедральных дам и никого из некогда молодых маминых сослуживиц давно уж нет на свете.

Не помню, в которой из прочитанных книг позаимствовала я цитату из Блаженного Августина, но точно не из первоисточника:

...если попадается на глаза или на мысль знакомый человек и мы припоминаем его забытое имя, то всякое другое припоминаемое имя не вяжется, потому что нам непривычно мыслить его в сочетании с этим человеком, и дотоле припоминается, пока не представится настоящее имя, при появлении которого мы тотчас замечаем привычную связь представлений и успокаиваемся.

Вероятно, это-то беспокойство, знакомое Блаженному Августину, несколько месяцев свербил и мою душу. Но однажды, мельком просматривая содержимое всплывшего из каких-то глубин и чудом не выброшенного пакета с бумажным хламом (квитанциями, пустыми конвертами, газетными вырезками), обнаружила скорбный документ:

(в окрестностях квартиры № 2)

Свидетельство о смерти № 3241.

Гр. Кушкий Мелита Оттовна умерла 5 числа октября месяца 1954 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния за 1954 год произведена соответствующая запись.

Причина смерти кровоизлияние в мозг.

Место смерти г. Москва, Щербаковский р-н, возраст 48 лет.

Дано для представления в Стражкассу.

Кушкий — и вправду редкая фамилия... И так, «привычная связь представлений» восстановилась, я могу успокоиться, но вопрос остается: почему через шестьдесят лет после смерти полузабытого человека, никакой роли в моей жизни не сыгравшего, никакими узами со мною не связанного, явилась и не отпускала меня навязчивая идея? И ответ на неразрешимый вопрос нашелся! Кому это было нужно, кроме меня? Разве что теперь я знаю, что в тот трагический день мама с Мелитой Оттовной «пропивали» аванс... Обретя горестную справку, разыскала групповую фотографию того же времени: Мелита Оттовна со студентами. Славная фотография, видно, что атмосфера в аудитории самая что ни на есть дружеская, и у Мелиты Оттовны, и у ребят лица совершенно чудесные.

Второе кафедральное фото с маминым участием относится к началу 60-х. Штат кафедры поредел, кто-то вышел на пенсию, в группе девять человек, включая двух новых преподавательниц. Одна из них та самая Лидия Федоровна, косвенно причастная к чудесной встрече мамы с томской подружкой Лидой, вторая — Нина Александровна Крайнова, жена актера Владимира Этуша, женщина прелестная, но не слишком счастливая в личной жизни. В центре группы Елизавета Александровна Барыкова в туго стягивающей лоб повязке, которую она с юности носила из-за приступов хронической мигрени. В 60-е Елизавета Александровна заведовала маминой кафедрой, а ее дом в подмосковной Малаховке стал для меня родным. Мама на фото крайняя справа, в том самом платье без особых примет из бежевого букле, черноволосая, гладко причесанная.

Если за годы, прошедшие с первого фото, девушки с прежней фотографии стали зрелыми женщинами, то дамы, более десяти лет назад казавшиеся пожилыми, чудесным образом не постарели. Сдержанно улыбаются трое, может, и появилась надежда на наступление улыбчивой эпохи, но нет ни уверенности, ни привычки. Увы, больше групповых кафедральных фото не делали, видно, традиция сошла на нет, а если бы она сохранилась, то и мама моя в какой-то момент оказалась бы в центре композиции, потому что на пенсию ушла с должности заведующей кафедрой.

Новые времена и новые технологии преображают старые фото. Стоит отсканировать смутную фотографию, увеличить ее на экране монитора и чуть-чуть повозиться, как проявятся удивительные подробности. Можно разглядеть не замеченные прежде детали одежды, фрагмент попавшего в кадр

интерьера и обнаружить нечто неожиданное, но говорящее и о человеке, и об эпохе. Но самое загадочное другое! Вроде бы сотни раз держала в руках снимки, вглядывалась в лица, однако контакта не возникало. Я-то их видела, а они меня нет. Но если отсканированное изображение появляется на экране, возникает странный и тревожный эффект: человек, родной ли тебе, чужой ли, опознанный или неведомый, встречается с тобой взглядом. Смотрит в упор, то ли ответа ждет, то ли вопроса, а иногда и в душу заглядывает, будто бы оба мы знаем друг о друге что-то такое, что самим нам неведомо.

Вряд ли в процессе взаимного разглядывания сокращаются несокращаемые расстояния, однако усугубляется печаль об ушедших, в том числе и о чужих, незнакомых людях. Все ушли, никто чудом не дожил до сегодняшнего дня, разве что кто-нибудь из учеников Мелиты Оттовны, студентов начала 50-х...

Да уж, если кому-то пристальное разглядывание старых фотографий показано и даже в кайф, то другим, особо впечатлительным, категорически запрещено. По своему опыту знаю: не безобидное это дело, чреватое, отвлекает от сегодняшнего, насущного, обременяет ненужными размышлениями, навязывает иррациональные по своей сути экскурсии в прошлое, откуда еще поди выберись... Короче, предостерегаю гипотетического читателя: осторожнее с этим делом... А традицию групповых фото всячески приветствую!





Ball
no

3-IV-72

Мурка, Машенька и медведь

Из пачки старых писем выпало письмецо в конверте, даже не письмо, а коротенькая записка, в преддверии моего пятилетия отправленная бабушкой Марии Николаевне Матвеевой, давнему своему

другу. Кстати сказать, в словаре бабушки моей и тетки отсутствовало слово «подруга», но присутствовал «друг», независимо от половой принадлежности.

Вот эта записка:

14.1.1953

Дорогая Мария Николаевна!

Иза просит Вашего содействия для спектакля 27-го. Она думает может быть вместе с Алешей устроить с Вашей куклой и еще что Вы дадите. А Семен Борисович сочинит текст.

Потолкуйте с ней об этом и придумайте.

Крепко Вас обнимаю и хочу знать о Вас.

Ольга Бари-Айзенман

Речь в записке о том, как бы в день моего рождения, а именно 27 января, совместными усилиями мамы, папы и дедушки под руководством и при участии Марии Николаевны и в давней традиции семьи поставить для меня и моих гостей, дворовых подружек и приятелей, домашний спектакль.

Прочитав сотни страниц ее дневников и множество писем, я неплохо изучила бабушкин почерк, знаю, как он зависел от настроения и как менялся с возрастом. Поэтому насторожилась, увидав крупные, похожие на тревожную

(в окрестностях квартиры № 2)

кардиограмму островерхие буквы самой записки и адреса на конверте. Не нужно быть графологом, чтобы понять, что текст (пасторальный только на первый взгляд) писал человек в напряженном душевном состоянии, с натянутыми нервами. Объяснение бабушкиного волнения зашифровано в дате. Для кого-то 14 января 1953 года ничем не примечательное календарное число, не более чем начало нового года по старому стилю, а для кого-то трагическая дата, незаживающая кровоточащая рана. Ведь накануне этого дня, 13 января 1953 года, в апогее длившейся вот уже несколько лет и неуклонно набиравшей обороты травли (и физического уничтожения) «космополитов» газета «Правда» вышла с передовицей: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессор-врачей». Представить себе душевное состояние взрослых членов нашей семьи на день 14 января 1953 года не сложно. Видно, вовремя выпала мне в руки эта записочка, теперь-то, в сегодняшние мои годы, я хотя бы отчасти могу оценить, в какую минуту семья решала, как отметить мое грядущее пятилетие, чем порадовать дочь и внучку.

В день моего рождения задуманный спектакль не состоялся, но только из-за болезни Марии Николаевны. Вот строки из ее ответной записки (судя по штампам на конвертах, письма, отосланные на Арбат и присланные с Арбата, оборачивались за сутки):

Очень хочется повидать Оленьку. Передайте ей, что ее целую. Ужасно обидно, что наша затея с Семеном Борисовичем о спектакле для нее — сорвется. Придется отложить, может быть ко дню 8 марта.

Вроде бы не такой уж большой отрезок времени между 13 января и 4 апреля 1953 года, когда та же газета «Правда» сообщила миру, что «в результате проверки установлено: обвинения, выдвинутые против медиков, оказались ложными». Но до чего же жуткими и протяженными оказались те зимне-весенние недели для множества, множества людей, сколько принесли горя... Нашей-то семье повезло: никого не арестовали, уволили из ее издательства одну только тетушку мою Татьяну, маму сократили (вывели из штата), но оставили в институте так называемым почасовиком, пусть и на птичьих правах, но ведь не вышвырнули на улицу, спасибо добрым людям, решившимся на такой смелый поступок! И дедушку в его Главсланце тоже не тронули, видно не решились лишиться квалифицированного юриста, пусть даже и 73 лет от роду. Ну а папа, как работал в ненавистном своем копийном цехе, так и продолжал писать портреты вождей, острая-то потребность в их изображениях ничуть не ослабла...

Вот только с середины того января начались в нашей квартире ежедневные баталии. Жесточайшие разборки происходили между соседями Хрюковыми и Газенновыми, которым предстояло в ближайшее время поделить между собой две комнаты нашей семьи, обреченной на переселение хорошо если в окрестности города Биробиджана.

Не на жизнь, а на смерть самоотверженно сражались матери семейств — Анна Ивановна и тетя Дуся, обе женщины лютые. И ту и другую можно понять, потому что обе семьи жили в чудовищной тесноте и остро нуждались в расширении жилплощади. Семья Анны Ивановны занимала комнату площадью восемнадцать квадратных метров и состояла из пяти человек: старшей дочери Нюрки, чемпионки нашего дома по стервозности и мерзопакостности, Нюркиного мужа, добродушного и бессловесного милиционера Коли Ганина, младенца Лидочки и младшей газенновской дочери рябой Зинки, немолодой девушки, склочной и неприкаянной. Плюс к тому в подвальной утробе дворового флигеля ютились еще три газенновские дочери, вдовы с детьми разного возраста.

Но и Хрюковым жилось несладко. Семья не умещалась на восьми квадратных метрах, хотя у тети Дуси с дядей Аркашей дочек было всего-навсего две. О младшей речь пойдет ниже, а старшая, Тоня, годом раньше вернулась из заключения, отбыв срок за кражу гардеробного номерка, получения по нему чужой шубы и попытки ее продажи. В лагере Тоня встретила свою судьбу и вернулась домой с Сашей Крикуновым, славным парнем, отсидевшим срок за разбойное нападение, и сыном Славиком, смысленным, но малокровным ребенком, рожденным и подроженным в неволе. Ну а второй сынок, крепенький как грибок Вовочка, родился уже на воле. Славику с Вовочкой место в восьмиметровой каморке нашлось, а их молодые родители втиснуться туда не смогли бы при всем желании и ночевали в темной кладовке напротив нашей комнаты. Дверь в кладовку не закрывалась, потому что высоченный Саша не умещался в ней целиком, и длинные его ноги с рельефными мозолистыми ступнями ногами перегораживали неширокий наш коридор.

А на кону между тем стояли две неплохие светлые комнаты, в которых обитало на просторе наше семейство, всего-навсего шестеро: бабушка с дедушкой, тетушка моя Татьяна и мы с родителями. Хрюковым с Газенновыми в любом случае досталось бы по комнате, но ведь они были не равны по площади — одна восемнадцать квадратных метров, а другая двадцать один. Из-за трех квадратных метров, на которых запросто можно было выстроить чье-то семейное счастье, и разгорелся сыр-бор. Так что ни Анна Ивановна, ни тетя Дуся ни за какие коврижки не уступили бы друг другу ни одного квадратного сантиметра, не говоря уж о трех метрах, хотя бы «из принципа», как говаривали в нашей квартире.

Полам ежевечерних битв становились кухня и коридор. Случались перестрелки. Бывало, рассвирепевшая Анна Ивановна теряла терпение и со всей силы швыряла в тетю Дусю кипящим чайником, опасно брызгавшимся в процессе полета, а тетя Дуся со своей стороны метала в Анну Ивановну раскаленный на газовой горелке чугунный утюг. Однажды случилось нам с мамой оказаться на пути того утюга, но тетя Дуся метнула его так метко, что утюг благополучно просвистел над моей головой, не причинив ни малейшего вреда, мы даже испугаться не успели. Иногда соседки сходились в ближнем бою,

(в окрестностях квартиры № 2)

и всегда побеждала тетя Дуся. Ладная, в штапельном платье по фигуре, тетя Дуся ловко группировалась и запросто побеждала рыхлую и неповоротливую Анну Ивановну, распустеху, путавшуюся в неряшливых своих одеяниях. Вцеплялась в седые ее космы и трясла как грушу. Ответить тем же Анне Ивановне не удавалось, потому что Дусины волосы всегда были гладко зачесаны и закручены на затылке в тугий узел. Зато Анна Ивановна значительно превосходила тетю Дусю вербально, в ее словарный запас входили такие сочные проклятия и такие зловещие пожелания, какие тете Дусе и не снились. Помнится, бабушка моя изумлялась словотворческим талантам Анны Ивановны и некоторые изобретенные ею словечки и выражения считала достойными писателя Лескова.

Абсурд ситуации заключался в том, что вконец изнемогшие воительницы в какой-то момент призывали в качестве третьей стороны мою маму, потому что не только в нашей квартире, но и во всем доме, включая жителей флигеля и подвалов, маму считали человеком грамотным, участливым и справедливым. В мамином характере и вправду не было ни спеси, ни фанаберии, кое-кто из жильцов именно в нашем шкафу хранил для надежности небольшие свои записки, а соседских детей мама традиционно «подтягивала» по двум языкам, русскому и немецкому. И каким-то чудом мама не то чтобы гасила квартирный шторм, но хотя бы снижала его баллы. Врать не буду, к нам троим мамиными стараниями соседи относились по-доброму, бабушку с дедушкой по старости лет в расчет не брали, а вот тетушку яро ненавидели, потому что храбрая и насмешливая Таня не шла с нашими гегемонами ни на какие компромиссы и в едкой иронии себе не отказывала.

По выходным для разрешения спора вызывали из Марьиной Рощи семейных медиаторов — Маруську, самую старшую газенновскую дочь, и мужа ее, однорукого Володьку, хрюковского племянника. Володьку с Маруської сосватали в лучшие, более мирные времена. Маруська приезжала в гости нарядная, в темно-красном панбархатном платье, а Володька через восемь лет после окончания войны все еще донашивал гимнастерку и синие галифе, а пустой рукав заправлял за ремень. За панбархатное Марускино платье и за пустой Володькин рукав супругов уважали и Хрюковы, и Газенновы, однако и тут примирение не наступало, потому что каждый из супругов всей душой был предан своему клану. Супруги расходились по комнатам родственников, в конце вечера пьяный в лоскуты Володька вываливался из хрюковской комнаты на руки степенной панбархатной жене, и так и не добившись консенсуса (словечко из иной эпохи) супруги отправлялись восвояси, в Марьину свою Рощу.

Не знаю, как готовились к нашей депортации бабушка, дедушка и тетушка. А ведь многие обдумывали будущее житье-бытье, что-то предпринимали... Тетушкина подруга Клара, к примеру, купила в те дни пишущую машинку, именно с ее помощью надеялась прокормить в неведомых краях престарелых родителей и сына-подростка.

Мама же моя, с раннего детства власть поскакивавшая по городам и весям сначала с семьей (а после смерти матери и гибели отца в одиночестве), повидавшая всякого и иллюзий не питавшая, в те дни готовилась к принудительному отъезду по-своему, то есть купала меня не раз в неделю, как обычно, а через день, чтоб надолше хватило. А купание ребенка было делом нудным и хлопотным. Стол, на котором толпилось все наше посудное хозяйство, освобождался (предметы временно перемещались на подоконник) и выдвигался на середину комнаты, в течение дня занятую папиным мольбертом (мольберт на время купания выносили в коридор). С гвоздя над дверью снимали жестяную ванночку классических очертаний (точно такие же имелись в каждой семье), взгромождали ее на стол, кипятили в зеленом эмалированном чайнике воду, а холодную из-под крана носили в цинковом ведре. В емкость погружали ребенка, а по окончании процедуры воду вычерпывали, и все манипуляции повторялись в обратном порядке. Ванная комната в нашей квартире изначально существовала, но еще в 20-е годы коллективный разум жильцов, не то чтобы аскетов, но к роскошествам не привыкших, за ненужностью переквалифицировал ее в кладовку. Да и зачем она была нужна, эта ванная, если до Усачевских бань рукой подать, всего-то пять остановок на пятнадцатом троллейбусе.

Мама готовилась к депортации единственно доступным ей способом, а Хрюковы с Газенновыми предвкушали расширение жилплощади и последующее новоселье (а веселиться, то есть пить, петь и плясать соседи наши очень даже умели). Справедливости ради надо заметить, что нас ничуть не торопили, не исключено, что процесс ожидания, включая боевые действия, даже и смаковали.

Как бы то ни было, но комнаты наши Хрюковым с Газенновыми не достались... Водянисто-серым мартовским утром я проснулась в своей кровати (все еще младенческой, с веревочной сеткой) от бабушкиного плача, даже не плача, рыдания! Накануне по радио ничего не рассказывали, вместо детских и литературных передач и даже последних известий непрерывно играла музыка. Оказалось, случилось невероятное — умер Сталин и не оставил надежды на милость свою и защиту. Разумеется, никаких иллюзий относительно вождя народов не питали и ничего хорошего от него не ждали, но все же...

Однако случилось иначе. Депортацию вроде как затормозили, а может отложили на неопределенное время, и еще через месяц, ранним утром 4 апреля, папа вбежал в квартиру, размахивая газетой «Правда», с криком: «Они не виноваты!» И Анна Ивановна, в этот как раз момент тащившая из кухни тяжеленную сковороду картошки, мастерски пожаренной на постном масле, толкнув мощным коленом дверь своей комнаты, злобно буркнула: «Да насрать мне на их, на этих ваших врачей, на кой они мне сдались, чтоб они сдохли!»

В результате всего вышеописанного на нас с мамой и папой зла соседи не затаили, отношения между Хрюковыми и Газенновыми снизили градус (хотя время от времени он повышался по тому или иному поводу), а жилищные их

(в окрестностях квартиры № 2)

проблемы спустя несколько лет разрешились наилучшим образом. А если бы соседям удалось за наш счет расширить свою жилплощадь, то в хрущевские времена они бы уж точно не получили хорошенькие квартирки в свеженьких домишках, рассыпавшихся, как кубики сахара-рафинада по микрорайону Черемушки, так и жили бы в нашей кособокой коммуналке до скончания XX века, когда квартиру пришлось покинуть и нашему семейству.

А спектакль «Машенька и медведь» в моей жизни все же случился.

По краю бабушкиной ширмы брел среди зеленых картонных елок простодушный медведь, не смевший присесть на пенек и съесть пирожок, а над его нелепой башкой порхал легчайший рой разноцветных бабочек. Пестрых бабочек по замыслу и под руководством Марии Николаевны Семеновой смастерила мама, и долго еще их рой обитал на сундуке за шкафом, являя собой растопыренный проволочный веничек, а на конце каждой проволочки никла тряпочная бабочка, вернее ее запыленное подобие. Время от времени обветшавший веничек всплывал из домашних недр, но выбросить колючую вещицу рука у мамы, видно, не поднималась.

Человек волен предполагать и строить планы, однако общеизвестно, что ничем, ну буквально ничем, он не располагает, и задуманная в середине того января дата кукольного представления «Машеньки и медведя» оказалась кануном страшных сталинских похорон. «Высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок...».

Дедушка мой не пережил 53-го года, скончался скоропостижно в день Сталинской конституции, а бабушка задержалась на четыре месяца и застала мое шестилетие. Не исключено, что тогда-то, уже без дедушки, и показали нам с дворовыми моими подружками написанную им пьесу про Машеньку и медведя. Дедушка с юности писал стихотворные пьесы для домашних постановок разного ранга, и, видно, эта, моя, оказалась последней... Та зима сократила жизни дедушки и бабушки, до дна вычерпала физические и душевные ресурсы, остававшиеся от испытаний предыдущих десятилетий. Ровесники, до семидесяти пяти оба они не дожили... Умирала бабушка за той же ширмой, над которой совсем недавно порхали разноцветные бабочки.

Выцветший рой давным-давно растворился в жизненной ретроспективе, зато на память о Марии Николаевне Семеновой остался бабушкин портрет ее работы, написанный, судя по всему, перед самой войной. Существуют два портрета, написанных одновременно, но в разных ракурсах двумя художниками — папой и Марией Николаевной. Аристократическая посадка бабушкиной головы и ее прическа не менялись в течение жизни, оставались все теми же и в двадцать лет, и в семьдесят. Белая блузка застегнута у ворота круглой брошью в узкой оправе. В середину гагата (камень этот еще называют черным янтарем) врезана звездочка из мелких-мелких жемчужин. Такие брошки были у всех бабушкиных сестер, они и сейчас существуют у их правнучек и называются «брошки Бари». Других украшений у бабушки не было, все остальное кануло в Торгсин. Да и брошка эта в тяжкие для тетушки времена осталась

в ломбарде на углу Арбата и Большого Афанасьевского переулка, по соседству с домом Марии Николаевны.

Так вот, воротничок бабушкиной блузки на тех портретах заколот круглой брошкой с жемчужной звездочкой, на носу, разумеется, пенсне. Портреты получились разные, но оба похожие. Бабушка, увиденная глазами Марии Николаевны, кажется суховатой и бесстрастной дамой, очень светской, а портрет, написанный папой, живой и тревожный.

Ну «на кой», как говаривала Анна Ивановна Газеннова, для какой такой надобности и каким образом удержались в моей памяти те живые картины, «на кой они мне сдались»? И чудится, будто бы детская память сплавилась с памятью моего отца. На глубинном сущностном уровне отец мой спасался живописью, а на бытовом выживал благодаря счастливому свойству выуживать смешное из абсурда и жути той реальности, в которой все мы существовали.

Покидая нашу квартиру, соседи всех призывов, в большинстве своем не лучшие представители рода человеческого, оставляли на память облики свои и повадки, словечки и выражения, а также жизненные сюжеты и трагикомические ситуации, в самый раз для энциклопедии коммунальной жизни. Есть мнение, будто бы, доверив бумаге (в нынешней реальности ноутбуку) ненужные воспоминания, можно от них избавиться. Можно-то можно, да нужно ли? А вдруг хлам этот вовсе и не балласт, а насмерть спрессованный из случайных материалов фундамент, на котором выстроилась вся последующая жизнь? И если разрушить этот сомнительный конгломерат, то как бы чего не вышло...

Между тем, невзирая на вышеописанные обстоятельства, ко всем нашим соседям я относилась по-родственному и стремилась к ним в гости. К Газенновым захаживала реже, потому что их жилище казалось мне скучным и удручающе неряшливым, зато каморка Хрюковых влекла и очаровывала праздничностью. Половину крошечной комнатки занимала огромная кровать с пирамидой подушек в отороченных кружевами белоснежных наволочках и с четырьмя сияющими металлическими шарами, в которые можно было смотреться, как в кривые зеркала в Парке культуры, и хохотать до упаду. Справа стоял комод с зеркалом, обрамленным красными бумажными розами нечеловеческой красоты.

На комод, на вышитой салфетке, вроде как на цветущем лугу, жил разноцветный глиняный петух в половину моего роста. Сияющие шары, розы и пестрый петушиный хвост — разве это не вечный праздник? А если в щель на петушиной спине я опускала монетку, он с готовностью кукарекал хозяйскими голосами. К тому же комнатка Хрюковых была не какая-нибудь обыкновенная, а почти двухэтажная, с прекрасно оборудованным погребом, в котором хранились немалые продуктовые запасы семьи. Крышка (суть дверь), открывавшая вход в погреб, удачно вписывалась в промежуток между кроватью и комодом, и когда дядя Аркаша был дома и бодрствовал, то обитал он исключительно в нижних апартаментах, уютно посиживал там на табуреточке, покуривал сигарку, а над поверхностью пола возвышалась его макушка

(в окрестностях квартиры № 2)

с тонзурой, опущенной серенькими волосиками, и вились колечки дыма. Дядя Аркаша курил исключительно самокрутки и на мир взирал не из-под столика, как его современник поэт Николай Глазков, а из-под пола. Такая диспозиция никому не мешала, семья легко перешагивала через Аркашину черепушку, а внук Славик запросто перепрыгивал.

В те времена продуктовые запасы рядового городского жителя были самыми скудными, тем более что и холодильников не было. Обыкновенно все съедалось сразу же, едва добывалось. Если случались запасы, то в холодное время года они умещались в кастрюльке, выставленной между оконными рамами, да в свисавшей из форточки нитяной авоське. Иначе обстояло дело в семье Хрюковых, а все благодаря тому, что дядя Аркаша работал грузчиком в знаменитом на всю Москву магазине «Диета» на Арбате. И хотя выполнял он малоквалифицированную работу, должностью своей гордился. «Работаю в сетях!» — то и дело напоминал окружающим дядя Аркаша, имея в виду сети торговые, и редко, очень редко возвращался домой налегке. Обыкновенно тащил тяжеленькую торбу с чем-нибудь съестным, а однажды приволок в дерюжном, перекинутом за спину мешке чудо природы — цельного осетра, самого натурального, хотя и пованивающего, то есть однозначно не первой свежести.

В отличие от дяди Аркаши, лишь однажды притащившего домой тухловатого осетра, тетя Дуся регулярно приносила с работы настоящую живую рыбу — золотых и красных вуалехвостов. Тетя Дуся служила уборщицей в аквариумном отделе Московского зоопарка и тоже возвращалась с работы не с пустыми руками. За сущие копейки она снабжала этим чудом природы все шесть квартир нашего дома плюс жителей флигеля, причем в любом количестве. У самих Хрюковых рыбки обитали в трехлитровой банке на подоконнике, но не заживались, то и дело всплывали кверху брюшками, поэтому на следующий день после их кончины тетя Дуся приносила с работы новеньких. Может, ротация рыбок происходила потому, что они простужались по дороге из зоопарка или погибали от переедания. Тетя Дуся не жалела казенного корма, щедрыми горстями сыпала в банку жирного кроваво-красного мотыля.

Однако истинным украшением семьи Хрюковых были не бумажные розы, не петух и не вуалехвосты, а младшая дочь Аля, красавица с сияющими очами — гордость нашего дома. Лестно, когда рядом с тобой живет самая красивая девушка района, а может и всей Москвы. Описывать Алину внешность не стану, достаточно сказать, что спустя годы я сразу же опознала ее не абы в ком, а в самой Элизабет Тейлор. Конечно же, в Але не было изысканности Элизабет, но кое в чем и Элизабет уступала Але. На черно-белой пленке Элизабет выглядела бледненькой и томной, в то время как нашу Алю природа наградила восхитительным румянцем, незаурядной витальной силой и веселым характером.

Естественно, что при такой красоте Аля Хрюкова пользовалась тотальным успехом в окрестностях Кропоткинской и Метростроевской улиц. Возле Алиного окна вечно толпились чужие взрослые парни единообразного облика.

Кепки-шестиклинки они заламывали на затылки, длинные черные пальто в любую погоду носили распахнутыми, сапоги гармошкой, а завершали наряд неприменные шелковые кашне, ослепительно белоснежные (такая уж мода стояла на дворе). Белоснежные кашне не мешали парням виртуозно сплевывать как выстреливать и мастерски сморкаться, не пользуясь носовым платком (я немного завидовала этому умению, но не пыталась подражать, заранее уверенная, что при всем желании не преуспею). Парни покуривали сигарки и угрюмо и многозначительно беседовали о чем-то своем. Никто из них не улыбался, никого не звали просто Петей, Ваней или Колей, у всех были прозвища. Одним словом, обычная зловещая шпана, но укрощенная Алей до такой степени, что казалась не опасной, а почти своей. И правда, никаких безобразий парни во дворе нашем не учиняли.

Изредка Аля милостиво выходила к поклонникам, царила с полчаса, не исключено, что кому-то даже давала надежду, но с истинными своими друзьями встречалась не во дворе и не на черной лестнице, а в нашем парадном, выйдившем совсем в другой переулок. Алины свидания происходили на лестничной площадке между первым и вторым этажами, возле полуциркульного окна в стиле модерн. Именно оттуда раздавались таинственные звуки и шорохи, дававшие пищу необузданному воображению жильцов нашего дома.

До поры до времени все в Алиной жизни шло путем, но однажды проклятия, которые Анна Ивановна Газеннова во времена позиционной войны эпохи борьбы с космополитами истово и чрезвычайно изобретательно насылала на семью Хрюковых, с некоторой задержкой, но достигли-таки цели. Видно, проклятия Анны Ивановны оказались посильнее тети-Дусиной ругани, потому что в семье Хрюковых, а не у Газенновых случилась беда.

До поры до времени Аля жила себе поживала в свое удовольствие не только в окружении множества поклонников, стекавшихся в наш двор со всего Фрунзенского района, но еще и в статусе невесты собственного кузена, отбывавшего срок в дальнем северном лагере (стоит ли говорить, что сидел кузен отнюдь не по 58-й статье). В статусе, о котором в вихре жизни беспечная Аля позабыла, а тут как на грех случилась злополучная «бериевская» амнистия. Не заезжая к родителям, жителям дальнего Подмоскovie, кузен тотчас примчался к невесте, мечтая известно о чем. И тотчас ему открылась Алина неверность, скорее всего, наябедничали парни в шелковых кашне, кузен был явно того же разбора. Тем же летним вечером Алю вызвали во двор, и кузен, недолго раздумывая, пырнул изменщицу финкой, нацелившись, само собой, в сердце. По счастью, чуть-чуть промахнулся.

Случилось это в двух шагах от родительского окна. Очевидцы рассказывали, что из Алиной груди сразу же забил фонтан крови, и спасла ее стремительная реакция родителей. Сидевшая у окна тетя Дуся, живо интересовавшаяся романтической жизнью дочери, заполошно заголосила, дядя Аркаша выскочил из своего подпола, ловко перемахнул через подоконник (счастье, что все мы жили на первом, к тому же заглублинном этаже) и заткнул широкой

(в окрестностях квартиры № 2)

ладонью грузчика страшную рану на груди дочери. Карета скорой помощи (в середине прошлого века машину скорой помощи все еще называли каретой) примчалась в мгновение ока, а кузен и не подумал скрыться с места преступления, спокойно дождался милицию и отправился отбывать новый срок.

Красочные подробности той истории я знала до мелочей, будто сама при этом присутствовала, хотя на самом деле паслась тем летом в детском саду на станции Калистово. А все потому, что случилось несчастье на глазах едва ли не у всех жителей нашего дома, впрочем, находились и самозванцы, выдававшие себя за свидетелей, поди проверь... Как бы то ни было, но каждый настаивал на собственном, единственно верном свидетельстве, и таким образом в моем распоряжении оказалось множество достоверных источников.

И вот ведь как бывает... К моменту, когда по милости Берии кузен на свою беду вышел на свободу, прибыл в наш двор и принялся убивать Алю, кое-кто уже распевал на мотив песни «Горят костры далекие...» (музыка Бориса Мокроусова на слова Михаила Зубкова)

*Цветут инжир и алыча
Не для Лаврентья Палыча.
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча...*

И папа мой напевал эту песенку, а мне нравилась задушевная мелодия и то, что в песне поется про фруктовые деревья в цвету. Про инжир я ничего не знала, а кислую желтую алычу очень любила. И однажды прибежала со двора и загадала маме загадку: *Отгадай неприличное слово из пяти букв, первая буква «Б».* — Не в силах дожидаться отгадки от онемевшей мамы, тотчас сдалась: — *Это б-е-р-и-я!*

Аля выжила, выздоровела, но к нам не вернулась, а вышла замуж за одного из своих поклонников, доброго Сашу, не отходившего от Али в течение долгой ее болезни и ничуть не похожего на сомнительных типов в белых кашне и сапогах гармошкой. Осенью, не заезжая в отчий дом, Аля переехала в семью мужа, то ли в устье, то ли в верховья Метростроевской улицы (это смотря откуда смотреть), родственников не навещала и с нашего горизонта исчезла навсегда. В последующей жизни я увидела ее лишь однажды возле мясного магазина, в народе называвшегося «Поросенок». Аля стояла в задумчивости перед витриной и разглядывала вставшего на дыбы поросенка. Ростом с крупного подростка поросенок в ожерелье из сосисок держал в передних лапах (ногах? руках? копытах?) блюдо с колбасами и сардельками из папье-маше. Мама окликнула Алю, но красивая, нарядная, располневшая Аля только меланхолически ей кивнула, а на меня так даже и не взглянула...

Что же касается несостоявшегося жениха-кузена, то тетя Дуся с дядей Аркашей зла на племянника не держали и осуждали ветреную свою дочь, испортившую жизнь хорошему парню. И хотя хороший парень обещал вернуться и довершить черное свое дело, Хрюковы каждый месяц посылали ему

посылки, собранные из своих же продуктовых запасов, тех, что хранились в подполе...

Трагическое происшествие возбужденно и в мельчайших подробностях, обретавших все новые и новые нюансы, долго обсуждалось на кухнях нашего дома, в частности детально описывалось орудие преступления. По свидетельству очевидцев, финка, была чудо как хороша, а наборная ее ручка из многих слоев разноцветной пластмассы якобы являла истинный шедевр лагерного искусства.

А женское население двора под маской фальшивого сочувствия злорадствовало по поводу погубленного Алиного пальто песочного цвета, предмета всеобщей зависти. Общеизвестно, что лето 53-го года было холодным, а может, Аля для форсу надела замечательное свое пальто. Двубортное пальто, купленное по счастливому случаю и достойное самой Элизабет Тейлор, с широкими лацканами, манжетами и поясом с квадратной пряжкой я, как ни странно, прекрасно помню. Видно, явление Алиного пальто стало масштабным событием в жизни дома, и о нем долго и подробно судачили. Увы, пальто восстановлению не подлежало, в отличие от Алиного здоровья. Может, оно-то и спасло Алину жизнь — попробуй-ка попади точно в сердце сквозь добротный драп, учитывая еще и широкие лацканы.

Забавная субстанция память. Нежадно-негаданно из каких-то ее недр и закровов возник забытый сюжет. Однажды мама решила испытать Алю в роли моей няньки. Боже, как я обрадовалась этому счастью, неужели нянькой моей станет самая красивая, самая веселая девушка на свете? Назначили испытательное гуляние на «иностранном» скверике. Но едва только мы с Алей угнездились на скамейке, поместительной, старорежимной, с литыми чугунными ножками, как тотчас, будто из-под земли, возник перед нами улыбочивый незнакомец в шляпе и с места в карьер обрушил на Алю каскад незатейливых вопросов типа все ли девушки Фрунзенского района такие красавицы? Аля ничуть не смутилась, принялась залиристо хохотать, сиять глазами, бойко отвечать незнакомцу, мгновенно согласилась на какое-то не внятное мне предложение или приглашение, стремительно препроводила меня домой, впихнула в квартиру, захлопнула входную дверь и усвистала в неизвестном направлении. В общей сложности прогулка наша длилась минут десять, не более, но помнится колорит того дня, светлый и солнечный, и Аля с перекинутой на грудь кудрявой косой на фоне бледно-желтого ампириного здания дворца Еропкиных, в точности совпадавшего по тону и цвету с Алиным песочным пальто. На дворе весна 53-го, сквер прозрачен, Аля здорова, пальто цело и невреждено, до злополучной встречи с кузенком месяца три.

Между тем, если отмотать те же три месяца не вперед, а назад, то есть не светлой весной, а пасмурным февральским деньком, ближе к концу этого неуютного месяца на той же скамейке случилась другая история. Рассказ мамы: было сыро и холодно, съезжившись, мама думала грустную свою думу, а я у ее ног безмятежно манипулировала деревянной лопаткой и жестяным

(в окрестностях квартиры № 2)

ведерком, пекла куличи из сырого снега. Рядом с мамой сидела закутанная в шали старушка, тоже гуляла. И вдруг ни с того ни с сего она тронула маму за рукав и сказала ласково: *Успокойтесь, деточка! Все обойдется. Напрасно он за евреев взялся, ваш бог этого не допустит. Теперь-то ему самому скоро конец.* И хотя имени того, о ком шла речь, названо не было, мама окоченела от ужаса, схватила меня за руку и без оглядки утащила со скверика, оставив старушку в одиночестве. Так что же это было?

Что же касается меня, то на протяжении жизни я получала неплохие дивиденды от пересказа душещипательной Алиной истории, вот и сейчас, ничтоже сумняшеся, достала из рукава эту козырную карту. Аля так и осталась романтической героиней детства, хотя и оказалась причиной одного-единственного моего конфликта с бабушкой.

Все той же весной 1953 года наискосок от нашего двора в прекрасных особняках, выстроенных в начале века купцами-меценатами, за высокими каменными заборами поселились государственные мужи Булганин и Маленков, и в одночасье все квартиры во всех окрестных домах на всякий пожарный случай телефонизировали, порадовали окрестное население. И целыми днями и даже по ночам Але стали названивать кавалеры. Но к телефону звали не Алю, а Мурку, это было второе Алино имя, для друзей. И однажды Аля попросила меня подойти к телефону, и сказать, что Мурки нет дома. С Алиным поручением я справилась превосходно хотя волновалась не на шутку, потому что в тот день впервые в жизни сняла с рычага телефонную трубку.

Но когда бабушка услышала из уст своей единственной внучки бессовестную ложь, она пришла в такое неопишное негодование, что я еще много лет после ее смерти не могла соотнести тяжесть своего проступка со столь бурной реакцией. По требованию бабушки меня сурово наказали, хотя я всего-то выполнила взрослую Алину просьбу. Но самое странное, что Але бабушка не сказала ни единого слова, даже не взглянула в ее сторону. А полвека спустя набрела я на сложенное треугольником письмо, написанное Алей Хрюковой 7 июля 1951 года, за пару лет до описываемых событий.

Здравствуйте дорогая многоуважаемая Ольга Александровна, с приветом Аля.

Дорогая Ольга Александровна я время провожу здесь интересно и весело. Очень много в лесу земляники, а скоро будут грибы и орехи. Часто хожу на речку купаться. У нас в саду прекрасные три яблони и на них очень много яблок средней величины. Дальше идет узкая тропинка, а с двух сторон вишни раскинули свои ветви. Слева на большом расстоянии тянутся кусты черной смородины, крыжовника и малины. Справа растут овощи, а именно: капуста, огурцы, чеснок, лук, репа, морковь. А в самом конце сада растет клубника. Все ягоды уже поспели. Ольга Александровна я зарисовала наш дом, когда был закат. Очень хорошо были расположены тени. Все никак не удается нарисовать коров. Они из стада ворачиваются домой

вечером и никак не постоят спокойно на месте, то нагнутся, то идут. Я сделала только наброски. Нарисовала кур, коз и гусей.

Недавно ходила в кино, на станцию. Смотрела: «Дети капитана Гранта» и «Спортивная честь». Ну вот и все, что я хотела вам написать.

Передайте привет Тане и Семену Борисовичу.

До свидания. Крепко вас целую.

Хрюкова Аля

Бабушка-то моя в лучших традициях российской интеллигенции пыталась цивилизовать окружающее пространство и в свои рисовальные группы, устроенные для детей московской интеллигенции, приглашала соседских ребятшек. Бабушка рассказывала детям об изобразительном искусстве, о музыке, об итальянских впечатлениях своей молодости, читала русских классиков, водила ребят в музеи, а весной и осенью на пленэр в Нескучный сад, к Новодевичьему монастырю и в усадьбу Хамовники. Аля тоже посещала бабушкины группы, казалась восприимчивой девочкой и даже готовилась поступать в художественное училище. Бабушка надеялась, что Аля выбьется из своей среды и, может быть, даже станет интеллигентом в первом поколении. Увы, этого не случилось, Аля жестоко разочаровала бабушку и в кратчайшие сроки из славного любознательного подростка преобразилась в вульгарную девицу сомнительного поведения по имени Мурка, которое сыграло-таки свою роковую роль в Алиной судьбе. Вот только Але повезло больше, чем ее тезке, героине уголовного эпоса...





9-1-48

Бибобо

и квипрокво

(про игрушки и не только)

Бибобо —

перчаточная кукла, состоящая из кукольной головы, надевающейся на указательный палец, и платья-перчатки с отверстиями для большого и среднего пальцев.

Quiproquo —

недоразумение, при котором нечто одно принято за нечто другое.

На самом-то деле никакой связи между забавными словечками квипрокво и бибобо нет... кроме одной — в детстве моем они часто звучали, два этих смешных словечка. Впрочем, как и некоторые дру-

гие, отчего-то вышедшие из употребления и куда-то подевавшиеся, закатившиеся в какую-то лингвистическую щель. И мне их не хватает... Как бы то ни было, но, видно, случались в нашей семье и вокруг нее эти самые квипрокво, а куклы бибобо, эти уж точно участвовали в домашних кукольных представлениях, выскакивали из-за ширмы (по-над ней) и разговаривали родительскими голосами. Но моя любимая кошечка-бибобо, плюшевая, огненного цвета, переливавшаяся всеми оттенками желтого и оранжевого, с янтарными глазками, не участвовала в театральных представлениях, а была моим собеседником. Кошечка, надетая на руку тетушки моей Татьяны, разбудила меня однажды в день рождения, мякнула, произнесла поздравительный монолог и оказалась на редкость живым и приветливым существом, уютным и разговорчивым. С ней не бывало скучно, она говорила разными голосами (могла то-ненько и пискляво, могла хрипловатым баском, могла собственным моим голосом и даже беззвучно), бусинами янтарными участливо заглядывала в глаза, вертела головой, шевелила усами и жестикулировала лапками (их у нее была всего одна пара). Но однажды случилось так, что эту верную свою подружку я отдала чужим людям. Вот история, а также предыстория моего предательства.

В середине прошлого века, давним-предавним летом, мы сняли дачу в деревне. Дача представляла собой угол в доме славной тети Фени,

(в окрестностях квартиры № 2)

с незапамятных времен доброй знакомой наших добрых друзей. Нужно было притулиться где-нибудь на время маминого отпуска, и малаховские жители Елизавета Александровна и Никита Константинович придумали этот вариант. С тех самых пор, как друзья наши поселились в Малаховке (а случилось это в начале 20-х), Феня снабжала семью молоком от своей коровы.

Институт подмосковных молочниц существовал еще на моей детской памяти. Некая женщина, закутанная в серую шаль, то ли из ближнего Подмоскovie, то ли с московской окраины (а окраина городская состояла из деревень) не каждое утро, но пару раз в неделю приезжала и в наш дом в центре города. Истинные героини были эти молочницы. Каждый божий день ни свет, ни заря, сразу после утренней дойки, нагруженные тяжеленными бидонами, женщины отправлялись в путь.

Преодолевая транспортные трудности, развозили молоко клиентам (а еще везли в клеенчатых переметных сумках сметану, творог и масло домашнего производства). Этот непосильный труд изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие запросто приравнивается к горящей избе и к взбесившемуся коню, скачущему неведь куда и откуда, а может и превосходит эти одномоментные подвиги. А ведь надо было еще поспеть к дневной дойке... Вот и тетя Феня тащила семью и выкармливала детей своей молочной продукцией, правда возила ее не в Москву, а в Малаховку, что тоже не ближний свет.

В неправдоподобно давние времена две молодые женщины, барыня и молочница, подружились, и, как оказалось, на всю жизнь. Сыновья Фени донашивали за Андреем, единственным сыном Елизаветы Александровны и Никиты Константиновича, сначала распашонки (да не какие-нибудь простенькие, а барские, батистовые, с мерешками, собственноручно обвязанные рукодельницей Елизаветой Александровной тончайшим кружевом), а потом и рубашечки и прочие детские одежды.

И когда во время войны Елизавета Александровна умирала от жесточайшей пеллагры, спасла ее Феня, отрывая от сыновей, привозила в больницу молоко и картошку. Андрей служил на Северном флоте, а плодами своего собственного сада-огорода Елизавета Александровна выкармливала (и выкормила) импровизированную детскую колонию, образовавшуюся в доме из детей московских друзей, переселившихся в военные годы под ее крыло. Детей и мужа спасла, а сама бы погибла, если б не Феня... Детишки военных лет добро помнили, спасительницу свою любили, приезжали в гости, детей своих привозили...

Тем летом, о котором идет речь, пристанищем нашим стало узенькое пространство наподобие коридорчика, кусочек комнаты, отделенный не доходящей до потолка фанерной перегородкой. Шириной с мою раскладушку, пристроившуюся под боком у печки. Часть комнаты, свободная от постоя, называлась «залой». Зала, украшенная множеством нарядных вышивок, вазочками и статуэтками, сияла чистотой и свежеевыкрашенным полом вкусного вишневого цвета.

Сама тетя Феня, ее молчаливый муж и младший, но уже взрослый сын обитали за занавеской в проходном коридорчике. Внешность хозяина дома и даже его имя растворились во времени, сына помню смутно, а вот лицо тети Фени, саму ее вижу так ясно, будто только вчера с нею рассталась. Добрейшее лицо и прелестную улыбку. Бывают лица, устроенные таким образом, что в улыбке открываются десны, и это придает лицу младенчески прелестное, прямо-таки ангельское выражение. Вот такая улыбка была у тети Фени...

В другой половине избы, чистотой и красотой отнюдь не блиставшей, обитала семья старшего сына Вани, того самого, который первым донашивал батистовые распашонки Андрея. Ваня что ни день напивался в лоскуты и дубасил жену, мелкую миловидную Зину. С жуткими, леденящими душу воплями выбегала Зина из дома и пряталась от Вани в хлеву. Может, бил-то ее муж и не смертным боем, но по условиям игры жена орала благим матом.

Увы, эти супружеские забавы роковым образом отразились на здоровье моей мамы. Однажды я вышла в тот самый хлев, где на скорую руку хозяйева соорудили для нашего семейства отхожее место, отгородив мешковиной дальний угол (сами-то обходились как-то иначе). И в этот самый момент туда же выбежала Зина, натренировавшаяся визжать так жутко, так пронзительно, что кровь стыла в жилах. И маме почудилось, будто кричу я.

Через минуту недоразумение разъяснилось, но то мгновение стоило маме дорого — и без того расшатанная нервная система подверглась жесточайшему стрессу, а последствий страшного испуга хватило надолго, может на всю оставшуюся жизнь. Истошный визг Ваниной жены стал для маминых нервов чем-то вроде выстрела стартового пистолета... И все равно то лето запомнилось луговым, лесным — замечательным!

В последний раз я встретила Феню глубокой осенью 1972 года на похоронах Елизаветы Александровны. Феня давно овдовела и несколько лет как похоронила Ваню, повесившегося по пьяному делу в ближайшем лесочке, в двух шагах от опушки, в моей памяти цветочной, разноцветной... Возвратившись с кладбища, Феня не села вместе со всеми за поминальный стол, тихо, но твердо отказалась от приглашения, осталась на кухне, там и выпила капельку за упокой души давнего своего друга, неукоснительно соблюдая социальный статус придворной молочницы. При глубочайшем взаимном уважении, невзирая на полувековую дружбу, изначальная дистанция между женщинами сохранилась навеки.

А недавно чудесным образом у меня оказалась фотография тети Фени, на которой она точно такая, какой я ее помню, хоть и моложе, чем в то деревенское лето.

Карточку мне подарили в обществе «Мемориал», где приютили после череды смертей архив малаховских наших друзей, а то, как это случилось, отдельный рассказ о скрещеньях человеческих судеб, один из бесчисленных сюжетов драматической российской истории XX века. Не того калибра сюжет, чтобы вплетать его в текст про бибabo и квипрокво, посерьезнее...

(в окрестностях квартиры № 2)

Так вот, у Вани с Зиной были сын и дочка. Хотя краснощекие, вспоенные молоком от двух коров Фенины внуки не обращали внимания на потасовки родителей и жили вполне безмятежно, сердце мое разрывалось от жалости, и, чтобы скрасить их несчастное детство, я решила отдать им все свои игрушки, тем более что сама уже выросла и даже поступила тем летом в художественную школу.

Короче говоря, почти все, чем владела, я погрузила в чемодан и отвезла детишкам. В некогда породистый чемодан с потертыми медными уголками, более полувека верно служивший нашей семье. Купленный у Мюра и Мерилиза в начале жизни чемодан постранствовал по Европе и даже сопровождал бабушке с дедушкой в их свадебном путешествии. В последующие годы государственной границы чемодан не пересекал, зато побывал повсюду, где оказывалась семья, а в войну эвакуировался на Урал, благополучно вернулся в столицу и успел поехать со мной в детский сад и в пионерские лагеря. Он и сейчас существует где-то в домашних дебрях, не выбрасывать же на помойку этого ветерана и свидетеля...

Звучит внушительно — чемодан игрушек. Хотя на самом деле не так уж их у меня было и много, этих игрушек. Кукол за всю жизнь всего три: Тамара, Рита и Аленка. Тамара возникла в незапамятные времена, попала ко мне уже пожилой, немолодой, многое повидавшей, и откуда она взялась, из чьего дома и чьих рук, что пережила в прежней своей жизни до нашей с ней встречи, так и останется тайной, и судьба ее реконструкции не подлежит, однако помнила я ее столько же, сколько саму себя.

Крупная и довольно нескладная особа с туповатым коровьим взглядом, облупленными, будто оспой побитыми носом и щеками, со скучнейшей миной на плосковатом лице, более всего походила Тамара на нашу соседку Зинку Газеннову. Будь Тамара не куклой, а живой женщиной, самое место ей было бы на нашей кухне. Мешала бы поварешкой щи, препиралась с соседками или, навалившись пузом на подоконник, глядела бы часами во двор и вяло, без особого интереса, однако язвительно комментировала бы происходящее.

Рита же возникла случайно. В конце позапрошлого века на углу Остоженки (в 1935 году переименованной в Метростроевскую улицу, а в 1986 году вернувшей себе первоначальное имя) и Еропкинского переулка по проекту архитектора Антонова выстроили четырехэтажное здание в псевдорусском стиле, узким фасадом глядящее не в переулок, а на улицу.

В детстве моем в глубоком подвале дома № 36, расположенном визави с тургеневским домиком имени Герасима и его собачки Муму, тем самым, где злобная барыня измывалась над своими рабами, в результате чего и случилась та душераздирающая, вошедшая в мировую литературу и известная всему миру история, ютилась инвалидная артель, ваявшая глиняные кукольные головки.

В окошке, глубоко утопленном в метростроевский тротуар, в электрической полутьме виднелись горки этих головок и формующие их бесконечно

печальные силуэты согбенных фигур. Задерживаться возле окошка, прикинуть к нему и всматриваться в казалось бы занимательный процесс вовсе не хотелось, такую тоской и безотрадностью веяло от того подвального окошка.

Но однажды, возвращаясь из парикмахерской, той, что многие десятилетия располагалась в ближайшем соседстве с тургеневским домиком (в девяностые годы двадцатого столетия прежде безымянная парикмахерская обрела имя «Авель», и некоторые местные жители, а также случайные прохожие задумывалась о профессиональной солидарности или прихоти владельца парикмахерского заведения, таким удивительным образом напомнившего миру о коварно убиенном коллеге, перестригшем в свое время множество ветхозаветных овец), мы с папой подобрали слепенькую кукольную головку, лежавшую на краю приямка возле подвального окошка.

Как она там очутилась, случайно или по чьей-то доброй воле, так и осталось загадкой. Мы принесли головку домой, и тоненькой кисточкой папа нарисовал ей аккуратные бровки, карие глазки (и головка мгновенно прозрела), раскрасил кармином губки, а волосы выкрасил под цвет глаз, и на свет явилась довольно-таки миленькая шатенка с землистым цветом лица, который не скрасил даже наведенный папой легкий румянец. В точности такими я представляла себе героев повести Владимира Галактионовича Короленко «Дети подземелья», душераздирающая инсценировка которой регулярно звучала из нашего черного репродуктора.

Головку приделали к взявшемуся откуда-то безголовому тряпичному тельцу, образовавшегося подкидыша назвали Ритой, и мама перешла на нее мое младенческое серое платьице в белую крапинку. Статус Риты так и остался сиротским, я ее жалела, но полюбить не смогла.

А ведь некогда в доме № 36 по Остоженке располагался Московский совет детских приютов Ведомства императрицы Марии Федоровны, в советские времена преобразованный в Дом матери и ребенка. Как-то избыточно символично, с явным перебором, что от этих гуманных организаций ко времени моего детства осталась только подвальная конура, где в тусклом электрическом свете шесть дней в неделю инвалиды ваяли на радость советским девочкам слепенькие кукольные головки.

В отличие от сиротки Риты, нарядная Аленка возникла чудесным образом под Новый год в кресле под елкой. Видно, ее усадил туда Дед Мороз, пока мама посылала меня по какой-то хозяйственной надобности на кухню. Пушистые Аленкины волосы заплетены были в русую косу, которую можно было расплести и заплести, головка перевязана вышитой лентой, глаза не нарисованные, как у Риты с Тamarой, а самые настоящие, прозрачные, закрывающиеся, с длинными ресницами. И наряд изумительный — вышитая рубашечка, жилетка, фартучек, носочки с настоящими башмачками! И цвет лица не землистый, а бело-розовый, нежнейший. И обликом, и нарядом Аленка походила на сельскую малороссийскую девушку. Душевно близкий образ, потому что с некоторых пор я и сама ощущала себя точно такой же.

(в окрестностях квартиры № 2)

Дело в том, что к школьному утреннику мама соорудила мне венок из красных матерчатых маков и синих бумажных васильков и вплела в него множество атласных разноцветных лент, развевавшихся во время коллективного исполнения украинского танца гопак, пользовавшегося необычайной популярностью в нашем классе.

Так вот, если бы из человеколюбия и сострадания к внукам тети Фени я решила расстаться только с Тамарой, Ритой, Аленкой и кучей накопившейся целлулоидной дребедени, я бы так не сожалела сегодня о своем якобы гуманном поступке. Их судьбой я могла распоряжаться как хотела, это были мои собственные игрушки с недлинной биографией. Но что заставило меня запихнуть в чемодан тряпичных собачек и кроликов, поселившихся в семье задолго до моего рождения?

Чьи-то умелые и добрые руки смастерили и одушевили эти игрушки. Славные существа жили-поживали в доме десятки лет, с ними играли папа и тетюшка, они переживали вместе с семьей все, что происходило в эти отнюдь не пасторальные годы. А самое главное, многие поколения бабушкиных учеников (с середины 20-х годов и до начала 50-х) писали акварелью и гуашью натюрморты с их участием. Бабушка-то еще с середины 20-х вела детские рисовальные группы. Такое, по счастью, нашлось для нее занятие в новой реальности, неплохая такая и даже комфортная ниша. О популярности ее рисовальных групп сужу по записным книжечкам, в которые год за годом бабушка вписывала фамилии учеников, их адреса и телефоны.

А сколько их было, этих учеников! Какие фамилии и какие адреса встречаются в списках рисовальных бабушкиных групп! Замечательные фамилии замечательных московских семейств, живших по давно уж не существующим адресам в незапамятные и вовсе не замечательные времена. Как говорит мой кузен Георгий Борисович Ефимов: *у тети Оли учились все арбатские дети.*

Может, и сейчас чьи-то правнуки хранят детские акварели, для которых позировали большой белый кролик и маленький черный, плюшевый, длинноухий, собачка с круглым коричневым ухом, оторванным и пришитым заново грубоватыми стежками, и другая, крошечная собачонка, первая моя младенческая игрушка?

Впрочем, не только внуков и правнуков, но и детей у большинства бабушкиных учеников не случилось. Мальчики едва ли не все канули на войне (о гибели одного из них, Володи Антокольского, сына поэта, я прочла недавно в горестном бабушкином письме военных лет), девочки остались в одиночестве.

Впрочем, кое-кого из бабушкиных учеников я знала. Например, Сигурда Оттовича Шмидта, сына знаменитого полярника Отто Юльевича, самого колоритного героя челюскинской эпопеи, полной загадок, недоговоренностей и мифов.

Язвительный Бернард Шоу так отозвался о челюскинской эпопее вообще и об Отто Юльевиче в частности: *Что вы за страна!* — сказал Шоу послу

СССР в Великобритании господину Майскому — *Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество, на роль главного героя ледовой драмы нашли настоящего Деда Мороза с большой бородой. Уверяю вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи новых друзей.*

По отзывах младших современниц Отто Юльевича и старших моих подруг, кроме героического ореола этот человек обладал еще и незаурядной мужской харизмой. Не исключено, что эта загадочная субстанция таинственным образом связана со знаменитой бородой Отто Юльевича.

Ну а сын его историк-московед Сигурд Оттович, академик, а некогда мальчик Зига 1922 года рождения и бабушкин ученик, всю свою более чем девяностолетнюю жизнь прожил в Кривоарбатском переулке, на четвертом этаже дома 12, в квартире 8.

В те времена, когда квартира их была еще коммунальной, к ним с мамой его Марией Эмильевной следовало звонить один раз. Зимой Зига жил на Арбате вдвоем с мамой, а летом обитал на даче отца по адресу: Казанская ж.д., 42-я верста, поселок Полярника им. Шмидта, дача № 47. Оба адреса из бабушкиной записной книжки и, боже, как же меня волнуют эти старые адреса и номера телефонов!

Вместе с мальчиком Зигой, в той же группе училась рисованию девочка Таня Каптерева. В книгах Татьяны Павловны Каптеревой-Шамбинаго «Арбат, дом 4» и «Дома и за границей» несколько теплых строк о бабушке:

Особую роль в ней (комнате) играл большой дубовый стол, который раздвигался на 6–8 звеньев-досок и тогда представлял собой роскошное пространство для торжественных пиршеств. Этот стол использовался и для наших занятий рисованием в группе художника Ольги Александровны Айзенман, которая собиралась на Арбате раз-два в неделю. Группу охотно посещали дети из знакомых семей, и хотя в целом успехи были невелики, занятия рисунком и живописью многое давали, в том числе в знакомстве с такой техникой, как пастель, с работой масляными красками. Особая роль принадлежала общению с Ольгой Александровной, полной жадного интереса к жизни, к нашей культуре и словно вечно молодой.

Совсем недавно, казалось бы, только что, жили и рисовали две подруги, две замечательные художницы — Ника Георгиевна Гольц и Татьяна Исааковна Лившиц. Эти женщины, родившиеся в 1925 году, познакомились в пятилетнем возрасте и дружили более восьмидесяти лет. Таня Лившиц умерла в январе 2010 года, Ника Гольц пережила ее на два года.

В нынешнем, третьем уже тысячелетии, на бабушкиной выставке, случившейся в зале журнала «Наше Наследие», Татьяна Исааковна вспомнила свой первый и, как оказалось, судьбоносный урок рисования. Она пришла туда просто так, за компанию с подругой Никой, а Ольга Александровна поставила перед девочками чучело белки и предложила сочинить фон.

(в окрестностях квартиры № 2)

Ника нарисовала настоящую картину — на фоне необъятного пейзажа (поля, речки, дальнего леса) белка на ветке сосны. Таня сравнила свою работу с Никиной и огорчилась, потому что сама окружила белку всего лишь осенними листьями — кленовыми и дубовыми. И изумилась, когда Ольга Александровна расхвалила ее акварель. А присутствовавшая при Танином выступлении свидетельница и участница давнего сюжета Ника Георгиевна Гольц прокомментировала иронически, будто бы это была лучшая Танина работа за всю ее жизнь.

Ника Георгиевна в любом случае стала бы мастером, она родилась художником, а вот Татьяна Исааковна полагала, что двинулась по этому пути (причем семимильными шагами) благодаря импульсу, полученному от Ольги Александровны в день их знакомства. И та белочка стала ее первым шагом.

Татьяна Исааковна сохранила все свои детские рисунки, и мне очень хотелось их увидеть и сфотографировать. По моей просьбе она привезла их из мастерской, но назначенная встреча сорвалась, а следующая не случилась (нельзя, ни на один день нельзя откладывать встречи), потому что Татьяны Исааковны не стало. Скончалась она внезапно, за мольбертом, счастливейший, завидный финал, о котором может мечтать каждый художник.

В своей книге «Ламповая копоть» художник Сергей Бархин, живший некогда по соседству с Никой в доме архитекторов на Ростовской набережной, написал утешительное: *Когда умирают светлые и близкие нам люди, смерть и загробная жизнь становятся светлее.*

Спустя время Ника Георгиевна исполнила желание подруги, и с Таниных рисунков семидесятилетней давности на меня глянули те самые кролики и собачки, перед которыми я чувствую вину вот уж более полувека.

Жаль, мама не остановила безоглядного моего порыва, а, наоборот, порадовалась, что дочь не жадина. И напрасно не остановила, потому что Фенины внуки отнеслись к дару с полнейшим равнодушием, хуже того, маленькая собачонка на следующий же день обнаружилась в хлеву, в куче навоза, растерзанная и погубленная. Остальные-то существа, может, были еще живы, не исключено, что их можно было спасти, но ведь подарки обратно не забирают, ведь это немыслимо, это позор! И хотя за жизнь я совершила бездну непростительных поступков, несоизмеримых с той детской глупостью, те собачки и кролики не забылись. Вот и кошечка бибабо очутилась в том чемодане, такое, увы, случилось квипрокво, недоразумение, бессмысленное жертвоприношение детишкам, обделенным судьбой исключительно в моем воображении.

По счастью и по случайности кое-кто спасся от акции безумной щедрости. Повезло черному плюшевому галчонку с желтыми гранеными глазками-бусинками, сшитому в подарок папе-мальчику в ответ на какую-то то ли бабушкину, то ли дедушкину любезность нищими, канувшими в небытие безымянными сестрами-старушками «из бывших», обитавшими в 20-е годы на третьем этаже нашего дома. И галчонок тоже позировал бабушкиным ученикам. Избежал черного чемодана Тигренок, ветеран нашего дома, его рисовали все без исключения бабушкины и папины ученики.

Остался дома зайчик Вова. Недавно возникла откуда-то открытка, которой прежде в доме вроде бы не было. Открытка самая простенькая, черно-белое фото. На постановочной фотографии всамделишная шахматная доска с расставленными на ней шахматными фигурами, настоящие шахматные часы и два игрока: живой котенок и игрушечный зайчик. Нынче-то смастерить такую открытку пара пустяков, но как уговорили котенка принять нужную позу в те времена, когда о фотопроцессоре даже не грезили? А на обороте открытки незамысловатый стишок:

*А ну-ка, сдавайся, плутишка!
Должен тебе я сказать,
Молод еще ты, зайчишка,
С гроссмейстером Муркой играть!*

*Фото В. Ерофеева,
стихи Лидии Давидович и Виктора Драгунского*

В те самые времена, когда котенок позировал В. Ерофееву, Виктор Драгунский сотрудничал с журналом «Крокодил» и принадлежал к когорте блестящих остроумцев, выживавших по мере сил в сатирическом журнале. Каждый из этих талантливых людей переживал собственную драму, каждому пришлось приспособливаться к эпохе, так или иначе встраиваться в ту или иную структуру. Незаурядные остроумцы, прибившиеся к журналу, все про современную жизнь понимавшие, служили сатириками, сочиняли фельетоны на актуальные темы разной степени мелкотравчатости, а также шутки и сюжеты карикатур. А не менее талантливые, и даже блистательные художники эти карикатуры рисовали. Правду сказать, если я и пристрастилась отчасти к изобразительному искусству, то только благодаря художникам-карикатуристам.

Да уж, нынешнее чтение тех сатирических опусов и разглядывание карикатур занятие двоякое: и забавное, и самоистязательное. А вот в детстве, да во время простуды или зимних каникул, не было большего счастья, чем перелистывать номера журналов, рассматривать карикатуры и все подряд перечитывать раз по сто.

Утешаюсь мыслью, что авторы журнала, люди неординарные, истинные свои таланты реализовали, хотя в ожидании лучших времен долгие годы писали в стол. Больше всех и раньше других повезло Виктору Драгунскому, выстроившему собственную нишу. Бог послал Драгунскому сына, и как прямое следствие этого чуда явились на свет «Денискины рассказы», нынешняя детская классика.

К счастью, в «журнале политической сатиры», одном из органов газеты «Правда», царил теплая, дружественная атмосфера. Вот какие телеграммы получала моя тетушка, сотрудница журнала: «сердечно поздравляю праздником великого октября желаю творческих успехов тчк крокодил» или «крокодил поздравляет первомаем зпт праздником мирового пролетариата». Мне кажется, мило...

(в окрестностях квартиры № 2)

Тетушка моя, участница редакционных сборищ, иногда делилась с домашними репризами участников тех мероприятий. Гениальные случались репризы, однако смеяться (или, не дай бог, хохотать) даже над самыми смешными шутками в сатирической среде не принято, это считается дурным тоном. Выслушав удачную остроту, сатирики угрюмо констатировали: «смешно» или резюмировали бесстрастно: «двадцать копеек». Такая профессиональная этика...

Тетушка моя и сама острила блистательно, однако фельетонов не писала, выбрала другую сферу деятельности, отвечала на письма трудящихся, приходившие в журнал самотеком. По призыву красного крокодилчика с вилами люди простодушно слали самодельные карикатуры. И кое-какие темы журнал иногда использовал. Но чаще авторам давали от ворот поворот, и бывало, что корреспондент обижался и жаловался в вышестоящие инстанции. Перепиской с читателями подрабатывало-кормилось множество народу: литераторов, искусствоведов и прочего гуманитарного люда. Равно как и технического, сотрудничавшего с техническими журналами.

Так вот, зайчик с открытки оказался братцем-близнецом моего собственного целлулоидного зайчика Вовы, которого папа принес из своего «копийного» цеха в самом начале 50-х. В папином цеху трудились не слесари, не токари, не прокатчики или обмотчики, а натуральные художники-живописцы, окончившие художественные техникумы и институты, а также академии художеств, в том числе европейские.

Общеизвестно, что во все времена и при любом строе живописцу не просто прокормиться своей специальностью. В советские времена самые успешные (успех гарантировали не столько талант и одержимость живописным делом, сколько иные качества, более полезные для жизни) добывали государственные заказы и ваяли живописные полотна на актуальные темы. Живописали отары с чабанами, изобильные колхозные праздники, сталеваров на фоне доменных печей, а также портреты передовиков сельского хозяйства и промышленного производства. Но заслужить такие заказы, добиться и одолеть их удавалось незначительному меньшинству многочисленных московских художников. И не исключено, что многие из тех, кому доставались такого рода заказы, выполняли их с душой и энтузиазмом, на чистом сливочном масле, как говорится...

Ну а остальные выживали как могли, в частности, всегда был спрос на художников-копиистов, они-то были востребованы советской властью. К примеру, папин копийный цех выдавал на-гора мириады портретов вождей всех рангов и всех призывов, как живых, так и мертвых, а также копии основополагающих живописных произведений эпохи (в этом ряду лидировали полотна художников Бор. Иогансона, Вл. Серова и Дм. Налбандяна).

Ранним утром, точь-в-точь, как в производственном цеху, художники заступали на свои рабочие места, но не к станкам, а к мольбертам. Происходило это следующим образом: чуть свет, едва открывались двери помещения,

арендованного для копийных нужд живописным комбинатом (обыкновенно это был какой-нибудь клуб), толпа художников разного возраста и разной физической подготовки вихрем врвалась внутрь, безжалостно расталкивая и давя друг друга неслась вверх по лестнице, а добрав до цеха (роль его выполняло просторное помещение типа зала), швыряли на пол пальто, этюдники, холсты и картонные — столбили место для работы. Лучшие места доставались не столько самым сильным и молодым, сколько самым нахальным и бесцеремонным. Своего рода разминка перед долгим рабочим днем, разновидность производственной гимнастики...

В конце концов все утихомиривались, ставили перед собой «эталонные» — проверенные и утвержденные художественным советом копии — и принимались за работу. Некоторые мучительно изнемогали под грузом удушающей, отнюдь не творческой работы, губившей, затаптывавшей данный Богом талант, и при первой же, пусть даже призрачной возможности без оглядки бежали из цеха. Именно так с благословения мамы поступил мой отец, искусство, как известно, требует жертв не только от самих художников, но и от любящих их людей...

Зато другие прикипали к этому несомненно требующему мастерства, но одновременно бездумному занятию, осваивали ремесло и горя не зная работали в цеху до выхода на пенсию. Среди таких мастеров-копиистов оказался папин друг еще со времен художественного училища «Памяти 1905 года», обещавший стать тонким пейзажистом, но так им и не ставший. Папа мой горевал о загубленном таланте друга Коли, а грустил ли по этому поводу сам Коля, этого я не знаю. Может, и грустил, потому что половину календарного года пребывал в тяжелой депрессии.

Ежегодно, начиная с 22 июня, дня летнего солнцестояния, душевное состояние Коли неуклонно ухудшалось, и к 22 декабря он впадал в беспросветное уныние и черный мрак. Достигнув своего апогея, с 23 декабря Коляно настроение потихоньку улучшалось, и постепенно уныние и мрак рассеивались. Увы, так продолжалось только до 22 июня, а потом все начиналось сначала, типа «у попа была собака, он ее любил...». Однако, как бы тяжело ни было у него на душе, Коля работал не покладая рук, и на неплохие копийные заработки на радость жене выстроил на малой подмосковной родине основательный дом, вырастил яблоневый сад и четверых успешных сыновей...

Так вот, однажды в обеденный перерыв в копийный цех явился кордебейник, такой дедушка Мазай с мешком глазастых целлулоидных зайчиков. И все отцы-художники, а также матери-художницы купили своим детям по зайчику. И дядя Коля купил зайца младшему сыну Владу, моему ровеснику.

Зайчик Вова — последний свидетель и участник единственного урока рисования, который успела дать мне бабушка. По бабушкиному совету я нарисовала Вову в профиль, причем дважды, сначала смотрящим в одну сторону, а потом в другую. Будто бы повстречались два приятеля на лесной поляне

(в окрестностях квартиры № 2)

и каждый поднял лапку в приветственном жесте, тем же, что на фото-открытке со стихом Драгунского и Давидович. Смешав по бабушкиному совету желтую краску с синей и получив чудесным образом зеленый цвет, намазюкала траву и елочку. И расставила по траве красные точки-цветочки. Картинка получилась убогая, но урок, случившийся осенью 1953 года, запомнился.

Увы, резинки, которыми крепятся к заячьему тельцу лапки, давно пересохли и ослабли, и теперь приветственный жест Вове не по силам, лапки его бессильно повисли, как у парализованного старичка, но он по-прежнему существует, живет себе поживает на книжном шкафу в компании с ветераном дома полосатым Тигренком.

Жизнь спустя после того деревенского лета в доме тети Фени у нас родился внук и случилось немыслимое — для нужд нового человека дети чудесным образом купили дачу.

По теперешним меркам засыпной домик, выстроенный в 1965 году, вроде бы не тянет на горделивое название «дача», но нам он кажется прекрасным! Тем более что в домике обнаружился чердак, помещение, традиционно овеванное ореолом тайны, предполагающее чудесные находки и всяческие сюрпризы. И правда, чердак не обманул ожиданий, все так и случилось, среди дощечек, фанерок и прочего чердачного хлама обнаружился короб, наполненный множеством газетных сверточков, аккуратно перевязанных бечевками и обильно пересыпанных мышинными экскрементами, голубиным пометом, а также трухой от осиних гнезд. Сверточки распаковали, и из каждого вылупилась по игрушке из тех самых времен, на которые пришлось и мое детство. Более того, некоторые предметики в точности дублировали те, что канули бесславно давним деревенским летом.

Нет, конечно же, это не собачки и кролики, существовавшие в единственном экземпляре, одушевленные и неповторимые. Дачные игрушки фабричного производства, тиражные, но очень теплые, свойские и ностальгические. По какой-то причине целенькие, грязноватые от времени, но вроде бы и не игранные. Целлулоидные пупсы-близнецы, лебеди и рыбки, лев, заяц, попугай, штампованная, но милая и родная уточка, в точности такая, с которой купались в жестяных ванночках все мои ровесницы и ровесники, привет из детства, прибывший на машине времени.

Скорее всего, в большинстве своем дачные игрушки явились из «Детского мира», но не из того, что на Лубянской площади, а из всеми забытого его предшественника, углового магазинчика, что был некогда на Кировской (нынешней Мясницкой) улице.

Из того самого «Детского мира», куда в начале 50-х меня водили после очередного посещения зубной поликлиники на Маросейке, дабы вознаградить за перенесенные страдания. Отчего-то в качестве награды я вечно выбирала один и тот же простецкий набор алюминиевых вилок, ложечек и ножиц, пришитых к серой картонке, на большее не замахивалась, с ранних лет знала, что родители не сводят концы с концами.

Кроме простецких пупсов и зверюшек отечественного производства в коробе-сезаме обнаружили ненашенские чудеса, механические игрушки иностранного происхождения: жестяная кошка на колесиках, кувыркаящаяся мохнатая обезьянка, заводной мотоциклист, паровоз с двумя тяжеленькими вагончиками из бесценного немецкого железнодорожного набора. А еще металлический конструктор, металлофон, глиняная мозаика, старинный калейдоскоп, крошечный самоварчик, по-правдашнему растапливающийся щепочками, короче говоря, куча игрушечного антиквариата, истинный клад, но не из каких-нибудь там драгоценных камней, золота и серебра, а совершенно особенный.

И попадись этот клад в руки нормальных здравомыслящих людей, те бы, преодолевая брезгливость, немедленно отнесли бы его на помойку или попросту сожгли, не оценили бы старинного целлулоида, побрезговали бы мышиным пометом и осиной трухой. Но нашему кладу повезло, он попал в руки чудаков, хором взывших от восторга.

Жаль только, что судьба бывшего мальчика, моего ровесника, владельца игрушек и сына прежних хозяев нашего домика сложилась печально, жизнь его оказалась недолгой и несчастливой.

Такими же вагончиками и точно такими же механическими обезьянками, как у дачного мальчика, а также множеством других небывалых и невиданных советскими детьми чудес я любовалась некогда на выставке немецких игрушек в вестибюле станции метро «Арбатская», той, что выстроена в форме пятиконечной звезды по соседству с кинотеатром «Художественный».

Чудо это чудесное случилось пасмурным зимним днем в те времена, когда я училась во втором классе школы №50 в Померанцевом переулке. Однажды, сразу же после второго урока строгая и не улыбочивая наша учительница Тамара Ивановна перечислила фамилии двадцати отличников и хорошистов (все одиннадцать школьных лет учителя звали нас только по фамилии и никогда по именам), которые прямо сейчас, сию минуту спустятся в раздевалку, оденутся и пойдут вместе с нею на выставку. На какую выставку, не сказала, а спросить нам и в голову не пришло, вопрос задать не осмелился бы ни один из второклассников, ибо учительницу нашу мы боялись до дрожи и онемения. А всем остальным, двоечникам и троечникам, Тамара Ивановна велела отправляться домой.

И сегодня явственно вижу нашу процессию как бы со стороны. Построившись парами (ни шагу в сторону — учительница наша со славным чекистским прошлым не потерпела бы нарушения строя), колонна детей в серых и коричневых пальтишках, подпоясанных для тепла ремешками, сворачивает из Померанцева переулка на заснеженную Пречистенку и шагает в сторону Кропоткинской площади. Казалось бы, происходит нечто из ряда вон, событие едва ли не праздничное — в обычный будний день вместо третьего урока идем на выставку, ура-ура! Однако радости не ощущаем, видно, не осознали еще своего счастья. А по другой стороне улицы, курсом, параллельным

(в окрестностях квартиры № 2)

нашей колонне отличников и хорошистов, плетется троечник. Имени мальчика не помню, он новичок в нашем классе и не знает, что учительница наша ни за что не смиростивится, не в ее это правилах.

Отвергнутые двоечники и троечники, знакомые с нравом Тамары Ивановны, разошлись как не в чем не бывало по домам, разбежались по дворам своим и подвалам, радуются жизни, а этот не смирился, тащится следом, надеется на что-то, и лицо у него несчастное. И сиротливая эта фигурка в шапке-ушанке и длинноватом пальто (видно, с чужого плеча или на вырост), плетущаяся по противоположному берегу Пречистенки, отчего-то помнится, не забывается.

Добредя до Кропоткинских ворот, бедняга отстал, а мы дисциплинированным строем прошагали Гоголевским бульваром, пересекли наискосок Арбатскую площадь и спустились в метро.

Станция «Арбатская» по прямому своему назначению в те годы отчего-то не использовалась, и между путями прямо посередине платформы нам открылось натуральное царство грез! По всей длине подземного вестибюля, да не в один ряд, а в два, стояли витрины с невообразимыми в московской детской реальности игрушками! Не то выхолощенное изобилие, которое мы наблюдаем нынче в любом Детском мире, а нечто поистине волшебное. Представить себе шок, который мы испытали, может только тот, кто в те времена был ребенком...

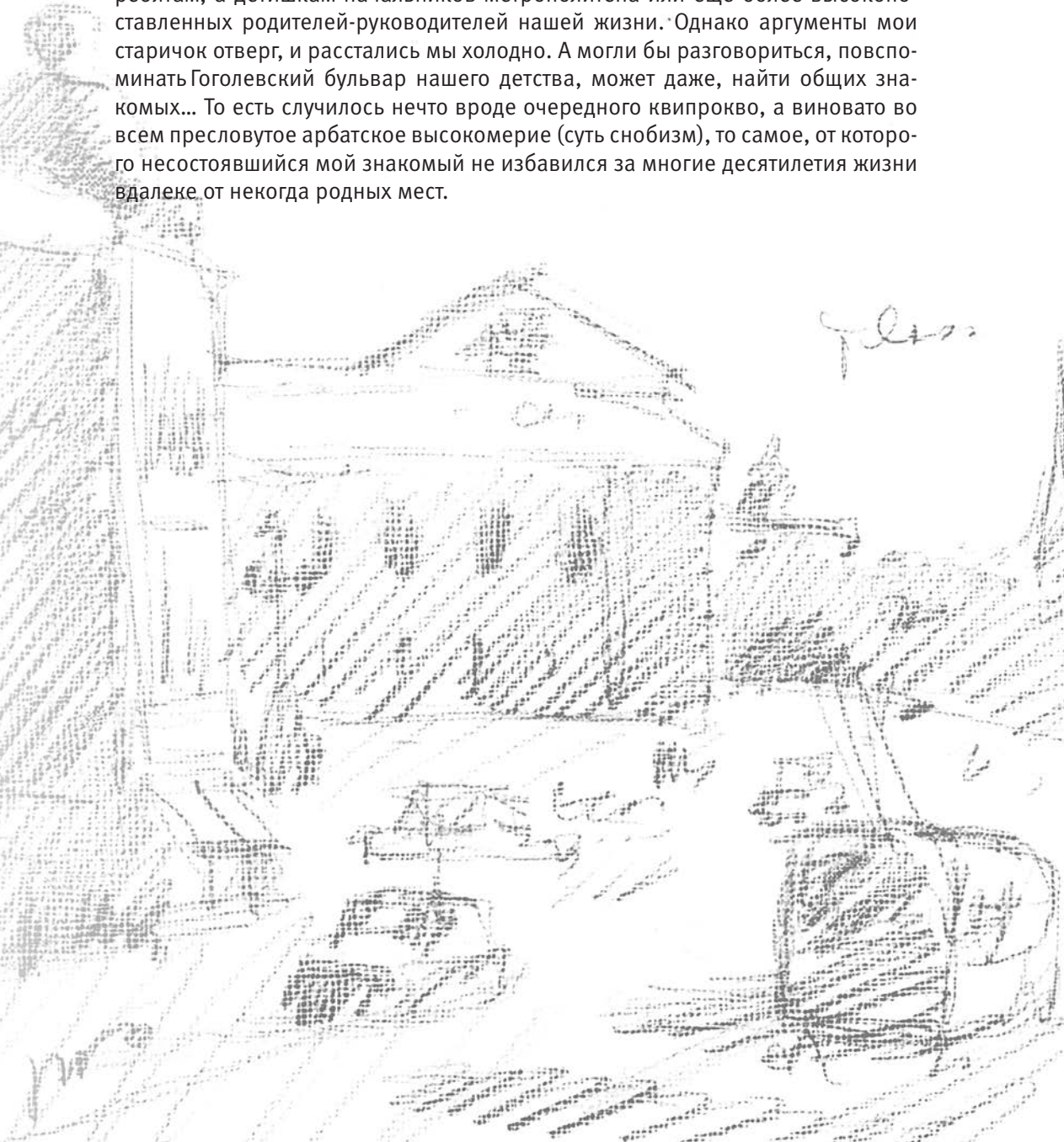
Да уж, чего-чего там только не было, каких игрушечных чудес! Самыми восхитительными были, конечно же, кукольные личности с прилагавшимся к ним гардеробом и прочим разнообразным имуществом, среди которого встречались вещички, неизвестные в аскетическом нашем быту, а потому и неопределимые. Но запомнились и мальчиковые игрушки, в числе прочего и такие, которые обнаружили вечность спустя в чердачном кладе.

А дело-то в том, что прежнему владельцу нашего домика (по сути, так и оставшемуся его хозяином), летчику, вышедшему в положенное время в отставку и назначенному военпредом на военный завод, приходилось бывать в дружественных странах и привозить оттуда ненашенские игрушки, подавляющему большинству советских детей и во сне не снившиеся. Увы, и игрушки переживают своих хозяев...

Спустя более полувека после того детского игрушечного шока отправилась я на экскурсию по Гоголевскому бульвару и его окрестностям. И возле станции метро «Арбатская» седенький старичок, не обращая ни к кому конкретно, произнес мечтательно: *А вот когда мне было пять лет, здесь была выставка немецких игрушек, и нам сказали, что их будут раздавать арбатским детям. Я пришел, а меня не впустили, сказали, что я еще маленький.*

Изумившись, что живы еще свидетели, почти очевидцы давнего того чуда, я торжествующе сообщила соседу, что меня-то на выставку пустили (я-то постарше его буду), вот только игрушек никто никому не раздавал. Сначала старичок обрадовался утешительной вести из прошлого, даже возликовал!

Жизнь прожил с печалью о неслучившемся счастье, а вот ведь, оказывается, жалеть-то было и не о чем. Впрочем, радость старичка затуманилась, когда выяснилось, что жила-то я не на самом Арбате, а между Остоженкой и Пречистенкой. И со свойственным арбатским жителям ощущением превосходства и избранности он предположил, что мне игрушек и не полагалось, а вот истинно арбатским детям их все же раздавали. Я попыталась его разубедить, мол, кому-то эти игрушки и вправду достались, но уж точно, что не простым арбатским ребятам, а детишкам начальников метрополитена или еще более высокопоставленных родителей-руководителей нашей жизни. Однако аргументы мои старичок отверг, и расстались мы холодно. А могли бы поговориться, повспоминать Гоголевский бульвар нашего детства, может даже, найти общих знакомых... То есть случилось нечто вроде очередного квипрокво, а виновато во всем пресловутое арбатское высокомерие (суть снобизм), то самое, от которого несостоявшийся мой знакомый не избавился за многие десятилетия жизни вдалеке от некогда родных мест.





Не знаю, как в других семьях, но в нашей из общенародных праздников праздновался только Новый год. Праздновать-то мы не праздновали, однако в общенародные праздничные дни жили с соседями

ми общей жизнью, потому что дышали одним воздухом. И на Пасху, и к 1 Мая, равно как и к 7 Ноября, соседи варили холодец из свиных ножек или бычьих хвостов, в зависимости от того, что удавалось достать в предпраздничных очередях. Главное блюдо соседского праздничного стола называлось «студень». Студень варили сутки, с перцем, морковью, «лаврушкой» и добивались прекраснейших результатов, идеальной холодцовой кондиции. Без всякого желатина холодец застывал преотлично, подобно драгоценному янтарю с загадочными доисторическими вкраплениями! Своими студнями кичились, соседские холодцы высмеивали, то есть любой праздник сопровождался чемпионатом студней. Как и во многих прочих коммунальных коллизиях, арбитром назначалась моя мама, ей доверяли и приносили на пробу образцы холодцов. Притом что мама холодец в рот не брала, зато его любил папа, приношения охотно съедал, и мама выносила вердикт: все студни отличные, одинаково прекрасные! Такое вот политиканство, а что поделать, соседи и без того вечно ссорились.

Если вода существует в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном, то истинный студень как минимум в двух: в виде тугого резинового желе и в виде доведенного до кондиции взвеси аромата, в котором наша плохо проветриваемая квартира, вроде как внутри газообразного

(в окрестностях квартиры № 2)

студня, жила пару предпраздничных дней и всю последующую неделю (холодец-то варили с запасом, чтоб надолго хватило). И если перед праздником квартиру заволакивало сытным, не лишенным приятности маревом (в эти дни можно было не завтракать, не обедать и не ужинать), то в последующие дни субстанция эта постепенно трансформировалась в смрад, род газовой атаки. Видно, происходила своего рода диффузия, и холодцовый букет насыщался посторонними компонентами, а на смену первой холодцовой свежести приходила вторая, третья и все последующие. А ведь запах явление загадочное, бывает, что и опасное, в мгновение ока переносит человека бог весть куда, хоть в детство, хоть в юность, хоть в лучшие его дни, хоть в худшие. Очевидно, что кроме скорости света и скорости звука существует и скорость запаха... нечто вроде персональной машины времени, распоряжающейся седоком по своему хотению.

А вот Новый год соседи не праздновали, нас за интеллигентскую причуду с брезгливым недоумением презирали (мол, елку покупать, что деньги выбрасывать) и спать ложились рано, как в обычные будние дни, телевизоров-то, а значит и «Голубых огоньков» еще не было... Елку наряжала и хлопотала вокруг нее только наша семья, хотя во времена моего детства ежегодное добывание сакрального древа становилось рискованным предприятием и было мужской обязанностью.

В один из последних декабрьских вечеров, сунув в карман моток шпагата, папа отправлялся на площадь трех вокзалов и оттуда по шпалам двигался в ночь — прочь от Москвы. И где-то там, возле одной из ближайших платформ, не на обочине, а на железнодорожных путях, между несущимися к столице и рвущимися из нее электричками, поездами дальнего следования и грохочущими товарняками подмосковные жители, промышлявшие елочным бизнесом, поджидали своих клиентов. Самая безопасная для торговли была территория, потому что это пространство находилось в ведении железнодорожного ведомства, а не московской милиции, рьяно отлавливавшей в предновогодние дни покупателей несправедливых елок.

Ловцов елок на железнодорожных путях бродило существенно больше елочных браконьеров. Завидев во тьме смутный силуэт то ли елки, то ли продавца, перепрыгивая через рельсы и шпалы, соперники наперегонки мчались к цели, но побеждал не тот, кто добежал первым, а самый ловкий и проворный. Елку не рассматривали, качества ее не оценивали (да и как оценишь в непроглядном мраке), не торговались, брали что давали, как kota в мешке.

Обретя вожделенное деревце, еще не остыв от пережитого азарта, папа не садился в метро, а из конспиративных соображений (елочка-то была незаконная) шел домой пешком. От Комсомольской площади до нашего дома расстояние не близкое — половина Садового кольца, семь с лишним километров, но молодого моего отца долгий путь не пугал, а радовал. Как, впрочем, и не молодого. И в расцвете лет и на их склоне, и зимою и летом папа любил,

по собственному его выражению, «свежо обежать Садовое кольцо», полюбоваться Москвой во все времена года и в любое время суток, пооткрывать новые ракурсы и живописные сюжеты. Ну а в ночной пробежке по пустынному, заметенному снегом городу, да в компании с заледеневшей елочкой, присутствовали и удаль, и чувство исполненного отцовского долга, и впечатанное в душу ликование, предчувствие Рождества — весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепье цветной мишуры... все яблоки, все золотые шары. И даже в те времена, когда радоваться вроде бы было нечему, когда все злей и свирепей дул ветер из степи, зловещие жизненные реалии не могли сломать этот счастливый предновогодний кураж.

Для нас с мамой вечера охоты на елку проходили из года в год по одному и тому же сценарию. Сразу же после папиного ухода мама начинала тревожиться. Ей мерещились, и небезосновательно, ужасы, которые могли приключиться с папой на железнодорожных путях. Тревога стремительно нарастала, передавалась мне. Несколько часов мы изнемогали от напряженного ожидания, мама металась по комнате, всматривалась в темноту за окном, снова металась.

Наконец раздавался звонок (к нам звонили один раз, к соседям, соответственно, два, три, четыре...), мама бежала к входной двери, распахивала ее, и в дверной проем протискивались двое: убеленный пешеход и удивленное растение, оцетинившееся колючими сосульками. Вес был взят, папа торжествовал, квартиру ошеломлял аромат хвои, на плите в желтом пламени с фиолетовыми языками закипал зеленый эмалированный чайник, а елочка отправлялась в холодный тамбур и там в заточении до тридцать первого декабря (традиционно ее наряжали именно в этот день) зябла между дверями черного хода.

На тот случай, если кто-то из позже народившихся людей не в курсе, сообщаю, что в нормальных московских квартирах существовало два входа-выхода: парадный — с улицы или из переулка, и черный — со двора в кухню. В прежние времена через черный ход входила-выходила прислуга, дворник, прачка, калики перехожие, а парадным пользовались хозяйева, их гости и прочая чистая публика. В нашей неказистой квартире черным ходом пользовались все жильцы, чистые и нечистые. Удобная система — вход-выход не в один, а в два переулка. В парадную дверь звонили, в кухонную стучали кулаком, а то и ногой колотили, если долго не открывали. Парадная дверь запиралась на английский замок, и даже существовала цепочка, которой не пользовались, потому что впускали всех без разбору, не расспрашивая и не разглядывая посетителей сквозь щель, мало ли кто к кому пожаловал... Дверь черного хода запиралась на крошечный кованый крючок размером с детский мизинец, там же, в тамбуре черного хода проживало безрадостную свою жизнь пожилое помойное ведро-инвалид, общественное достояние, пережившее несколько поколений жильцов. Помятое, ржавое, выражение (если у ведра может быть выражение) имевшее самое что ни на есть депрессивное.

(в окрестностях квартиры № 2)

Традиционно несколько декабрьских дней и ночей жизнь бедняги скрашивала очередная елочка.

А в один из вечеров между обретением елки и ее воцарением мы с папой совершали рискованный, почти криминальный рейд по окрестным черным лестницам. Нашей целью был обыкновенный песок, тот самый, которым дворники посыпали обледеневшие тротуары. Мы прокрадывались в чужие подъезды, обследовали их и в конце концов обнаруживали местонахождение песка, каждый год новое. Пугая друг друга звуками и чужими шагами, похищали полведра песку (разумеется, для этой цели использовалось не помойное ведро, а другое, предназначенное для кипячения белья), маскировали его газетой «Вечерняя Москва» (в просторечии «вечеркой») и черным ходом возвращались домой. В ведро с песком предстояло воткнуть елочку.

А ведь, казалось бы, чего проще — взять да и попросить песку у дворника дяди Вани Гордеева, хорошего нашего знакомого, почти родственника, отца няни моей Ани, сколотившего мне в подарок деревянную лопатку и маленькую скамеечку. Ан нет, не могли мы подвести дядю Ваню. Если бы по благу он отсыпал нам полведра песку, а нечаянный свидетель донес об этом домоуправу Петру Васильевичу Миронову, то дяде Ване не поздоровилось бы... Песок-то был государственный, подотчетный, а семья Гордеевых без постоянной московской прописки и без того существовала в столице на птичьих правах и каждую ночь дрожала за свою участь, потому что именно по ночам участковый уполномоченный с домоуправом совершали рейды, отлавливали граждан, не прописанных в столице нашей родины. По этой-то причине няня моя Аня ночевала не в дворницкой избушке родителей (в тесноте, да не в обиде), а в котельной соседнего дома, которую по совместительству с дворничкиными обязанностями обслуживал бывший фронтовик дядя Ваня. Каждый вечер прокрадывалась туда незаметно, накрывалась дворничкиным тулупом и затаивалась до утра, а утром так же скрытно выбиралась на поверхность и в восемь утра, когда мама моя уходила на работу, заступала на должность. На самом-то деле долгие годы (и тогда, когда Аня у нас уже не работала) каждое полугодие мама возобновляла Анину «временную» прописку в нашей комнате, и, таким образом, в Москве она жила на законном основании и высылке на малую деревенскую родину не подлежала. Но ночевать-то у нас было негде... Прописка-управдом-участковый — вечный рефрен эпохи и одна из ее страшилок. Зато по утрам «временная прописанная» Аня с ощущением своей уместности и правоты смело выходила на нашу коммунальную кухню и варила традиционные утренние макароны. Макароны в те времена были одного-единственного сорта — трубчатые, до сантиметра в диаметре, серого цвета. И продавались не в аккуратных упаковках, а в развес, и сыпали их в кульки, свернутые из грубой бумаги или попросту из газеты. Восхитительные макароны, теперь такие не встретишь! А для Ани еще и небывалое лакомство, фантастическое достижение городской цивилизации, к которому она пристрастилась, как алкоголик к

спиртному. С соседями нашими Аня дружбы не водила, видела их натуру насквозь и маму мою вразумляла: *Чего ты с ими фигли-мигли разводишь, они один разговор понимают — лопатой в харю...* Короче говоря, в добывание полуведра песка для сакрального новогоднего древа жизнь вложила множество смыслов, на все вкусы...

В те же ранние детские времена поселился у нас синеглазый ваточный дед-мороз в шубе, отороченной ватным мехом, с посохом и мешочком подарков. Первоначально шуба была голубой, но таковой она оставалась недолго. В тот же вечер, когда ваточный старичок прибыл к нам, не откладывая в долгий ящик, папа перекрасил шубу в красный цвет, потому что голубой показался ему невыразительным. Ведь ваточному Деду Морозу предстояло не только стоять на часах возле всех наших будущих елок, но и участвовать в натюрмортах, которые по обыкновению, заведенному еще бабушкой в своих рисовальных группах, папа ставил для меня, кузенов моих и приятелей в декабрьские и январские дни. А в натюрмортах красный цвет уместнее и звонче голубого. Ваточный дед-мороз явился на свет старичком, в этом возрасте, незаметно дряхлея, прожил в нашем доме несколько десятилетий, и теперь мы с ним почти ровесники. Хотя в елочной компании мы с дедом-морозом отнюдь не самые пожилые. Живы елочные игрушки, ветхие и тем более прелестные, те, что в незапамятные времена бабушка смастерила для сына и дочери. Это Том и Салли, парочка негрятят, сшитых из коричневых хлопчатобумажных чулок (тех самых, которые ненавидели, но виртуозно штопали и смиренно носили многие поколения советских женщин), Красная Шапочка с крошечной прутьяной корзинкой и большеглазый Пэр Нозль (а вовсе не англоязычный Санта-Клаус). А еще есть музыкальная шкатулка, подаренная дедушкой бабушке в их первый совместный Новый год, не абы какой, а одна тысяча девятьсот четырнадцатый, тот самый, злополучный, перевернувший мир вверх тормашками и пустивший в распыл миллионы и миллионы бывших и будущих человеческих судеб...

В музыкальной шкатулке помещаются латунный валик, усеянный множеством тоненьких иголочек, и частая гребенка, похожая на гребешок, которым летом на даче детсадовские нянечки вычесывали из наших голов кровососущих паразитов. Шкатулочный механизм заводится ключиком-колечком, валик вращается, иголки взаимодействуют с гребенкой, и из давних-предавних лет звучат очаровательные рождественские мелодии. Волшебство, чудо чудесное, что шкатулка жива и звучит, но только потому, что в течение прошедшего века (за исключением тех лет и таких обстоятельств, когда не до елок было) ее заводили исключительно в новогодние дни, все остальное время она затаивалась в недрах старого шкафа и помалкивала. Шкатулку заводят при зажженных елочных свечках, и на свет их и на рождественские мелодии являются прежние слушатели и незримо, но очевидно присутствуют, даже те являются, кого я не застала при их жизни и лично знакома не была. На мгновение мы оказываемся вместе, но с каждым годом рождественские мелодии звучат все грустнее и грустнее... Что же касается

(в окрестностях квартиры № 2)

свечек, то, прежде чем их зажечь, непременно отдергиваются оконные шторы, чтобы елочные огни множились до бесконечности, отражаясь в вечернем законном пространстве, в зеркалах, в застекленной дверце книжного шкафа, а некогда в толстых линзах тетушкиных очков и в стеклышках дедушкиных и бабушкиных пенсне...

Кстати (и заодно) о елочных мелодиях. Вдруг не всем известно, что автор нестареющей песенки «В лесу родилась елочка» композитор-любитель Леонид Бекман. А бессмертный текст написала детская поэтесса Раиса Адамовна Кудашева, в девичестве княжна Гидройц. Стишок, опубликованный в журнале «Малютка», для старшей дочери Веры и на радостях от рождения младшей девочки композитор положил на музыку 17 октября 1905 года, то есть песенка, явившаяся на свет одновременно с Олей Бекман и Манифестом 17 октября, ненамного старше нашей музыкальной шкатулки.

Соседи презирали все эти елочные сантименты, но одна соседка смотрела на дело иначе, приходила под нашу елку, выпивала рюмочку кагора, пила с нами чай, умилялась рождественским мелодиям...

Мария Мартыновна Недзельская, весьма уже пожилая особа, переселилась в нашу квартиру с третьего этажа нашего же дома уже на моей детской памяти. Обменяла сухую и светлую комнату на холодную и сырую круглосуточно темную нору — дурное, убогое жильё. Прежние жильцы приплатили ей нечто мизерное, вот и согласилась и даже обрадовалась удаче, ведь жила-то одна-одинешенька, без работы, без пенсии, всем чужая...

Давным-давно при неведомых обстоятельствах Мария Мартыновна покинула Польшу и очутилась в Москве. Во времена коммунального нашего общежития никто ничего о себе не рассказывал, будто не было у людей прошлого, и каждый из наших соседей свято хранил свою тайну. Десятилетиями, проживая бок о бок с множеством персонажей и зная в ненужных и неаппетитных подробностях все о сегодняшних их жизненных обстоятельствах, мы ничего не знали, не ведали о том, что было с ними раньше, откуда они приехали, зачем и почему покинули родные места. Никто не рассказывал о своем детстве, о родителях, о дедушках и бабушках. А ведь все они прибились к нашему мансуровскому берегу не от хорошей жизни. Обыкновенно бежали из деревень от голода, от колхозов, а прошлое решали забыть, забыть наглухо или хотя бы скрыть от окружающих. Так и канули все они в вечность неизвестными, неоткрывшимися, навсегда испуганными, с кляпом во рту. Хоть в большинстве своем отнюдь не беззащитными, скорее наоборот — наглыми, нахрапистыми, агрессивными.

И все же Мария Мартыновна поведала кое-что о прежней своей жизни, рассказала бы и больше, если б кто-нибудь проявил подобие интереса. Но у соседей ничего, кроме гогота и глумления, рассказы ее не вызывали, да и родителям моим было не до расспросов. Тем более что разнообразно чудачковатых людей с замысловатыми судьбами тогда еще водилось немало, пруд пруди. Едва ли не в каждой квартире жили штучные люди «из бывших», а уж

если по Арбату пройти, да по его окрестностям... Жаль, что нынче земля московская оскудела колоритными персонажами, не хватает их городскому пейзажу.

Смутно мерещился в прошлом Марии Мартыновны муж, учитель танцев — фигура небывалая, фантастическая, не из нашей жизни. Тень его возникла в воспоминании о чем-то барском доме с колоннами и о мазурке в огромной зале с навощенным паркетом. И вроде бы Мария Мартыновна демонстрировала на тех танцевальных уроках правильные па и хорошие манеры. Вспоминая мужа, мазурку, колонны и запах воска, Мария Мартыновна привставала на цыпочки, изящно изгибалась, грациозно взмахивала руками и становилась похожа на птицу, изготовившуюся к полету. Судя по всему, в Россию семью выписали на работу в чей-то благополучный дом, но случился исторический катаклизм, дома благополучного как не бывало, муж канул, пропал без следа, и Мария Мартыновна осталась неприкаянной сиротой. К московской действительности она адаптировалась плоховато, на радость гегемонам нашим квартирным по-русски говорила со смешными ошибками, и они наперебой потешались над ее акцентом, передразнивали, но заодно освоили кое-какие польские слова и выражения. — *Яки пенкны квяты!* — с готовностью гоготали жильцы при виде любых цветов. — *Бардзо добже! Вшистко добже!*

Внешне Мария Мартыновна напоминала классную даму из жизни до-революционных школьников. Серая юбка до полу, надо лбом серый валик волос, идеально прямая спина, пергаментная кожа, поджатые губы, острый нос, зоркие глазки из-под припухших век.

Соседи запросто звали ее «Марыхна», фамильярничали, обращались на «ты» и перманентно подшучивали с разной степенью безобидности — разыгрывали (существовал такой популярный коммунально-кухонный жанр, помогавший коротать вечера). Мария Мартыновна не обижалась, оставалась любезной, услужливой, выполняла несложные поручения, выстаивала бесконечные очереди, получала в качестве гонорара съестные крохи — выживала, одним словом. В добрую минуту по требованию жильцов исполняла дребезжащим голоском невинные куплетки, смешившие публику до коликов в животе:

*В магазине По
Продавали жо...
Не подумайте худого,
Желтые ботинки.*

Теперь-то я понимаю, с какими неиспорченными, неискушенными (по сегодняшним-то меркам) людьми мы соседствовали в те незапамятные времена... а ведь не ценили...

У Марии Мартыновны имелась одна-единственная вроде бы ценная, но бессмысленная, на наш взгляд, вещица, многоярусное сооружение, задуманное как вместилище для множества видов специй, похожее то ли на

(в окрестностях квартиры № 2)

сверкающую новогоднюю елку, то ли на Эйфелеву башню. Ни самих специй, ни тех продуктов, которые они могли бы обогатить ароматами и прочими нюансами, давно уж не существовало ни в чьем обиходе, но все же это чудо чудесное, материализованное воспоминание о прежней роскоши в преддверии католических праздников торжественно выносилось в кухню и разбиралось на множество составляющих. Хрустальные сосуды отмывались, каждая грань протиралась уксусом до алмазного блеска, а остов сооружения и металлические крышечки начищались до молниевоего сверкания. В кухне нашей, до черноты закопченной всеми примусами и всеми керосинками безразмерной эпохи и пропитанной всеми ее (эпохи) запахами и испарениями, эта удивительная конструкция казалась пришельцей из иных миров, да так оно по сути и было. В такие предпраздничные дни Мария Мартыновна ни перед кем не заискивала, не лебезила, а держалась со шляхетским достоинством и часами священнодействовала над своим сокровищем. И соседи удивительным образом преображались, не ерничали, не зубоскалили, наступало нечто вроде момента истины, когда все они на генетическом уровне ощущали-таки социальную дистанцию.

Нет, Мария Мартыновна вовсе не была такой уж трогательной старушкой и не казалась божьим одуванчиком, но мама жалела ее, и хотя деньгами помочь не могла, безмолвно ставила на кухонный ее столик тарелку с котлетой и картофельным пюре. Вот и Новый год Мария Мартыновна встречала с нами, а со своей стороны, старалась принести пользу нашему семейству. К примеру, безуспешно пыталась обучить меня хорошим манерам и красивой походке. Шаг должен был начинаться с носка. Сама она умела так ходить и летучей мышью неслышно скользила по бесконечному нашему коридору (ее комната была в дальнем его торце). А еще она намеревалась исправить форму и размер моего носа, оскорблявшего ее эстетическое чувство. Но для этого я должна была ежеминутно тереть этот несчастный нос, на ночь зажимать прищепкой и потратить на это благое, но бесконечно нудное дело годы и годы. Стоила ли овчинка выделки? Не знаю, может, и стоила, жизнь, наверное, сложилась бы иначе, если б не врожденная лень. Увы-увы... ни тебе красивой походки, ни носа совершенной формы... ни себе, ни людям.

Как бы тяжело ни жилось Марии Мартыновне, но ни жалкое, десятилетиями длившееся бесправное существование, ни преклонный возраст не уничтожили врожденной женственности, не убили мечту о прекрасном принце. Обыкновенно, возвратившись из очереди, которую она кротко выстаивала по велению соседки, следовал на потеху квартирному сообществу рассказ о молодом человеке, ловко подхватившим ее, когда у нее закружилась голова и она едва не потеряла сознание, или об интересном мужчине, любезно поднявшем оброненный ею платок. Все молодые люди и все интересные мужчины были высоки, светловолосы и вели себя как истинные джентльмены. И одеты были все как один в белые рубашки с воротниками апаш и элегантные серые костюмы.

Но самое удивительное, что однажды прекрасный принц явился! В августе 57-го года в вихре московского фестиваля молодежи и студентов в нашей квартире материализовался высокий блондин Станіслав — внучатый племянник Марии Мартыновны, натуральный иностранец, варшавянин, прибывший в Москву в составе польской делегации. И жильцы своими глазами увидели прекрасного шляхтича, сначала гордо прошеествовавшего по длинному нашему коридору в комнату двоюродной своей бабки, а через несколько минут в ужасе от убожества ее жилища бежавшего с искаженным лицом в обратном направлении. Народ и разойтись не успел. Знаменательно, что выглядел Станіслав в точности так, как молодые люди и интересные мужчины, то и дело встречавшиеся на жизненном пути Марии Мартыновны. Разговоров и толков после того удивительного визита хватило надолго. Забрехала даже призрачная надежда на перемену участи — а вдруг родственники пожалеют старушку и заберут в семью... Однако ничего судьбоносного не случилось, мираж развеялся, но осталось воспоминание о пришествии белокурого пана в белой рубашке с воротником апаш и светло-сером костюме.

Между тем происходила ротация соседей, а Мария Мартыновна становилась все более и более странной. Горько плача, в полотняной рубашке допотопного покроя, босая, с перекинутой на грудь жидкой косицей, выходила в кухню и сообщала, что пришло письмо со страшным известием — утонул брат. Дрожащей рукой протягивала пожелтевший конверт, датированный июнем 27-го года. Назавтра являлась радостная и в подробностях описывала свадьбу племянницы. Свадьба действительно состоялась, но лет тридцать назад, и член фестивальной польской делегации Станіслав как раз и являлся плодом этого брака. Навещала Марию Мартыновну одна только Леокадия Яновна, курировавшая ее по католической линии. Католики не оставляли своих стариков без поддержки. Возможности их были мизерны, но все же...

Любители незатейливых песенок про «по» и «жо» улучшили свои жилищные условия и всем скопом свалили в микрорайон Черемушки. Спустя несколько лет очередная соседка, женщина практичная и брезгливая, учуяла в Марии Мартыновне опасность для безоблачного благополучия своей семьи и определила старуху сначала в психиатрическую больницу, а потом в богадельню, где и закончилась ее жизнь. Навестив ее однажды, мама с трудом опознала Марию Мартыновну среди множества других наголо обритых старушек, лежавших и сидевших на железных койках в огромной, без конца без края палате, а Мария Мартыновна маму мою не узнала. Огорошенная увиденным, при всем своем мужестве на повторное посещение богадельни мама не решилась.

А поздней осенью в квартиру с топотом вломилась ватага под предводительством домоуправа. С двери комнаты Марии Мартыновны сорвали сургучную печать, в поисках ценностей-драгоценностей перевернули скудное имущество, растерзали подушки, выпустили наружу вихрь пуха и перьев, нашли мизерную заначку дореформенных, вышедших из употребления денег, схватили прибор для специй, больше ничего полезного не нашли, наследили

(в окрестностях квартиры № 2)

и умчались... Так мы узнали о смерти Марии Мартыновны. А недавно, целую жизнь спустя, из взъерошенной бумажной стопки выпал коричневатый от времени тетрадный листок в линейку. С коротким текстом, написанным тем самым почерком, которому учили в гимназии на уроках чистописания:

Дорогой! Алексей Семенович!

*Прошу принять мою большую благодарность за вашу доброту,
и этот маленьки знак большой признательности.*

*Благодарна
М. Недзельская*

Именно так, на польский манер: «маленьки знак». Записку эту, возникшую самостийно и адресованную моему отцу, я ощутила тайным приветом из давней и общей с Марией Мартыновной жизни нашей семьи, из тех времен, когда все были живы. Тайным потому, что так и останется загадкой, за что она благодарит папу, чем он помог ей в тот раз и какой «маленьки знак большой признательности» получил за свою помощь.

Однако пора вернуться к нашим баранам (суть к елкам). Шли, как водится, годы, родилась дочь, и я сама стала добывать елки. Ежегодно двадцать пятого декабря (дата последнего предновогоднего завоза партии елок на елочные базары) ни свет ни заря выходила из дома и в пустом троллейбусе маршрута №15 устремлялась к Новодевичьему монастырю. Обыкновенно возле выгородки, сооруженной под монастырскими стенами, уже маячили ранние пташки — две-три человеческие фигурки, жившие от монастыря «в шаговой доступности», как пишут нынче в объявлениях о продаже квартиры. За наско-ро сколоченным занозистым заборчиком темнела лесная чаща, елочный конгломерат, завезенный к монастырским стенам прошедшей ночью. Времени до открытия елочного базара оставалось предостаточно, часа три.

Кто-то доставал из кармана бумагу с карандашом, и мы принимались составлять список очереди. Народ прибывал, сограждане смиренно записывались в наш список, диктовали по буквам фамилии, запоминали свои номера. Раз в полчаса отмечались, отсутствовавших безжалостно вычеркивали. Опоздавшие к переключке не бунтовали, не возмущались, кротко занимали очередь заново, порядок есть порядок...

Ранние, совсем не городские часы у монастырских стен умиротворяли всех поголовно. Утро-то на дворе стояло самое что ни на есть рождественское, хотя и по григорианскому календарю. Между переключками, бродя в одиночестве вдоль заиндевевших стен, тянуло заблудиться в эпохах, потому что ближних подступов к монастырю время вроде бы и не коснулось. Не коснулось ни старых ив, ни замерзшего пруда. Падал редкий снежок с темноватого неба, медленно светало. Успенский собор функционировал во все времена, но шли ли в нем службы в те ранние декабрьские утра, звонили ли колокола на прекраснейшей из колоколен, этого я не помню. В моей памяти колокола звонят...

Перед апофеозом (открытием елочного базара) являлись владельцы наших дум и вершители елочных судеб — продавцы в ушанках, ватниках и негнущихся валенках до колен и с галошами. С физиономиями угрюмыми, замкнутыми и высокомерными. Отперев калитку, запертую на амбарный замок, величественно вступали в загон. На финишной прямой людское скопище упорядочивалось, обретало очертания, напрягалось, но продолжало притопывать, прихлопывать, приплясывать и производить иные согревательные движения. Ну а ежели обостренное коллективное обоняние учувало опасность (среди нас мог оказаться и скандалист, и провокатор, и самозванец), очередь сплавивалась, не оставляя в гуттаперчевом своем теле ни единой щелочки, ни единого просвета, куда мог бы втиснуться елочный хулиган, нарушитель общественного спокойствия.

В дощатый загон впускали человек по пять или по десять (это как владельцы решат), и тут не следовало мешкать. Под нетерпеливыми взглядами сограждан, прильнувших к щелям в заборе, требовалось собрать волю в кулак, сосредоточиться, в кратчайшие сроки выбрать елку и убраться восвояси, никого не раздражая и не задерживая. И елка выбиралась, чаще всего не того качества, о котором мечталось и ради которого затевались и раннее вставание, и путешествие на первом троллейбусе, и морока с очередью и перекличками. Но даже самые неудачные деревца хранили отблеск рождественского утра возле заиндевших монастырских стен.

Случались и отступления от протокола. Однажды в самом начале моего пути, еще на троллейбусной остановке, поймала меня грузная старуха, непрезентабельное существо, замотанное в многослойное тряпье. Выкатилась в ночи, будто специально поджидала, из-за угла цветочного магазина — крошечного домика с двумя витринами, круглый год заросшими зеленью и существовавшего до поры до времени на углу Пречистенки и Малого Левшинского переулочка (здесь, и только здесь, в февральские и мартовские дни покупала я роскошные лиловые цинерарии и розовые примулы в подарок старшим своим подругам). Старушка, материализовавшийся персонаж кошмарного сна или страшной сказки, будто мысли мои прочла и спросила притворно приторным голоском: «Елочка нужна, красавица?»

Растерявшись от неожиданности, я тотчас попала на крючок и, вместо того чтобы провести несколько упоительных часов возле заиндевших монастырских стен, как загипнотизированная, двинулась вслед за старухой в недалекое ее жилище. Гостеприимным жестом старуха распахнула дверь в совмещенный, слабо освещенный санузел. В ванне едва ли не до потолка громоздились елки, а на полу гора грязного белья. Ну как было выбрать елочку в такой неаппетитной тесноте? Старуха выдернула одну и со словами: «Хозяин — барин, бери» — всучила мне. А я обреченно заплатила пятерку и, злясь на старуху, а еще больше на себя, поплелась домой. И вроде бы была эта елочка не так уж плоха, может, не хуже той, гипотетической, монастырской. Но радости от ее обретения я не испытала, вроде бы не в лесу

(в окрестностях квартиры № 2)

родилась эта елочка и не в лесу она росла, трусишек заек сереньких и сердитых волков и в глаза не видала, а явилась на свет в облупленной ванне, выпроставшись из груды грязных простынь. На себя надо было злиться, а не на елочную старушку, она-то ни в чем не провинилась, просто подрабатывала, крутилась, выживала как могла...

А вот еще памятный елочный эпизод. Однажды обуюло меня честолюбивое намерение устроить особенную елку — огромную, до потолка, с печатными пряниками, конфетами в фантиках, с запахом мандаринов, вроде той, что в «Детстве Никиты».

А может быть, «Детство Никиты» вовсе и ни при чем, а амбициозный тот замысел возник как следствие единственного в жизни посещения елки в Кремле, случившегося в третьем классе. Елку-то устанавливали не в стеклобетонном чудище, в те же примерно времена возникавшем, как в страшном сне, на месте варварски уничтоженного Чудова монастыря, а в пафосном бело-золотом Георгиевском зале и разрешали резвиться в его окрестностях, в сказочно нарядном пространстве Грановитой палаты. Видно, образ той грандиозной елки так прочно обосновался в простодушном детском сознании, что никуда не подевался и в последующие годы, взрослые и, казалось бы, скептические.

Между тем родственница наша, Любаша, служила в филиале Исторического музея, все в том же Новодевичьем монастыре. И к моменту возникновения безумной затеи елочные продавцы (те самые спесивые монстры в ватниках, ушанках и негнущихся валенках) заметили юную и исключительно милостивую Любашу и каждый раз, когда она пробежала мимо елочного базара, заговаривали и пытались познакомиться. То есть нежданно-негаданно у нас появился елочный блат. И однажды утром Любаша взволнованно сообщила по телефону, что елка, точно такая, о какой я мечтала, прибыла. Мы с мамой быстренько собрались и отправились к стенам Новодевичьего монастыря.

И правда, ель высотой метра четыре, со стволом сантиметров тридцать в диаметре, нас поджидала. И Любаша, опасаясь, как бы товар не ушел на сторону (а параметры елки в точности соответствовали актовому школьному залу, для которого дерево, судя по всему, и предназначалось), уже заплатила за него ужаснувшую нас цену. Мы с мамой попытались поднять дерево, но не смогли оторвать его от земли. За дополнительную плату нам отпилили часть ствола. И все равно дерево оставалось неподъемным. Пришлось опять раскошелиться и ампутировать еще кусок елочного тела. Кое-как, волоком, втащили елку на территорию монастыря, перегородили вход в отдел древнерусской живописи, приуныли. Решили укоротить елку еще на метр. Отыскали монастырского работягу с пилой, заплатили, в третий раз облегчили ношу. Укороченная вдвое против первоначальной своей длины (или высоты), елка так и осталась тяжеленной. К тому же ветви ее, в незапамятные времена потерявшие пластичность, одеревенели и растопырились наподобие лосиных рогов.

И пешком, точно так же как за тридцать лет до этого папа, но без его душевно-го подъема, потащили мы с мамой домой это несчастное понапрасну загубленное лесное чудище.

Шли долго, с передышками. По Пироговке мимо клиник, вдоль Девички, через Зубовскую площадь, по Пречистенке — по родным местам шли. Сам монастырь, зубчатые стены его и башни, старые ивы и холмистый берег пруда в разные годы рисовала бабушка. И в юности, в довоенные еще времена (в одиночестве и с товарищами — студентами художественного училища), а также во взрослые свои годы их писал папа. Сюда же и бабушка, и папа приводили своих учеников. В давнем каком-то июне на этой же территории проходила летнюю практику моя художественная школа.

На старом Новодевичьем кладбище (новая территория десятилетиями оставалась недоступной простым смертным), такой вот нонсенс, парадокс или каламбур — кладбище, недоступное смертным, меж надгробных плит и мраморных обелисков поздней весной и ранней осенью я с упоением прогуливала общеобразовательную школу. А Девичье поле (обширный сквер, в просторечии Девичка) десятки лет было местом прогулок в разных компаниях и папиных лыжных пробежек. Да ведь и мама моя тридцать пять лет работала поблизости, на Малой Пироговской, и мы с папой бесчисленное множество раз провожали ее на работу и встречали.

По дороге, невзирая на понятное раздражение, вспоминалась уйма сюжетов, ситуаций и эпизодов, связанных с этими краями. А также множество людей (вкуче с историями их жизней), обитавших здесь в разные годы. Тем более что в описываемые времена многие старшие еще здравствовали и младшие никуда не уехали, ни на московскую окраину, ни в дальние страны. Все жилые дома и здания учреждений, попадавшиеся по пути, так или иначе связаны были с судьбой семьи, то есть с друзьями бабушки и дедушки, со знакомцами родителей, да и с собственными приятелями... Во многие дома можно было зайти запросто, без телефонного звонка, и это обстоятельство делало город почти уютным. Не исключено, что этот ассоциативный букет скрашивал наш путь, смягчал досаду на глупейшую ситуацию.

И конечно же невозможно было пройти равнодушно мимо исторической достопримечательности, первого в Москве павильона ретиралы, а попросту говоря общественного ватерклозета, спроектированного Вильгельмом-Эдуардом-Максимилианом Геппенером (в быту Максимом Карловичем), главным архитектором городских коммунальных служб. По слухам, каменному почти игрушечному сооружению (ровеснику нашей музыкальной шкатулки) более ста лет, а он исправно функционирует по первоначальному своему назначению и выглядит сохранно и ухожено. Приветливое прибежище, ритуальная оздоровительная пауза в городских странствиях. Не жеманясь, поневоле задумаешься, какие же замечательные люди разных сословий и слоев общества, в том числе цвет и гордость нации, посещали (отнюдь не гипотетически) гостеприимный домик на протяжении прошлого века? Друзья, не проходите

(в окрестностях квартиры № 2)

мимо памятника истории, добро пожаловать в функционирующий мемориал, выйдете на просторы Девички будто бы заново родившимися!

За авантюру, в которую я ее втянула, мама не упрекнула меня ни словом, ни взглядом, но помощь ее и кротость вспоминаю с триадой чувств — вины, стыда и благодарности. Тщеславный же замысел, обернувшийся нелепостью и конфузом, — с брезгливым недоумением. А образ многотрадной елки в праздничном обличье стерся из памяти без следа, будто ее и не бывало.

Да уж, в детские годы между елкой и елкой пролегли четыре протяженных и полноценных времени года, в процессе жизни эти временные промежутки неуклонно сокращались, а теперь и вовсе остались от них какие-то ошметки, рожки да ножки.

Но настали новейшие времена, родился и попросил внук, и однажды мы решили не инсценировать тайное явление Деда Мороза и чудесное возникновение перед мальчиком уже наряженной елки, как делали это прежде. Отправились на прогулку и по дороге зашли вроде бы елочками полюбоваться. Приценившись и ужаснувшись, я все же решилась на покупку елочки — прехорошенькой, симметричной, пушистой, идеального размера и силуэта. В точности такой елочный идеал грезился мне в прежние годы, и я игриво предложила внуку облегчить Деду Морозу жизнь — купить елочку самим. Вспоминая при этом собственные елочные волнения и восторги и ожидая их от внука. Не тут-то было! Пятилетний человек не вскрикнул от неожиданной радости, не загорелся, не затрепетал, а насупился и назидательно объяснил, что нельзя рубить живые деревья, а нужно купить искусственную елку. Честно говоря, я с внуком согласна, одобряю жизненную его позицию. Однако не готова отказать от варварского обычая, и каждый год, укоряя своей увядающей прелестью, очередная елочка погибает по нашей прихоти. Увядает и укоряет, укоряет и увядает...





Был

город - сад ...

Среди случайных, несистематизированных записей моего отца на обороте одного из набросков, которые он рисовал в режиме нон-стоп всю свою жизнь, обнаружили такие строки:

Есть у меня в разных частях Москвы давно знакомые, любимые деревья-«личности». Это старый тополь на Кропоткинской и другой высокий тополь на Рождественском бульваре, при спуске к Трубной площади. С детства знакомы мне тополя и ветлы в Савельевском и Зачатьевском переулках. Когда вдруг оказывается срубленным какое-то из давно знакомых деревьев, я ощущаю почти физическую боль.

Отнюдь не в порядке ностальгических причитаний, а исключительно ради истины утверждаю, что Москва и вправду была городом деревьев. В каждом дворе, а также по обочинам улиц (и бывало, что кроны их смыкались над неширокими теми улицами, жаль, что теперь таких московских сюжетов раздва и обчелся...) жили деревья-долгожители, свидетели множества людских судеб: их начал, развитий и завершений.

Запыленные и много претерпевшие от жестоких жизненных обстоятельств, они долго еще существовали, эти звенья, связывающие поколения, но теперь стали редкостью, одни, не в силах справиться с городской экологией, погибли сами, другие погубила человеческая алчность, превосходящая разумные пределы. Но кое-где их еще можно повстречать, потрепать приветственно

(в окрестностях квартиры № 2)

по шершавой шкуре-коре (которая на самом-то деле и не шкура, и не кора, а самая настоящая броня), подивиться жизнестойкости древа. Таков тополь, распятый на чугунной решетке Домжура (Дома журналистов) на Никитском бульваре, однако живой. Или дерево в начале Большой Грузинской, напротив зоопарка, неправдоподобно древнее, истинный древесный долгожитель-исполин... И в парках московских, тех что не стали пока жертвами той самой алчности, век некоторых, к счастью, длится... Вот и в Парке культуры, том, что ЦПКиО (никуда не подеваться от аббревиатур), в Нескучном саду и на Воробьевых горах таких деревьев немало, и если оказываюсь в тех краях, непременно их навещаю и думаю для собственного утешения, что древесные души помнят древесной памятью и отца моего, и тетушку, и бабушку с дедушкой, а также множество их учеников, все же они не просто мимо проходили, а деревья те с вниманием и любовью рисовали...

У каждого человека имеется в запасе коллекция остановившихся мгновений. Их не надо выискивать и копить, они скапливаются сами, независимо от нашего желания, их нельзя лишиться, забыть (даже если хочется) или обменять на чужие такие же или лучшие, и ни один страстный собиратель-соперник на них не позарится, а коллекция между тем бесценная...

Вот одно из моих собственных остановившихся мгновений: ранняя (потому что тепло), но уже золотая (колорит того дня запомнился) осень, мы с няней моей Аней сопровождаем бабушку в Парк культуры и отдыха. По теперешним меркам бабушке моей Ольге Александровне не так уж много лет, едва за семьдесят, но при душевной молодости и ничуть не постаревшем интеллекте ходит она с трудом, катастрофически теряет зрение, не исключено, что в тот день случился один из последних ее московских пленэров... Так уж вышло, можно сказать повезло, что территориальная близость Парка Культуры и Нескучного сада стала для бабушки моей, художницы, нешуточным утешением на протяжении всех довоенных и немногих отпущенных ей послевоенных лет.

Во все времена года бабушка приводила сюда детей своих и учеников всех призывов, благо с тех самых пор, когда местность эта принадлежала Дворцовому ведомству, она практически не менялась. Эти прогулки и работа на пленэре хотя бы отчасти компенсировали кислородное голодание, не столько тела, сколько души, о чем неопровержимо свидетельствуют сохранившиеся рисунки и пастели.

В тот давний и дивный день раннего моего детства бабушка устроилась на скамье, основательном сооружении, таком многое пережившем и многих повидавшем скамеечном мастодонте на чугунных литых лапах. Подобных пришельцев из прошлых лет в ЦПКиО паслось огромное стадо, они обитали на аллеях и берегах прудов и до поры до времени гармонично соседствовали с претенциозной, но чрезвычайно уютной садово-парковой архитектурой: балюстрадами, фонтанами, павильонами и ротондами со сферическими сводами цвета синего кобальта, в любую погоду, хоть пасмурной осенью, хоть вьюжной зимой, имитировавшими безоблачные июльские небеса. А также со

статуями физически развитых девушек со спортивным инвентарем (веслами, дисками, копьями и пр.) и с урнами для мусора — пафосными сооружениями, изваянными в неоклассическом стиле, в которых даже самый ничтожный и неопрятный мусор обретал не то чтобы статус, но некоторую все же значительность. Увы, в какой-то момент мастодонты исчезли бесследно, может и вымерли, как это случается рано или поздно со всеми доисторическими существами.

На коленях у бабушки альбомчик с разноцветными листами плотной бумаги, а рядом коробка цветных карандашей. Карандаши из прежних еще времен, фирмы Faber, и самые нужные, самые востребованные (в особенности голубые и зеленые) изрисованы и сточены едва ли не до основания. Крошечные карандашные огрызочки, непонятно, как удержать их в руке, и каких звонких, радостных цветов, будто явились из иной, праздничной жизни... Мне и в голову не приходит попросить их порисовать, я знаю, что они бесценные-драгоценные. Но до чего же заманчивые, какие же аппетитные. В процессе последующей жизни накопились и собственные такие же, вроде бы те, да не те...

Бабушка рисует, Аня уселась на соседней скамейке, вид у нее по обыкновению недовольный, чувствуется, как все ей противно, чуждо, не по душе, но ругаться и костерить меня при бабушке не решается. А ведь как только Аня не обзывается, когда мы наедине! Я и чехмориха, я и косорылиха, я и бабка тюльпаниха, и много кто еще, хотя мама уверяла меня (верилось-то в это с трудом), что в младенчестве я звалась розой-беломозой.

К обзывалкам я привыкла, а папа записывает Анины словечки в записную книжку. Аня талантливый словотворец, истинно народный человек, хотя и вечная оппозиционерка. Все мы ее раздражаем, кажемся нелепыми, бестолковыми, единственный член нашей семьи, не вызывающий у Ани негатива и желания противоречить, это моя мама, она для Ани авторитет (так это и осталось до последнего дня Аниной жизни), но мама до глубокого вечера на работе, поэтому до маминого возвращения я живу в облаке дурного Аниного настроения, а то и в вихре ее гнева, и детский мой организм прекрасно приспособился к ежедневному экстриму.

А ведь Аня и сама отлично рисовала. Однажды в благостном расположении духа, чего практически не случалось, Аня взяла да и нарисовала в моем блокнотике букет цветов. Не отрывая карандаша от бумаги, не задумываясь, легко и артистично, как это делают народные мастера. По красоте Анин букет значительно превосходил все то, что рисовали по моей просьбе окружающие художники — ближайшие родственники и знакомые семьи. Рисовальный мастер-класс Аня дала мне один-единственный раз, а когда я осмеливалась просить ее нарисовать еще что-нибудь, злобно огрызалась. Рисунок тот канул в Лету, и можно было бы предположить, что он мне приснился, но нет, и сам букет, и та легкость, с которой он был нарисован, стоят перед глазами, никуда не деваются много десятилетий.

(в окрестностях квартиры № 2)

Так вот, бабушка рисует, Аня злится, закипает и вот-вот взорвется, ну а я с упоением общаюсь с немолодым лысоватым дядечкой в выцветшей гимнастерке и галифе, копающимся в большой круглой клумбе, окруженной скамейками-мастодонтами, и даже чем-то ему помогаю, стебли какие-то складываю в какие-то кучки.

На дворе то ли 51-й, то ли 52-й год, и хотя война давно закончилась, фронтовики все еще донашивают военную форму. Дяденька приветливый, разговорчивый, задает вопросы, а я, польщенная взрослым вниманием, обстоятельно (даже излишне обстоятельно) отвечаю.

Бабушка рисует клумбу, деревья и кусочек аллеи, посыпанной красным гравием. Стоило вступить на территорию Парка культуры и отдыха, как крупитчатые сухие аллеи, в любую погоду выглядевшие исключительно нарядно, мгновенно создавали у граждан празднично-прогулочное настроение. Красные аллеи видятся мне неперменной принадлежностью ЦПКиО (нынешним языком, его визуальным брендом), хотя давно уж и след их простыл.

Во взрослые годы я задумывалась, а откуда взялся тот жизнеутверждающий красно-оранжевый гравий, отчего он больше не встречается? Оказалось, что когда под руководством архитектора Власова, спроектировавшего Крымский мост, кипела работа над генпланом ЦПКиО, помощник его Леонид Николаевич Павлов в заботе об эффектной подаче проекта будущие аллеи и дорожки выкрасил на макете красным суриком. И Власову это так понравилось, что он распорядился сделать точно такие же в натуре, то есть посыпать дорожки не скучным серым гравием, а толченым красным кирпичом. Можно ли вообразить те горы, те египетские пирамиды красного кирпича, что пришлось истолочь в течение многих десятилетий исключительно для эстетических целей?

Суть манипуляций, тех, что проделывал с осенней клумбой демобилизованный дяденька, прояснилась годы спустя. Через десять или одиннадцать сентября после бабушкиного пленэра (самой-то ее к этому времени давно уж не было на свете) отец мой отправился туда же и с той же целью. То есть на очередной пленэр в Парк культуры и отдыха имени Горького. Вдохновившись на этот раз не красными дорожками, но необъятными клумбами и газонами, засажеными алыми сальвиями, «сальвиями сверкающими» (*Salvia splendens*). Выдвинул, как водится, телескопические ножки своего этюдника, выдавил на палитру краски и написал быстрый этюд. Может, писал бы и дольше, но вдруг явилась орава женщин — работниц треста Мосгорозеленение и принялась в соответствии с графиком сезонных работ споро выдирать прекраснейшие цветы, которые и не думали увядать, а предполагали сиять и сверкать на радость москвичам и гостям столицы до глубокой осени. Сначала папа расстроился, но вдруг его осенило! Человек законопослушный, он испросил у работниц позволения, и добрые женщины разрешили взять столько цветов, сколько он сможет унести (в точности как в сказке, где речь шла о золоте, серебре и драгоценных камнях).

Папа воодушевился и принялся разносить охапки цветов по домам наших друзей. Желая порадовать побольше народу, он совершил несколько ходок, благо все еще были живы и жили в шаговой доступности друг от друга... Вообразите: будний день, удручающая проза жизни, ничто не предвещает праздника, вдруг звонок (другой, третий, четвертый, в зависимости от количества жильцов в квартире), дверь распахивается, и в ее проеме в перспективе тусклого захламленного коридора мой молодой отец в обнимку с польхающей цветочной охапкой! А друзья наши, ошеломленные и умиленные внезапным даром, на радостях принимались делиться цветами с соседями по квартире (с теми, разумеется, с кем сохранялись если не дружеские, то хотя бы дипломатические отношения).

Потратив на безумное с точки зрения человека разумного мероприятие полдня, папа не просто материализовал такую эфемерную субстанцию, как РАДОСТЬ, но и доставил ее по нескольким московским адресам. Внес яркую праздничную ноту в монотонную повседневность унылой городской осени. Что это, если не тот самый пресловутый свет в конце тоннеля, который все мы тщетно пытаемся разглядеть, и многим ли мужчинам (в том числе женщинам) по плечу затея такой простоты, такого размаха и такой убойной силы?

Из сюжета со сверкающими сальвиями (суть шалфеем), некогда разнесенными моим отцом по нескольким остоженским, пречистенским и арбатским адресам, делаю вывод, что мой давний знакомец в выцветшей гимнастерке, волею судьбы навечно обосновавшийся в одном из первых детских воспоминаний в ближайшем соседстве с бабушкой, тоже работал в тресте Мосгорозеленение и давним сентябрьским днем готовил порученную ему клумбу, предшественницу всех последующих, к осенней непогоде, зимним холодам, а в перспективе и к весеннему возрождению.

У любого моего ровесника-москвича в запасе множество личных историй, связанных с ЦПКиО им. М. Горького, при отсутствии выбора десятки лет остававшегося чемпионом среди территорий круглогодичного праздника во времена нашего детства, отрочества и юности. Поэтому оставляю за пределами настоящего очерка описание скромных, зато доступных летних и зимних утех: незамысловатых аттракционов наподобие комнаты смеха и колеса обозрения, необозримых ледяных просторов с толпами конькобежцев на снегурках, ножах и гагах, а также мотогонки по вертикальной стене в специально выстроенном для этой экстремальной забавы павильоне. Между прочим, одним из тех блистательных и бесстрашных мотогонщиков была праправнучка государя императора Николая I красавица-княжна Наталья Андросова, дочь князя Александра Искандера, сына великого князя Николая Константиновича Романова...

А если пройти мысленно по недлинной лирической аллейке под сенью поражавших детское воображение фонарей в виде гигантских склонившихся в полупоклоне ландышей и покинуть территорию культуры и развлечений,

(в окрестностях квартиры № 2)

то окажешься в Нескучном саду, начинающемся сразу же за Летним театром. И далее громоздятся, клубятся и курчавятся многоярусные кущи Нескучного сада, чье очарование я ощутила чрезвычайно рано благодаря любимой книжке «Девочка Лида». Не раз прочитанная и перечитанная папой-мальчиком и тетушкой-девочкой, а также кузинами их и кузенами «Девочка Лида» явилась прямым из детства бабушки и многочисленных ее сестер — такая вот афилада памяти. Растрепанная, без переплета, распавшаяся на пожелтевшие странички книжечка, любовно иллюстрированная сценками с изображением детишек разного возраста, черно-белыми картинками, раскрашенными цветными карандашами прежними детьми то ли в прошлом веке, то ли в позапрошлом...

Без намека на слащавость книга повествовала неспешно о быте большой московской семьи, снявшей дачу в усадьбе Нескучное, о сестрах и братьях, о старенькой заботливой нянюшке (полной противоположности моей Ане). Хлопотливые сборы, долгое путешествие, летние приключения, детские обиды, пикник на Воробьевых горах описаны так подробно, так достоверно и так тепло, как можно написать один-единственный раз в жизни, и только о своем собственном детстве.

В конце 60-х годов XIX века книжку написала юная девушка, но уже начинающая писательница Лида Королева, взявшая псевдоним Нелидова (Лидия Нелидова — звучит эффектно), и вышло так, что Нескучный сад я полюбила прежде, чем идентифицировала эту местность. Я и сегодня смотрю на Нескучный сад Лидиными глазами — вот что такое сила хорошего печатного слова! И иногда чудится, будто я сама прожила здесь одно из лучших лет детства...

Оказавшись в Нескучном, можно побродить по тропинкам и по аллеям, вскарабкаться на невысокие холмы, белок покормить (их там уйма), но в любом случае обязательна прогулка по набережной, неотменимая потому, что это наш семейный маршрут, своего рода традиция. Память о маленьких путешествиях, случавшихся в одиночестве и в компаниях, в разном настроении и в разных жизненных обстоятельствах, во всех возрастах, временах и эпохах зафиксирована в бабушкиных пастелях, на этюдах отца и даже в моих учебных акварелях.

Этот недлинный прогулочный маршрут загадочен, потому что короткий отрезок времени оказывается на удивление протяженным и наполняет организм смыслом, содержанием и пользой, равными полноценной загородной прогулке. Допускаю, что это только мое, сугубо личное ощущение, однако оно неизменно на протяжении десятилетий.

Говорят, что большое и прекрасное лучше видится на расстоянии и будто бы лицом к лицу лица не увидать, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать видом Нескучного сада с противоположного берега Москвы-реки. Особенно ранней весной, поздней осенью и в зимнее время года.

По контрасту с монохромной застройкой Фрунзенской набережной, скучноватыми жилыми домами и зданиями военного ведомства, Нескучный

сад видится мне живым чудом, каковым он, без сомнения, и является. В ансамбле с небесами, простирающимися над массивом Нескучного и во все времена года не обделяющими москвичей, равно как и всех прочих жителей нашей планеты, феерическими представлениями, сад, украшенный жемчужиной Александринского дворца, отражается в водах Москвы-реки, вместе с нею течет, мерцает, колыхается, кажется бескрайним и безбрежным, а вовсе не втиснутым в жесткие городские рамки. Я завидую местным жителям, тем, чьи окна обращены к реке. Им живется не скучно, ведь они любят Нескучный сад на рассвете, на закате и под звездным небом, сквозь дождевую завесу, туман и морозную дымку, и я надеюсь, что это утешительное зрелище им не приелось, во всяком случае, тем из них, кто не чужд прекрасного...





North side

1871-82

Первый

день в школе,
московские подвалы,
женские рукоделия
и прочая
житейская белиберда

*В сентябре 55-го года я пошла в первый класс
и увязла в типовом школьном здании из красного
неоштукатуренного кирпича на нескончаемые
и томительные одиннадцать лет. Не помню,*

очень ли мне хотелось в школу или не так уж я туда и стремилась. Наверное, хотелось, может даже стремилась, хотя бы ради того, чтобы надеть новый наряд, нарядов-то в те времена было не густо... Школьная форма, как известно, выглядела наподобие гимназической: коричневое платье с белым воротничком и черный фартук. А для парадных случаев фартук белый. Кое-кому форму шили на заказ, в нашем классе таких счастливиц было трое, и одна из них чудесная девочка Галя. Ей сшили платьице с плиссированной юбкой и фартук не простой, а с крылышками, с волнистыми такими крыльями, восхитительно красивый. А воротничок и манжеты были, конечно же, кружевные и всегда белоснежные. Белый воротник — каждодневный атрибут, без белого воротника в школу не суйся, а вот уж манжеты — необязательная роскошь, разве что для торжественных случаев. Воротника, если шею мыть хотя бы раз в три дня, могло на неделю хватить, а манжеты, соприкасавшиеся с партой в течение всего учебного дня, пришлось бы менять ежедневно, а это с ума сойти...

Но Галина бабушка, приветливая темноглазая дама (а вовсе не старушка, каковой она мне казалась), каждый вечер пришивала к Галиному платьицу свежий воротничок и свежие манжеты. А по утрам расчесывала внучкины волосы волосок к волоску, заплетала косы и укладывала их корзиночкой, да не простой, а асимметричной, поэтому шелковые Галины банты, похожие

(в окрестностях квартиры № 2)

на бабочек-шоколадниц, приземлялись на Галиной головке на разных уровнях, один повыше, другой пониже. Галина прическа, ежедневный шедевр парикмахерского искусства, многие годы не менявшаяся ни на йоту, требовала не просто умелого, но любовного и неспешного исполнения, возможного только в том случае, если исполнитель жил размеренной упорядоченной жизнью, а не мчался чуть свет и очертя голову на работу.

Вот только Галя, самая опрятная, самая нарядная и ухоженная девочка со спокойными серо-зелеными глазами, на свою беду, чересчур располнела на бабушкиных плюшках и пирожках. Не знаю, как с этим обстоит сегодня, нынче-то поголовье упитанных детишек существенно увеличилось, но в те аскетические времена эта физиологическая особенность здорово отравляла жизнь. Впрочем, ни жиртрестом, ни промсарделькой Галю не обзывали, видно, потому, что внешне сохраняя полнейшую невозмутимость (а каково ей приходилось на самом деле, этого я не знаю), она и сама сторонилась нашей глуповатой оголтелой стаи. Круглая отличница, впоследствии золотая медалистка, а главное, очень порядочный человек, за одиннадцать школьных лет Галя не участвовала ни в одной интриге, ни в одной каверзе и ни в одной сплетне, которым в классе нашем не было числа. В начальной школе мы с Галей дружили, так бы, наверное, и осталось, может даже на всю жизнь, если б не чудовищный мой конфуз.

А случилось нечто такое, что надолго закрыло передо мной двери Галиного дома (единственная в нашем классе она жила в отдельной квартире). Кроме бабушки у Гали был еще и дедушка, полковник в отставке, небольшой седенький старичок в проволочных очках и синих галифе, заправленных в толстые шерстяные носки. Строгий, не улыбочивый, но вовсе не злой дедушка был заядлым читателем, имел доступ к книжному распределителю для бывших и нынешних военнослужащих и собрал большую библиотеку. Я тоже читала каждую свободную (и несвободную) минуту, читала за едой, на переменах, во время уроков, пристроив книжку под крышкой парты, читала сидя, стоя, лежа и на ходу. И Галин дедушка позволил мне пользоваться своей библиотекой. Я брала дедушкины книги, быстро их прочитывала и исправно возвращала.

Но однажды дедушка доверил мне добытый по заоблачному благу бесцеллер, потрясающий детектив «Тарантул», захватывающую шпионскую историю, якобы случившуюся в блокадном Ленинграде. Сначала, выхватывая книжку друг у друга, «Тарантула» проглотили мы с родителями, а потом этот литературный шедевр выпросили соседи, славные ребята Саша и Тоня Крикуновы, отказать-то было неудобно, мы с ними то и дело обменивались книгами. К чтению Саша с Тоней пристрастились в лагере, отнюдь не пионерском, где отбывали срокá отнюдь не по 58-й статье. Там-то Саша с Тоней и полюбили друг друга, и старший сынишка Славик, чудосочное, но чрезвычайно жизнеспособное дитя, явился на свет в тюремных застенках, ну а младший крепенький Вовочка родился уже на воле. Спальней супругам служила крошечная кладовка,

и едва ли не до утра в головах супружеского ложа горела слабая лампочка без абажура, и при ее свете Саша с Тоней запойно читали.

Увы, но прежде чем вернуться ко мне, «Тарантул» побывал в руках не только Саши и Тони... Похоже, в те дотелевизионные времена Россия и вправду была читающей страной, не самой-самой, но все же... Как бы то ни было, но граждане в большинстве своем бегло читали, а многие посещали районные библиотеки и обменивались книгами с соседями и сослуживцами. То есть книжка, попавшая ко мне едва ли не девственной (не исключено, что я была первым ее читателем), вернулась от Саши с Тоней испоганенной, с омерзительно засаленным переплетом и замахрившимися страницами со следами чьих-то неопрятных трапез и слюней (есть такая прегадкая повадка, перелистывая страницы, слюнявить палец).

Между тем Галин дедушка, строго глядя поверх очков, то и дело напоминал про «Тарантула», я бормотала в ответ невнятное, оттягивала час расплаты и не знала, как быть и что делать. Но и Саша с Тоней усовестились и попытались исправить положение. А так как оба работали в типографии, то в переплетном цеху «Тарантула» переплели в синий коленкор, а для красоты наклеили сверху ошметок аутентичной картинки, жалкий такой лоскут. Вышло безобразно, еще хуже прежнего. Однако делать нечего, и в таком вот непотребном виде я возвратила «Тарантула» Галиному дедушке. Не передать, с каким тягостным чувством поднималась я на Галин четвертый этаж, какой это был позор, какой ужасающий ужас, как сердился на меня Галин дедушка, как кричал, как мне было стыдно...

Нет, дверь перед моим носом не захлопнули и остракизму не подвергли, но после случившегося кошмара переступить порог Галиного дома я не могла, и дружба наша постепенно сошла на нет. Гораздо позже, когда дедушки уже не было на свете, я снова стала бывать у Гали, но очень редко и только по делу. Бабушка мне радовалась, встречала ласково, привечала, и с Галей мы общались приятно, но не более. Вот ведь как случается, из-за какого-то лубочного детектива (черт бы побрал этого «Тарантула»!) разошлись судьбы. А Галиной аккуратной головкой с виртуозно заплетенными косами я любовалась до тех самых пор, пока в старших классах Галя наконец не подстриглась.

У меня-то в первом классе кос не было вовсе, не было их и во втором, жиденькие косички отросли худо-бедно к третьему. И форма у меня была самая обыкновенная, как у всех. А вот портфель попервоначалу мне купили отменный, но совершенно напрасно, потому что его я стыдилась. На самом-то деле мама добыла его по счастливому случаю, сейчас я бы своим портфельчиком козыряла. Но время для таких отменных вещиц еще не настало, тем более что стремление к единообразию укоренилось в детских, равно как и во взрослых организмах (трамвайный закон — не высывайся) на генетическом уровне, и у всех портфели были простецкие дерматиновые, а у меня навороченный трансформер из свиной кожи с кармашками, ремешками и пряжками, преобразовавшими портфельчик в ранец. Таких затейливых

(в окрестностях квартиры № 2)

изделий ни у кого в нашем классе, а также в двух параллельных не было. Так что зря мама радовалась удачной покупке, я своего портфеля стеснялась. По счастью, ко второму классу стыдный ранец куда-то подевался (видно, мама осознала свой промах), и мне купили нормальный портфель, рыжий, дерматиновый, как у всех.

Итак, вечером накануне первого в жизни допотопного первого сентября у тетки, торговавшей цветами возле станции метро «Парк культуры»-кольцевая, купили букет пестрых астр. Сейчас-то дети несут в школу затейливые букеты, составленные дипломированными флористами. Но тогда еще об искусстве флористики никто и не подозревал, зато на склоне лета в подмосковных палисадниках произрастали флоксы, астры и георгины, и деревенские жительницы торговали простенькими букетиками возле станций метро. Собственных дач не было ни у кого из нашего класса, даже у тех девочек, которым форму шили на заказ. Раздача подмосковной земли по шесть соток на семью случилась годы спустя. И все же, невзирая на отсутствие садово-дачных кооперативов, летом детей в городе не водилось, летом город пустел. Это теперь летняя Москва кишит детьми всех возрастов, а раньше детишки пахли за городом. Некоторые, преимущественно интеллигенты, снимали дачи, но большей частью детей отправляли в пионерские лагеря или в деревню к бабушкам и тетюшкам. Многие до поры до времени сохраняли связь с малыми родинами, и родины малые еще не обезлюдели и не одичали, то есть летом одноклассники мои проживали-таки полагающееся им босоногое деревенское детство. И это было истинным благом, потому что в другие времена года вместе с мамками, братишками и сестренками (отцы имелись у немногих) ютились в жутковатых подвалах. Меня-то подвалы ничуть не пугали, в пятилетнем возрасте я и сама, покинутая раскапризничавшейся нянькой, целую зиму обитала в подвале у дворничихи тети Кати в крошечной комнатенке размером с вагонное купе и таких же точно пропорций. Тетя Катя за мной присматривала, пока мама была на работе, и мне в ее игрушечной комнатке было очень уютно.

Поэтому я ничуть не удивилась, оказавшись у одноклассника Витки, проживавшего в соседнем с нами дворе. Пришла я не в гости, а по велению учительницы нашей Тамары Ивановны, «прикрепившей» меня к Вите, дабы «подтянуть» его по арифметике. От единицы до десяти Витя считал свободно, а вот обратный счет ему не давался. Вот уж у Вити был подвал так подвал, всем подвалам подвал! Темное низкое помещение без окон, по стенам нары, а на нарах чье-то пыхтенье, копошенье и бормотанье, то ли старичков и старушек, то ли мелких детишек. Ни одного яркого или светлого пятна, коричневый полумрак, гризайль. То есть «Едоки картофеля» по сравнению с Витиным подвалом многоцветное и жизнеутверждающее зрелище. Побывала я у Вити в гостях лишь однажды, потому что, к большой его радости и моей гордости, мальчик запросто освоил обратный счет, и на следующий день вышел к доске и лихо продемонстрировал новое умение. Встретили меня у Вити радушно и

наградили за труды большим мятным пряником в форме бабочки. Мятная пряничная бабочка — первый мой гонорар. Помню Витину маму, похожую вовсе не на известных мне подвальных жительниц, а на знакомых нашей семьи, маминых приятельниц. Интеллигентное лицо, приветливая речь, непростая, видно, досталась ей судьба. А кому из женщин того поколения досталась простая?

Маму мою на первом же родительском собрании выбрали в родительский комитет и задачу перед ней поставили тяжелейшую, практически неразрешимую. Маме предстояло посещать семьи учеников, пребывавших в самых плачевных обстоятельствах, и выбирать ребенка, более других нуждающегося в паре бесплатных башмаков из школьного фонда. По одной паре башмаков выделяли раз в полугодие каждому классу. Башмаки мальчики и девочки носили одинаковые, черные и коричневые изделия на шнурках с простроченным кантом производства фабрики «Скороход». Нормальные башмаки, без изысков, но крепкие. Нет, с испанским сапогом нашу обувь вот так вот напрямую сравнивать, конечно же, не приходится, однако башмаки нашего детства, равно как и сандалии, вечно натирали, поэтому хочешь или не хочешь, но с ранних лет обрести мозоли и притерпеться к ним пришлось. Жизни свои (короткие или длинные, уж кому какие достались) ровесники мои прожили с уверенностью, что так и положено — принаравливаться к новой обуви, мучительно ее разношивать, прихрамывать и терпеть, терпеть, терпеть...

Так вот, после тех «башмачных» визитов мама возвращалась домой удрученная. Наше, после бабушкиной смерти расширившееся аж до восемнадцати квадратных метров жилье с высокими потолками и о двух окнах (причем одно из них итальянское) по сравнению с тем, чего она насмотрелась в жилищах моих одноклассников, казалось натуральным дворцом, да так оно на самом деле и было. Ну и как не вспомнить добрым словом Никиту Сергеевича с его нынче проклинаемыми хрущобами? Ведь еще через пару лет жилые подвалы практически искоренили, и жители подземелий переселились из московского центра в микрорайон Черемушки, на свежий воздух, в человеческие условия, во всамделишные отдельные квартиры с водопроводом и канализацией... Вот только двор наш опустел и поскучнел, потому что заправили дворового сообщества, лихие девчонки и командирши, перебрались из своих нор в новехонькие домишки на улице Хулиана Гримау. Кое-кого из них я в последующие годы навещала по новым их адресам и восхищалась житейским комфортом.

И у подвалов началась новая жизнь, а у некоторых даже творческая, потому что все они обрели иные статусы. Большую часть отдали учреждениям (и в одном таком подвальчике, точь-в-точь тети-Катином, мне довелось одну зиму поработать секретарем-машинисткой), а некоторые достались художникам. Угнездились в подвалах не только представители андеграунда (что было бы логично и даже концептуально), но и самые что ни на есть чистосердечные реалисты, соцреалисты на сливочном масле, как говаривал знакомый художник. Подвальные помещения, по договору с городскими властями

(в окрестностях квартиры № 2)

арендованные Союзом художников и переданные в субаренду членам художественного сообщества, оказались истинным счастьем, выходом из безвыходных ситуаций. Некоторые счастливцы обитают в подземных своих мастерских по сей день и изо всех сил держатся за это благо. И если парижские художники творили в мансардах, из последних физических сил карабкаясь на свою верхоутуру поближе к небесам, то московские художники бодро спускались для той же цели в подвалы, смахивавшие на обустроенную для художественных целей преисподнюю. И неизвестно, кто кого превзошел в творчестве, история, может, когда-нибудь и рассудит... а может, и нет.

Разумеется, подвалы не раздавали направо и налево всем желающим, не так-то просто обретали вожаденные мастерские, жутко вспомнить, каких это стоило волнений, нервов, хлопот, каких усилий. Я-то знаю, о чем говорю, и могла бы создать эпическое полотно на эту пронзительную некогда тему, да тошно вспоминать те многомесячные унижительные и отнюдь не азартные квесты со всеми соответствующими этому жанру ловушками, тупиками, каверзами и волчьими ямами. Но главное, в подвальных тех мастерских творилось Искусство и случались истинные откровения. К примеру, в своей мастерской в Сивцевом Вражке, лишенной дневного света и расположенной существенно ниже уровня мирового океана, художник Гариф Басыров нарисовал серию «Обитаемых пейзажей», со всей очевидностью открывшую нам, рядовым российским гражданам, что не так уж мы и просты, что на самом-то деле все мы, все до единого и самого невзрачного человечка, Обитатели Вселенной.

При желании и некотором умении любое пространство можно обжить. В отличие от безотрадного Витино подвала (видно, не до обустройства жилища было замученной жизнью Витиной маме), иные подвальчики женщины расцветчивали простейшими средствами: бумажными цветами анилиновой раскраски, базарными ковриками, а также дорожками и подушками, вышитыми гладью и крестиком, простым и болгарским. Вышивали женщины вдохновенно, запойно, обменивались затертыми кальками со смутными контурами роз, васильков, вензелей и сердечек, старательно переводили узоры через копирку. Да и чем было заняться в свободную минуту, если такая вдруг выдавалась, как еще отдохнуть душой? Эпоха повального вязания еще не настала, а все, что можно было перешить и перелицевать, давным-давно перешили и перелицевали. Зато нитки мулине продавались свободно и по доступным ценам, причем не только отечественные, но и китайские, переливчатые, волшебных цветов и множества оттенков, китайским мулине запросто можно было вышить даже жар-птицу. Вот и мама моя увлеклась вышиванием, но вышивала не салфеточки и прочую малофункциональную дребедень, а скатерти (ей всегда было свойственно величие замысла). И не простецкие розочки и сердечки, а изысканные лилии, ирисы, а также картуши и инициалы в стиле art déco. К модерну маму пристрастила старшая подруга, сослуживица и

умелая рукодельница Елизавета Александровна Барыкова, учившаяся в юности в каком-то специальном учебном заведении.

Но вышивание-то чистое искусство, проку от него никакого, одно украшательство, не более, поэтому лидировала в рукодельных женских умениях штопка, занятие насущное, ежедневное, кропотливое, и лидировала с большим отрывом. Облупленный деревянный грибок, неременная штопальная принадлежность, имевшаяся в каждой семье (впрочем, некоторые пользовались для той же цели обыкновенной столовой ложкой или половником), всегда был под рукой, а чулок и носков, нуждавшихся в неотложной штопке, вечно накапливалась гора. Я знавала виртуозов штопки, достигших в искусстве переплетения ниток таких высот, что нескончаемый процесс сродни медитации доставлял мастерицам род наслаждения. Девочек учили штопать едва ли не с младенческих лет. Каюсь, я ненавидела это занятие, скучнейшее, удручающее! Вид хлопчатобумажных чулок в резинку и сегодня вгоняет меня в смертную тоску. С физиологическим отвращением вдевала я в игольное ушко лохматые штопальные нитки, чулок с протершейся пяткой ненавидела и качественной штопке так и не научилась.

В нынешние уже времена сведущий человек изумил меня сообщением, будто бы таинственным образом высокое искусство штопки сродни таланту программирования. Я ужасно огорчилась, представив, насколько благополучнее материально (про иные аспекты не скажу) сложилась бы жизнь тех высококлассных мастериц, перештопавших за свою жизнь центнеры чулок в резинку и тонны многострадальных мужских носков, родись они не в начале прошлого века, а ближе к его концу. Может, и штопать бы не пришлось...

Увы, равно как к штопке, не пристрастилась я и к вышиванию. К одному из Новых годов середины 50-х мне подарили вышивальный набор на редкость депрессивного свойства: пальцы и черную сатиновую тряпицу с изображением петуха в профиль, разграфленного на клеточки наподобие пикселей, каждая из которых маркировалась значком (крестиком, ноликом, черточкой, точкой), обозначающим цвет. Столбик с расшифровкой значков помещался в углу тряпицы, нитки соответствующих цветов прилагались. Под маминым напором я принялась было за дело, но нитки тотчас запутались, и ни в чем не повинного петуха я возненавидела. Каждый вечер мама напоминала про вышивание (ей казалось, что это важно для воспитания моей воли и чувства долга), я под разными предлогами увивала, но, по счастью, день моего рождения отдален от Нового года менее чем на месяц. И в этот день случилось чудо! В числе прочих гостей, дворовых моих дружков и подружек, на праздник пришел мальчик Боря, сын тетушкиной подруги Брони. И пока в просторной тетушкиной комнате дети пили чай с бутербродами и играли в «кольцо, кольцо, выйди на крыльцо», «на золотом крыльце сидели», «валенки» и другие незатейливые игры нашего детства, Борина мама ожидала сына в другой комнате, нашей с родителями. И между делом за разговорами о том и о сем вышла моего петуха, всего, с ног до головы, от золотистых лапок до алого гребешка.

(в окрестностях квартиры № 2)

Этот нечаянный сюрприз стал бонусом того счастливого вечера. Вышитый тетей Броней петух канул без следа, и других попыток приохотить меня к утешительному и практически полезному женскому занятию мама не предпринимала, спасибо ей за это большое!

Занимаясь домашними делами, штопая и вышивая, женщины в режиме нон-стоп слушали радио, работавшее от гимна до гимна, с шести утра до двенадцати ночи, от утреннего «Союза нерушимого» до ночного. К звуковому фону привыкли то ли с тех пор, когда радиочудо появилось в каждом доме, то ли со времен войны, когда ждали воздушной тревоги, работы, вернувшиеся с ночной смены (были и такие среди наших соседей), безмятежно отсыпались под громкую радиотрансляцию, и она им ничуть не мешала.

Ждали любимые передачи, особенно юмористические, по вечерам слушали «Театр у микрофона», и в результате широкие народные массы худо-бедно знали драматургическую классику, усваивали ее едва ли не на клеточном уровне, а дети росли-подрастали под аккомпанемент незабываемых интонаций Николая Литвинова и Валентины Сперантовой. А уж какая музыка звучала каждый божий день и в каком исполнении! Подруга моя, в сиротстве и нищете обитавшая в подвальной каморке на Тверской, может, и выжила благодаря музыке, и несчастной благодаря ей же себя не чувствовала. Вот и последние годы бабушкиной жизни, когда концерты стали физически недоступны, скрашивали музыкальные трансляции. В летней переписке бабушки с сыном и дочерью они то и дело пишут друг другу, что и в чьем исполнении они в тот день слушали.

Правду сказать, сотни часов прослушанной драматургической, а также музыкальной классики несущественно влияли на мироощущение и повадки наших соседей. Хотя на кухне сюжеты пьес живо обсуждались, персонажей строго судили, примеряли обстоятельства и поступки на себя, даже дискуссии в форме перебранок завязывались, то есть лозунг «искусство — в массы» давал-таки плоды.

Отвлечись, по обыкновению, бог знает на что, возвращаюсь к началу текста. Так вот, в тот незапамятный сентябрьский день, положивший начало удручающей и вялотекущей школьной эпопее, все собрались, как водится, во дворе. Директор Федор Иванович по прозвищу Колобок произнес речь и напомнил, кого мы должны благодарить за наше счастливое детство. Шел 1955 год, до XX съезда оставалось менее полугода (впрочем, и после съезда мы все еще изучали жизнь отца народов по своего рода житийным клеймам — жанровым картинам, развешанным во множестве в школьном коридоре). Выслушав наставления Колобка, мы построились парами и совершили восхождение на четвертый этаж. Двери класса отворились, и нам предстало праздничное, ослепительное в прямом, а не в переносном смысле слова зрелище, потому что три ряда парт сияли как черные зеркала, а по стенам и потолку скакали полчища солнечных зайчиков.

Тамара Ивановна распределила всех нас по партам и первым делом объяснила, как ею пользоваться, этой партой, акцентируя первостепенную роль откидной крышки. Если кто не в курсе, парту с откидной крышкой сконструировал по всем гигиеническим правилам Федор Федорович Эрисман (хороший знакомый моего прадеда, между прочим), и памятник ему, в числе прочего и за это благое дело, установлен в 1937 году на территории Первого медицинского института, что на Большой Пироговке. Оказывается, от крышки много чего зависело. Сидеть следовало прямо, сложив руки на крышке и строго ей параллельно, руку поднимать под прямым углом к крышке, уперев локоть в ее поверхность (сплошные параллели и перпендикуляры), едва только учительница откроет дверь в класс, в то же мгновение вскакивать (и упаси боже хлопнуть при этом крышкой), по знаку учительницы бесшумно садиться, ежесекундно памятуя о крышке. Ну а если чья-то крышка все же хлопнет, тогда уж пеняйте на себя! Всем несдобровать, все ответят за всех, мол, привыкайте, детки, к смрадному закону коллективной ответственности!

Так впоследствии и случалось, чья-то крышка непременно хлопала, и бывало, в наказание стояли в безмолвии целую вечность. А если тишина нарушалась, срок стояния продлевался. Впрочем, стояли мы отнюдь не в тишине, а под аккомпанемент учительской нотации, темпераментной, а порой и зловещей. Нотацию Тамара Ивановна запивала раствором питьевой соды, прихлебывая его из синей чашки, с которой учительница наша не расставалась. И только повзрослев, я поняла причину постоянного ее раздражения — человек страдал язвенной болезнью, тут уж не до нежностей и сантиментов.

Так вот, впервые усевшись за сакральную парту, я послушно сложила руки в точности так, как было сказано. Сложить-то я их сложила, но когда учительница велела вынуть из портфеля букварь, оказалось, что рукава нового моего платица прилипли к крышке парты, да так, что я с трудом их отодрала. А белоснежные манжеты и новенький фартук покрылись жирными черными пятнами. Наверное, не одна я прилипла к парте, видно, их недавно выкрасили, и они не успели просохнуть, потому-то и ослепили зеркальным сиянием, но от случившегося ужаса я перестала воспринимать происходящее и не запомнила ни одной подробности того школьного дня. Ужас мой усугублялся тем обстоятельством, что с чем-то подобным, черным и агрессивным, я уже сталкивалась, и совсем недавно...

Последнее дошкольное лето я провела в пионерском лагере, то есть неискушенной дошкольницей очутилась среди бывалых, знающих в жизни толк пионеров. Жаловаться не приходилось, меня приняли в свою компанию большие девочки, яркие и талантливые, дружески опекали, и за три месяца вооружили множеством полезных сведений. Но оказалось, что не ко всем новым знаниям и умениям я готова. Однажды подруги мои обнаружили на задворках пионерского лагеря глыбу вара, сверкавшую на сколах как антрацит. Не откладывая в долгий ящик, принялись отколупывать от глыбы куски, лепить подобие эскимо и с восторгом лакомство это жевать. Слепили такую штуку и

(в окрестностях квартиры № 2)

мне, и я с радостной готовностью впились в эскимо зубами. Впились и, о ужас, разжать челюсти не смогла, увязла в жуткой субстанции. Не знаю, впадает ли в панику бульдог, если не может разжать мертвую свою хватку, но я запаниковала. Спасибо подругам, совместными усилиями челюсти мои кое-как разжали, но кто же знал, что летний кошмар настигнет меня в самом ближайшем будущем и такой на первый взгляд невинный предмет мебели, как школьная парта, примет эстафету у злокозненного эскимо. Кошмар из ряда леденящих душу рассказов про черный-пречерный город, улицу, дом, комнату...

После уроков, уничтоженная, раздавленная, размазанная случившимся, вышла на школьный двор к папе, собиравшемуся вести меня в фотоателье в устье Остоженки (в те времена Метростроевской улицы). Это было наше придворное фотоателье. Именно там фотографировались жильцы нашего дома. Редко фотографировались, по надобности для документов, а также в особо торжественных случаях. Жаль, что никто из наших знакомых не предавался фотографической страсти, а как бы хотелось увидеть не столько себя прежнюю (хотя почему бы и не себя), сколько близких людей, молодых родителей... Увы, фотографий любительских осталось наперечет, все они случайные, крошечные, плоховатого качества, но тем более ценные.

Вот и меня первоклассницу предполагалось запечатлеть во всей красе на долгую-предолгую память. Но в сложившихся обстоятельствах ни о какой фотосъемке речь не шла, и папа, обескураженный плачевным финалом первого школьного дня, потащил домой перемазанную, липкую, разбухшую от слез жалкую свою дочь, за руку потащил. Мы не решились войти в квартиру через парадное, а проскользнули с черного хода (то есть через черную лестницу и кухню, потому что в квартирах дореволюционного образца было два входа-выхода, парадный — для хозяев и их гостей, и черный — для прислуги, дворника, молочницы, прачки, а также городского).

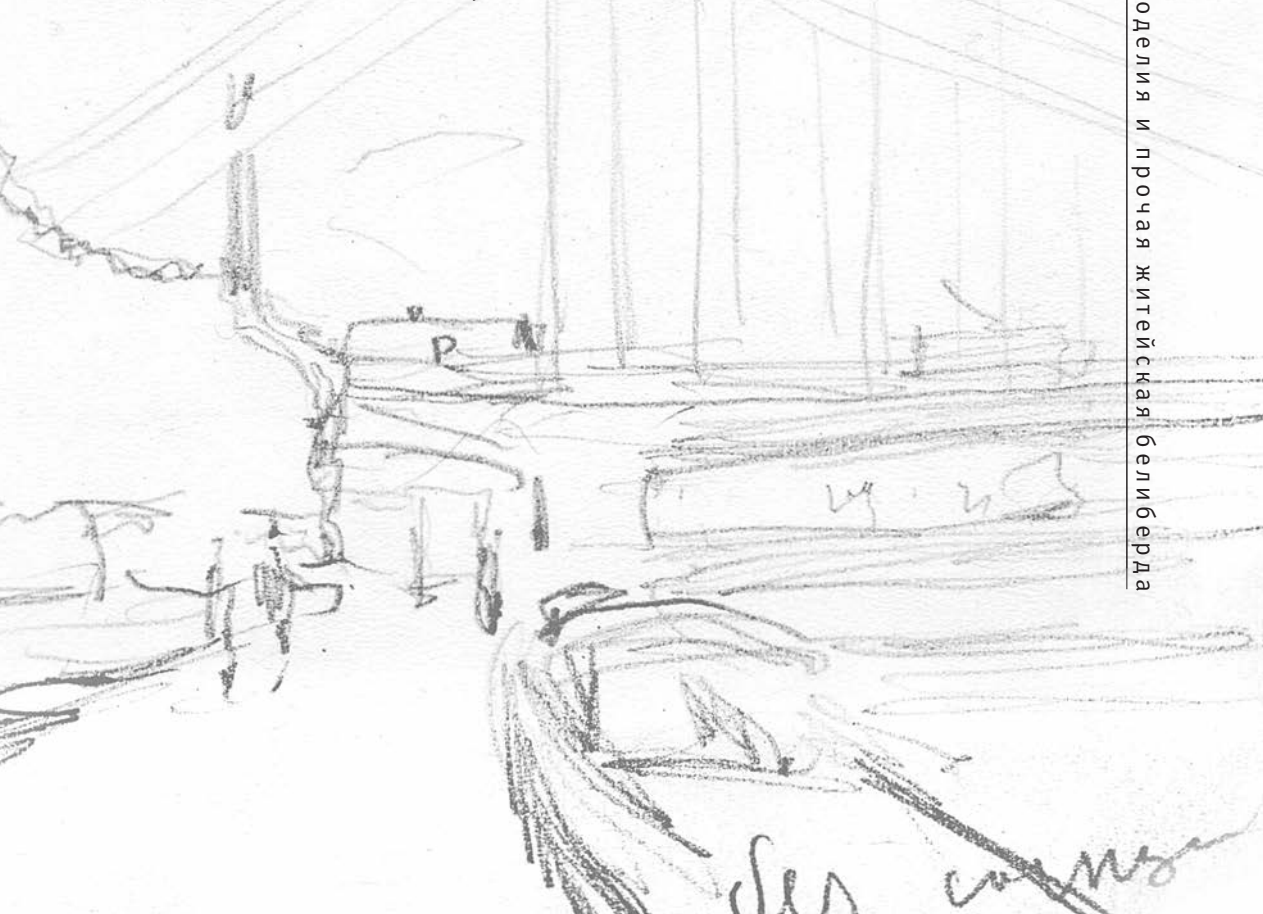
Нам повезло, соседи, на наше счастье, отсутствовали, разбрелись по очередям (бездну времени топтались граждане в очередях за насущным), так что обошлось без публичного позора и осмеяния. При вполне доброжелательном ко мне отношении, сколько гоготу и сочных комментариев обрушилось бы на мою бедную голову, попадись я им на глаза. Соседи любили и умели дразниться (доводить), отлично знали слабости и подноготную друг друга, годами поминали взаимные промахи и конфузы и сочно их аранжировали, возводя в ранг апокрифов — такое вот вдохновенное кухонное развлечение, жилось то скучновато. Правду сказать, среди квартирнного нашего населения встречались люди артистичные, даже очень, но и безжалостные...

Одним словом, первое школьное фото сделали только весной, в конце учебного года. Но уж на этой фотографии я в полном порядке и при параде: в белом фартуке, отстиранном от жутких пятен (и как только мама умудрилась с ними справиться), с книгой на коленях — наградой за примерное поведение и отличную успеваемость. Приличная фотография примерной школьницы

образца 1956 года. Книжка, кстати сказать, называлась «Рассказы натуралиста» — на четкой фотографии хорошо видно название.

Черная метка, полученная в самом начале школьного марафона, во многом определила мое мироощущение на последующие одиннадцать лет. Пытаясь вспомнить, а какие же светлые моменты связаны у меня со школой, я поняла, что самые лучезарные — это сбор макулатуры и металлолома. Азартные, увлекательные часы, в отличие от ежедневной школьной тяготы, усугубленной ощущением ежеминутной опасности, исходившей едва ли не от каждого педагога.

С учителем повезло лишь однажды, на школьном излете. Только потому повезло, что РОНО (районный отдел народного образования) ошалел (ошалело) от убожества годовых сочинений десятиклассников и в отчаянии прислал (прислало) сильного учителя литературы — Александра Александровича Пластинина. Не сказать, чтобы учитель наш был так уж обаятелен (очень уж желчен, зато и остроумен), но преподавал блистательно. Оказалось, что достаточно одного-единственного учителя для того, чтобы утром хотелось идти в школу. Весь тот год мы не «проходили», а читали «Евгения Онегина» и говорили о Пушкине (собственно, говорил Александр Александрович), и это было так интересно, что впервые за все школьные годы я по собственной воле пересела на первую парту. И сетую вот уж полвека, отчего лишь однажды выпало мне это школьное счастье — встреча с Учителем...





Хинди - руси

б х а й - б х а й

Человек я удручающе приземленный. С детства не люблю сказки и выдумки, правду мне подавай, только правду! А самые правдивые и самые достоверные истории рассказывали тетки в многочасо-

вых предпраздничных очередях за яйцами и мукой и няньки на «иностранном» скверике у подножия Института иностранных языков, некогда дворца Еропкиных — территории обитания многих поколений окрестных детей и их нянек. Бывало, притулишься возле скамьи, на которой плотным рядом сидят, будто бы куры на насесте, закутанные в платки и упакованные в многослойные одежды няньки (гуляли-то долгими часами и в любую погоду), вроде бы куличики лепишь, то из песка, то из снега, и слушаешь, слушаешь, ума-разума набираешься, на ус наматываешь, сюжетами запасаешься. У нянек лидировали истории из жизни хозяев и хозяйских соседей (все без исключения жили в коммуналках, материала для наблюдений и умозаключений немерено), но мне больше нравилось про похищенных детей и старушек, из которых отъявленные негодяи варили мыло, увлекательные такие истории со множеством правдивых деталей и интересных подробностей... И когда в новейшие времена я забавы ради затеяла реконструировать городской фольклор своего детства, оказалось, что и вспоминать не надо, будто бы байки те с интонациями и особенностями произношения наших давно ушедших из жизни нянек я слышала не много десятилетий назад, а на прошлой неделе, такой в голове обнаружился магнитофончик... Нянькам-то нашим жилось нелегко, сурово, не помню ни шуток, ни смеха, разве что ехидные подковырки и злорадные комментарии

(в окрестностях квартиры № 2)

(и вправду не до смеху им было, нашим нянькам, бежавшим из своих деревень и прибившимся к московским берегам не от хорошей жизни), приходилось довольствоваться макабрическими сюжетами, ими-то я и делилась вдохновенно в разных аудиториях (жанр устного рассказа с раннего детства мой любимый). Однако организм, перенасыщенный всяческой жутью, требовал чего-то жизнеутверждающего (видно, гормона радости жаждал, имя которому, как нынче выяснилось, серотонин). И однажды мне повезло, да еще как!

Ранним июнем 1955 года я впервые оказалась на Сельскохозяйственной выставке. Предстояло отправиться на все лето в пионерский лагерь, родители волновались (все же домашний ребенок, еще дошкольница, жизненного опыта маловато) и решили отвлечься от тревожных мыслей, а также развлечь и утешить дитя. Сложным путем, с пересадками (метро-то в той местности еще не построили) прибыли мы на выставку, оглянулись окрест и увиденное нас ошеломило.

Более всего потрясли павильоны южных республик! Эвересты и джомолунгмы гранатов и персиков, виноградные хребты, яблоки и груши небывалых размеров, арбузы величиною с земной шар поражали взоры и дразнили обоняние советских граждан, и во сне не выдавших подобного изобилия, но поголовно страдавших жесточайшим авитаминозом и алкавших этой плоти и этого сока со всею силою детских, взрослых и старческих организмов. В некоторых павильонах что-то съестное можно было даже купить, какие-то копчености, нечто консервированное и, не поверите, фрукты! Мы-то по причине вынужденного аскетизма ничего такого не покупали, но народ, помнится, метался от павильона к павильону с туго набитыми авоськами.

До одури надышавшись фруктовыми ароматами, мы продолжили осмотр достижений народного хозяйства и перешли в павильон, благоухавший деревенскими луговыми запахами свежескошенной травы и населенный великолепными, будто бы свежевыбритыми и только что из-под душа хряками и их подружками — выскобленными до нежного розового сияния рекордистками-свиноматками, каждая с сонмом очаровательных поросят! Глядя на эту прелесть, посетители хором вспоминали стихотворение Льва Квитко (до чего же скоротечно время, ведь и трех лет не прошло, как поэта расстреляли в лубянских застенках по делу ЕАК — Еврейского антифашистского комитета): *«Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят»*, вдохновенно переведенное с идиш советским дворянином Сергеем Михалковым.

Продуктовых запасов мы на ВДНХ не делали, но уж в основном, в том, чем славилось райское это местечко и о чем слагались легенды, себе не отказали. Конечно же, речь о сосиске, вложенной в хрустящую булочку! В начале 50-х все сосиски были неплохи, но будничные сосиски соотносились с сосисками на ВДНХ, как, к примеру, пик Сталина (ныне пик Исмаила Самани) соотносится с одним из семи московских холмов, в наши дни неразличимых простым глазом, как Миссисипи Гекльберри Финна с апрельским ручейком, струящимся по обочине Мансуровского переулка, как собрание сочинений

Чарльза Диккенса в тридцати тисненных темно-зеленых томах с книжицей Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома» в хлипкой бумажной обложке.

Самое удивительное, что сосисок на ВДНХ всегда хватало на всех, продавались они через каждые десять метров, и очередь к сосисочной тележке никогда не превышала десяти человек. Гражданам, утолившим голод этой отменной пищей, насладившимся соком ее и хрустом, верилось, будто изобилие и вправду где-то близко, в обозримом будущем. Но отчего-то розовые эти сосиски, изнемогавшие, истекавшие сосисочным соком, не ассоциировались с прелестными поросятками, над которыми все мы, счастливые едоки сосисок, только что кудахтали и таяли от умиления. До чего же изощрено человеческое сознание, как надежно защищена наша совесть...

Наевшись сосисок и запив их газировкой с сиропом, нацеженными теткой в белой робе из двух узких стеклянных баллонов (или дюшесом из простецкой бутылки толстостенного зеленого стекла), вспоминали о насущном. И взоры публики обращались к общественным туалетам. Кстати говоря, слово «туалет» в значении «отхожее место» для поколения родителей, а тем более бабушек и дедушек, звучало непроходимой пошлостью. То, уже ушедшее поколение, пользовалось для тех же целей словом «уборная», вовсе не считая его вульгарным.

Так вот, уборные на ВДНХ заслуживают отдельного отступления. Унитазы-то в интерьерах общественных отхожих мест встречались в те времена крайне редко, широко бытовали исконные российские дыры в полу, своего рода провалы в смердящую преисподнюю — но ведь и они бывали разного качества. Туалетные дыры на ВДНХ выглядели, используя сегодняшний лексикон, гламурно. Справа и слева от дыр симметрично располагались аккуратные, выполненные контррельефом силуэты человеческих ступней идеальных очертаний, не деформированных жизнью и не расплюснутых плоскостопием. Руководство к действию и гарантия соблюдения первейших гигиенических правил, облегчающая добросовестным гражданам пользование туалетными услугами. А какому размеру обуви соответствовали силуэты ступней, этого я не помню, но по ходу дела объясняю на всякий случай: рельеф — это выпуклое изображение, подобным образом создавались камеи, к примеру камея Гонзаго. В то время как контррельеф — явление прямо противоположное — это углубление в камне, и таким манером резали античные геммы-печатки. Впрочем, кое-кто из сверстников мне оппонирует, кое-кому помнится, будто бы туалетные следы выполнены были не контррельефом, а рельефом, аналогично камням. Очень может быть, случаются такие огрехи памяти...

Общественные уборные на ВДНХ скрывались за заборчиками, сколоченными крест-накрест из узких планок и густо оплетенными девичьим виноградом, а на туалетную территорию проникали сквозь укромные арки в виноградных кущах. Выглядели эти заведения так поэтично, что посетителей выставки, даже тех, которые не объелись сосисками по самое не могу, тянуло под их буколическую сень. Не помню, оснащались ли эти пасторальные

(в окрестностях квартиры № 2)

ватерклозеты кранами с водой (может, и оснащались), что же касается туалетной бумаги, то она в сознании советских граждан еще не менее полутора грядущих десятилетий оставалась синонимом газетной. Удивительно другое, никаких признаков фольклора на стенах этих общедоступных учреждений не наблюдалось!

А теперь сравним ту виноградную ретроидиллию с сегодняшним кафельным хайтеком. Казалось бы, за прошедшие десятилетия пройден немалый путь — запущено в космос множество всякой всячины, произведено несметное количество гаджетов и девайсов, немало граждан одолело евроремонт. И вот вам на этом оптимистическом фоне одна-единственная сентенция, самая невинная, самая целомудренная из множества гораздо более жестких, шокирующих, скопированная со стены одной общественной уборной в центре столицы: *Если ты насрал, зараза, / Дерни ручку унитаза. / Если ручки нет такой — / Подтолкни г...о рукой.*

А теперь пора объяснить, что даже в такие скромные сооружения, как общественные уборные на ВДНХ, так же как и в помпезные павильоны, в каждую, на первый взгляд незначительную их деталь, вложили душу (множество душ) сотни архитекторов и художников. Не знаю, как обстояло в архитектурной среде, но семьи многих московских художников, некогда пристроившихся к этому делу, существенно поправили свое материальное положение. Работы было невпроворот и платили за нее неплохо. Интерьеры павильонов нуждались в огромном количестве росписей, а также в десятках тысяч таблиц, витрин и стендов, несущих в народ внятную информацию обо всем на свете.

Сейчас-то почти никого из тех тружеников не осталось, но я выслушала немало восторженных воспоминаний старших своих друзей о том благодатном периоде их жизни. Люди добросовестные, с отменной школой, выпускники европейских академий, отечественного Вхутемаса (а также Строгановского училища и института им. В.И. Сурикова), истинные профессионалы, дорожившие репутацией и возможностью заработать деньги не тошнотворной халтурой, а халтурой удобоваримой, почти приятной, они и вправду вкладывали в эту работу душу. В данном случае термин «халтура» означает всего лишь приработок, а отнюдь не наплевательское, априори недобросовестное отношение к делу. Халтуре в дурном смысле слова на ВДНХ места не было, потому что работу принимал многолюдный и чрезвычайно компетентный художественный совет, состоявший из серьезных художников, людей в большинстве своем немолодых, с авторитетной профессиональной биографией. Все сделанное предьявлялось совету (бывало, что и по много раз), корректировалось им и оценивалось по определенной шкале. То есть к самому пустяковому изображению, к самой ничтожной детали оформления применялись те же критерии, что и к гигантской фреске с сюжетом из жизни орденоносного колхоза или к живописному групповому портрету передовиков промышленного производства.

На заре единовластного воцарения Никиты Сергеевича, а именно после его возвращения из Соединенных Штатов, художники, обслуживавшие ВДНХ, получили новые заказы. А все благодаря зародившейся в душе вождя и ставшей притчею во языцех фанатической страсти Хрущева (в народе Хруща) к кукурузе. Иначе как царицею в эпоху моей начальной школы эту сельскохозяйственную культуру не называли. То есть в кратчайшие сроки требовалось заполнить ВДНХ изображениями Кукурузы — царицы полей. И моя старшая подруга Виктория Ильинична здорово процвела на кукурузной ниве и взбудрила жизненный тонус своей семьи. Виктории Ильиничне прекрасно удавались кукурузные образы, в том числе метафорические. Изпод ее рук они выходили добрыми, обаятельными и веселыми, в точности такими, как она сама.

Вообще, все кукурузные изображения неуловимо напоминали своих создателей, встречались среди кукурузных образов моего детства и простодушные, и лукавые, и угрюмые. Случалось, угадывалась даже национальная принадлежность автора. Этот забавный феномен общеизвестен. Ежели, к примеру, посадить десять художников рисовать одну и ту же модель (хоть одетую, хоть обнаженную), а потом сравнить результаты, окажется, что в каждом изображении присутствует сходство с автором, независимо от половой принадлежности модели и художника.

Впрочем, это всего лишь затянувшаяся преамбула к главному сюжету того прекрасного дня. Да, над Выставкой достижений народного хозяйства всегда клубилось праздничное возбуждение, но в тот июньский день, с которого я начала свое ковыляющее повествование, в особенности, потому что разнесся слух, будто с минуты на минуту сюда придут гости Москвы, прекраснейшие индийцы Джавахарлал Неру и Индира Ганди. А ведь мало кому народ наш симпатизировал так же, как Индире и Джавахарлалу, разве что Полю Робсону, но его звезда уже закатывалась, а до явления Фиделя Кастро еще предстояло дожиться...

Вслед за народом и мы рванули в павильон «Машиностроение», который любимцы мирового сообщества намеревались посетить в первую очередь. Осведомленные граждане давным-давно заняли лучшие места, но и нам удалось пристроиться на антресолях, в первом ряду, у перил. Долго ли мы ждали индийцев, коротко ли, этого я не помню, но внезапно гул затих, и в дверном проеме в контражуре материализовались фигурки в белом — Неру в традиционном своем наряде (узенькие штанишки, нечто среднее между лапсердаком и френчем, шапочка наподобие пилотки, стек, гвоздика в петлице) и тоненькая Индира в сари и легком покрывале, накинутом на темноволосую головку. Отец с дочерью вступили в павильон и замерли на пару секунд (видно, в угоду фотокорреспондентам). На свое счастье замерли, потому что в следующее мгновение павильон ахнул множеством синхронных ахов.

А ахнул он оттого, что перед посланцами мира, буквально под ноги Индире, упал с деревянным стуком некий не сразу опознанный сигарообразный

(в окрестностях квартиры № 2)

предмет. Сверху упал, будто бы с неба свалился (на самом-то деле с наших антресолей). Ни Джавахарлал, ни Индира даже не вздрогнули (вот что значит индийское самообладание), а некто из охраны ястребом ринулся на предмет и накрыл его своим телом.

И что же это было? А была это всего лишь палка сырокопченой колбасы весом не более килограмма, выпавшая сквозь перила антресолей из переполненной авоськи одного из наших соотечественников, счастливо отоварившегося на выставке дефицитным продуктом. Батон подняли, предъявили собравшимся — великим и малым, малым и великим, и павильон машиностроения сотрясся таким дружным смехом, что антресоль наша задрожала мелкой дрожью (только что в резонанс не попала).

Вот уж действительно: хинди-руси бхай-бхай! Не знаю, последовали ли репрессии после того колбасного теракта, и кто от них пострадал, но сырокопченный батон владельцу не вернули, потому что этот мистер (или миссис) Икс скрылся в толпе, растаял, испарился, и правильно сделал, мало ли чем это могло для него обернуться. Сталина-то с Берией уже пару лет не было с нами, но и XX съезд еще не случился, репрессивная машина хоть и сбавила обороты, но еще крутилась вовсю. Неизвестно также, кому достался этот свалившийся с неба сырокопченный сувенир, во всяком случае, не Джавахарлалу с Индирой, по слухам убежденным вегетарианцам... Известно другое, а именно, что обыкновенно история повторяется дважды, первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Увы, в случае с Индирой Ганди все случилось ровно наоборот.

Но до этой трагедии было еще так далеко, что ее могло и не случиться... А я в тот счастливый день обрела первоклассный жизнеутверждающий сюжет и с обновленным репертуаром, во всеоружии и с ощущением избранности (ну кто еще мог похвастаться, что своими глазами видел Джавахарлала с Индирой!) наутро отправилась в пионерский лагерь, прекрасно провела лето и обзавелась друзьями, в значительной степени благодаря рассказам не только о переваренных на мыло детишках, но и о случае с сырокопченой колбасой. Общеизвестно, как помогала «рассказчикам» эта их способность в гораздо, гораздо более экстремальных обстоятельствах, с пионерским лагерем несравнимых... В результате я вернулась в Москву не обремененная ни одной детской травмой, а за тот ассортимент комплексов, что угнездились в моем организме на всю последующую жизнь спасибо школе, и только ей!

Помнится, сосед по машиностроительным антресолям на волне всеобщего воодушевления внезапно и горячо полюбивший моих родителей, настойчиво звал их отметить счастливое событие в павильоне виноделия, скрывавшемся где-то на выставочной периферии. Вроде бы выстоявшие очередь и попавшие внутрь счастливицы что-то там дегустировали, какие-то грузинские вина, армянские коньяки... Но мы приглашение отклонили, бежали со всех ног от назойливого знакомца, и только спустя целую вечность после описываемых событий, на исходе одиннадцатого класса, я нежданно-негаданно посетила это злачное местечко.

Одноклассница моя Танька Лебядкина (не подруга и не приятельница и вообще социально чуждая особа) прослышала, будто где-то возле ВДНХ есть шанс обрести белые туфли, без которых ну никак нельзя явиться на выпускной школьный бал. Большого конфуза, чем туфли не белого, а какого-нибудь иного цвета, нельзя было и вообразить. Хлопоты вокруг туфель объединили нас с Танькой, я не устояла, и пасмурным весенним днем, сразу после уроков, мы отправились в этот мифический магазин, который, как и следовало ожидать, оказался плодом Танькиного воображения. С горя решили прогуляться по выставке и нечаянно вышли к загадочному, окруженному аурой порока павильону виноделия, деревянному строению, может и не помпезному, но с претензией на нечто экзотическое.

И вот вам картинка: две юные девицы с портфельчиками, в тесноватых школьных платьицах с белыми воротничками и в черных фартучках, будто только что с комсомольского собрания или с большой перемены, входят в павильон, где маячат там и сям невнятные личности, постоянные, судя по всему, посетители. В центре павильона стойка полированного дерева, за стойкой, на фоне полок, уставленных ненашенскими бутылками разнообразных цветов и конфигураций, оживившийся при виде нас очаровательный бармен. Мгновенно оживляются и невнятные личности, окружают нас, скалятся, заговаривают, отпускают сомнительные шуточки — натуральный сон Татьяны Лариной (всю прошедшую зиму изучали мы «Евгения Онегина», и, видно, неслучайно). Что делать? Бежать под смех и улюлюканье сомнительной публики, да к тому же после фиаско с туфлями? Ну уж нет! Чтобы не потерять лица, решили выпить по бокалу грузинского вина. Выпили, повеселели, страх и смущение вроде бы отступили, а бармен предложил по рюмочке французского напитка с экзотическим названием «арманьяк». Я представила, как шикарно прозвучит это слово в кругу моих приятелей из художественной школы, и, понятия не имея, как пьют арманьяк, залихватски опрокинула рюмочку (к счастью, крошечную). От продолжения попойки устояла только потому, что исчерпала лимит, а сорок рублей, накопленные вдвоем с мамой на «выпускные» туфли, считала суммой неприкосновенной. Я-то, здравомыслящая особа, на арманьяке остановилась, а Танька вошла в раж, воодушевилась мужским вниманием, завелась, лихо опрокинула еще рюмку, еще... Одним словом, завсегда-таев павильона виноделия мы неплохо развлекли, а с нами ничего дурного не случилось. Вот только Таньку так развезло, что мы с трудом выбрались наружу, бесконечно плутали по выставке и до метро добрались в глубоких сумерках. Безобразие это случилось в 1966 году, через пару лет после свержения Хрущева. Пейзаж страны, в том числе Выставки достижений, изменился...

К этому тексту подверстывается еще один сюжет, в котором участвует пара, симметричная Джавахарлалу с Индирой и ничем не уступающая харизматичным индийцам. В середине 70-х мы с мужем моим Евгением оформляли в издательстве «Детская литература» книгу «Одиссея голубого огня». Поэтичную книжку о происхождении газа, добыче его и транспортировке

(в окрестностях квартиры № 2)

написал славный тандем, отец с дочерью. Чрезвычайно благообразный седовласый джентльмен Юлий Боксерман, похожий на Жана Габена (некогда крупная фигура в Министерстве нефтяной и газовой промышленности), и дочь его, журналист Тамара Юльева, приятнейшая гостеприимная дама.

К работе мы отнеслись серьезнейшим образом и первым делом ринулись на ВДНХ, в павильон «Газовая промышленность» за материалами для книги. Стояла зима, и хотя выставка пустовала, тут и там дымились мангалы, пощипывало в носу от ароматов лука и маринада, жарились шашлыки, давно уж вытеснившие легендарные сосиски. Впрочем, сосиски эпохи советско-индийской дружбы, составлявшие некогда приятнейший симбиоз с хрустящими булочками, вымерли как динозавры задолго до нашей встречи с Боксерманам. Конечно же, в тот день мы совместили полезное и приятное — заели газовые впечатления шашлыками и навестили заскучавших в зимнем запустении быков и свиней — правнуков давних наших знакомцев.

Боксерманов тронуло вдумчивое отношение молодых художников к делу, но особенно их умилила наша вылазка на ВДНХ. И в течение нескольких месяцев (в те времена книги оформляли не в режиме аврала, а вдумчиво и подолгу) мы регулярно являлись к своим авторам, в их дом на Зоологической улице, обсуждали сделанное, выслушивали пожелания, пили кофе — короче, работа кипела. Боксерманы оказались людьми дотошными, вникали в каждую мелочь, снова и снова возвращались к уже утвержденным иллюстрациям и схемам. Наконец работу мы завершили, с авторами расстались самым дружеским образом, иллюстрации редактор одобрил и утвердил. Но накануне окончательной сдачи огненной нашей одиссеи позвонила Тамара Юльевна и попросила зайти, чтобы еще один самый последний разочек взглянуть на работу и выпить кофею. Делать нечего, пришли, принялись в который уж раз рассматривать оригиналы, и в самую последнюю минуту на одной из схем кто-то из Боксерманов обнаружил... о, ужас... не хилую опечатку. Город Ленинград в нашей интерпретации оказался городом Ленингад, ни больше и ни меньше!

Справка для современного читателя: в докомпьютерные времена для изготовления подобного рода схем пользовались поистине ювелирными технологиями. Тексты (самые протяженные и в любом количестве) выклеивались по буквке. Мы поднаторели в этой китайской работе, пользовались хирургическими инструментами: тонкими ножничками, пинцетом, офтальмологическим скальпелем. Выклеенное, вычерченное, вычищенное Женя переснимал и печатал в собственной фотолаборатории. Возились-возились, а кошмарную ошибку проглядели. Хорошо еще, что на дворе стояли 70-е годы, а не 30-е или 40-е... Но если бы не дотошные наши авторы, великолепные Боксерманы, не сладко бы всем нам пришлось. А ведь что это по сути своей было, если не попытка теракта, не колбасного, но идеологического?

Следующее посещение той же местности случилось в апофеозе эпохи застоя, в самый удушливый, самый безнадежный его период, в один из майских

праздничных дней 1981 года. То есть дочери нашей было ровно столько же лет, сколько мне в день памятной встречи с Джавахарлалом и Индирой. Не исключено, что подсознательно я мечтала о подобном чуде и для дочери. Однако вместо чуда со мной приключилось в тот день нечто странное. Едва мы вошли на территорию выставки, как меня охватило немотивированное отчаяние — все вокруг показалось мне омерзительным: все песни из репродукторов, звучащие во сто крат громче, чем способно воспринять человеческое ухо, вся публика, включая детей, все съестные запахи, отчего-то не соблазнительные, а тошнотворные. У художника Андрея Костина есть серия очень жестких в отношении окружающего социума офортов якобы по мотивам произведений Зоценко, но на самом деле отражающая его собственное на тот момент мироощущение. Так вот, мне почудилось, будто я оказалась внутри Андрюшиного офорта. Не такой уж я мизантроп и тем более не плакса, но в тот день села на скамейку в лысоватом скверике и разревелась. Дочь с мужем изумились, испугались, увели с выставки и всю в слезах поместили в вагон метро. Казалось, отчаянию моему не будет конца, но вдруг я увидела двух женщин напротив — мать и дочь, вроде бы с самыми обыкновенными, однако социально близкими физиономиями. Всю дорогу от станции метро «ВДНХ» до «Проспекта Мира» я не сводила с них глаз, вкушала противоядие. И за несколько минут мизантропию свою излечила, приступы, подобные этому, до сего дня не повторялись, и ту майскую впечатлительность на грани шока вспоминаю с недоумением.

Прошли годы, и наступили иные времена, ознаменовавшиеся в числе прочего переименованием ВДНХ в ВВЦ. И в один из последних апрельских дней подруга, человек творческий и бесконечно изобретательный, решила отпраздновать день своего рождения не в тесной квартире, а устроить друзьям концептуальный сюрприз на лоне природы. Гостям предложили собраться перед центральным входом, известным всему миру сооружением, некогда символом ВДНХ. Кое-кто приехал на велосипеде, остальные явились пешком. Немаленькой компанией, заинтригованные затеей, тронулись в путь. Не торопясь, с ностальгическим смаком, продрались сквозь пестрое выставочное мельтешение, сфотографировались, как водится, возле сияющего сусальным золотом фонтана «Дружба народов», убедились, что все павильоны, все закулочные, все рестораны и все мангалы на своих местах, и завершили марш-бросок на задворках ВВЦ, под железнодорожным мостом через речку Лихоборку. В канаве под насыпью, среди мусора, необратимо утратившего индивидуальность и давно уж превратившегося во множество артефактов (а все приглашенные неплохо в этом смыслили), хозяйка праздника раскинула скатерки-самобранки, разложила угощение новейших времен (нарезки, колбаски, оливки, орешки), и начался пир горой. Напившись и наевшись, самые храбрые гости принялись взбираться на насыпь, балансировать на гудящих рельсах, с риском для жизни карабкаться ввысь по конструкциям грандиозного моста, бравировать и кичиться друг перед другом удалью и молодечеством, а также полоскать руки (к счастью, не умываться) в бурливом и пенистом

(в окрестностях квартиры № 2)

речном потоке. Увы, после этой невинной водной процедуры кисти рук храбрецов побагровели и распухли. Видно, поэтично пенилась и бурлила не сама Лихоборка, а слитые в нее отходы неведомого промышленного производства. О, как безмятежно кейфовали мы под насыпью во рву некошеном, а в вышине, заглушая тосты и заслоняя небеса, с угрожающим ревом проносились туда и обратно бесконечные товарные составы, мост нависал над нами, скрежетал, хрипел, рычал и содрогался. С наступлением сумерек пришлось покинуть уютный бивуак и повторить марш-бросок в обратном направлении — мимо мангалов, закусовых, фонтанов и павильонов, сквозь гвалт и мельтешение, к вратам, на сей раз вон из рая.

Конечно, можно было бы извлечь из неглубоких недр памяти немало иных жизненных эпизодов, связанных с тем же, то более, то менее (в зависимости от десятилетия, стоявшего на дворе) благоустроенным кусочком московской земли. К примеру, припомнить прогулки в райских садах, напоминающих посетителям об их легкомысленных прародителях. Да, у всех нас текла слюна при виде образцово-показательных яблок и груш невиданной сочности, но ни один гражданин и ни одна гражданка в трезвом уме и твердой памяти ни за какие коврижки не попались бы на эту удочку и не покусились ни на один из обманчиво доступных плодов. Наученные жизнью потомки Адама и Евы, оказавшиеся волею судьбы на шестой части суши, окрашенной на географических картах в кисельный цвет, жили поосторожнее прародителей... Что же касается кисельного цвета, то напоминаю читателям-ровесникам о розоватых брикетах сухого киселя (копеечных и никогда не попадавших в разряд дефицита), которые можно было развести водичкой, но проще и вкуснее схрумкать всухомятку.

В нынешней же реальности на ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ периодически происходит нечто позитивное — устраиваются выставки, фестивали, а также ярмарки, на которых можно обрести прекрасное, например, сушеные грибы отменного качества, которыми торгует перед Рождеством и Пасхой артель «Пермская береста». А оказавшись в выставочных пределах, нельзя отказать себе в удовольствии навестить тетенок, окружающих фонтан «Дружба народов», спроектированного (равно как и «Золотой колос», и «Каменный цветок») архитектором Котэ Топуридзе, мужем миссис Хадсон и черепахи Тортиллы.

Помнится, услышав по радио голос Рины Зеленой, без малейшей слащавости имитировавший детскую речь, интонации ее и стилистику, все население нашей квартиры, независимо от возраста и социальной принадлежности, бросало сковородки и сковородники, кастрюльки и гусятницы, мясорубки, терки, скалки, шумовки, поварешки, деревянные толкушки, алюминиевые бидоны, чугунные утюги, жестяные корыта и оцинкованные стиральные доски, а также щипцы для завивки волос и рейсфедеры для выщипыванья бровей (да-да, рейсфедеры), замирало перед теми самыми черными тарелками, источниками информации и эстетического наслаждения. На этом сообщении, свидетельствующем о безграничной любви советского народа к искусству

художественного слова и имеющем более чем косвенное отношение к теме ВДНХ, ставлю долгожданную точку.

Историческая справка: открытие ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) состоялось 1 августа 1939 года. Площадь выставки, вместе с прудами, парками, опытными участками и строениями составляла 136 гектаров. Эмблема выставки, как многие думают, вовсе не «Рабочий и колхозница» работы Веры Мухиной, а вздымающиеся над головами огромный сноп «Колхозница и тракторист», изваянные скульптором Орловым. Именно эта пара увенчивает центральный выставочный вход. В 1959 году ВСХВ переименовали в ВДНХ, в 1992 году ВДНХ переименовали в ВВЦ, а в 2014 году нам возвратили ВДНХ, ибо все, как известно, возвращается на круги своя.

И еще... Якобы главный архитектор ВСХВ Вячеслав Константинович Олторжевский задумал сделать выставку не просто культурным центром Советского Союза, но центром Вселенной. Если взглянуть на генеральный план ВСХВ, видно, что площадь механизации — центр выставки, напоминает солнце, вокруг которого расположились девять планет. Само собой, в середине площади должна была возвышаться фигура Ленина. От площади механизации, как от библейского Древа Жизни, разбегаются четыре источника, в точке пересечения, как в системе координат, образующие начало всех начал. Эта система сформирована с математической точностью и заключена в правильный восьмиугольник — христианский символ обновления и обретенного райского блаженства. Все эти знаки сочетались с огромным крестом и символами буддийских и индуистских мифов. Вот такой глобальный замысел, такая тайна ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ...





15-10-81

Около самоуара

(дачная пастораль в сиреневом колорите)

*Явлено чудо чудесное — окрестности бушуют,
клубятся сиренью всех существующих на земле
оттенков, и среди них мой любимый, пурпурный —
насыщенный красновато-лиловый. Вот и бабушка*

моя Ольга Александровна в начале прошлого века пользовалась духами фирмы Coty «Пурпурная сирень» («Lilas pourpre»). Флакон с идеально притертой пробкой, заключенный в кожаную коробочку, живет в доме ну никак не менее ста лет и хранит воспоминание о запахе парижской пурпурной сирени бог знает какой давности. Их даже можно сравнить — тот допотопный парижский запах и нынешний подмосковный, обволакивающий сады возле станции Троицкая Рижской ж.-д. Ароматом «Lilas pourpre» пропахла потертая кожа коробочки и ее обветшавшие шелковые внутренности цвета «пепел розы». Поднатужившись, можно вытащить плотно притертую пробку, тогда запах усилится, но жаль лишиться даже его толики и страшновато выпускать беззащитного джинна из уютного его заточения в сегодняшнюю жесткую реальность. Не знаю и не узнаю никогда, открывала ли бабушка старинную коробочку в советские времена и о чем вспоминала. Запах, как известно, субстанция мистическая, удивительные фокусы продельывает с беззащитным нашим сознанием, того и гляди нахлынет неведомо что и неведомо откуда, а то и лиловый обморок сирени не дай бог случится...

Но и это еще не все! Прошлым августом дочь усердно трясла по всему саду пучками отцветших незабудок, развеивала семена... Успешно развеивала, потому что в июне сад окатило незабудочным девятым валом, окропило

(в окрестностях квартиры № 2)

кобальтом голубым. А из кущ не заматеревшей, еще съедобной сныти произросли во множестве и невозмутимо покачиваются изысканные создания, лиловые и бледно-розовые аквилегии, точь-в-точь как в иллюминированных рукописях. А рядом с этим средневековым миражом космические пришельцы — звездчато-стрельчатые сиреневые шары декоративного лука.

А еще ландыши... Они у нас крупные, на крепеньких ножках-стебельках, но отчего-то угрюмые, даже мрачноватые, надежно укрытые собственной мощной листвой, похожие на сплоченное войско, ощетинившееся темно-зелеными щитами и пиками. Чтобы разглядеть наши ландыши, а тем более их понюхать, нужно низко-низко им поклониться (а еще лучше встать на колени) и погрузить физиономию в зеленую чащу. Тогда они покажутся безо всякой охоты и, так и быть, позволят себя понюхать.

Удивительно, но и от второй моей бабушки, Рахили Исааковны, прожившей недлинную трагическую жизнь, осталась коробочка из-под духов «Ландыш серебристый». В картонном светло-зеленом футляре вместо флакона живет шапочка, связанная из золотисто-коричневого гаруса по моде конца 20-х годов — единственный предмет, сохранившийся у моей мамы на память о ее маме — бабушке моей Рахили, скончавшейся в разгаре драматических времен, в январе 1937 года, в одиночестве, на чужбине, вдалеке от семьи. Увы, но продолговатая коробочка сохранила не запах духов, а запах беды, и видится мне игрушечным светло-зеленым гробиком с букетиком ландышей на крышке (рельефное изображение букета, почти как настоящего, выполнено в технике «конгрев» — так это называется в полиграфии). Бабушкины духи «Ландыш серебристый» выпущены Ленинградской парфюмерной фабрикой № 4. По стечению обстоятельств в неродном ей Ленинграде бабушка и скончалась, и погребена там же, на еврейском Преображенском кладбище. Новейшая история и судьба семьи распорядились бабушкиной могилой жестоко — просто-напросто стерли ее с лица земли. Один только дед знал ее местоположение, но его расстреляли ровно через год и один день после смерти жены. А потом последовало мамино сиротство, война, эвакуация, ленинградская блокада, тяжелейшие обстоятельства послевоенной жизни... Короче говоря, ни один из ее потомков на могиле Рахили Исааковны не побывал, да и могла ли она сохраниться?

А среди всего этого цветочного изобилия и божественных ароматов под высоченной черной елью на длинном столе (столешница укреплена на литых чугунных основаниях от швейных машин фирмы «Зингер», подобранных некогда на московских помойках) кипящий самовар изящных, даже аристократических пропорций. Он у нас не круглый и не пузатый, а граненый, в форме огромной рюмки, не серебряный, а медный (а если его начистить, то почти золотой), с ажурным краником и подносом замысловатых очертаний. Наш самовар с биографией и достался нам от славного человека.

Мария Густавовна служила секретарем на кафедре иностранных языков. Кроткая, предельно деликатная, в белой блузке с кружевным воротничком,

заколотым скромной камеей, самая старшая из всех служивших на кафедре прекраснейших седовласых дам, племянница художницы Ольги Людвиговны Делла-Вос-Кардовской, Мария Густавовна жила в 1-м Неопалимовском переулке, в доходном доме начала века, в комнате, оставленной семье после давнего уплотнения. Обыкновенно какую-то часть своего имущества уплотненные жители умудрялись втиснуть в милостиво оставленные им квадратные метры, всем остальным завладевали «подселенцы».

Мы с мамой не раз бывали у Марии Густавовны, но из всей обстановки я запомнила всего два предмета — напольные часы с бронзовым маятником в узком и высоком (едва ли не в полтора моих роста) футляре красного дерева и огромную (чудилось, будто бы в полстены) картину. Задумчивая темноволосяя девушка в светлом платье, облокотившаяся о перила веранды на фоне анилиново-розового заката, отдаленно напоминала щупленькую Марию Густавовну, даже в собственном доме старавшуюся казаться незаметной. По правде сказать, картина казалась мне грубоватой, к этому времени папа уже пристрастил меня к иным художникам — к тончайшему Писсаро, к лаконичному Марке, к сдержанному Крымову.

Судьба Марии Густавовны сложилась драматически. В 1918 году в ее семье случилась трагедия — в один день скончались от испанки два маленьких сына. Но вскоре родилась девочка, а года два спустя мальчик. Маленькая Ирина приняла рождение брата в штывы, и так это и осталось навеки. Муж Марии Густавовны, успешный врач-гомеопат, умер в 30-е годы. На его похороны пришла женщина с двумя подростками, мальчиком и девочкой, ровесниками Ирины и Коли — вторая, параллельная семья доктора, о которой Мария Густавовна и не подозревала.

На кладбище произошла единственная встреча единокровных братьев и сестер, и никогда больше после того скорбного дня Мария Густавовна не бывала на могиле мужа. Жила она с дочерью, крепкой красивой женщиной со здоровым румянцем во всю щеку и трудным, невообразимо тяжелым характером. С сыном виделась редко, тайком от дочери. Раз или два в году Коля приезжал из Питера, куда переселился подальше от сестринской ненависти, иногда, приводя Ирину в бешенство, звонил матери, и Мария Густавовна, прикрывая трубку рукой, говорила с ним по коммунальному телефону. А утром, на кафедре, светилась радостью, делилась Колиными новостями с сослуживицами.

В самом начале 60-х годов в Неопалимовском переулке обрели на капитальный ремонт, и Марии Густавовне с Ириной пришлось покинуть родные края. Взамен просторной комнаты с высоченными потолками дали две смежные клетушки в коммунальной квартире на Фрунзенской набережной.

Избавляясь от лишнего имущества, за символические деньги продали кое-какую мебель, часы с маятником, остальное раздали знакомым. Нам достался самовар, обитавший некогда в семье Кардовских в Переславле-Залесском.

(в окрестностях квартиры № 2)

Свое имение на заре советской власти Кардовские предусмотрительно передали государству, благодаря этому своевременному тактическому ходу хозяев не изгнали, и с тех пор фамильное имение превратилось в Дом творчества художников. Я там не бывала и не знаю, существует ли все еще та веранда, на которой Ольга Людвиговна написала юную Машеньку.

Так вот, происхождение самовара то самое, «делавоскардовское», породистое. Не исключено, что в иные годы самовару доводилось жить и в Малаховке, где у Марии Густавовны была прелестная дача, выстроенная во вкусе начала века, в том самом, с эркерами, застекленными разноцветными стеклами. Многие годы дачу арендовала одна и та же дружественная семья, Ирина со своим корявым неуживчивым характером на даче не появлялась, а Мария Густавовна обитала в тесноватой, темноватой, похожей на уютную норку комнатке где-то в тылу старинного дома в яблонево́м саду. Видно, некогда помещение это предназначалось для прислуги.

От калитки к дому вела узенькая, но протяженная дорожка, стиснутая плотно разросшимися кустами розы ругозы, осыпанными бесчисленными сияющими цветками и множеством жемчужных бутонов, восхитительно нарядная, театрально торжественная дорога к старинной даче.

Однажды в яблочный урожайный год нас пригласили на белый налив. На самом-то деле белый налив вовсе не яблоко, а лучезарное совершенство, венец творения! И осталось воспоминание то ли из собственной жизни, то ли из чьей-то чужой, может быть даже книжной: не впопыхах, а ощущая значительность происходящего, срываю с веток драгоценные, светящиеся изнутри плоды совершенной формы наподобие луны в полнолуние и такого же лунного цвета и укладываю в плетеную корзинку из каких-то прежних сказочных времен.

В конце концов дружественные дачники незадорого купили и дачу, и яблони, и розу ругозу, но по скрупулезно составленному договору за Марией Густавовной до конца дней закрепили привычную ее норку. Вроде бы все осталось по-прежнему, однако хозяйкой дома и яблоневого сада она себя уже не чувствовала и по причине деликатного своего устройства принимала гостей не с прежним радушием, а как-то скованно и смущенно.

Что же касается самовара, то жизнь его продолжается. Покинув Неопалимовский переулок и переселившись к нам в Мансуровский, много лет он не функционировал по прямому своему назначению, однако не бездействовал, потому что сразу же стал главным участником натюрмортов. Множество раз я писала его акварелью и темперой, а самому удачному изображению исключительно повезло, оно переселилось в Швейцарию, в кантон Базель-Штадт.

Юношеский натюрморт выпросил у меня серьезный человек, швейцарский профессор-ортопед, для отца моего и тетушки просто Жоржик, их детский приятель. Родители Жоржика, художники Яков Шапшал и Мария Берендгоф, воспользовавшись голландскими своими корнями и родственными связями, в 1926 году покинули Россию и переселились в Гаагу. Жорж выучился

на доктора, участвовал в голландском Сопротивлении, но мы ничего не знали о его судьбе, пока в середине 60-х он неожиданно не возник на пороге нашего дома. По прошествии всех времен пятидесятилетний Жорж, седовласый красавец, приехал в Москву по профессиональной надобности, для обмена опытом с другим ортопедом — российским. И отправился гулять по старой Москве, по местам, которые помнил с детства. Шел мимо нашего дома, вспоминал детских своих приятелей, папу моего и тетушку, увидел в окне вазу с кистями, догадался, что обитают здесь художники, но поверить не мог, что одни и те же люди в течение сорока с лишним лет могут жить по одному и тому же адресу. Однако зашел на всякий случай и убедился, что такое случается.

В один из последующих приездов он и выпросил натюрморт с самоваром, причем выбрал самый удачный. Что неудивительно, потому что Жорж наш в свободное от профессиональной деятельности время занимался живописью, более того, руководил кружком, в котором швейцарские художники-любители по воскресным дням писали в студии натюрморты и время от времени выезжали на пленэр, куда-нибудь неподалеку, во Францию или в Италию. Да уж, не пожалела я своего самовара для иностранного гостя, явления в те годы уже не экзотического, однако нечастого!

Но настал момент, когда жизнь самовара активизировалась, и он снова стал функционировать по прямому своему назначению. Родилась дочь, мы сняли дачу в Кратове, и в течение восьми лет самовар растапливали шишками, под поощрительные возгласы окружающих торжественно вносили на вытянутых руках на террасу, окружали вазочками с вареньями и печеньями. Увы, но на смену ренессансу пришел, как водится, если и не упадок, то многолетнее затишье, самовар снова впал в спячку, потемнел и запылится. Но прошли годы, много лет, и он очнулся.

С рождением внука самовар, наподобие птицы феникс, возродился к новой жизни и теперь каждое лето царит на станции Троицкая. Переживает и сиреневое буйство, и яблочное, случающееся, к счастью, не каждый год, потому что, как оказалось, яблочное изобилие — это не только радость, но еще и бедствие.

И опять самовар растапливают шишками (предпочтительно сосновыми, еловые, как выяснилось опытным путем, горят хуже), а из самоварной трубы рвутся к небу клубы сизого дыма, а случается, что и языки пламени. Кипящее чудо из прежних времен водружают на стол под елью и окружают вазочками с вареньями и печеньями.

Таким образом медный самовар, явившийся на свет на заре Серебряного века, в начале жизни напоивший чаем множество диковинного народу, в том числе людей, чьи имена вошли в историю русского и даже мирового искусства, переживший многочисленные переезды и прошедший самые разные этапы (причем активные фазы сменялись застоями, но ведь и застои не вечны, и этот закон жизни должен всех нас подбадривать и обнадеживать), ныне пребывает в неплохой физической форме и пользуется почетом

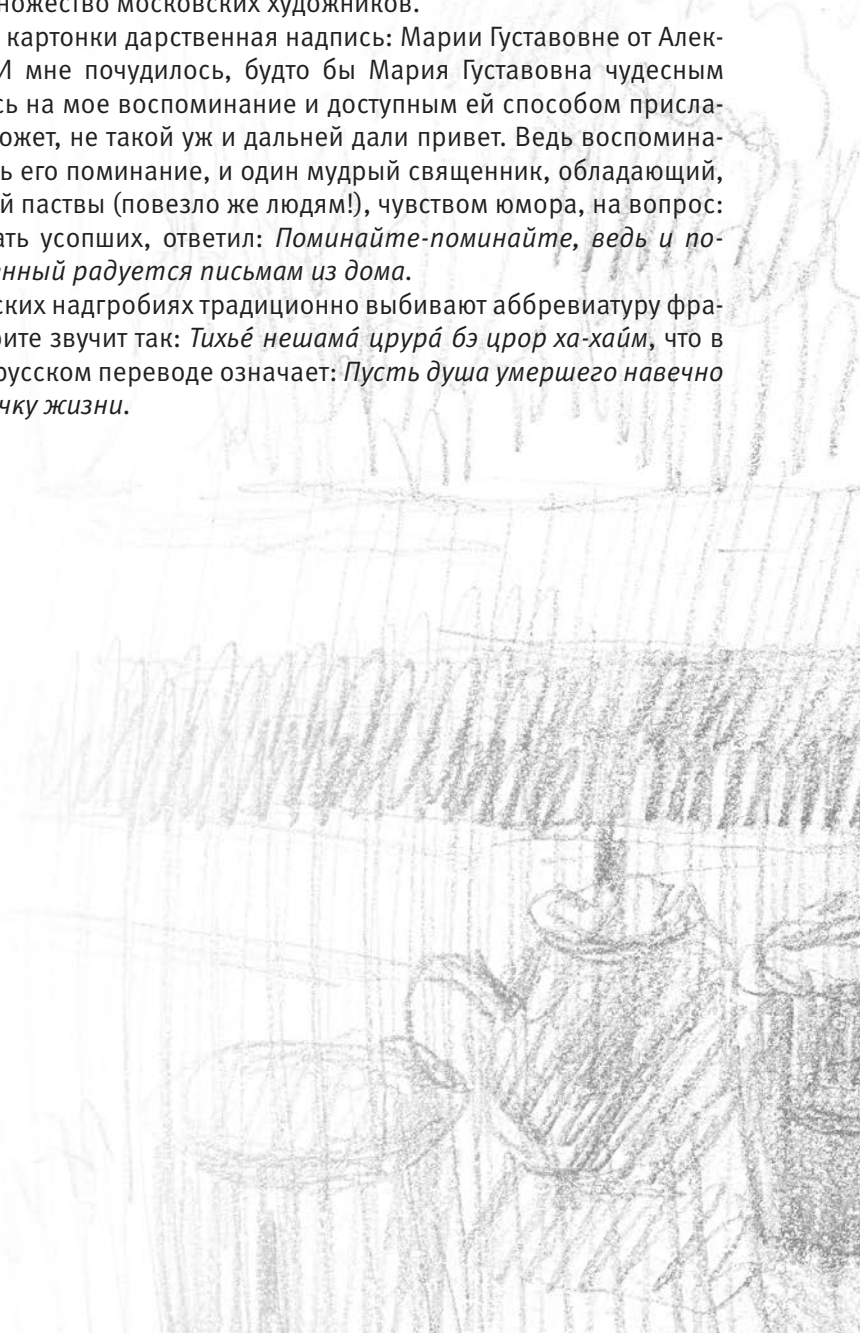
(в окрестностях квартиры № 2)

и вниманием окружающих. И я желаю ему, равно как и всем нам, людям якобы пишущим, а также читающим, долгих лет, интересных встреч и профессиональной востребованности!

А совсем недавно на сайте, торгующем произведениями искусства, обнаружился этюд моего отца Алексея Айзенмана «Прудик возле Новодевичьего монастыря». На небольшой картинке изображен один из самых славных и, как это ни удивительно, донине сохранившийся в неприкосновенности московский сюжет — вид на Новодевичий монастырь. Это прелестный пейзаж писало и рисовало множество московских художников.

На обороте картонки дарственная надпись: Марии Густавовне от Алексея Семеновича. И мне почудилось, будто бы Мария Густавовна чудесным образом отозвалась на мое воспоминание и доступным ей способом прислала из дальней, а может, не такой уж и дальней дали привет. Ведь воспоминание о человеке суть его поминание, и один мудрый священник, обладающий, к счастью для своей паствы (повезло же людям!), чувством юмора, на вопрос: следует ли поминать усопших, ответил: *Поминайте-поминайте, ведь и по-жизненно заключенный радуется письмам из дома.*

А на еврейских надгробиях традиционно выбивают аббревиатуру фразы, которая на иврите звучит так: *Тихьё нешамá црурá бэ црор ха-ха́йм*, что в приблизительном русском переводе означает: *Пусть душа умершего навечно влетит в цепочку жизни.*







В тот год два зимних месяца отец мой провел в красивейшем месте, на Академической даче близ города Вышний Волочек, что на берегу реки Цны (в просторечии на Академичке). В 1884 году мос-

ковский меценат В.А. Кокорев выстроил это пристанище для студентов Императорской Академии художеств. Чтобы молодые художники могли поработать без забот на лоне изумительной природы, а заодно отъесться и набраться сил. А в 1948 году усадьба Кокорева обрела статус Дома творчества Союза художников РСФСР имени Репина Ильи Ефимовича.

В начале марта, незадолго до окончания того творческого срока, отец мой поскользнулся на ледяном каком-то торосе, сломал руку, ему наложили гипс и напрямик из Вышнего Волочка отправили в Москву. Путевка заканчивалась через пару дней, и мы с мужем моим Евгением отправились за папиным имуществом. А имущества в Дома творчества приходилось брать прорву: этюдники, многие килограммы масляных красок, холсты, листы оргалита, а по зимнему времени и одежды немало — телогрейку, валенки, ватные штаны... Ну какой зимний пленэр без стеганых штанов и валенок с галошами?

Поздним московским вечером сели мы в поезд, на рассвете прибыли в Вышний Волочек, разузнали дорогу и по хрустящему насту, проваливаясь по колено в сияющие мартовские снега, навстречу слепящим солнечным лучам добрались кое-как до цели. На Академической даче, окутанной густыми винными парами, царили возбуждение и суматоха, потому что накануне прибыла комиссия из Москвы. А это вовсе не шутки! Важничающие московские бонзы

(в окрестностях квартиры № 2)

«принимали поток», проверяли, как художники потрудились и насколько эффективно использовали государственные средства. Встречались среди тех бонз и талантливые художники, и славные люди, но большей частью то были функционеры, ничем не отличавшиеся от своих близнецов и братьев, занимавших руководящие позиции в любой другой официозной совковой сфере. Естественно, художники побаивались начальства, трепетали и то и дело «подавали» для смелости и успокоения нервов. В тот раз мы участвовали в процедуре «приема потока» (развешивали папины работы), довольно унижительной для художников и тошнотворно начальственной и высокомерной со стороны «старших братьев». И когда «комиссия» вынесла наконец вердикты, подвела черту под двухмесячной работой полусотни художников, отнюдь не окрыленные, а скорее сникшие и не слишком трезвые мастера кисти (и мы вместе с ними) погрузили пожитки в автобус, отправились на вокзал и заняли общий вагон проходящего ночного поезда Петрозаводск — Москва.

Обыкновенно «творческий поток» состоял из художников обоих полов, поэтому нежные дружбы и кратковременные союзы складывались преимущественно в своей среде. Но дело-то в том, что та творческая группа состояла из пятидесяти художников и одной-единственной художницы. Причем если художники прибыли большей частью из глубинки, то единственной художницей оказалась рафинированная московская девушка Катя истинно ботичеллиевской красоты, да еще и с библейской изюминкой — давняя, со времен художественной школы моя знакомая.

Не сравнение, но параллель: если Симонетта Веспуччи, предполагаемая возлюбленная Джулиано Медичи, вдохновила на создание шедевров разной степени совершенства немало мастеров кватроченто, то Катя стала на два месяца прекрасной дамой для оравы российских художников (увы, результаты их творческих усилий нам неизвестны). Но если на многочисленных портретах и аллегорических изображениях выражение Симонеттино лица абсолютно непроницаемо, то на Катиных устах всегда присутствовала слегка загадочная, однако приветливая улыбка.

Вижу, будто бы было это не вечность назад, а прошедшей зимой: Катя в распахнутой шубке и жемчужной сеточке на темных вьющихся волосах (ренессансную сеточку сплел на память умелец-поклонник) на фоне мартовских вышневолоцких снегов. Кстати говоря, спустя годы (жизнь спустя) Катя рассказала, что сильно простудилась в те мартовские дни и лежала в своей камерке едва ли не в бессознательном состоянии, как вдруг услышала из-за двери (и узнала) мой голос. Узнала и вынырнула, восстала с одра болезни, видно, явление наше совпало с кризисом! Так это ей и запомнилось на всю последующую жизнь — наш приезд и ее чудесное выздоровление. Такое вот лестное для меня (не по заслугам) совпадение...

По счастью, женщины в окрестностях Академички водились в изобилии, поэтому дружбы и романтические союзы сложились между художниками и местными жительницами, в том числе сотрудницами Дома творчества. То есть

для кого-то из местных жительниц та зима осталась лучезарным воспоминанием, а для кого-то, возможно, и драматическим...

Большой суматошной компанией с бездной разнокалиберных пожитков погрузились мы кое-как на проходящий поезд Петрозаводск — Москва. Возвращавшиеся в родные края художники (все как один подшофе) закинули холсты, валенки и телогрейки на багажные полки, а сами угнездились внизу, но не в одиночестве, а со скорбящими подругами, решившими оттянуть расставание и проводить зимних возлюбленных, кого до Калинина (бывшей и нынешней Твери), а кого и до самой Москвы.

Сплотившиеся, успевшие притереться, но еще не надоевшие друг другу пары расставались на пике страстей. Поэтому вагон наш, нашпигованный этими самыми страстями, стонал, бормотал, слезоточил, а местами даже искрился. Заснуть на жесткой полке, да еще в таком энергетическом поле не удавалось, я уселась у окна и принялась любоваться заснеженной ночной красотой. И тогда-то, единственный раз в жизни увидела комету, самую что ни на есть натуральную, ярчайшую, с длиннющим, ну просто невероятно длинным хвостом, точь-в-точь как на картинке в учебнике астрономии для восьмого класса. Ошалев от неожиданности и восторга, завопила во всю глотку: *Комета летит, комета!*

Шевеленье и трепыханье замерли на секунду, но на призыв мой отозвались только двое — Женя и Катя. Более никто из наших спутников с полки вагонной не соскочил и к окну не приник. До кометы ли всем им было в ту мартовскую ночь? Что такое комета и прочие космические причуды перед скорой и вечной разлукой? Если бы не Женя с Катей, я уверила бы себя, что комета мне померещилась. К счастью, и Женя, и Катя, чудесным образом ничуть не постаревшая, не подурневшая, с той же самой улыбкой прилетавшая не так давно из дальних краев, помнят ночной поезд Петрозаводск — Москва и ослепительную ту комету.

Оказалось, что южноафриканский астроном Дж.К. Беннет обнаружил ее всего-то за три месяца до нашей с ней встречи, 28 декабря 1969 года. А обнаружив, ничтоже сумняшеся, назвал своим именем. Вот описание этого чуда: «Ее яркость достигла нулевой звездной величины в марте 1970 года, когда комета имела хвост длиной в 30° ». То есть наша с кометой встреча случилась в апогее ее яркости.

Чистая правда, в качестве очевидицы подтверждаю и невероятную ее яркость, и беспрецедентную длину хвоста. То есть комета, удочеренная южноафриканским Дж.К. Беннетом, совершенно беспрепятственно, как ни в чем не бывало, пролетала над безбрежными, но изолированными от мира российскими просторами, границы которых пассажиры нашего вагона и не мечтали пересечь при своей жизни. Есть мнение, будто бы явление кометы предвещает глобальные несчастья и катастрофы, однако в тот раз пронесло, может, по молодости своей (почти младенчеству) комета Беннета еще не заматерела и не набрала зловещую свою силу...

(в окрестностях квартиры № 2)

А перед отъездом с Академички Катя сделала широкий жест. Ощущая себя старожилом (а может, даже царицей) творческого дома, подарила нам ценный предмет, волюнтаристски изъяв его из местного натюрмортного фонда. Возможно, что приглянувшийся нам шкалик (водочная бутылка безупречного дизайна с рельефными буквами на стеклянном боку «т/о Ивана Смирнова Москва» емкостью 250 мл) обитал на Академичке с кокоревских времен. То есть водочку художники попивали всегда, и этот шкалик опорожнил некогда один из стипендиатов Императорской Академии художеств. Не исключено, что выпивоха обучался секретам живописного мастерства у самого Ильи Ефимовича Репина или у Архипа Ивановича Куинджи, которые тоже живали и работали в этих благословенных местах. Вот бы узнать, как сложилась судьба того молодого художника, может исключительно талантливого, а может средних способностей человека, хочется думать, что он реализовал свой творческий потенциал, а не спился, как это случалось и случается ныне со многими и многими не только российскими художниками.

По Катиной воле бутылочка очутилась в нашем багаже среди папиных холстов, картонов и прочего имущества, благополучно добралась до столицы, о которой прежде не помышляла, и теперь эта архаическая емкость, прожившая на свете никак не менее ста лет, изредка наполняется соответствующим ее статусу и назначению содержимым и украшает наш стол.

Из сегодняшнего необозримого далека гляжу я будто из космоса на все вспомнившееся и вышеизложенное. Рассекая пустынные просторы заснеженной Валдайской возвышенности и Среднерусской равнины, несется наш вибрирующий и содрогающийся вагончик, распираемый человеческими страстями и драмами (а ведь душа каждого человека и сама-то по себе отдельная вселенная со своими планетами, кометами и падающими звездами), а над вагончиком и перпендикулярно стремительному его следованию в непредставимой какой-то черной-пречерной высоте пролетает над той же местностью комета имени южноафриканского Дж.К. Беннета. Короче говоря, картина маслом...





mean

Б а й к и

н е р а с к а я в ш е й с я б а р а х о л ь щ и ц ы

Только не вздумайте делать ремонт! —
предостережение историка моды Александра Васильева

*Похвала пыли. Мы задыхаемся среди
предметов, не просто заполнивших, но заплонив-
ших наше жилище. Предметы, далеко не первосте-
пенные, оккупировали жизненное пространство:*

все полки, все шкафы, все подшкафья и подкроватья (слов этих, может, и нет в словаре, но о чем идет речь, понятно каждому). Кое-что из этого множества вроде бы и без нашего участия сгрудилось в кучки, сложилось в стопки, прикинулось сталагмитами, в ожидании гостей мы камуфлируем эти новообразования пледами и платками. Давно уж пришла пора решить: исторгать ли эти ненужности или самим бежать от них, спастись. Подруга, оказавшаяся точно в таком же положении, так и поступила — уехала в другую страну. Конечно, потом пришлось возвратиться, но и она, и предметы отдохнули друг от друга, отдышались и осмыслили взаимную ценность.

Все это имущество изрядно запылено, а с пылью мы боремся вяло. Лояльность по отношению к пыли поддержана весомым аргументом, ибо на свою беду еще в самом начале 70-х вместе со старшей подругой Викторией Ильиничной Гордон я оказалась в гостях у ее знакомых по прозвищу «землерои» в жилище истинных коллекционеров Татьяны Борисовны Александровой и Игоря Николаевича Попова. Не только нечто безусловно ценное, но и любая безделица имела для этой супружеской пары историческую и художественную ценность (а со временем обретала ее и для окружающих). Помнится, мы принесли плитку шоколада «Люкс» в лоснящейся алой обертке, будто бы перевязанной голубой лентой с пышным бантом. Когда дело дошло до чая,

(в окрестностях квартиры № 2)

сервированного на столе Петровской эпохи, Игорь Николаевич аккуратнейшим образом развернул шоколадку, разгладил обертку ладонью и отложил в сторону, чтобы тем же вечером приобщить к огромной, собиравшейся десятки лет коллекции всяческих упаковок. И спустя годы я побывала на выставке этого уникального собрания, устроенной в Политехническом музее.

А на стене дома, хозяева которого так трепетно относились к шоколадным оберткам и фантикам от конфет, висела в числе прочего работа Пиромани. Была и другая прекрасная живопись, но из-за обилия впечатлений я ее не запомнила. И уж наверное, висели работы самой Татьяны Борисовны, входившей некогда в союз художников и поэтов «Маковец», а в 20-е годы жены художника и теоретика искусства Льва Жегина (сына Федора Шехтеля, между прочим). Живопись Татьяны Борисовны мы увидели и оценили в новейшие уже времена.

Мебели в доме было немного, но предметы все удивительные. К примеру, книжный шкаф невиданного устройства, приземистый, с двойными, дублирующими друг друга филенчатыми дверцами, полный редкостной книжной всячины. В квартире обитало множество чудес, теперь уж с трудом припоминаемых. На равных правах с бесценными раритетами на подоконниках выстроились рядами стеклянные пресс-папье — разноцветные литые шары, гладкие и ограненные. Нечто подобное, но попроще, начиненное непрерывно сыплющимся снегом, готическими замками, балеринками, блестками и бог знает какой еще чепухой и ныне продается в лавчонках и на рынках всего света. То есть никакой предметной ксенофобией Александра с Поповым не страдали и мир вещей принимали во всех его проявлениях, без снобизма.

Виктории Ильиничне, по натуре вовсе не собирателю, но человеку азартному и по-детски нетерпеливому, захотелось немедленно, не откладывая ни на минуту, начать что-нибудь коллекционировать. Недолго думая, она остановила свой выбор на ключах, и Игорь Николаевич тотчас выволок из-под тахты здоровенный ящик, доверху наполненный ключами и ключиками всех размеров и конфигураций (от крошечных шкатулочных до огромных амбарных) и для почина и затравки подарил Вите старинный кованый ключ с бородкой замысловатой конфигурации. А когда речь зашла о мелкой бронзовой пластике (маленьких бронзовых иконках, которые брали в дорогу), из-под той же тахты извлекли короб с «бронзочками». К слову сказать, коллекцию ключей Вита таки собрала, малоценную, но многочисленную. И первый ключ, подаренный для почина асами собирательства, так и остался жемчужиной Витиной коллекции. Ну и где могла оказаться эта тяжеленная связка ключей после Витино ухода, случившегося через двадцать лет после того московского вечера? Разумеется, она у нас, кто б сомневался...

Так вот, все это обилие раритетов покрывала пелена пыли. В контексте этого дома пыль не была той вульгарной субстанцией, каковой она обыкновенно является. Мебель и прочие прекрасные предметы вроде бы подернуты были легкой сединой, позволявшей здешней пыли выглядеть своего рода

покровом, нежнейшей, наподобие кисеи, но надежной защитой от превратностей жизни. Пыль «цвета парижских туманов»... В Париже-то я не была и вряд ли когда-нибудь побываю, а образное выражение выхватила мимоходом из одного произведения, опубликованного в те же времена в журнале «Иностранная литература». Коротая неторопливые годы застоя, мы правдами и неправдами выписывали «Новый мир» и «Иностранную литературу» (в просторечии «Иностранку») и прочитывали журналы от корки до корки.

Так вот, в некоем то ли романе, то ли повести, а может в новелле, фигурировала куртка из мягчайшей лайки «цвета парижских туманов», купленная героиней для любимого мужчины на рождественской распродаже в городе на берегу Сены. Рождество в Париже, мягчайшая лайка, туманы... не более чем мираж в начале 70-х. Как бы то ни было, но каким-то образом парижские туманы и пыльная пелена в доме знакомых коллекционеров оказались, как говорится, в одном флаконе. Образуются иногда такие странные ассоциативные пары, хотя своими глазами парижских туманов я так и не повидала, равно как не наблюдала и иных состояний парижской погоды.

А ведь мечтала об этом городе и однажды предприняла попытку туда проникнуть. Здесь-то, пожалуй, самое место для полузабытого сюжета. Дело было в середине 90-х, когда люди давно уж и запросто разъезжали по странам и континентам, в одиночестве и компаниями. Вот и у нас сколотилось сообщество грезящих о Париже разновозрастных дам и девушек под началом чьей-то знакомой, промышлявшей туристическим бизнесом. Воодушевились, сговорились об аренде домика в ближнем подпарижье, принялись мечтать, предвкушать, строить планы, сдали паспорта и по 600 долларов с носа (всего носов было штук десять-двенадцать). И был день, и настал вечер, и пришла ночь накануне вылета в город всеобщей мечты и вечного праздника, которым мы предполагали запастись на всю оставшуюся жизнь.

Итак, я собрала вещички, не забыв ни об одной самой мелкой мелочи, тщательно и со вкусом уложила в объемистую сумку, закрыла многообещающе зажужжавшую молнию и прилегла на пару часиков. Грезя, как следующим вечером в это же самое время пройду по набережной Сены, протекающей по четырнадцати французским департаментам и в конце своего пути впадающей в пролив Ла-Манш. В существовании этой речки я ни минуты не сомневалась, потому что в школьные годы без запинки отвечала на коварный вопрос всех без исключения викторин: «Какой город стоит на сене?» Паспорта с визами посулили раздать в аэропорту.

Не успела я, выражаясь высоким штилем, смежить веки, как раздался телефонный звонок, и трубка пронзительно прокричала: *Все отменяется, никуда не летим, виз не дали!* С этим известием, сравнимым по силе воздействия с сообщением о конце света, я ринулась звонить подруге, синхронно со мной грезившей о набережной Сены. Буквально через секунду ошеломленная подруга запуталась в телефонном проводе, упала и сломала руку. Об этом несчастье я узнала только утром, а ночью думала лишь о том, как бы

(в окрестностях квартиры № 2)

не разреветься и не потерять лица перед мужем и дочерью и утешить маму, мечтавшую о моем парижском счастье едва ли не больше, чем я сама. Если б не эти обстоятельства, я бы, конечно, всплакнула с полчасика да и заснула б в слезах. Лицо-то я сохранила, не пролила ни слезинки и даже маму почти утешила, однако веки так и не смежила... Увы, но нас, что называется, кинули, то ли мы пролетели над Парижем, как та самая фанера имени авиатора Огюста Фаньера, врезавшегося на своем летательном аппарате в Эйфелеву башню, то ли сам Париж накрылся медным тазом...

Сюда же, как говорится, до кучи, подверстывается история, приключившаяся в глубоко советские времена со знакомой девушкой. По какому-то небывалому заоблачному благу ее включили в странную делегацию, отправлявшуюся в Париж (!) без виз (!) на один-единственный (!) день. Эта странная однодневная экскурсия по Парижу началась с посещения кладбища Пер-Лашез, а конкретно — с возложения московских гвоздик к Стене коммунаров (они же федералы). Так называется часть каменной стены в северо-восточной части парижского кладбища Пер-Лашез, где захоронены 147 защитников Парижской коммуны, не пожелавших сложить оружие и казненных 28 мая 1871 года в парке Монсо.

Видно, приурочили скоропалительную экскурсию к столетию трагического события. Ну и ладно, какая, в конце концов, разница, если некоторые готовы взглянуть на Париж и тотчас умереть, то уж коммунарам-то поклониться вообще не проблема... Итак, группа советских граждан прибыла на кладбище, возложила цветы и собралась было рысью бежать к автобусу, чтобы предаться собственно парижским радостям, как вдруг обнаружилась пропажа двух человек. Панику, охватившую руководителей группы, легко вообразит каждый, живший в те времена. Долго-долго переминались наши туристы под злополучной стеной, хотя при трезвом уме и наличии воображения не следовало терять присутствия духа, сопоставляя эту изощренную, но, в общем-то, безобидную пытку с тем ужасом, который век назад испытали коммунары, оказавшись лицом к лицу со своими палачами.

Итак, один из руководителей группы стерег, наподобие Цербера, оцепеневший народ, другой в предынфарктном состоянии метался по кладбищу, пока не обнаружил своих подопечных, почерневших от страха и отчаявшихся почти невозвращенцев. Эти любопытные и легкомысленные бедняги отошли на пару шагов в сторону от мемориальной стены и заблудились среди кладбищенских плит и надгробий. В результате всю компанию в состоянии жесточайшего стресса погрузили в автобус, наскоро провезли по городу, выйти разрешили только на улице Мари Роз, возле парижского гнездышка Ильича, но ни шага в сторону сделать не позволили. Этот сюжет, на мой взгляд, покруче нашего, пообиднее... Казалось бы, за прошедшие годы не раз могла бы я побывать в Париже, но не случилось это счастье в моей жизни, не случилось... И цвет парижских туманов по-прежнему ассоциируется исключительно с пыльной пеленой в доме Александровой и Попова, подтвердивших, что

назначение пыли действительно то самое, защитительное. То есть на всю последующую жизнь хозяева замечательного дома вооружили меня веским аргументом против обременительной и непродуктивной борьбы с этим явлением природы.

Тот, кто хотя бы раз в жизни встречался с Татьяной Борисовной, не мог ее не запомнить. Очень худая, сутулая, в годы нашего с ней знакомства дама лет шестидесяти с хвостиком (на тогдашний мой взгляд, глубокая старушка), Татьяна Борисовна одевалась как юная обольстительная женщина. Кроме изящнейших платьиц и пальтишек (бывало, что и розовых), Татьяна Борисовна поражала женскую публику кольцами и браслетами музейного достоинства, в изобилии украшавшими худые ее руки, и казалась существом экзотическим, персонажем Серебряного века, телепортированным в сегодняшнюю (тогдашнюю) реальность. На первый поверхностный взгляд выглядела она чудаковато, но уже на второй изысканно. И короткое каре с челкой, и манеры, и своеобразная угловатая пластика производили впечатление. Люди, ценившие стиль и знавшие в нем толк, заглядывались на Татьяну Борисовну, те, что попроще, посмеивались.

Засилье вещей... Вроде бы пора избавиться от этого жизненного балласта, но вещицы-то прижились в доме, добровольно покидать его не собираются и как бы не отомстили в случае насилия. Понятно, что корни этой метафизики произрастают из детского пристрастия к сказкам Андерсена, одушевившего множество неодушевленных предметов, но ведь правду сказать, избавляясь от той или иной вещицы, выбрасывая ее из жизни и из памяти, размыкаешь цепочку ассоциаций, обрываешь нити, связующие не с предметами, но с людьми, событиями и обстоятельствами собственной судьбы.

Недаром отец мой, любивший жанр натюрморта, неустанно напоминал ученикам, что французскому термину «nature morte» (мертвая натура) предпочитает немецкую его интерпретацию — «stilleben» (тихая жизнь). Он избегал красотей и ставил натюрморты из хлама, обретенного на помойке. В папных натюрмортах фигурировали старые кирпичи, листы мятой жести, корявые деревяшки, ржавые трубы и даже огнетушители. Выразительные по форме и соблазнительные с точки зрения живописца по цвету.

Однажды, разъезжая по Москве на велосипеде, дочь провела нашу бывшую мастерскую. Мы покинули ее много лет назад и инстинктивно обходим стороной необратимо изменившуюся и теперь уж социально чуждую местность. Трехэтажный домик, многолетнее наше пристанище, нынче вымороченный и брошенный, один-единственный сохранился до сегодняшнего дня из прежней застройки тех мест. Наташа сфотографировала одно из его окон, забитое листом фанеры, на которой крупными синими буквами (папа любил подписывать работы ультрамарином) написано: А. Айзенман «Натюрморт с огнетушителем» картон, темпера 97×77 1967 г. Сам-то натюрморт с тем самым огнетушителем мы, разумеется, увезли, а фанеру на сломанном подрамнике, к которой был приклеен картон, оставили. Но ведь ничего случайного

(в окрестностях квартиры № 2)

не бывает, и, взглянув на фотографию, я призадумалась — что это? Привет? Напоминание? Упрек?

Отцу моему нравилось, что в нашем доме жило своей жизнью несметное множество разнообразных вещей. Нагромождения эти давали импульс его фантазии. Стремясь в рисунках и в живописи к обобщению и призывая учеников к образному мышлению, глядя на что-то вполне конкретное, папа запросто мог нарисовать нечто иное. Гору грязной посуды в раковине превратить в горный хребет или городской пейзаж. А для того чтобы второстепенные, малозначащие детали не отвлекали внимания от главного, не разрушали образа, советовал чаще прищуриваться и сам поступал так же — рисуя, прищуривался. И до поры до времени прекрасно обходился без очков. Но однажды, увлеченно и даже с восторгом рисуя лошадь с телегой, невесть откуда взявшуюся на московской мостовой, по мере приближения экзотического в городских условиях объекта с изумлением осознал, что на самом деле никакая это не лошадь (и тем более с телегой), а самая обыкновенная толстая тетка с объемистыми кошелками. Папа развеселился и впервые в жизни решил проверить зрение. И офтальмолог выписал ему очки — -7 диоптрий.

Так вот, если текст мой попадет на глаза психиатру, то он сходу поставит диагноз — патологическое накопительство, то есть вид навязчивого поведения, заключающееся в собирании и хранении неиспользуемых вещей. Иначе говоря, то самое мшелоимство, нуждающееся в «исповедании грехов повседневных». В попытке смягчить вышеупомянутый диагноз или хотя бы отчасти развеять раздражение, накопившееся против молчаливых спутников нашей жизни (а может, это мы навязчивые их спутники), попробую изложить фрагменты биографий некоторых предметов, в том числе самых ничтожных. Фрагменты потому, что в большинстве своем все они попали в наш дом не новенькими, отнюдь не с иголки, а изрядно потрепанными жизнью, поэтому биографии их придется реконструировать. Трудно предвидеть, во что я ввязываюсь, какие и откуда вынырнут факты и жизненные истории, чьи судьбы всплывут по ходу дела, что за сюрпризы преподнесет память. Но ведь это и интересно...

Мебельная рухлядь и сублимированный картофель. Мебели у нас немало, вот только одна ее часть представляет собой руины, а другая вообще находится в расчлененном состоянии. Зато у каждого предмета интересная биография. И если затеять своего рода виртуальную экскурсию, то начать ее следует с так называемой семейной мебели, старейшим представителем которой лет по двести, не меньше. Ведь уже в 1913 году она была престарелой, потому что бабушка моя, решившаяся наконец-то выйти замуж и свить собственное гнездо, разыскала эти предметы на чердаке одного из флигелей старинной усадьбы Райки, принадлежавшей к этому времени золотопромышленнику Ивану Игнатьевичу Некрасову. Увы, даже малой малости не узнать об истинной истории этих вещей, предшествовавшей чердачному периоду их существования и последовавшему за тем второму пришествию. Но ведь можно

же позволить себе порезвиться и попытаться реконструировать эту историю, пусть даже и абсолютно недостоверную... Ведь и вправду не так-то они просты, эти предметы, взять хотя бы наш полосатый диван, широкое удобное лежбище, украшенное двумя симметричными колонками-параллелепипедами, увенчанными черными шарами и цилиндриками. Диванчик с судьбой...

Известно, что в первой половине XIX века усадьба Райки (ныне поселок Юность Щелковского района Московской области) принадлежала Николаю Васильевичу Путяте, некогда адъютанту графа Закревского, литератору, председателю московского общества любителей российской словесности, задушевному другу поэта Баратынского. А Арсений Андреевич Закревский, генерал-губернатор Финляндии, состоял в законном браке с урожденной графиней Толстой по имени Аграфена, предметом обожания бесчисленного множества мужчин, среди которых встречались очень даже неординарные. И для некоторых, к примеру для Евгения Баратынского, Петра Вяземского, Николая Путяты и даже для самого Александра Сергеевича Аграфена Закревская становилась на некоторое время музой и обретала иные имена, оборачиваясь то Магдалиной, то Медной Венерой... То есть всех их оболстительная Аграфена подвигла на написание стихотворений разной степени совершенства. Благодаря Аграфене Федоровне (ну конечно же вошедшей в донжуанский список Пушкина) явилось на свет стихотворение «Наперсник», напечатанное в альманахе «Северные цветы» на 1829 год, автограф которого 12 августа 1828 года поэт подарил Николаю Путяте, в то время владельцу Райков и поверенному пушкинских тайн этого периода. Вот он, этот известный всем поэтический шедевр:

*Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!*

Вот и призадумайтесь: а какие люди сживали некогда на нашем диванчике и о чем они разговаривали? Почему бы не вообразить такую, к примеру, картину, пусть даже на самом деле ее и не было: за окном август 1828 года (по новому стилю конец июля), молодые мужчины, не достигшие и тридцатилетнего возраста, раскинулись в свободных позах на будущем нашем диванчике. Александр, поджав, как водится, ногу, читает Николаю свежее стихотворение. Оба переглядываются, может даже хохочут, и Пушкин по просьбе Путяты переписывает стихотворение и дарит другу на память. Достоверно известно, что существует немало списков «Наперсника», многим хотелось иметь это шаловливое стихотворение. Петр Андреевич Вяземский, к примеру, писал некогда Александру Ивановичу Тургеневу:

(в окрестностях квартиры № 2)

Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказаться первому встретившемуся ему человеку, в котором предполагал сочувствия или который мог понять его... Такую же необходимость имел он сообщать только что написанные им стихи... У меня на квартире читал он свои стихи; «Таи, таи свои мечты» и, по просьбе моей, тут же написал мне их на память.

Разумеется, Пушкин, равно как и прочие его современники, якобы сиживавшие некогда на диване, которому в далеком будущем предстояло стать нашим, — это чистейший вымысел, лубочная картинка и игра разнузданного воображения. Зато другие достойные люди в иные времена на полосатом диванчике сиживали... За двести-то лет дивану нашему довелось соприкоснуться с частями тел (в основном с одной-единственной частью) разных своеобразных личностей... И конечно же, хороших людей на нем сиживало во много-много раз больше, чем дурных. Но если не предаваться домыслам, а перечислять людей, в действительности сиживавших на нашем диванчике, придется определять очередность, выстраивать хоть по какому-то принципу подобие Табелли о рангах, а любое ранжирование — страшная гадость... И кого-то можно забыть, а о ком-то я и слыхом не слыхивала. В конце-то концов, нам ли определять, кто более матери-истории ценен?

И все же не удержусь и перескажу рассказ Юрия Алексеевича Рыжова, правозащитника, ученого, дипломата, отроком (в 1944–1945 годах) учившегося рисованию у моей бабушки Ольги Александровны. Семьдесят с лишним лет спустя Юрий Алексеевич в изумивших и тронувших меня подробностях описал интерьер бабушкиной комнаты, не менявшийся на протяжении прошедшего века, и в первую очередь диван — центральный персонаж комнатного ансамбля. Юрий Алексеевич знал, что училась бабушка у художника Леонида Пастернака, но о сыне его, поэте, в свои 14 или 15 лет еще не слышал. Но запомнил, как во время занятий (рисовали по вечерам) заходил человек с необычной, выразительной внешностью и звучным голосом с совершенно особыми интонациями, как сидели они с Ольгой Александровной на полосатом диване, говорили о чем-то своем, и Ольга Александровна называла гостя Борей. И Юрий Алексеевич спросил, а могло ли так быть, что в нашем доме он встречался с Борисом Пастернаком? Ну конечно же встречался, ведь сына своего учителя бабушка знала с его отроческих лет, и дружили они до бабушкиного конца, случившегося 30 марта 1954 года. На этом самом диване...

Увы-увы, не знакомство, но единственный, хоть и весьма содержательный и бесконечно интересный для меня телефонный разговор с Юрием Алексеевичем случился за два с половиной месяца до его кончины, а на следующий день после горестного события журналист Лена Очина прислала фотографию акварели, висевшей на стене дома Рыжовых. Это интерьер комнаты, изображенный со всеми подробностями талантливым пятнадцатилетним мальчиком, и главный его персонаж — наш полосатый диван, притулившийся

под боком белой кафельной печки. Эта прелестная акварель стала вестью из тех времен, когда меня и на свете не было, вестью из родного дома. А вестником стал Юрий Алексеевич.

Но этого оказалось мало, и полгода спустя история чудесным образом продолжилась. Как уже было сказано, в 20-е, 30-е, 40-е годы и в самом начале 50-х бабушка моя вела детские рисовальные группы, и, как говорит мой кузен Георгий Борисович Ефимов, тоже ее ученик, «у тети Оли учились все арбатские дети». Сохранилось несколько детских акварелей и прелестных аппликаций неизвестных авторов. Одна из тех аппликаций едва ли не первое и самое яркое детское впечатление. Прикрепленная над диваном в комнате бабушки и дедушки, она казалась окном в незнакомый московский двор, где жили поразительно интересной жизнью мальчишки Степа и Вася и девочки Кланя и Мотаня. Их увлекательные приключения описывал мой дедушка Семен Борисович Айзенман, до октябрьского переворота присяжный поверенный, в советской жизни юрисконсульт, но во все времена литературно одаренный человек. И когда в нынешние уже времена я решила вставить аппликацию в рамку и повесить ее над тем самым диваном, на ее обороте обнаружился карандашный рисунок, эскиз будущей акварели, той самой, что в 1945 году написал Юра Рыжов. Получается, что я и сегодня гляжу из окна Рыжовых на давно уж не существующий арбатский двор, в котором прошло детство Юрия Алексеевича. А в самодельной, сшитой из разноформатных листочков тетрадке список той рисовальной группы 1944–1945 гг.: *Юра Рыжов, Марина Бондаренко, Лева Збарский, Валя Кравчик, Марина Бонд, Таня Румер...*

Так вот, от Николая Путяты Райки перешли сахарозаводчику Аггее Абазе, от Абазы помещикам Кондрашовым, а уж от Кондрашовых семье Некрасовых, у которых москвичи, и среди них художники того круга, к которому принадлежала бабушка, с начала девятисотых годов снимали дачи. То есть гипотетически подмосковная усадьба Райки с редкой красоты окрестностями могла стать подобием французской деревни Барбизон, где некогда поселились будущие «барбизонцы» во главе с Жаном Дезире Гюставом Курбе. Могла, да не стала, помешали все те же исторические обстоятельства...

Так вот, в преддверии бабушкиной свадьбы из своего многолетнего чердачного заточения полуразрушенная мебель отправилась в столярную мастерскую. Там ее привели в божеский вид, и обновленной, будто бы заново родившейся, она прибыла в квартиру молодоженов по адресу Архангельский переулок, 10, квартира 1, что на первом этаже дома, стоящего на перекрестии трех переулков: Кривоколенного, Архангельского и Потаповского — неподалеку от Чистых (а когда-то Поганных) прудов. И у прекрасных предметов началась новая жизнь. Сохранилась пара крошечных фотографий свеженького интерьера столетней давности. Мебель выглядит изумительно — полировка лоснится, ножки кресел на положенных им местах, полосатая обивка свежа. В комнатах идеальная чистота. Видно, пыль в начале прошлого века скапливалась не так интенсивно, как нынче, а главное, существовала прислуга.

(в окрестностях квартиры № 2)

Я-то познакомилась с этими креслами и столиками, с диваном и шкафчиками в иной период их многотрудной жизни. К моему рождению все предметы вновь одряхтели и охромели, обивка истрепалась, местами повисла ключьями, а кое-где истлела и даже сошла на нет. Что неудивительно при нескончаемой череде испытаний, выпавших на вторую их жизнь. Вот и призадуматься, а стоило ли реанимировать бедняг в том самом 1913 году, обрекая их на неизбежные страдания? Да кто ж знал...

Кое-что удалось починить, в первую очередь диван. И это справедливо, потому что в прошедшем веке ему пришлось символизировать тот уют, которого с наступлением новейших времен немудрено было лишиться вовсе. Вокруг этого свидетеля эпохи, самых горестных и самых утешительных ее мгновений, шла себе, длилась жизнь семьи. Письмо истосковавшейся по друзьям и не чаявшей встречи с ними Марии Николаевны Матвеевой (давнего друга семьи и первой учительницы моего отца), проделавшее долгий путь с Большой Молчановки в уральский поселок Дегтярка в разгаре лета 1943 года, завершает восклицание: *надеюсь, что увижу вас всех, посижу на вашем диване и услышу культурную речь!* Так и случилось: встретились, посидели, поговорили...

А еще починили шкафчик. Изначально книжный, в течение прошедшего века он исполнял функции буфета, и это оказалось для него роковым. Состояние, до которого довели шкаф времена и сопутствовавшие им обстоятельства, не описать без горьких-прегорьких слез. Достаточно сказать, что заднюю его стенку, сколоченную из толстых сосновых досок, в голодные годы (а когда именно это случилось, во время которого по счету голода, неизвестно) прогрызли крысы, насквозь прогрызли. Что это были за звери, с какими клыками и челюстями, ежели дыры образовались величиной с детскую голову, да не младенческую, а отроческую, в шкафчике-то хранилось съестное. Была мысль сохранить страшноватые доски в качестве артефакта, да жутковато стало...

Имеются среди нашей мебели и позднейшие приобретения, теперь уже тоже давние, купленные в комиссионных мебельных магазинах. В народе магазины эти заслуженно назывались «клопами». В 50-е и 60-е годы Москву терроризировали клопы. Ночами в столичных окнах то и дело вспыхивал тот самый, проникновенно воспетый Ириной Бржевской московских окон негасимый свет (музыка Тихона Хренникова, слова Михаила Мокроусова). Глядя на светящиеся в городской ночи разноцветные окошки, гости столицы завидовали, мол, хорошо же им живется, этим москвичам, уютно... Вино, наверное, пьют или так сидят...

Но сами столичные жители ничуть не обольщались относительно якобы приветливо светящихся окошек, ибо знали по собственному опыту, что на самом деле нечасто попивали они винцо по ночам. И дело не в том, что чуть свет на работу, а потому, что еженощно комнаты москвичей превращались в плацдармы, где шла война не на жизнь, а на смерть. Искусанные москвичи, обезумевшие от кожного зуда и хронической бессонницы, метались по своим

кубическим жилым метрам, в прямом, а не в переносном смысле лезли на стены и потолки, иступленно давя вонючих вампиров — врагов рода человеческого. Выживать в этом непродуктивном противоборстве помогали анекдоты, худо-бедно поддерживали боевой дух. Один из общеизвестных вопросов популярного в те годы армянского радио: В чем разница между пессимистом и оптимистом? Ответ: пессимисту кажется, будто коньяк пахнет клопами, а оптимист думает, что клопы пахнут коньяком.

Московские клопы моего детства являли собой удивительнейший феномен — им была дарована вечная жизнь! Иногда по каким-то своим соображениям они мумифицировались на годы, затаивались в укромных уголках и щелочках, прикидывались плоскими сухими чешуйками, скоплением бесплотных безобидных пятнышек, а когда хотели, оживали, стремительно обретали плоть, набирали массу, бурно размножались. Москвичи ни себя не жалели, ни детей своих, ни внуков, ни гипотетических правнуков, иступленно боролись с кровопийцами всеми возможными способами и средствами. Но супостатов никакая отравка не брала — ни простенький дихлофос, ни дихлордифенилтрихлорметилметан (в просторечии ДДТ), умертвлявший на своем пути все живое. Мечтая о сне, москвичи выдвигали койки на середину комнаты, коечные ножки погружали в тазики с водой, надеялись перехитрить кровопийц, перекрыв доступ к своему телу. Тщетно! Никакие уловки не помогали, умнейшие твари переигрывали людей интеллектом и прозорливостью, и алчно, с безоглядностью ниндзя бросались на жертву с потолка (между прочим, в старых московских квартирах потолки достигали иногда аж четырех с половиной метров).

Но мы ничего не боялись и бесстрашно покупали мебель в комиссионках, потому что чужие клопы ничем не отличались от наших собственных. Всех нас, независимо от расовой и национальной принадлежности, не спротивившись нашего согласия, кровососущие интернационалисты навеки связали кровными узами, не пощадив даже самых оголтелых, самых лютых ксенофобов. По существу, московские клопы добросовестно и с большим энтузиазмом выполняли функции плавильных котелков московской нации.

Станным образом помнятся обстоятельства всех покупок, совершенных в «клопах», и даже их цены. Вот, к примеру, банкетка — сооружение наподобие креслица без спинки, но с перильцами и мягким сиденьем. Банкетку с изящно изогнутыми ножками, причём в идеальном состоянии, мы с мамой купили за пять рублей в комиссионке на Смоленской набережной, ухватили с двух сторон за перильца и втроем прогулочным шагом дошли по хорошей погоде до дома. Муж мой Евгений пленился банкеткой, уединился с нею и в мгновение ока распотрошил — вытащил плоскогубцами мелкие гвоздики, фиксировавшие обивку. Видно, его воодушевила недавняя заметка в газете «Московский комсомолец», возбуждавшая москвичей очередным сюжетом про то, как из выброшенного на помойку и подожженного озорниками старого дивана вывалились на чье-то счастье или несчастье то ли пачки советских

(в окрестностях квартиры № 2)

купюр, давным-давно вышедших из употребления, то ли червонцы — своего рода ремейк бессмертного триллера. Увы, в нашем случае чуда не случилось, Женя разочаровался в банкетке, навсегда потерял к ней интерес, и вот уж лет сорок так и стоит она, бедная, распотрошенная...

В другой раз и там же мы купили простенький, но удобный канцелярский столик, и тоже за пять рублей. Увлекательное занятие реконструировать судьбы предметов. В какой конторе обитало на заре жизни это скромное сооружение, перепачканное доисторическими фиолетовыми чернилами (теми самыми, радужными)? Что повидало, кому послужило? Ясно одно, скромнейший, ничем не примечательный столик оказался долгожителем — родившись в эпоху стальных перьев «рондо», литых стеклянных чернильниц и каллиграфического почерка с лихими росчерками, дожил до ноутбука, жертвы моей графомании.

Есть у нас и натуральная конторка — тумба с наклонной столешницей и множеством ящичков разной высоты. Не исключено, что происходит она из строительно-монтажной конторы прадеда. Чисто гипотетически в этой конторке могли храниться проекты некоторых инженерных сооружений: мостов, металлических перекрытий, трамвайных и вагоностроительных депо, газгольдеров, нефтеналивных барж, а также сетчатых башен, маяков и прочих не поддающихся перечислению чудес, в изобилии понастроенных по всей тогдашней России. А папа хранил в тех ящичках тюбики. Запах масляных красок и скипидара — запах детства, у кого-то он вызывает аллергию, а я в этом запахе засыпала и просыпалась, рассаживала кукол на крошечных креслицах вокруг крошечного столика, читала-перечитывала любимые книжки и по запаху этому скучаю. Но уж если учую где-нибудь, мгновенно переносюсь в нашу комнату, к молодым родителям, к книжке «Дорога уходит вдаль», ну, и так далее... И иногда мне мерещится, будто бы ящичный запах не исчез, что при желании его еще можно унюхать.

А однажды мы с мамой отправились в другой комиссионный, тот, что на Фрунзенской набережной. Этот магазинчик считался классом повыше того, что на набережной Смоленской, покруче и подороже. В тот раз задача перед нами стояла конкретная — требовался стол для пеленания ожидавшегося вскоре младенца. И подходящий столик нашелся, правда, он оказался ломберным, но разве запрещено пеленать дитя на ломберном столе? Удобный стол, устойчивый, складной, оклеен сукном и немаркий, черного цвета. И конечно же со своей историей, а может и с тайной. То есть за каких-то сорок рублей мы с мамой купили старинный стол вместе с его тайной, и только потом призадумались: а как же доставить это чудо домой? Машину-то так сразу не раздобыть...

Не успели мы озаботиться этой мыслью, как подошел чернокудрый бородатый человек интеллигентного облика с однозначно вселенской грустью во взоре и предложил свою помощь. Мы смутились — в троллейбус с таким предметом не влезешь, до дома километра четыре, как быть? А на дворе, между

прочим, конец декабря, холодная морось, скользко. Но ни тяжесть, ни расстояние, ни мерзостная погода не смутили странного грузчика. За доставку он запросил три рубля, взгромоздил стол на курчавую свою голову, и мы тронулись в дальний путь. Гнутые ножки нашего стола устроены замысловато: в месте соединения со столешницей собраны в пучок, образующий нечто вроде счетверенного ствола, ниже плавно расходятся, утолщаются, выгибаются и завершаются копытцами. То есть в перевернутом виде эта конструкция более всего напоминает мощные растопыренные рога, какие в природе не встречаются со времен юрского периода мезозойской эры.

Вижу нашу процессию как бы со стороны. Во главе ее грузноватый человек в долгополом пальто, на его голове перевернутый вверх тормашками стол с произрастающими из столешницы двумя парами ветвистых рогов (этакий двуногий доисторический лось, разновидность кентавра), в арьергарде судорожно вцепившиеся друг в друга дама элегантного возраста и девушка на сносях. Вся компания: человек в пальто, рогатый стол, дама и беременная девушка черные и в черном. Процессия движется медленно, в торжественном молчании, семеня и оскальзываясь на ледяных торосах и колдобинах. Бредет нескончаемым бульваром, слева скучные серые дома, жилые и военного ведомства, справа набережная, река подо льдом, Нескучный сад в морозной дымке. Ветрено, зябко, метет поземка, быстро темнеет...

Время от времени носильщик устраивал передышку — себе и столу. Мы с мамой замирали в отдалении, съезживались, жалели человека, мучились совестью. И когда наконец-то добрались до дома (во что уже и не верилось), а человек в пальто избавился от рогов, получил за работу не три, а целых четыре рубля и навсегда исчез из нашей жизни, не бросив на прощанье ни слова упрека, ни укоризненного взгляда, мы с ног валились от усталости. Будто бы четыре скользких километра сами тащили свой рогатый стол.

Дело было в конце 1973 года, тогда многие «сидели в отказе», бились за разрешение на выезд, подрабатывали чем могли, только чтоб с голоду не околеть. Видно, носильщик наш был из этой когорты. Надеюсь, все у него в жизни сложилось по-хорошему. А стол нам пригодился — оказался устойчивым и надежным товарищем. Поначалу-то и вправду пеленали на нем младенца, но вот уже, страшно сказать, сколько лет используем для других надобностей. Хотя и не по первоначальному назначению — в вист не играем, преферансом не увлекаемся, пульку не расписываем.

Через два с половиной года после ломберной той истории жарким сентябрьским днем мы снова пришли в магазин на Фрунзенской набережной. На сей раз не с мамой, а с дочерью, успевшей за прошедшее время не только явиться на свет и воспользоваться ломберным столом, но и подрасти. Требовалось меблировать счастливо обретенную восьмиметровую комнатку. Это темное помещение с окном, упирающимся в глухую серую стену нашего же дома, возвратилось в семью после более чем сорокалетней разлуки. В 1930 году ее экспроприировали по ходатайству коммунальных соседей, и почти полвека

(в окрестностях квартиры № 2)

в ней проживали поочередно разнообразнейшие персонажи, о которых я уже поведала миру в книжке «Квартира №2 и ее окрестности».

Обретя пустое восьмиметровое пространство, мы оклеили его обоями в мелкий сиреневый цветочек, назначили детской и под видом прогулки совершили набег на магазин. Прошли с подростковой крошкой тем же путем (но в обратном направлении), который проделали не так давно с мамой, эскортируя рогатый стол, взгроможденный на голову печального «отказника».

И, переступив порог магазина, столкнулись лоб в лоб, нос к носу, лицом к лицу с книжным шкафом из той породы, что на заре своей юности назывались «шкапами» и обитали в профессорских кабинетах. Профессорский «шкап», украшенный мощным резным навершием, стоил ровно те же сорок рублей, за которые в прошлый раз мы купили здесь же рогатый ломберный стол. Что бы ни говорили ненавистники советской власти, при коммунистах-то инфляции не было, и цены покупок насмерть связались с образами предметов и обстоятельствами их обретения.

Конечно же, огромный «шкап» не донес бы на головах целый взвод отказников, поэтому к вечеру новосел прибыл на новое местожительство на обыкновенном грузовике. Шкаф на удивление убедительно вписался в пространство крошечной комнаты, придав ей вес и солидность, вот только резное навершие пришлось демонтировать — слишком уж угрожающе нависало оно над детской кроваткой. Без помпезного украшения шкаф выглядит скромнее, зато благороднее.

Профессорский шкаф невероятно вместителен. Если выгрузить все его содержимое (а такое, к нашему ужасу, случилось, и не раз), то займет оно несколько кубических метров жилой площади. Зрелище, вгоняющее в безысходную тоску, парализующее волю, каждый раз кажется, что обратно это бесформенное нагромождение никакими силами не впихнуть. Но ничего, кое-как запихивается.

Но более всего неожиданностей и открытий сулил мебельный лабиринт на Преображенском рынке. В каждом посещении этой торговой точки крылась интрига, за каждым углом мерещилось чудесное обретение, а случилось, поход на Преображенку становился драматическим. Вот один такой случай.

В тот раз мы с мужем прибыли на Преображенку в компании с маэстро Шварцманом и другом Сашей Коноплевым. Блуждая по мебельным закоулкам, набрали на прелестный шкаф, тоже книжный, но в иной стилистике, чем профессорский. Этот предмет мебели свидетельствовал о симпатиях мастера (или заказчика) к эпохе рококо и выглядел гораздо легкомысленнее профессорского. Стоил недорого — 35 рублей, и на его покупку мы решились мгновенно. В полной уверенности, что маэстро одобрит наш выбор, представили ему свою находку. И Михаил Матвеевич, у которого, как известно, глаз-алмаз, взглянув на вроде бы уже наш шкафчик, решительно произнес: *Беру!* Последовала немая сцена... ничего не поделаешь, придется уступить. Однако

с нами был друг, тоже глубоко почитавший Мастера, но не убожавшийся его гнева... И смелый и справедливый Саша сказал решительно: *Первыми шкаф увидели ребята!*

Михаил Матвеевич напрягся, выражение его лица изменилось, да так, что мы оробели, потому что знали толк в выражениях шварцмановского лица... Неизвестно, какие утраты понесли бы наши отношения, если бы не окованный стальными полосами старинный сундук, в ту же секунду замеченный, на наше счастье, по соседству со шкафом. Внимание маэстро переключилось, а когда крышка сундука с мелодичным звоном открылась (это был «сундучок со звоном»), Михаил Матвеевич так ему обрадовался, что о шкафчике позабыл. Стоило музыкальное чудо недорого, пять рублей.

Наняли два грузовика — один для шкафа, другой для сундука, Михаил Матвеевич сел в кабину, мы залезли в кузов и отправились со счастливыми обретениями восвояси. Мы через пол-Москвы в центр города, Михаил Матвеевич на свою окраину.

Шварцмана, признанного классика, давно уж нет на этом свете, Александр Борисович нынче академик, мы с Женей живем себе поживаем в прежнем статусе, и книжный шкаф, едва не ставший яблоком раздора, вместе с нами. Он битком набит книгами и книжечками, альбомами и альбомчиками, фотографиями старинными и фотографиями современными, а также множеством милых сердцу вещиц: коробочками, шкатулочками, сувенирчиками всех времен и народов и прочей чепухой, необратимо скапливающейся в жилье безнадежных баракхольщиков и неисправимых мшелоимцев. О некоторых обитателях книжного шкафа речь впереди.

Да, мы ничем не брезговали. Круглый стол небольшого диаметра, живущий на кухне, до антикварного статуса не дотягивает, но зато лет сорок назад переселился к нам из самой настоящей лавки старьевщика. За словами «лавка старьевщика» вьется хвост романтических ассоциаций, вспоминается «лавка древностей» и прочие сюжеты, знакомые любителям отечественной и зарубежной словесности. И хотя романтический хвост решительно обрубали, переименовав лавки старьевщиков в пункты приема вторичного сырья, наша лавка старьевщика выглядела традиционно. То есть представляла собой темноватую халупу с мутным окном и низкими потолками, загроможденную хламом разнообразного происхождения. Хотя, прежде чем стать пунктом приема вторичного сырья, эта забубенная нора выглядела иначе и была опрятным жилищем интеллигентного полковника, жены его — статной красавицы с золотистой косой, короной уложенной вокруг головы, и мальчика Саши моего возраста, будущего успешного художника-плакати́ста (успешного в советской реальности, а как сложилась профессиональная его судьба на исторической родине, этого я не знаю). Низкие в лавке старьевщика, в жилище полковника потолки казались почти высокими, а мутное окно сияло чистотой во все времена года. Обидно все же, почему так охотно и так поспешно мимикрирует помещение под своих обитателей...

(в окрестностях квартиры № 2)

Так вот, с лавкой старьевщика мы в прямом смысле слова жили бок о бок, халупа, первоначально задуманная как дворницкая, прилепилась наподобие ласточкиного гнезда к брандмауэру нашего дома на расстоянии вытянутой руки от окна, мамиными стараниями прорубленного в глухой стене накануне моего рождения. Семейство полковника переехало в новый микрорайон, и историческая справедливость восторжествовала. Дело в том, что старьевщицким бизнесом («старье-берем»), так же как дворницким, традиционно владела татарская диаспора. Вот и нашим пунктом сбора вторичного сырья заведовали поочередно два приветливых человека. Сначала Рашид, красивый, как персидский принц с иранской миниатюры, разве что чуть попроще. А когда Рашид поднялся по иерархической лестнице на следующую ступеньку, свой маленький, но доходный бизнес он передал кузену Кясыму, адаптированному в московской реальности в качестве обыкновенного Кости. И с красавцем Рашидом, и с некрасивым, но славным Костей отношения складывались добрососедские, взаимно толерантные, и иногда кое-что нам от их щедрот перепало — не бесплатно конечно, но и не задорого. Вот и столик обеденный того самого происхождения, старьевщицкого — мы-то, как следует из текста, люди не брезгливые...

А было время, когда на равных правах с предметами наследственной и благоприобретенной мебели в нашем доме обитали тяжеленькие, но компактные картонные кубики в количестве трех штук. По мере надобности кубики становились то устойчивыми табуретками, то козетками. Весили кубики по 17 кг каждый, и наполнял их диковинный продукт — голландский сублимированный картофель, сформированный в виде тех же кубиков, только крошечных, размером с игральную кость. А надо сказать, что 17 кг сублимированного картофеля равны 100 кг натурального, свежего — так было написано на одной из картонных граней.

Голландский сублимированный картофель поселился в нашем доме в начале 90-х годов прошлого столетия, в те самые времена, когда ожидали грядущего голода, и в некоторых семьях он таки наступил. Перепуганный народ делал стратегические запасы, тащил в дом съестное, радовался всему, что удавалось раздобыть, а раздобыв, ликовал. И у нас образовался съедобный резерв. Мы с мамой запаслись пшеном и горохом, перловкой и золотистой крупой с позитивным названием «Артек», добыли по счастливому случаю три упаковки болгарского вишневого конфитюра (в общей сложности аж 18 четырехсотграммовых баночек!) и трехлитровую банку майонеза, продававшегося в розлив в микрорайоне Крылатское, куда мы к тому времени перебрались из родных краев. Вот фраза из тех лет, выхваченная в речевом потоке на эскалаторе метро «Площадь Революции» и записанная тогда же в интересах исторической памяти: *Твоя дочка звонила, радостная, как таракан — урвала два десятка яиц*. Помнится, я позавидовала той дочке.

В этот период российской истории в привилегированном положении оказались члены Московского союза художников. Руководство наше

позаботилось о своих подопечных и прикрепило каждого члена к продуктовому магазину по месту его жительства. Мы, работники якобы творческого труда, каждый четверг с утра пораньше отправлялись в магазин «Диета» по соседству и вставали в одну очередь с матерями и женами «афганцев», не так давно вырвавшихся (или так и не вырвавшихся) из кромешного афганского ада, и выкупали еженедельный продуктовый паек. То есть художников и искусствоведов в количестве семи штук (именно столько нас было на заре существования микрорайона) присоединили к семьям ветеранов «ограниченного контингента», которых в одном только нашем районе проживало несчетно.

Кроме круп, растительного масла и китайской прессованной ветчины избыточно розового цвета, всем прикрепленным, независимо от возраста, выдавали гуманитарное детское питание. «Гумпом» — так обозвали гуманитарную помощь иностранных государств российские граждане, любители аббревиатур. Мы ни от чего не отказывались, брали все, что давали, и на детских молочных смесях и младенческих кормах семеро художников и искусствоведов, а также их родственники и друзья в каком-то смысле отъелись.

Но венцом приобретений тех лет, их апофеозом стал сублимированный картофель. Экзотический продукт, упакованный в коробка из качественного плотного картона, в наших краях невиданного, «завезли» в овощной магазин по соседству. От нашего дома до магазина по азимуту не более двухсот метров. Прикинув расстояние, я решила, что потихонечку-полегонечку как-нибудь уж дотащу кубик домой — как говорится, своя ноша не тянет. Купила кубик и пустилась в путь-дорогу. Сразу стало ясно, что ни тащить, ни волочить кубик не удастся, но можно его кантовать. Труднее всего перекантовывался сублимированный картофель через подземный переход — осложняли дело ступеньки, однако подвиг имени Геракла я таки совершила, и кубик вознесся на наш шестнадцатый этаж.

Едва отдышавшись, в пылу азарта отправилась за следующим кубиком. Ведь семнадцать сублимированных килограммов, пусть даже и равных ста натуральным, не хватило бы на всех: на нас троих, на моих родителей, на Жениных родственников и на ближайших друзей — немало нас было в начале 90-х... Короче говоря, я совершила еще две ходки и ощутила себя удачливой добытчицей, обеспечившей прожиточный минимум целого сообщества. И даже наметила план дальнейших действий, подслушав приватный разговор овощных продавщиц, ожидавших в ближайшие дни прибытия голландского сублимированного лука и голландской сублимированной морковки.

Решив распробовать надежду и опору грядущих дней, распотрошила один коробок, зачерпнула горсть жестких желтовато-серых кусочков, швырнула в кипящую воду, добавила луку с морковкой, получился суп. Сначала испытала удовлетворение — вполне съедобное вроде бы вышло варево. Но тут забежала на минуточку приятельница, сняла с супа пробу, скроила скептическую гримасу и констатировала, как припечатала: *Сублимированный картофель!*

(в окрестностях квартиры № 2)

Что и говорить, в случае голода этот картофель здорово бы нас выручил, но, к счастью, в тот раз пронесло, прокормились картошкой натуральной — жареной, печеной, а также в виде пюре и салата, заправленного подсолнечным маслом.

Со временем один куб сублимированного картофеля скормили собачкам, приблудившимся к маминной поликлинике. Собачек курировала добрый доктор Галина Петровна, лечившая людей и любившая животных. Каждое утро Галина Петровна приносила на работу два десятка сваренных вкрутую яиц, крошила их, смешивала с нашим сублимированным картофелем и кормила этой смесью целую стаю. Довольно наглую, надо сказать, зарвавшуюся стаю. Ту самую, что на позднем зимнем рассвете, еще при луне, однажды напала на мои кошелки с завтраком, обедом и ужином, которые я несла Евгению, круглосуточно в режиме аврала работавшему в мастерской в двух шагах от маминной поликлиники. От песьих наскоков удалось отбиться, лишив Женю одной трапезы, то ли завтрака, то ли обеда...

Два других куба, прикинувшись табуретками, прижились в доме на несколько лет. Не могу вспомнить, куда и когда они подевались, зато запомнился приступ радикулита, сваливший меня наутро после того снабженческого подвига, то есть ни сублимированного лука, ни сублимированной морковки в нашей жизни не случилось. Ничего удивительного, ведь если грань кубика равнялась 50 см, а до магазина около 200 м (не считая лестниц, переходов, спусков и подъемов), то я перекантовала каждый картофельный куб 400 раз, а может и больше. А так как ходки всего было три, то в общей сложности совершила никак не менее 1200 наклонов и перевертываний. А радикулит только того и ждал, мы с ним слились в экстазе, и с тех пор не расстаемся.

Разумеется, вся упомянутая, а также неупомянутая мебель, все ее объемы, плоскости и поверхности заполнены множеством предметов и предметиков, крупных, мелких, полезных и абсолютно бессмысленных, обретенных намеренно и возникших случайно. Описать все это изобилие — жизни не хватит, но на несколько объектов время, может, и найдется. Начну с чего-нибудь крошечного.

Одна лисичка, двенадцать львов, четыре собаки и двадцать лошадиных голов. Однажды мы с тетушкой моей Татьяной отправились в гости к ее приятельнице, искусствоведу Галине, в те времена жизнерадостной длинноногой девице. Галя с мамой жили на Арбатской площади, в подвале одного из тех домов, которых давно уж нет и в помине. В благодарность за какую-то помощь, видно профессиональную, Гале захотелось сделать Тане подарок.

Галя коллекционировала мелкую фарфоровую пластику, и на полках узенького шкафчика жили крошечные селянки с овечками, дамы в кринолинах, галантные кавалеры в чулочках и паричках. Мерещатся мне на тех полочках и фарфоровые фигурки чудесной Натальи Данько, раскрашенные сестрой

ее Еленой — тоже художником, но и писателем, автором любимейших моих книг «Деревянные актеры» и «Китайский секрет».

И мне, ребенку семи или восьми лет, предложили на выбор любую статуэтку. Стоит ли говорить, что очаровали меня пастушки с овечками и дамы в кринолинах, но ни на одну из этих красавиц я не посягнула по причине катастрофического отсутствия в моем характере детской непосредственности, на отсутствие коей тетушка вечно сетовала. И правда, я никогда не визжала от восторга, не прыгала радостно на одной ножке, не бросалась на шею и не умиляла окружающих забавными словечками и смешными высказываниями. Скучновато было со мной взрослым...

Вот и в тот раз, оказавшись перед выбором, я не по-детски прокрутила в голове ряд соображений. Во-первых, неудобно покушаться на самое лучшее, самое ценное и дорогое. Во-вторых, если все же посягну и выберу пастушку с овечкой или даму в кружевах, то уж точно разочарую тетушку. Было у меня подозрение, что все эти нарядные фарфоровые штучки на самом-то деле мещанство и безвкусица. То есть к семи или восьми годам кое-какие представления о хорошем и плохом вкусе в моей голове клубились, я даже успела усвоить, что любить всяческие бантики, кружевца и прочие слащавости стыдно.

Усвоить-то усвоила, но втайне мне все это очень нравилось. Однако в тот раз из всего предложенного Галей изобилия я выбрала самое скромное произведение — обливную глиняную лисичку. Галя удивилась, но мне почудилось, будто она обрадовалась моему выбору и с облегчением вздохнула. Что же касается тетушки, то она тоже обрадовалась и немножко загордилась племянницей. Вот уж кто презирал мещанство и пошлость, так это наша Таня! А если бы я отличалась той самой детской непосредственностью, отсутствие которой так огорчало тетушку, то выбрала бы конечно фарфоровую красавицу, однозначно.

Домой мы с Таней (и с лисичкой в Танином кармане) возвращались Гоголевским бульваром, для начала переглядив все гривы, все брови и все носы двенадцати фонарных львов. По обыкновению арбатских и приарбатских детей всех поколений — прежних, подраставших под страдальческой сенью нахохлившегося Гоголя, и последующих, взрослевших под строгим присмотром рослого, уверенного в себе молодца. А ведь взглянув на этого лихого малого, поневоле поежишься и призадумаешься, не из компании ли он тех супостатов — обидчиков Акакия Акакиевича? Не из той ли он шайки-лейки? И чья это на нем шинель? Ну быть не может, чтобы из этой благополучной складчатой шинели произросла та самая русская литература, что вся насквозь пропитана рефлексией и угрызениями совести! Однако вчитаешься в текст на постаменте: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза. 2 марта 1952» — и сразу же успокоишься — да не та это шинель, не та, не Акакия Акакиевича, это совсем, совсем другая шинель...

В тот раз мы с тетушкой и лисичкой очутились на Гоголевском бульваре вскоре после того, как бронзовые львы осиротели. Родного их Гоголя,

(в окрестностях квартиры № 2)

грустного и немолодого, сослали, а на его место взгромоздили ражего мало-го во цвете лет. Вряд ли осиротевшие львы сумели полюбить нахального чужака. Полюбить-то, конечно, не полюбили, но, видно, притерпелись. Привычка свыше нам дана, и даже известно, на какой случай... К счастью, львиные лица (не морды же!) при всех режимах сохраняют невозмутимое и якобы доброжелательное выражение. А может, не так уж они и просты, эти львы, как может показаться на первый взгляд. Есть в их улыбчивых оскалах и некий подтекст. Мол, улыбаемся вопреки всему, кого бы нам ни подсунили, ни за что не заплачем, не надейтесь!

Среди семейных бумажек обнаружился пожелтевший, хрупкий от времени конверт, в последних числах апреля 1909 года доставленный в контору прадеда по адресу Мясницкая, 20, для одной из старших его дочерей, моей бабушки Ольги Александровны. В конверте четыре фотографических снимка памятника Гоголю работы скульптора Николая Андреева. Памятник в окружении толпы мужского народа, большей частью в картузах, хотя виднеются и шляпы, сфотографирован с четырех сторон. Фотографии сделаны сразу после его торжественного открытия, то есть 26 апреля 1909 года, когда в 12 час. 39 мин., по свидетельству очевидца, «с памятника была сдернута пелена, и над толпой, как бы склоняясь к ней, со скорбным лицом появился Гоголь». Увы-увы... не понравился народу скорбный Гоголь, разочаровал публику... Не исключено, что бабушка моя при этом событии присутствовала. Родился-то Гоголь, как известно, 20 марта 1809 года, и памятник предполагалось открыть к его столетию, но день этот (вечное гоголевское невезение) совпал с последним днем Великого поста, и открытие перенесли более чем на месяц.

Подозреваю, что бывшие дети, доросшие до глубоко пенсионных лет, все еще украдкой поглаживают сторожевых гоголевских львов, покрытых зеленоватой патиной (патины, как известно, добавляет бронзе благородства). Лично я глазу львов совершенно открыто и признаюсь в этом публично.

Исконные москвичи (и некоторые к ним примкнувшие) глядят носы и гривы бронзовых львов. Бескорыстно глядят, не ожидая от судьбы поблажек. А вот уроженцы московских окраин, равно как и жители российской глубинки, а также гости столицы из ближнего и дальнего зарубежья, задабривая судьбу, глядят служебных собак пограничника Карацупы, возведя это обыкновение в ритуал.

Всем известно, что Никита Карацупа с овчаркой Индусом, изваянные с портретным сходством скульптором Матвеем Манизером и отлитые с одной формы в четырех экземплярах (суть клонированные), испокон веку обитают на станции метро «Площадь Революции» и пользуются любовью миллионов граждан, возлагающих на эту парочку надежды разного рода.

В реальности-то пограничник Карацупа был один-единственный, а вот собак у него перебивало пять штук, и всех звали Индусами. С помощью этих друзей человека Никита загубил множество людских душ. Будто бы ежемесячно он задерживал до трехсот нарушителей государственной границы,

а упорствовавших и не желавших отказаться от преступного замысла, беспощадно уничтожал. На одном из правительственных банкетов (уже в позднейшие времена) в ответ на пылкие восторги тезки и соседа по столу композитора Никиты Богословского подвыпивший полковник погранвойск заметил меланхолически: *Если б вы знали, в какую сторону они бежали...* Что же касается пяти Индусов, то всех их из соображений политкорректности посмертно переименовали в Ингусов.

В наши дни Гоголевский бульвар не более чем магистраль, которой торпливо снуют туда и обратно озабоченные взрослые. Дети попадают, но их можно по пальцам пересчитать. К тому же теперь бульвар перегорожен едва ли не поперек севшим на гранитную мель угрожающе вздыбившимся баркасом с хмурым тепло одетым мужчиной в смазных сапогах, отдаленно смахивающим на одного донского казака и нобелевского лауреата. Некогда московская резиденция казака располагалась неподалеку, и по этой причине изваяние поместили в той точке бульвара (самой, на мой взгляд, интимной), где одна лесенка спускается к Сивцеву Вражку, а другая поднимается к овеянному героическим ореолом дому Удельного ведомства (изначально усадьбе Цурикова — Нарышкиных). Именно здесь собирались некогда члены тайного общества, будущие декабристы.

Теперь-то, озирая последствия светлых их замыслов из нашего далека, сто раз призадуматься: боготворить ли по обыкновению многих поколений российской интеллигенции этих самоотверженных людей или пришла пора посетовать на их недалевидность? Эх-эх, если б знать, к чему приводят светлые замыслы, в результате которых и расселся угрюмый казак под окнами породистого московского особняка, а склон за его спиной, чудеснейший сочнозеленый склон, испокон веку осыпанный по весне сияющими одуванчиками, надежно забетонирован и усеян гильотинированными лошадиными головами в количестве двадцати штук.

О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? — на этот вопрос не отвечу, но лошадиными головами гоголевский склон усеял скульптор Александр Рукавишников. Обезглавил, не моргнув глазом, целый табун, и теперь все вопросы по поводу жутковатой метафоры, а также все благодарности лично к нему.

А ведь некогда Гоголевский бульвар (как, впрочем, и все остальные московские бульвары и скверы) кишел с утра до вечера детьми с индивидуальными няньками и детскими прогулочными группами. Институт прогулочных групп на все вкусы функционировал исключительно интенсивно. Под присмотром дамы старорежимного облика паслось обыкновенно до десятка дошкольников. Бывали группы не просто прогулочные, но с претензиями на нечто большее, например с языковым уклоном, немецким или французским. В середине дня детей разводили по домам — обедать и спать, а вечером возвращали на бульвар. В те экологически относительно чистые времена считалось, что ребенок должен гулять не менее пяти-шести часов в день, и это было

(в окрестностях квартиры № 2)

правильно. Прогулочные группы гуляли сепаратно, не смешиваясь, каждая в своей зоне. В этой бульварной ксенофобии присутствовало нечто сословное, какое-то взаимное высокомерие, хотя откуда оно бралось в нашу глубоко коммунальную эпоху?

Но каким же длинным казался Гоголевский бульвар в детстве! Как долго брелось по нему, что в одну сторону, что в другую... С папой мы непременно останавливались у еле заметной плешки неподалеку от Арбатской площади, и я в очередной раз выслушивала с недоверием, что на этом крошечном пятачке гоголевской земли каким-то образом умещалось при нэпе самое настоящее кафе. И однажды в этом самом кафе мой десятилетний папа со своим сорокапятилетним отцом якобы ели из металлических вазочек мороженое в форме разноцветных шариков и пили такой вкусный лимонад, какого в позднейшие времена уже не бывало. В тот раз дедушка зашел за сыном к друзьям, где в доме при церкви Ильи Обыденного жила давняя бабушкина приятельница, в какой-то момент исполнявшая обязанности казначея храма, Мария Васильевна Кузнецова. Папа мой относился к Марии Васильевне с почти родственным чувством еще и потому, что в апреле 1929 года прожил у Кузнецовых две недели, пока сестра Таня болела скарлатиной. В те дни тосковавший по дому Алеша, прежде ни на день не разлучавшийся с семьей, ежедневно отправлялся из 2-го Обыденского переулка в наш Мансуровский и через окно в бельэтаже знаками общался с сестрой и мамой, запечатанными на время карантина в комнате. Сохранилось письмо, написанное им в те скарлатинные дни. Такие сугубо камерные свидетельства давно прошедшей жизни кажутся мне счастливо сохранившимися окошками в прошлое, и сквозь них можно кое-что разглядеть и расслышать...

Милая Мамочка и Танечка! Как вы поживаете? Большое спасибо за сахар, чай и масло когда вчера я пришел от вас мы пили чай и Евдокия Абрамовна пересыпала сахар и насыпала мне отдельно в чашку. Но мне кажется что зачем же мне отдельно сахар и я немножко смутился ведь я внес так сказать в общую кассу. У них очень холодная вода. Вечером и утром Мария Васильевна дает мне часы и ставит градусник. Утром в часов шесть семь Евдокия Абрамовна идет на рынок. В первую ночь я проснулся в часов шесть и лежал и думал и мне очень хотелось закрыть глаза, открыть и окажется дома на своей кровати, чтоб Танечка была здорова. Но как я не старался конечно ничего не выходило. Но я все же верил, а вдруг это случится что я очутюсь дома. И во сне я видел мамочку. Особенно в первый день когда я ничего не делал очень хотелось плакать. Только когда я читал книгу то хоть на некоторое время забывал об этой мысли что я не дома. И мне казалось что какбудтобы наш дом находится где нибуть в Америке и что я не видал вас целый год. Так мне хотелось домой. Оказалось что буфет, писменный стол, такой стол,

шахматы и почти все деревянные вещи делал Василий Васильевич. Над постелью Марии Васильевны висит новая набойка. На полотне вышито разноцветными нитками японка с веером, по пояс, а по бокам цветы. Это сделала Елена Васильевна. Вчера, когда я с Марией Васильевной и папой шли, то Мария Васильевна зашла в дом где живет сиделка, а мы с папой в подъезде разговаривали и там папа дал мне подарки Лазаревых. Евдокия Абрамовна все время ругает Василия Васильевича. Мария Васильевна научила меня играть в шахматы. Это очень интересно. Игра заключается в том что надо спасти короля. Если короля забрали в плен неприятели то тот проиграл. Вчера когда я с Василием Васильевичем шли домой от тебя то мы проходили мимо матерьчитой текстильной фабрики. Были открыты окна и слышно было как работают и видны машины. Потом с одной стороны переулка на другую проведены рельсы по которым ходят вагончики. Я раньше здесь проходил но не знал что здесь находится фабрика. Вчера Елена Васильевна и Мария Васильевна, когда селись на трамвай Мария Васильевна влезла, Елена Васильевна только хотела влесть, но кондуктор тронул вагон и она повисла на руках, а ноги волочились. Целую вас всех 123286925912 раз. Алеша.

Орфографию и пунктуацию письма сохраняю, а Евдокия Абрамовна и Василий Васильевич — родители сестер Кузнецовых, Марии и Елены. На давней какой-то пасхальной неделе я побывала у сестер Кузнецовых, в той самой комнате, где за тридцать лет до того гостил в дружеском семействе папа-мальчик. В центре круглого стола стояло огромное блюдо со сказочно праздничной горой разноцветных пасхальных яиц, расписанных так нарядно, так мастерски, с такими виртуозными каллиграфическими вензелями «ХВ», что я обомлела. Мне предложили выбрать одно яичко, я взяла голубое, но не зная, как обойтись с этим чудом и где его хранить (ничего равного по красоте в доме нашем не было и быть не могло), я отвезла его в Малаховку нашим друзьям. И голубому кузнецовскому яичку нашлось место в киоте, рядом с семейными иконами и другими яичками, давно уж невесомыми, сохранившимися с прежних праздников Воскресения Христова.

Кстати говоря, на самом деле правильнее называть всем известную в Москве церковь не Ильи Обыденного, а Ильи Обыдѐнного, потому что первое, деревянное воплощение церкви, выстроили по обету «обыдѐнкой», то есть за один день. Конечно, невозможно выстроить церковь (пусть даже и по обету) так быстро, но на этот случай на московском Дровяном рынке продавались в разобранном виде уже готовые небольшие часовенки, которые собирали за несколько часов, наподобие деревянного конструктора. А потом уж, без спешки, строили настоящую церковь, хоть каменную, хоть деревянную.

Так вот, помечтав о разноцветном гоголевском мороженом и вкусном лимонаде, ближе к станции метро «Дворец Советов» мы с папой притормаживали

(в окрестностях квартиры № 2)

возле дерева, под которым в начале 20-х обитал бульварный фотограф. Сохранилась крошечная фотография плоховатого качества: дедушка на низеньком стульчике, на одном его колене моя семилетняя тетушка, на другом трехлетний папа. Таня босиком — тепло, а обувь нужно беречь. День весенний и ярко солнечный, стеклышко дедушкиного пенсне и само сияет как маленькое солнце, и сейчас еще спит, через много десятилетий.

И еще одно глубоко детское гоголевское воспоминание, мое собственное. Может, один-единственный раз, ну никак не более двух, явлено было чудо. Над монохромным пейзажем бульвара, из чего следует, что дело было то ли ранней весной, то ли поздней осенью (а разноцветных пальтишек даже на детях я не припомню), плыла гигантская гроздь воздушных шаров, привязанных к палке наподобие дубины, которую тащила дремучего вида тетка в тулупе и валенках с калошами. И из огромной той грозди тетка с легкостью выудила для меня красный шар. Под впечатлением той сказочной встречи я несколько лет рисовала красным карандашом любимый сюжет — тетку в тулупе с гроздью шаров. Во времена отнюдь не пасторальные, а довольно-таки жутковатые (дело-то было то ли в 52-м, то ли 53-м году) в будний, отнюдь не праздничный день расхаживала по Москве продавщица воздушных шаров...

Вроде бы и сегодня, шагая по бульвару, можно развлечь себя массой наблюдений, с помощью собственных и чужих воспоминаний растянуть привычный маршрут, но отчего-то теперь я проскакиваю его молниеносно...

К слову сказать, вскоре после того, как глиняная лисичка переселилась к нам, с Галей приключилась удивительная история. Вернувшись домой, она с изумлением обнаружила торчащие из-под ее собственной тахты совершенно незнакомые мужские ноги. Галя чужих ног ни чуточки не испугалась, не растерялась, а схватила то ли поясок, то ли ремешок, накрепко связала ноги и вызвала милицию. Оказалось, что в подвальное окно арбатской Галиной комнаты забрался неудачливый вор, из-за внезапного возвращения хозяйки похитить ничего не успел, а, услышав шаги, испугался и спрятался под тахтой. О Галином подвиге мы узнали не от нее самой, большой скромницы, а из сенсационной заметки в «Вечерке».

Много лет прожила Галина лисичка на тетушкином бюро среди других любимых вещиц. В компании с балалаечником Ваней — обаятельным фанерным человечком с кудрявым чубчиком, выбивающимся из-под надетой набекрень зеленой шляпы. На фанерной Ваниной спинке цифра «2» (два рубля), вырезанная из обыкновенного ластика и отштампованная фиолетовыми чернилами. Черты Ваниного лица, чубчик, балалайка, шляпа и кисет легко и виртуозно нарисованы тушью уверенной рукой народного мастера. А сам Ванин облик таков, будто бы явился он из прошедших столетий, а века двадцатого со всеми его реалиями и в помине не было и быть не могло. Незатейливая Ванина конструкция позволяет подергать за обрывок пеньковой веревочки, и тогда ножки его в лаптях и полосатых портах станут выделывать коленца, а ручка примется наигрывать на балалайке.

А дело было так: забежал на минутку тетушкин друг искусствовед Владимир Иванович Костин, то ли в самый день моего рождения, то ли на следующий, и торжественно преподнес смешную игрушку. Балалаечник очень понравился Тане, и мы договорились, что сначала он поживет у нее. Так он у тетушки и прижился. Дядя Володя забегал часто, потому что неподалеку он нас, в бельэтаже дома № 13 по Мансуровскому переулку, жила его машинистка Надежда Николаевна, племянница обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева.

Машинописью зарабатывало на жизнь множество интеллигентных дам. Иногда тетушка пользовалась услугами Надежды Николаевны, но чаще сотрудничала с Марией Алексеевной, тоже племянницей, но внучатой, Николая Станкевича, поэта, писателя, организатора литературно-философского кружка. Мария Алексеевна жила возле Никитских Ворот, и тетушка приносила от нее красные тисненные золотом томики «Золотой библиотеки», издававшиеся в «мирное время» издательством Вольфа. Волшебные истории про маленькую принцессу, маленького лорда Фаунтлероя, маленьких женщин и маленьких мужчин, истории с благополучным концом.

Возвращаясь от Надежды Николаевны, дядя Володя непременно заглядывал в одно из Таниных окон — мы тоже жили в бельэтаже. Из-за обширной лысины и невысокого роста (наверное, чтобы заглянуть в окно, дяде Володе приходилось привставать на цыпочки и даже подпрыгивать) казалось, будто над Таниным подоконником восходит половинка приветливой луны. Если дядя Володя спешил, он ограничивался приветственным жестом, улыбкой и стремительно пробегал мимо, а бывало, костяшками пальцев постукивал по стеклу и делал знак, чтобы ему отворили входную дверь. Оживленно болтая о чем-то, они с Таней выкуривали по папиросе «Казбек», а я тем временем поджидала в коридоре, потому что на прощанье дядя Володя лично для меня делал гимнастическое упражнение «ласточка». Смешно растопыривался, стоя на той самой ноге, которую годы спустя пришлось ампутировать. Облитерирующий энтерит — болезнь заядлых курильщиков.

А балалаечник Ваня, чем-то похожий на дядю Володю, все висел и висел на Танином бюро, и когда у тетушки было подходящее настроение, она дергала за веревочку и напевала по моей просьбе: *Све-е-етит ме-е-есяц, све-е-етит я-а-сний, све-е-етит по-о-олная луна-а...* Не исключено, что именно он, фанерный Ваня, родившийся на одном из народных промыслов в середине прошлого века, дал Тане импульс, позволивший ей стать глубоким исследователем народного творчества и автором монографий о народном искусстве.

А рядом с балалаечником и лисичкой жило загадочное существо — костяной божок, привезенный из Тувы искусствоведом Зоей Супициковой, Таниной со времен ИФЛИ подругой и сотрудницей Центрального дома народного творчества. Не сувенирная фигурка, а настоящий божок. И теперь все они: лисичка с отбитыми ушками и облупленными лапками, выцветший за долгую жизнь, но так и не постаревший балалаечник, а также таинственный

(в окрестностях квартиры № 2)

тувинский божок, не претерпевший от времени ни малейшего ущерба, — перебрались к нам.

С некоторых пор группа достойных людей ратует за возвращение «грустного» Гоголя на прежнее место. Но я побаиваюсь за Николая Васильевича. Я ничего не знаю о нынешних взаимоотношениях в казацкой среде. А вдруг там до сих пор бытуют взаимные фобии и предубеждения? И даже случаются разборки? Ражего детину, изваянного скульптором Томским, мне ничуть не жаль, а ну как рукавишниковский шедевр возьмет да и протаранит гранитным своим баркасом сутулую спину андреевского Гоголя? В отместку за то, что донцам, предкам нобелевского лауреата, тот предпочел запорожцев. Историк запорожского казачества Яворницкий писал, что из-за приоритета на Азовском море донцы и запорожцы устраивали не просто распри, но натуральные войны местного значения, «ознаменовывавшиеся с обеих сторон грабежами, разбоями и даже смертоубийствами». Нужна нам на Гоголевском бульваре эта головная боль? Да и вообще, с некоторых пор я побаиваюсь всяческих перемен, пусть уж каждый из Гоголей остается на своем месте — так-то будет спокойнее. Не исключено также, что со временем народятся и подрастут новые люди, и некоторые из них, пробегая бульваром по будущим неотложным делам, возьмут за обыкновение поглаживать мимоходом усекновенные лошадиные головки.

Гиря пушкинской поры. Между многими десятилетиями жизни в Мансуровском переулке и переездом в новый микрорайон втиснулся странноватый, уложившийся всего-то в четыре года эпизод нашего обитания на Гоголевском бульваре в украшенном рельефным античным фризом доходном доме, выстроенном по проекту архитектора Пиотровича в 1912 году, в разгар строительного бума начала века. За несколько лет до нашего вселения дом претерпел многолетний капитальный ремонт и перепланировку. Из огромной коммунальной квартиры выкроили три. Окна нашей квартиры выходили на Гоголевский бульвар, на тот его отрезок, где бульвар выгибается плавной дугой неподалеку от станции метро «Кропоткинская», тот, что отпечатался едва ли не в самом раннем детском воспоминании: ранним каким-то летом мы с папой идем по бульвару, а на высоком-превысоком зеленом склоне аппетитными желтками-солнышками сияют новорожденные одуванчики.

Той осенью Наташа пошла в школу, бывшую Медведниковскую гимназию. И попала в уверенные руки Геты Аркадьевны, славной представительницы педагогического сообщества. Компенсируя малый рост, наша учительница носила красные туфли на высоченных каблуках и объемистую прическу, по размеру равную голове, с виду была сурова, однако оставила по себе добрую память. Хотя при первом знакомстве навела на нас страху. К весне, предшествовавшей первому классу (зачисляли в школу в апреле), читала Наташа свободно, зачитывалась «Легендами и мифами», но на собеседовании не одолела первой страницы букваря, той самой, на которой чья-то

мать долгими советскими десятилетиями мыла и мыла оконную раму. Наташу Гета Аркадьевна ругать не стала, а меня пристыдила за материнскую нерадивость, однако в свой класс Наташу зачислила, взяв с нас обещание к сентябрю научиться читать про раму и маму. Наташин провал меня обескуражил, но разъяснился просто — оказалось, что от ужаса и смущения она забыла букву «м» (нечто подобное с нашим ребенком случалось на протяжении детства и раннего отрочества).

Начался учебный год, и каждое утро по дороге в школу из своего проходного двора мы с Наташей выходили на улицу Фурманова (прежде и нынче Нащокинский переулок), сворачивали в Сивцев Вражек, а там уж два шага до Староконюшенного. И вот она, тяжеленная, изначально прекрасная, но многократно и многослойно перекрашенная дубовая школьная дверь в стиле ар-деко. Дорога в Наташину школу занимала минут семь, не более, но короткий этот маршрут исключительно разнообразен и исторически содержателен, таково уж свойство арбатских окрестностей.

В те же времена двор наш прославился на весь Советский Союз и ближнее зарубежье, потому что именно здесь недавно завершились съемки фильма «Покровские ворота». И один из брандмауэров домов, окружавших наш двор, для создания атмосферы времени и соответствующего колорита украсили гигантским плакатом, выполненным в стилистике 50-х. Скромная с виду, но одетая будто бы в Доме моды на Кузнецком Мосту дама высотой в три четверти брандмауэра призывала сограждан отдыхать на курортах Крыма. После завершения съемок грандиозное произведение не демонтировали, а оставили в вечное пользование и на радость местным жителям. Так мы и прожили четыре гоголевских года под присмотром приятнейшей дамы на фоне крымских небес и морского прибора. Из нашей, а не из чьей-то чужой подворотни то на одном, то на другом телевизионном канале вот уж несколько десятилетий вылетает и вылетает мотоцикл лихого Савранского, друга блистательного Костика, в нашем дворе забивает козла компания доминошников во главе со славным Саввой Игнатьевичем, над нашим двором нависает балкончик с еврейским дедушкой и внуком его скрипачом.

Так вот, каждое утро, провожая Наташу в школу, я замечала груду старого, вроде бы даже старинного кирпича, выроставшую за ночь возле сточного люка посреди нашего псевдопокровского дворика. Возвратившись домой и напившись чаю, минут через сорок выводила на прогулку собачку Анютку. И удивлялась исчезновению утренней груды. Кирпичи исчезали бесследно, будто их и не бывало. И так изо дня в день, по будням. Замечать-то странное явление я замечала, но выводов никаких не делала, ибо напрочь лишена аналитического мышления.

Между тем в наружной стене нашего шестиэтажного дома наметилась трещина и принялась неуклонно ветвиться по всей его высоте сверху донизу и наискосок. А на вечерних собачьих рандеву владелица смешной собачонки и урожденная жительница соседнего доходного дома, забавного эклектичного

(в окрестностях квартиры № 2)

сооружения с намеком на нечто мавританское, жаловалась на дурное самочувствие. Она всегда жила на первом этаже, привыкла ощущать себя человеком, твердо стоящим на земле, но с некоторых пор ей стало чудиться, будто под полом ее комнаты образовалась пустота. Стало даже казаться, будто паркетины, старинные, дубовые, вибрируют. Наверное, что-то сосудистое, всем известно — старость не радость...

А надо сказать, что по соседству, на противоположном берегу улицы Фурманова (чапаевского комиссара, администратора и летописца) несколько лет как выстроили комфортабельный жилой комплекс, приютивший под надежную свою крышу множество генералов и нескольких знаменитых спортсменов. Элитное жилье возникло на месте писательского кооператива, где успели пожить (увы, недолго) и Осип Мандельштам и Михаил Булгаков. Некоторые писатели и поэты тогда же канули бесследно, другие задержались здесь на несколько десятилетий, самые успешные перебрались на жительство в Лаврушинский переулок, а знаменитый Мате Залка, прежде чем стать легендарным генералом Лукачем и со славой погибнуть в Испании, успел послужить управдомом писательского кооператива.

И однажды милая дама пенсионного возраста, тоже местная жительница и собачница, подрабатывавшая консьержкой в жилище спортсменов и генералов, сообщила по секрету, будто под нашим двором и под нашими домами ведется строительство бомбоубежища, разделенного на отдельные комфортабельные помещения наподобие маленьких квартирков. Там-то в случае атомной войны укроются и переживут тяжелые времена лучшие представители рода человеческого (может, и не спортивные чемпионы, но уж, во всяком случае, генералы со своими семьями). То есть прежде чем все они обретут по два необратимых аршина земли, им гарантировано под землю не слишком просторное, зато безопасное жилище.

И якобы, чтобы сохранить предприятие в тайне, крепкий дореволюционный фундамент нашего дома раскурочивают по ночам, а кирпичики (те самые, что громоздились по утрам возле сточного люка) вывозят чуть свет куда подальше. Не знаю, насколько достоверна информация, полученная от консьержки-собачницы (не то что головы, даже мизинца на отсечение не дам), но то, что дом чудом не провалился в тартарары и его пришлось выселять в аварийном порядке, а потом и сломать до основания, — это чистая правда.

Так вот, в нашем злополучном доме то и дело засорялся мусоропровод, и что ни день его приходилось прочищать. Пользы от этого мероприятия не происходило никакой, разве что пострадала пара сотен тараканов. Они-то как раз, в отличие от мусора, свободно курсировали по вечно засоренному мусоропроводу. Но существенного ущерба тараканье население не понесло, ведь состояло оно не из сотен, а из сотен тысяч, а может даже миллионов, породистых столичных особей, потомственных москвичей в сто пятом поколении. Особи эти неутомимо сновали по всему дому и размножались не в геометрической, а в какой-то фантазмагорической прогрессии. Впрочем, речь не о них...

Так вот, однажды Женя заметил, что снаряд, используемый по такому прозаическому назначению, не так-то прост, что это пудовая чугунная гиря, причем старинная. Мимо подобных раритетов мы не проходим и снаряд из общественного пользования изъяли. Гирию отмыли, и на чугунном ее боку обнаружилось клеймо — 1832. Стоит ли говорить, что с тех пор мы с гирей не расстаемся, она мигрирует вместе с нами. К моменту нашей счастливой встречи ей исполнилось 162 года, и странным образом греет душу тот факт, что гирию отлили при жизни Пушкина. Когда она явилась на свет, Александру Сергеевичу было тридцать три года (тот самый возраст!), и ничто не мешает мне реконструировать ее историю. Почему и в этом тексте появляется личность Александра Сергеевича, а не какого-нибудь другого его современника, на этот вопрос не отвечу, может, потому, что Пушкин наше ВСЕ, так-то вот, и тема закрыта!

Итак, не исключено, что жизненный путь нашей гири начался на недалеком Смоленском рынке, а почему бы и нет? А Александр Сергеевич Пушкин, наведываясь в Москву, частенько гостил у Павла Воиновича Нащокина в доме № 12 по Воронцовскому переулку, что у Старого Пимена (а вовсе не в Нащокинском переулке за углом нашего гоголевского дома, принадлежавшего предкам Павла Воиновича гораздо раньше, в XVIII столетии). И в каждый приезд Александра Сергеевича приятели будто бы посещали Лепехинские бани, те самые, что на Смоленском рынке. И по дороге в баню миновали лабаз, где в этот самый момент посредством нашей, тогда еще совсем юной, но очень уже тяжеленькой гири взвешивали пудовые мешки с мукой или другим, бог весть каким содержимым. И могло случиться, что через широко распахнутые двери лабаза они однажды мельком увидели друг друга, наша гиря и Александр Сергеевич. А может, гиря ассоциируется с поэтом потому, что Пушкин был так ловок и так силен, что при желании мог запросто ею пожонглировать. Впрочем, не исключено, что в день той гипотетической встречи Пушкину сопутствовал вовсе не Павел Воинович Нащокин, а Сергей Александрович Соболевский, в доме которого на Собачьей площадке поэт тоже останавливался неоднократно. Как бы то ни было, но жизнь гири и вправду на целое пятилетие пересеклась с жизнью Пушкина. А бедный дом уже после нашего отъезда долго еще представлял собою опасную для окружающих руину, пока его не снесли до основания, а потом якобы возродили. То есть от прежнего облика остался заново воспроизведенный псевдоантичный фриз, а сам дом разросся ввысь, вширь и вглубь, и теперь там множество организаций с интригующими названиями.

О гоголевской поре нашей жизни в нынешний ее период, кроме пушкинской гири, напоминают встречи с соседом. Этот персонаж с женою и дочерью жил некогда за стенкой, и мы регулярно участвовали в ритуальном действе. В глубокой ночи, часов не ранее двух-трех, бешено колотили во входную дверь, и женский голос истошно вопил: «Спасите! Убивают!» Поначалу мы в ужасе бросались к дверям, и перед нами представала мизансцена: корпулентная женщина с обезумевшим взором, в разодранной до пупа ночной

(в окрестностях квартиры № 2)

рубашке, а за ее спиной худосочный мужичок в растянутой майке и семейных трусах, с занесенным над головой потенциальной жертвы топором. Без намека на динамику, просто живая картина, будто бы участники ее «заклучились на замри» (была такая игра). А чтобы вообразить, какова была та женщина, достаточно вспомнить полотно художника Кустодиева «Красавица» (кстати говоря, на знаменитой картине изображена актриса Фаина Шевченко, орденноносец и лауреат двух Сталинских премий), но только если представить кустодиевскую модель с иначе сложившейся судьбой и не среди пышных роз, нарядных подушек и атласных перин 1915 года, а спустя семьдесят советских лет, в тусклом коридорчике, в разодранной до пупа рубашке и в вышеописанной позиции. Клянусь, и роскошеством тела, и статью, и красотой лица соседка наша в точности совпадала с той красавицей, разве что волосы поуже и потусклее, что неудивительно в контексте тотального отечественного авитаминоза. То рыдая в голос, то подвывая, соседка кидалась к телефону и вызывала милицию, а спутник ее жизни, не зная, что делать со своим топором, немедля испарялся, будто был он не мужичком из какой-никакой плоти, а натуральным миражом.

Спустя время являлся наряд милиции и скучным голосом предлагал нашей красавице, все еще пребывавшей в неглиже и ни малейшего стеснения от этого обстоятельства не испытывавшей, написать заявление. Не тут-то было, жена со страстью вставала на защиту мужа, категорически отказывалась сажать его в кутузку, и милицейский наряд, замороженный представшим его взору телесным изобилием, красотой его и качеством, неохотно, нога за ногу, удалялся. Соседка тотчас успокаивалась, отправлялась досыпать под бок к несостоявшемуся своему убийце, а мы заснуть уже не могли, включали на кухне свет, разгоняли полчища бесчинствующих тараканов и ставили на плиту чайник.

Из-за однообразия и отсутствия интриги сюжет с топором приелся, ибо повторялся раз от разу с хорошо отрепетированной точностью. Поднадоел он и милиционерам, и участковый уполномоченный своей властью запретил нам участвовать в ночном лицедействе. Мы и вправду пару раз не открыли дверей на соседские вопли, хотя на душе кошки скребли и томила история мальчика, вопившего многожды: «Волки, волки...» — известно, чем она закончилась. Но в нашем случае все обошлось благополучно, дом окончательно треснул, и всех переселили в подроспевший к этому моменту микрорайон Крылатское, не худший вариант по сравнению с Бибиревом и Капотней, которыми пугали друг друга жильцы нашего дома. Соседи не сдавались до последнего, держались насмерть и в награду за неконформизм получили квартиру не в обыкновенном серийном строении, а в ведомственном доме, выстроенном для сотрудников кардиоцентра. Время от времени я встречаю гоголевского соседа, он ни чуточки не изменился, нисколько не постарел, все тот же худосочный человечек без возраста, однако и без топора, разве что стал чуточку благообразнее. Соседку, может, тоже встречаю, да не узнаю, годы-то идут...

Пасочница. Резные дощечки, складывающиеся в пирамидку — форму для творожной пасхи, мы выудили вечность назад из зарослей жгучей крапивы в окрестностях Ферапонтова монастыря. Злющая двухметровая крапива росла на руинах лесного хутора, а о том, что некогда он и вправду существовал, свидетельствовали одичавшие яблони, кусты обмельчавшей смородины и кое-какая домашняя утварь, отчего-то не сгнившая, а затаившаяся в крапивных зарослях.

В Ферапонтове мы оказались в сентябре 1970 года. Прибыли в Вологду, переночевали в гостинице, полюбовались городом и отправились в Кириллов, намереваясь в тот же день добраться до Ферапонтова. Но в Кириллове встретила нас мелкая старушка в наряде в стиле кантри — юбка с оборками, кацавейка в цветочек. Старушка сунула нам под нос эмалированную кружку с зеленым крыжовником, сообщила, что автобус в Ферапонтово только что ушел, следующий будет завтра, а ночуют проезжие люди у нее. По дороге к недалекому ее дому, налаживая контакты, восхитились мы юбкой и кацавейкой. Старушонка восторги наши остудила и объяснила, что в таком наряде «кружовник лучше берет». Имя свое старушка назвать отказалась, велела звать себя бабушкой.

На освоение Кирилло-Белозерского монастыря и осмысление его красоты хватило бы и трех дней, но мы задержались на десять. Бабка ловко поймала нас на крючок, не приворожила, а попросту взяла деньги вперед и поселила в сарае, на сеновале с колючим доисторическим сеном, которое и сеном-то не пахло, а исключительно пылью. Убожество нашего жилья с лихвой искупало Белоозеро, круглосуточно сиявшее сквозь чердачные щели. Прекрасное и само по себе, при свете дня оно отражало кучевые облака, а по ночам звездное небо. Но коченели мы на своем сеновале до дрожи и посинения кожных покровов — в сентябре-то на севере холодновато.

Прагматично опасаясь, как бы мы не околели на ее чердаке, а может, просто из любопытства (московские гости как-никак) бабка приглашала к вечернему чаю, мы отогревались кипятком и запасались на предстоящую ночь самоварным теплом. Под тусклой лампочкой без абажура сколачивалось подобие табльдота — во всех бабкиных закутках, в темном коридорчике, на крошечной захлавленной терраске обитали квартиранты. Кипяток был общий, а заварка и сахар у каждого свои. Даже брат с сестрой, учащиеся местных техникумов, ютившиеся в закоулках бабкиного дома, выходили к столу каждый со своей пачкой чая и своей баночкой сахара. Застолья выходили угрюмые, настороженные, каждый примащивался с краешку, чтоб казаться поне-заметней, бабку все побаивались, друг на дружку посматривали исподлобья. Зато бабка царила в свое удовольствие, никого не выпускала из виду, зыркала острым глазком, плела байки, жильцов безответных держала в напряжении, про нас любопытничала и всем давала медицинские советы. Точнее сказать, один-единственный совет, потому что признавала одно-единственное средство от всех на свете болезней — уголь активированный. Уверяла, что даже свой

(в окрестностях квартиры № 2)

инфаркт излечила углем. Вместительный шкафчик, бабкина аптечка, был забит активированной панацеей, и только ею.

В завершение чаепития, ближе к ночи, хитровато оглядев и без того робкую аудиторию, бабка рассказывала очередную, случившуюся по соседству леденящую душу историю с назидательным подтекстом. К примеру, про то, как невестка подговорила мужа заколотить здоровущий гвоздь в темечко старенькой свекрови, пока та безмятежно спала. Сначала-то никто ничего не заметил, свекровь похоронили, как положено, но соседка заподозрила, поделилась с зятем-милиционером, бабку отрыли, и теперь сын с невесткой тянут срок в лагере, и долго еще будут тянуть. То есть просто расслабиться за чашкой чая да и уснуть с миром старуха постояльцам своим не давала, заставляла призадуматься над мерзостями жизни.

Наконец терпение наше иссякло, мы собрались с духом, стряхнули бабкин морок и эмигрировали с колючего ледяного сеновала в Ферапонтову слободу. В самой слободе пристанища не нашли, зато в недалекой деревне Щелково нас приютила Прасковья Матвеевна, тоже старушка, но редкостной прелести, полная противоположность ведьмоватой кирилловской бабке. Приютила, обогрела, поселила в светлой горнице, усталанной вдоль и поперек самоткаными половиками изумительной красоты, с окошками, глядящими на Бородаевское озеро, всклянть наполненное водою (чудилось, будто вода того и гляди перельется, выплеснется через края-берега). Не озеро — сияющая серебряная линза.

И зажили мы в настоящем северном доме — снаружи суровом, сером, обветренном, а внутри просторном и приветливом, с клетями и подклетями. Жилые горницы располагались вроде как в бельэтаже, расположенном над давно уж пустующим хлевом. Одного только не было в доме — отхожего места. Ничего, обходились и без него, приспособились. Не знаю, как и что там теперь в деревне Щелково, но в те времена хозяева многих домов мечтали продать их за самые мизерные деньги. И наша старушка однажды застенчиво намекнула, что охотно продала бы свой дом рублей за пятьсот да и перебралась бы на жительство к дочери в Череповец.

Дни напролет Прасковья Матвеевна плела кружева — косынки и воротнички из черных и белых ниток х/б. Восседала торжественно и смиренно перед исколотым булавками матерчатым валиком, укрепленным на высоком станке наподобие узких козел, постукивала дробно коклюшками, священнодействовала, выплетала замысловатый вологодский узор. А еще у нее имелся ткацкий стан, на котором она ткала те самые нарядные половички, создававшие в доме ощущение непреходящего праздника. Половички и кружева Прасковья Матвеевна продавала постояльцам, и мы увезли с собой ее изделия. Половички-то давно истерлись, а кружевную косынку и воротничок храним и вспоминаем нашу хозяйку. Жилось нам в Щелкове тепло и уютно. Дочь Прасковьи Матвеевны работала на Череповецком химкомбинате, отпуск ее откладывался, а между тем пришла пора готовиться к зиме. Мы вызвались помочь,

с энтузиазмом выкопали картошку и перенесли ее в клеть. Натаскали из лесу диких яблок для зимних компотов и пирогов. Накололи дров на зиму и сложили высокую поленницу. А после работы угощались вкуснейшим блюдом — картошкой, ночь протомившейся в русской печке в молоке от соседской коровы, на поклон к которой мы ходили по утрам с жестяным бидончиком.

Обыкновенно после завтрака отправлялись в собор Рождества Богородицы. Шли берегом озера, по мостику через речку Паску и далее вдоль слободской улицы, мимо деревенской чайной. Именно возле чайной, а вовсе не в монастыре билось сердце слободы. Внутри чайной и вокруг нее бурлила жизнь и круглосуточно кучковалось местное и проезжее мужское население, немногочисленное, но еще и не вовсе оскудевшее.

Однажды кургузый мужичок в кепке отделился внезапно от компании приятелей и ринулся к тетке с мешками, неуклюже взбиравшейся в автобус. Воскликая нечто нечленораздельное, но восторженное и выгребая из карманов незначительные какие-то рубли и трешки, пытаюсь засунуть их в карман теткойной кофты, он возбужденно рассказывал окружающим, как этой вот замечательной женщине, судомойке в том лагере, где он отбывал срок, безоговорочно верили в их бараке. И когда они взбунтовались и забаррикадировали двери барака, одну только ее впускали к себе, одна только она относилась к ним по-честному, по-человечески. Окружающие слушали мужичка с таким сочувственным пониманием, что складывалось впечатление, будто у каждого имелся свой лагерный опыт.

Итак, мимо чайной, и вот он, неподалеку, вход в монастырский двор. Той осенью Рождественский собор открыт был с утра до вечера и пустынен. Работал на лесах молодой московский художник, с виду мальчик, копировал фрески, девушка-экскурсовод изредка заводила внутрь группку диких туристов, завезенных в Ферапонтово в соответствии с экскурсионной программой. Начинала экскурсию с откровения — призывала мужчин обнажить головы, а женщин покрыть их хоть чем-нибудь. Смущенно озираясь, мужики стаскивали кепочки, женщины рылись в сумках, набрасывали на головы носовые платки.

Чудо свое Дионисий с сыновьями сотворили всего за месяц, с 6 августа по 8 сентября 1502 года (запись об этом имеется на откосе северной двери). Пространство мерцало розоватым, голубым, золотистым, и свет проникал вроде бы не снаружи, а рождался внутри собора. Многожды прокрутившись вокруг собственной оси, позадирав головы и посворачивав шеи, напитавшись, но не насытившись чудом неземного происхождения, отправлялись изучать окрестности. Ходили-бродили, посиживали на озерных берегах, картошку пекли, набивали оскомину дикими яблоками, щипали перезревшую смородину, которой в тех лесах море. Вот и набрали однажды на руины хутора, того самого, откуда происходит наша пасочница.

Смастерили пасочницу в те времена, когда и сам монастырь жил-поживал как ни в чем не бывало, и живы были все монахини и послушницы во

(в окрестностях квартиры № 2)

главе с игуменьей Серафимой Сулимовой, а в соборе Рождества Богородицы служил отец Иоанн Иванов.

А значит, творожные пасхи, отформованные в нашей пасочнице, до поры до времени (монастырь-то закрыли в 1918 году, и тогда же матушка Серафима и отец Иоанн приняли мученическую смерть) в пасхальную субботу из года в год освящали в Ферапонтовом монастыре. Даже поздняя Пасха на севере ранняя — из-за поздней весны. То есть можно вообразить, как хозяйка лесного хутора, увязав куличи и пасхи в домотканые полотенца, в незапамятную какую-то субботу, окутанную легчайшей зеленоватой дымкой (полупрозрачным таким туманцем), спешит в монастырь. Оскальзываясь после ночного дождя на глинистой лесной дороге.

Есть мнение, что пигменты красок, которыми Дионисий с сыновьями расписывали собор, извлечены из местных глин и галек, добытых со дна озера, на озерных берегах и лесных дорогах, в том числе на той, что вела с хутора в монастырь. Однако это предположение, родившееся в романтическом воображении художника Николая Михайловича Чернышева, опровергнуто и развеяно. Ничего не поделаешь, придется признать, что краски были покупные, и сохранились монастырские счета, подтверждающие этот неоспоримый факт. Да ведь на самом-то деле, какая разница, какими красками написаны фрески...

Видно, не все жители Щелкова благоволили к досужим приезжим, и однажды мы обнаружили, что подошвы моих кед, вывешенных для просушки на плетень, располосованы ножом. Хозяйка наша огорчилась ужасно, сетовала: *Забрали бы лучше, резать-то зачем? Только вещь испортили.* И все равно, уезжая из Ферапонтова, мы мечтали туда вернуться. Прикидывали — а что, если поднапрячься да и купить дом на берегу Бородаевского озера? У нашей старушки, у Прасковьи Матвеевны? Но не случилось, и никогда больше мы в тех краях не бывали.

Провожая нас, деликатная Прасковья Матвеевна смущенно спросила: не найдется ли в Москве ненужных тряпок, чтобы нарезать их на полоски и соткать на ткацком стане половики? Дома я немедленно собрала тряпичный ворох, добавила московских гостинцев и отправила все это нашей деревенской подруге. И вскоре пришла ответная посылка с клюквой и сметками — крошечными вялеными рыбешками, чудесным озерным лакомством.

На обратном пути, уже в Вологде, проголодавшись в дороге, сунулись было в ресторан, но нас строго окликнули: *Мальчики*, — сказала нам дама-метрлотель — *мальчики, в таком виде к нам нельзя.* Мы чуть было не разобиделись, хотели даже нагрубить в ответ, но, взглянув на свое отражение в высоком ресторанном зеркале в золоченой раме, признали правоту строгой дамы, и правда, в таких грязных полуистлевших джинсах и изгвазданных резиновых сапогах, с такими всклокоченными волосами в приличное заведение не суются. Правду сказать, к концу того сентября выглядели мы натуральными бродягами.

В ресторан нас не пустили, но с базара не прогнали. Там-то, съев по здоровенному пирогу с вязигой (каждый размером с калашу сорок шестого размера и такой же примерно конфигурации) и восхитившись этим вологодским лакомством, накупили местных вкусностей в дорогу. То есть все остававшиеся от путешествия деньги проели. За исключением двух сакральных рублей на постель и десяти копеек на метро.

Коротая время, побрели по городу и набрали на букинистический, в котором уже побывали однажды, по дороге в Ферапонтово. В тот раз магазин пустовал, а в этот оказался ошеломляюще полон, более того, переполнен. Видно, кто-то сдал на комиссию огромную библиотеку, да какую! Самые заманчивые книжки, детские и взрослые, распирала книжные стеллажи. О таком обширном ассортименте в московских книжных и мечтать не приходилось. И такие это были аппетитные зачитанные книжечки, совсем тоненькие и распухшие раза в два против первоначальной своей толщины, старенькие, с биографиями, короче говоря, абсолютно в нашем вкусе. Ну не могли, никак не могли мы уйти с пустыми руками, да все деньги-то мы истратили... И нас осенило! Мы ринулись на вокзал, обменяли билеты в купированном вагоне на плацкартные и на разницу в десять рублей накупили целую библиотеку, десятка три замечательных книг, принадлежавших некогда неизвестному вологодскому интеллигенту. Потрепанные такие книжечки, читанные-перечитанные, а ведь потрепанность — это знак книжного качества!

А злая крапива на руинах дома в окрестностях Ферапонтовой слободы, из зарослей которой мы выудили нашу пасочницу, скрывала еще и ткацкий стан в комплекте и полной сохранности. Точно такой, как тот, на котором наша Прасковья Матвеевна ткала нарядные дорожки-половички. Мы бы и стан тот захватили из любви к предметам материальной культуры и уважения к их создателям и пользователям, да как такую громаду до Москвы донести — 7 км до Кириллова, 120 до Вологды и еще 460 км до Москвы? Потому-то и подобрали одну только пасочницу с берегов реки Паски. А о судьбе разрушенного хутора, о том, по какой причине он опустел, что за несчастье приключилось с его обитателями, когда и куда они подевались и отчего имущество побросали, к стыду своему и теперешнему глубокому изумлению, задумалась спустя целую вечность...

Вафельница-хромоножка. А вот еще вещица, не раритет и отнюдь не шедевр дизайна, а вафельница электрическая, тяжеленный неказистый предметец, некогда устойчиво стоявший на четырех толстенных ножках из черного пластика, при забытых обстоятельствах охромевший, да так и оставшийся трехногим и неуклюжим. А ведь хромоножка наша еще молода (ей немногим более тридцати) и по-прежнему функциональна, хотя с эстетической точки зрения внимания не заслуживает. Вафельница прибыла в Москву на излете советской власти из тогда еще социалистической Литвы, конкретно из курортного города Паланга. По правде сказать,

(в окрестностях квартиры № 2)

литовская хромоножка всего лишь овеществленный повод для того, чтобы сначала вспомнить летнюю Палангу 1959–1961 годов, а потом тот же город зимою 84-го...

В отрочестве моем семья наша прожила в Паланге шесть полноценных месяцев — три июля и три августа, а спустя четверть века к ним добавились один январь и один февраль. Поэтому воспоминания о Паланге делятся на две части — Паланга-I и Паланга-II.

Так как прежде летами мы обитали в дальнем Подмосковье, не в дачной местности, а в деревенской, легко вообразить шок, испытанный нами в Паланге. Во-первых, мы с мамой впервые увидели море! Папа-то прожил два детских лета на Черном море, а мама моя, в детстве и юности поэтапно передвигавшаяся с семьей в сибирском направлении, ни на одном море не бывала. Поэтому после приезда (а прибыли мы на станцию Кретинга глубоким вечером и в Паланге оказались уже в ночи) так и не смогли заснуть, все прислушивались к звукам моря, и нам чудилась, будто бушует шторм, будто каждая волна — это девятый вал. С трудом дождавшись рассвета, ринулись на берег в надежде насладиться разгулом морской стихии. Увы, ничего подобного, никакого шторма, так, умеренный прибой, волны даже без гребешков. Вот под этот аккомпанемент (шорох и плеск) началось летнее блаженство.

Море — это во-первых, а во-вторых, ошеломил нас, летних завсегдатаев российских деревень, европейский облик прибалтийского городка. Невзирая на вавилонское столпотворение тысяч и тысяч отдыхающих, прибывших из Москвы и из Ленинграда, из столиц союзных республик и из разнообразных глубин, заполонивших городок и заселившихся в каждую щель, куда втискивались топчан или детская раскладушка. Мария Николаевна с внуком Петей, наши друзья и всегдашние летние спутники, прожили те месяцы под лестницей, в закутке, отгороженном от прихожей ситцевой занавеской, создававшей ощущение сепаратного пространства. И хорошо прожили, уютно, не сетовали, радовались жизни.

Нам-то повезло, родственники сняли для нас роскошную комнату с огромной террасой на втором этаже новенького каменного дома ненашенского, не российского облика. Из таких же домиков (плоские крыши, два полноценных этажа, окна с зеркальными стеклами) в Паланге образовалась целая улица. Говорили, будто бы выстроили их вернувшиеся из ссылки литовцы, трудолюбивые люди, сумевшие не только выжить в Восточной Сибири, на берегу моря Лаптевых, но и заработать денег для обустройства на родине. Такой старик, с виду дремучий и мрачный, возглавлял семью наших хозяев. В любую погоду одетый в тулуп и валенки, он безмолвно сидел на скамейке возле сарая, где летом обитало многочисленное его семейство. Сидел, угрюмо созерцал жизнь дачников, вроде бы ни одного русского слова не знал не ведал, но на прощание внезапно заговорил по-русски с едва уловимым акцентом и почти доброжелательно. Видно, решил в результате пристальных наблюдений, что мы не самый худший вариант оккупантов. Мы и вправду

возвратились в тот дом следующим летом, но старик нас не дождался, умер ранней весной.

В те времена все были не избалованы и неприспособлены к быту. Только на первом этаже теснилось три семьи, и каждая ютилась в одной-единственной комнате. Наши родственники в составе пяти человек (малолетняя моя кузина и четверо сопровождавших ее взрослых, включая нянюку) и еще два семейства в аналогичном составе. Первым делом следовало решить проблему питания. Завтракать и ужинать нам, второсортным обитателям второго этажа, позволялось на общей кухне, но где же обедать? Попытались столоваться в частном пансионе по соседству, эта традиция в Прибалтике еще теплилась. Трапезы совершались в несколько смен, в строго обозначенных временных рамках, в режиме натурального табльдота. За длинный стол, накрытый белоснежной скатертью (обстоятельство это уже напрягало, мы-то привыкли к клеенкам), усаживались незнакомые друг с другом люди и в молчании церемонно вкушали блюда, которые подавала такая же безмолвная хозяйка в накрахмаленном полотняном переднике. Было вкусно, но так скучно и скованно, что от обеда оставалось ощущение самое что ни на есть пресное. Да и стоило это удовольствие дороговато.

Заплатив за неделю вперед существенную для нашей семьи сумму, мы отобедали в пансионе положенное и отказались от буржуазной затеи. Обедать стали в столовой, а иногда даже в ресторане «Jūrc» («Морской») на улице Басанавичус. От всей души полюбили мы фирменное ресторанное блюдо — холодный литовский борщ, да так страстно полюбили, что решились проникнуть на ресторанный кухню и выпросить рецепт. И вот уж более полувека каждое лето едим этот восхитительный борщ. Вот его рецепт: свеклу почистить, отварить и натереть на терке; воду, в которой она варилась, смешать в равных частях с кефиром; нарезать кубиками огурцы, нарубить укроп; все составляющие перемешать и охладить; подавать со сметаной, половинкой крутого яйца, помешенного, наподобие солнышка на небосводе, в середину глубокой тарелки. К борщу подавать горячий отварной картофель на десертной тарелочке. Холодный литовский борщ — субстанция животворная, духоподъемная, а в жару спасительная!

Комплексный ресторанный обед (тот самый борщ, две тефтели с гарниром и компот из ревеня) до денежной реформы 1961 года стоил 10 рублей. Но дешевле можно было пропитаться в столовой самообслуживания на улице Витауто (Витовт — князь литовский). Дешевле-то конечно дешевле, но чтобы добраться до жестяного прилавка и завладеть подносом и столовыми приборами, приходилось выстоять двухчасовую очередь. Не знаю, кто как, но мы с папой времени не теряли, а азартно рисовали наброски, благо презабавных персонажей клубилось вокруг множество... И в результате я так насобачилась, что привезла из Паланги несколько толстеньких альбомчиков, изрисованных от форзаца до нахзаца, за труды свои получила в художке пятерку, а на выставке летних работ стенку для экспозиции. Раз в несколько лет пухлые

(в окрестностях квартиры № 2)

альбомчики выныривают из домашних недр. Прошла целая жизнь, а взглянешь на детский рисуночек — и оживают знакомые, полужнакомые и вовсе незнакомые лица. А ведь практически никого из тех людей давно уж нет на этом свете, разве что прежние детишки суетятся где-то на земном шаре, но и они давно перешагнули пенсионный рубеж.

Пока мы с папой рисовали, мама заинтересованно выслушивала жизненные истории соседей по долгой очереди. Вечно и повсюду ей исповедовались случайные знакомые. Помню не старую еще женщину в мелких кудряшках (такая завивка называлась «шестимесячной») в модной и чрезвычайно дефицитной в Москве прозрачной капроновой блузке. Разговор начался с характерно интонированного вопроса: *Ой, а вы в Москве живете? А доктора Апфельбаума знаете?* Несколько московских Апфельбаумов мы знали, и хотя доктора среди них не было, женщина поведала маме свою историю. Оказалось, что всю войну она прожила в Вильнюсе и спасли ее литовцы, прятавшие на чердаке своего дома шестерых евреев. Себе на прокорм, а также на пользу своим спасителям, людям, без сомнения, героическим, затворники зарабатывали сами, изготавливали искусственные цветы для костелов, виртуозные, неземной красоты, пользовавшиеся спросом по всей Литве. Как так могло случиться — три с половиной года снабжать артель сырьем, реализовывать цветочную продукцию и кормить всех этих людей? Однако случилось...

Общество, к которому мы притулились, сформировалось обширное. Ядро славной компании составляли бывшие одноклассники, некогда харьковчане, большей частью гуманитарии, люди за тридцать. Друзья давным-давно разъехались по городам и весям, но каждый год, согласовав отпуска, воссоединялись то тут то там. Прихватив с собой образовавшихся в процессе жизни жен, мужей и детишек. А к женам, мужьям и детишкам прилеплялись в свою очередь родственники, приятели и просто знакомые, сбоку припека вроде нас.

О драматическом развитии судеб некоторых из тех одноклассников я кое-что знаю. Всем им предстояли испытания: расставания, разрывы, взаимные разочарования, предательства, но в те спрессованные в моей памяти в единый конгломерат летние месяцы в этой среде царили беззаветная дружба, взаимная любовь и духоподъемный жизненный настрой. На дворе-то стояла хрущевская «оттепель», уже свершился XX съезд, почти все выжившие вернулись из лагерей и ссылки, не всех, но многих погибших реабилитировали, а новые гонения и посадки еще не начались. Все были молоды, никто никуда не уехал безвозвратно и даже не помышлял о такой возможности, а Булат Окуджава уже сочинил несколько песен.

Расположившись многолюдным бивуаком в песчаных дюнах (пляж в Паланге славится очень мелким и очень светлым, почти снежным песочком), мы впервые услышали про Ваньку Морозова и его белоногую циркачку, про Леньку Королева, про поджаристую корочку и про синий троллейбус. Не из магнитофона (предмета в тогдашнем быту редчайшего), а с голоса московской учительницы литературы, в те времена молодой жены будущего светила

кардиологии с детским именем Алик и мамы кукольного размера и такой же милovidности дочки Леночки. Стоя в почти молитвенной коленопреклоненной позе, красивая Рита, похожая (так мне казалось) на артистку оперетты Татьяну Шмыгу, в режиме нон-стоп снова и снова пела Окуджаву. Песенки я запомнила сразу, однако тем летом меня обуюл тот самый злокозненный подростковый нигилизм, когда все, что предлагалось взрослыми, категорически отвергалось. В письме к тетушке, по обыкновению иллюстрированном, я, помнится, нарисовала толпу восторженно внимающих певице шаржированных персонажей в неглиже и сопровождала рисуночек незатейливым двустушием: «Нам тут столько песен спели, что мы все окуджавЕли». Плоскую шуточку тетушка строго осудила, и правильно сделала.

А вечером все отправлялись на randevу по раз и навсегда утвержденному маршруту в одном и том же размеренном темпе. Пройдя по улице Пионэрю, выходили на Витауто, двигались прогулочным шагом мимо старой аптеки, курзала, кинотеатра, в направлении речки Ронжи и костела в честь Вознесения Девы Марии (неоготической доминанты города) и сворачивали на длинную Басанавичус, завершавшуюся едва ли не полукилометровым пирсом. Справа от пирса располагалась зона женского пляжа, то есть сотни обнаженных женщин загорали, купались, фланировали и без малейшего смущения демонстрировали стати свои и прелести удившим с пирса рыбаковам, а также досужим почитателям женской красоты. Вот уж искушение так искушение, по сути провокация... Как следовало поступать порядочному человеку, прогуливающемуся по пирсу, — отворачиваться, надевать шоры? Но если случалось какому-нибудь одиночке (оголтелому смельчаку или несведущему новичку) забрести на территорию женского пляжа, тут уж начиналось ритуальное избивание наглеца. Крепко доставалось этим уже не младенцам мужского пола, и однажды я оказалась случайным свидетелем вовсе не шутливой расправы. Неплохой сюжет для жанровой картины: разнообразные женские тела во вкусе Энгра, Рубенска, Кранаха (список бесконечен) в динамике и едином порыве... ну и так далее...

Существовал в Паланге и мужской пляж, симметричный женскому, но вдалеке от пирса, поэтому мужскую обнаженную натуру так просто было не разглядеть, да вряд ли кому-то сильно хотелось, хотя кто знает... Однажды, дождливым ветреным днем (случаются в Паланге в разгаре лета такие осенние деньки) в многочисленной компании продрогших бабушек и разнузданных детишек мы нечаянно вышли из лесу на эту самую территорию. Брели нога за ногу, растянувшись вереницей вдоль берега, а несколько мужских головенков, принадлежавших несчастным, рискнувшим в такую собачью погоду на минутку окунуться в балтийские воды, маячили наподобие поплавок, посиневшие и с искажившимися чертами. Не в силах терпеть более, отдельные безумцы, скрюченные и дрожащие, выскакивали из воды и стрелой проносились перед нашим носом, судорожно прикрывая руками свое достоинство. Этот сюжет тоже графически запечатлен в одном из писем к тетушке.

(в окрестностях квартиры № 2)

Так вот, дойдя до оконечности пирса и поглазев на обнаженных тетенек — любительниц вечернего купания, мы разворачивались, возвращались к его началу и спускались по узкой лесенке на берег. Плотной говорливой толпой, вроде как на первомайском шествии, брели кромкой пляжа, якобы любуясь закатом. Хотя на самом деле взоры той части публики, что способна была согнуться в поясище, устремлялись исключительно на полосу прибоя, потому что море то и дело выбрасывало под ноги запутавшиеся в черных йодистых водорослях крошечные кусочки янтаря. За янтарем охотились алчно, азартно, находками кичились друг перед другом, увозили домой и там навсегда о них забывали, потому что дома, вне балтийского контекста камешки мгновенно обесценивались.

Налюбовавшись закатными небесами и их отражением в морских водах, поклонявшись прибою и промочив ноги, переваливали, увязая в песке, через гряду дюн, ощетинившихся остренькой серо-голубой травкой, похожей на ирокезы на головах песчаных холмов, а перевалив, оказывались в парке графа Тышкевича, удачно спланированном некогда французским архитектором Андре. Недалеко от входа в парк установлена бронзовая скульптура, своего рода символ Паланги — королева ужей Эгле со змеем (легенда про девушку Эгле — аналог «Аленького цветочка»). А в парковых дебрях таилась (и таится по-прежнему) гора Бируте, на самом-то деле вовсе и не гора, а реликтовая дюна высотой аж 400 метров. В языческом святилище на вершине дюны жрица богини Весты весталка Бируте поддерживала священный огонь, а после завершения срока своего служения (в весталки посвящали юных дев, достигших половой зрелости, и через тридцать лет целыми и невредимыми, то есть в высшей степени гуманно, возвращали в родные дома) уже не юная, но по-прежнему прекрасная Бируте счастливо вышла замуж за великого князя литовского Кястутиса и благополучно родила мужу сына Витаутаса, следующего великого князя, в честь которого и названа главная улица Паланги.

А во дворце графа Феликса Тышкевича, сооружении в стиле позднего классицизма, располагался до поры до времени Дом творчества Союза художников. И из лета в лето проживали во дворце семьи самых успешных представителей художественного сообщества. Жили художники весело, шутили, устраивали розыгрыши. Один такой розыгрыш прогремел на всю Палангу, и слухи о нем выплеснулись за пределы дворца и ограду парка.

Дело в том, что восхитительный пляж со светлым песочком являлся одновременно морской границей СССР, которую день и ночь охраняли и защищали, ибо каждую минуту ожидалось вторжение заморских вредителей. При свете дня море и берег пограничники озирали в подзорные трубы, а чтобы защититься от ночного нашествия диверсантов, пляж поздним вечером боронили, и после этой процедуры купаться запрещалось. Но два московских озорника, народный художник РСФСР академик Александр Лактионов и заслуженный художник РСФСР Виталий Горяев, придумали шутку. Известные, равно успешные, хотя в творчестве диаметрально противоположные, живописец

Александр Лактионов — столп социалистического реализма, автор знаменитых картин «Письмо с фронта» и «Обеспеченная старость», и график Виталий Горяев — виртуозный рисовальщик, карикатурист и книжный иллюстратор... И однажды в ночи один из художников вскарабкался на спину другого (сейчас уж не установить, живописец ли вскарабкался на спину графика или график оседлал живописца), таким манером шутники преодолели вспаханную пляжную полосу, искупались в балтийских водах, а на берег каждый вышел своими ногами. И на раннем рассвете пограничный патруль обнаружил нечто экстраординарное — в сторону моря пляж пересек один человек, а на обратном пути их оказалось двое.

И вот в столовую графа Тышкевича, где безмятежно завтракал бомонд Союза художников (то есть сливки художественного сообщества лакомились «вз битыми сливками» — популярнейшим местным десертом), врываются пограничники в фуражках с зеленым верхом и с рвущимися с поводков овчарками (надо думать, что и с автоматами Калашникова наперевес). Лавируя между столиками, проносятся они по залу и в мгновение ока обнаруживают преступников... Ну а как разрушили художники ту почти криминальную историю, этого я не знаю...

А был случай, когда мы пережили натуральный стресс. За завтраком самый авторитетный житель нашего теремка и владелец транзисторного радиоприемника (чуда техники, вещавшего по ночам чужеземными голосами), дедушка мальчика Темы (нынешнего гуру отечественной рок-музыки) сообщил соседям, уплетавшим вкуснейший творог со свежайшей сметаной, будто бы прошедшей ночью над Швецией выпали радиоактивные осадки. Но над этой благополучной страной дождь якобы пролился не полностью, и радиоактивная туча ушла в сторону советской Прибалтики. Той ночью и вправду шел проливной дождь, под утро он утих, но погода так и осталась пасмурной.

И вот выходим мы из дому и видим, что все лужи и лужицы затянута тончайшей желтенькой пленочкой, а трава припорошена вроде как пудрой того же колера. Ну что это может быть, если не радиоактивный стронций? Хотя мы-то с папой знали, что краска стронциановая желтая на самом деле ярче и пронзительнее бледно-желтой пленки на лужах. Пленочка эта и пудра были по цвету ближе к неаполитанской желтой. Но краска — это одно, а натуральный стронций — нечто иное. Всем стало жутковато, и несколько часов наше сообщество жило в ощущении последнего дня Помпеи. Наохлившись, мы слонялись по берегу, раздумывали над бренностью человеческой жизни, ожидали первых симптомов радиоактивного заражения. Признаков паники не наблюдалось, но присутствовало подобие тихой скорби. Однако грустили мы ровно до тех пор, пока пробегавший мимо бодрый человек в тренировочном костюме не подмигнул ободряюще и не прокричал хохоча: *Ребята, это не то, что вы думаете, это сосна цветет!*

На желтую пыльцу неясного генезиса мы отреагировали так остро потому, что ежедневно встречали на улицах Паланги трагическую пару: красивую,

(в окрестностях квартиры № 2)

бесконечно усталую молодую женщину и изможденного седовласого мужчину нестарого возраста в инвалидном кресле. Говорили, будто бы это физик, заболевший лучевой болезнью. А ведь только что вышел фильм «Девять дней одного года» с Алексеем Баталовым в главной роли, и все мы были, что называется, в теме.

Маме полагался двухмесячный отпуск, и мы полностью использовали это педагогическое преимущество. Но бюджет нашего семейства распisan был до копейки. Три рубля в сутки за три койко-места, три рубля на обед (это после реформы), три рубля на прочие дневные расходы, и ни копейкой больше. Никаких покупок, никаких сувениров, то есть материальной памяти тех отроческих палангских лет в доме у нас, по счастью, не образовалось. За исключением папиных живописных работ. Родственники же наши и летние знакомые наслаждались заманчивым во все времена прибалтийским шопингом. А у одного продвинутого кандидата наук имелся даже собственный «москвич», который он набивал подругами жены, и в поисках жемчужного зерна компания устраивала чёс по окрестным селениям. И жемчужные зерна находились! Особенно страстно дамы жаждали кофт, связанных не из фабричных ниток, а из шерсти, спряденной на литовских хуторах. Остроумный владелец «москвича» называл своих пассажиров «кофтонавтами». Космос был в большой моде, и одним из тех августов свершился полет красавца космонавта № 2 Германа Титова.

Наши-то с мамой наряды были предельно скромны, скромнее некуда, поэтому неудивительно, что я заглядывалась на литовских девочек в платьях почти что бальных. Тем летом самые юные литовки оделись в платья из белого, голубого и розового капрона в мелкий цветочек на пенящихся нижних юбках. А девочки постарше надели тем летом брюки. Капронового платья в цветочек я даже не вождедела, при всей своей тогдашней мечтательности не обольщалась насчет семейных возможностей, да и вообще, капроновое платье в цветочек, что это, если не апофеоз пошлости? Зато о брюках призадумалась всерьез. Мама брючный замысел одобрила, а папа зафырчал и задымился. *Только через мой труп!* — взревел папа и хлопнул дверью. Брюки на женщине казались ему верхом непристойности. Эту фобию удалось преодолеть не сразу, к следующей весне, и только после того, как папа пригляделся к женским брюкам в Москве.

Если в очередях папа рисовал наброски, то все остальное время писал с натуры. С этюдином не расставался, на пляже не засиживался, искупается наскоро в сторонке от пляжного сообщества и за работу! А в конце сезона, перед отъездом, устраивал для летних знакомцев подобие вернисажа, такая установилась традиция. Некоторые из тех работ сохранились. Пейзаж с сосной и домом под черепичной крышей. Помнится, от нечего делать я крутилась поблизости, а пожилая пара остановилась посмотреть на работу художника, и сухопарая дама «из прежнего времени», обращая к спутнику своему, произнесла с особою, отчего-то запомнившейся интонацией: *Тебе не кажется, что эта сосна напоминает итальянские пинии?* И правда, напоминала,

разве что крона сосновая пожиже, через полвека я и сама убедилась в сходстве, а заодно прочувствовала проникновенную интонацию незнакомой дамы.

Другая сосна, с выразительно искривленным стволом, нависавшим над перспективой улицы Дарюс-Гиренас. Пейзаж с фигуркой девочки Виолы в красном платице, моей примерно ровесницы и внучки той самой дамы в полотноном переднике, что целую неделю кормила нас вкусными, но удручающе скучными обедами. Утонувшее в зелени желтое здание городской бани на берегу речки Ронжи и возле нее немалая очередь страждущих (с удовлетворением этой естественной потребности в Паланге обстояло непросто). А вот в сизых сумерках домики с черепичными крышами — это уже третье лето, когда прежнее жилье снять не удалось, и мы поселились на тогдашней окраине городка, далеко от моря. Зато у каких людей...

Пожилых супругов, по-русски объяснявшихся через пень-колоду (из чего следует, что ссылки на берега Ледовитого океана они счастливо избежали), не миновало другое испытание, и вот как мы об этом узнали. Воскресным утром к дому подъехал автомобиль, из него высыпала орава ребятишек, двор наполнился гвалтом, суетой и мельтешением, а в окне нашем возникли любопытные детские рожицы, смуглые и чернокудрявые. Темпераментно перекрикиваясь по-литовски (что вообще-то не свойственно звучанию литовской речи), компания детей и взрослых принялась снова туда-сюда, что-то вносить в дом и распаковывать. Все ясно, к хозяевам приехали гости, но уж точно не родственники, люди не светлой северной масти, а жгучей южной.

Мы по обыкновению отправились на пляж, а вернулись вечером, когда дом уже опустел. Мама не удержалась, полюбопытствовала, спросила, кем же приходится хозяевам эти детишки и взрослые. Хозяйка объяснила, что приезжала из Каунаса семья младшей дочери, и, совместно подыскивая русские слова, хозяева рассказали нам свою историю. Прежде жили они не в Паланге, а на хуторе. И в июле 41-го хуторянам предложили выбрать себе по вкусу работников из евреев, содержащихся в местном концлагере. Наши тогда еще совсем молодые хозяева, родители двух крошечных сыновей, взяли девочек, сестер-подростков. Девочки работали в огороде, ухаживали за скотиной, возились с детьми. Но продолжалось это недолго, потому что вскоре евреев велели доставить на железнодорожную станцию, и хозяева наши посадили сестер на телегу и отвезли, куда было сказано. Но на рассвете девочки вернулись, им удалось сбежать во время погрузки в товарные вагоны. Хозяева наши девочек приняли и спрятали на чердаке. Нам показали старенький буфет с задней стенкой, часть которой без труда вынималась. Буфет загоразивал дверь, ведущую на чердак, где три года жили сестры. Невероятно, но мальчики, совсем еще малыши, хранили страшную тайну точно так же, как их родители.

Родные сестер погибли, старшая девочка вскоре после окончания войны вышла замуж за человека, чудом выжившего в шяуляйском гетто, и при первой возможности через Польшу они уехали в Палестину. Семья младшей девочки (та самая, многодетная) жила в Каунасе, но тоже собиралась уезжать.

(в окрестностях квартиры № 2)

Бывшие девочки, наши хозяева и взрослые их сыновья ощущали себя одной семьей, и новый дом в Паланге выстроили для своих спасителей сестры. К огромному сожалению, я позабыла важные подробности и выразительные реалии той удивительной истории, хотя, возвратившись в Москву, подробно ее записала в формате сочинения «как я провел этим летом». Не исключено, что в каких-то домашних глубинах детское сочинение все еще существует, однако на глаза не попадает. Помню только, что местный пастор изредка совал в руку нашей хозяйки небольшие деньги, а осенью 44-го сказал при случайной встрече: *Потерпите, скоро это закончится.*

Известно, что всех евреев, проживавших в самой Паланге, уничтожили в первый же день войны — Паланга находилась в крайней точке советско-германской границы. И сделали это отнюдь не немцы, а теперь на аллее, протянувшейся вдоль дюн, стоит памятник погибшим. Вероятно, в окрестностях города с евреями поступили не так конструктивно, не со всеми расправились сразу же, кое-кого оставили на закуску, вот девочки и выжили. Странно и бесконечно жаль, что я не помню ни имен наших хозяев, ни их фамилии. И никогда не узнаю, растут ли в аллее Праведников Мира деревья, посаженные в их честь. Знаю только, что из 18 тысяч вечнозеленых деревьев 93 дерева посажены в память литовских праведников.

Героизм наших хозяев, а также тех людей, которые прятали на чердаке женщину из очереди в столовой самообслуживания, тем более поразителен, что достоверно известно, с каким энтузиазмом и с какой беспримерной жестокостью население множества литовских местечек, городов и городков по собственному почину, не дожидаясь, когда за дело примутся немцы, осуществляло «окончательное решение еврейского вопроса». Увы, но по жутковатой статистике, Литва чемпион по его решению. Именно в Литве уничтожено не менее девяноста пяти процентов довоенного еврейского населения. Азартно и изощренно расправлялись литовцы со своими соседями. Увы, но без ужасающей реальности не обойтись даже в таком пасторальном тексте, как этот. Не исключено и даже очень вероятно, что и старик, хозяин прежнего нашего жилища и бывший ссыльнопоселенец, был причастен к тем зверствам. Можно вообразить, какие чувства бурлили в его душе, когда из лета в лето ему приходилось наблюдать в собственном доме нашу специфическую тусовку. А куда денешься — ненавистные дачники приносили серьезный доход.

Нынче то безоблачное времяпрепровождение вызывает глубокое недоумение. Ведь и двадцати лет не прошло со страшных расправ над нашими же соплеменниками, по сути, мы жили среди тех самых убийц, многие из них и постареть не успели. Тем, кому в 41-м было по двадцать, едва исполнилось сорок. Ведь были же наши взрослые, пусть и не в полном объеме, осведомлены о том, что происходило совсем недавно? Так чем же была та безоглядная летняя эйфория, если не защитной реакцией наподобие спасительной амнезии? Но теперь-то есть книга литовской писательницы Руты Ванагайте «Наши». Тяжелейшая, невыносимая, неподъемная правда о том, что творили люди со

своими соседями! Книга, возбудившая, возмутившая и разделившая сегодняшнюю Литву...

И тем не менее, оставаясь в изначально заявленном пасторальном ключе, продолжаю... Если обосноваться в Паланге и устроить летний быт было не так уж и сложно, то покинуть городок оказывалось непросто. Очередь за железнодорожными билетами занимали за много дней. Тут уж без кооперирования со знакомыми было не обойтись. Устраивали, как водится, переклички, но и эта регулярная процедура не гарантировала сохранность очереди, если монолитная группа не защищала ее плечом к плечу. Нервов в таких очередях тратилось несметно, существенная часть обретенных за лето сил шла насмарку. Но все как-то утрясалось, наступал день отъезда, втискивались в автобус до Кретинги, панически загружались в вагон (поезд стоял считанные минуты), дыхание выравнивалось, чемоданы распахивались, полки застилались проштампованным казенным бельем, проводница разносила чай в стаканах в жестяных подстаканниках (а к чаю рафинад в фантиках), и наступал апофеоз вагонного уюта. Ехать предстояло сутки, вечером в организме преобладала Паланга, но наутро ее вытесняла Москва...

Прошло четверть века, и я снова оказалась в Паланге... По существу, бред собачий — оставила девятилетнюю дочь на попечение родителей и мужа и на два зимних месяца отбыла в тот самый Дом творчества с престранною, если вдуматься, целью. В обозримом будущем ожидался московский фестиваль молодежи и студентов, и Союз художников выделил уйму денег на создание эскизов маек-футболок, в которые предполагалось приодеть будущих участников фестиваля.

А ведь в те времена футболки в СССР выпускали исключительно одноцветные, да и те самых линялых расцветок. Тогда как во всем мире давно уж носили майки яркие, веселенькие, с разнообразными надписями, символами и изображениями. И некто на советском олимпе решил, что негоже нам отставать от мировой моды, выставлять себя ретроградами. Вот и возникла эта затея — снарядить и отправить в зимнюю Палангу творческую группу. Тему предстоящих трудов так и обозвали: «Символика на текстильных изделиях». Всей ораве оплатили проезд, всех ожидали удобные номера, мастерские, а также четырехразовое питание ресторанного качества (не считая обязательного стакана кефира на ночь — для пищеварительного комфорта). Короче говоря, немислимая лафа и фантастика...

Случилась это, как уже было сказано, на излете советской власти, о возможности какого-то (излета) никто и помыслить не мог. А ведь некогда, в ответ на наши скептические сентенции и сетования в адрес пресловутой Софьи Властьевны патрон нашей мастерской маэстро Шварцман произнес нечто странное, однако отчасти провиденциальное: *Придет время*, — сказал Михаил Матвеевич, — *придет время, и вы еще пожалеете об этой власти!*

Пророчество, аранжированное ироническим прищуром синеглазого нашего маэстро, показалось абсурдным, однако запомнилось. А абсурдным,

(в окрестностях квартиры № 2)

немыслимым оно показалось нам потому, что ни один из нас никогда и ни за какие коврижки не поверил бы, что незыблемая власть может не то чтобы рухнуть, не то чтобы перемениться, но хоть чуточку поколебаться, накрениться или трансформироваться.

Нет, невзирая на неуклонно расширяющийся ассортимент сегодняшних смрадных реалий, о крахе Советского Союза я не горюю, а вот о домах творчества стоит пожалеть. Сотни художников и скульпторов два месяца в году могли не заботиться о хлебе насущном, о месте для работы, а исключительно рисовали, писали и лепили в свое удовольствие. Впрочем, по слухам, дома творчества — это отнюдь не завоевание социалистического строя, нечто подобное существует и при капитализме. За счет гуманных спонсоров, разумеется... В моей жизни Дом творчества случился лишь однажды, а вот отец мой бывал в творческих группах много раз.

Дворец графа Тышкевича (с некоторых пор там разместился музей янтаря) художники покинули и перебрались на улицу с красивым названием Дарюс-Гиренас (ту самую, над которой нависала кривая сосна, заворачивающая папу выразительным силуэтом) в специально выстроенное многоэтажное здание (во времена Паланги-1 мы и не подозревали, что улица названа в честь не одного человека, некоего Дарюса Гиренаса, а двух летчиков: Дарюса и Гиренаса, героев литовского неба). А командовала Домом творчества строгая монументальная дама в костюме джерси цвета давленной вишни — Геновайте Прановна Жулпайте. Вообще-то отчества литовцам навязали, это плод насильственной русификации балтийских народов, но звучит солидно и убедительно — Геновайте Прановна! За ее надежной, туго обтянутой вишневым джерси спиной художники жили как за каменной стеной...

Творческая наша группа состояла из двадцати восьми художников от двадцати лет до пятидесяти с хвостиком, и руководил этой разношерстной компанией Юлий Юльевич Перевезенцев (в дальнейшем ЮЮ). Прикладной графикой ЮЮ занимался для заработка, а на самом деле он рисовальщик и офортист. К двадцати москвичам, соблюдая принципы интернационализма (доживавшего, как оказалось, последние денечки), присовокупили трех ереванцев, двух киевлян, одного харьковчанина, гобеленщицу из Таллина, а также рижанку Астриду — объект тотального и взволнованного мужского интереса, девушку и вправду красивую, к тому же облика несоветского.

Какие символы существовали в те времена? Да все те же, изрядно поднадоевшие: серпы и серпики, молоты и молоточки, звезды и звездочки плюс фестивальные ромашки о пяти разноцветных лепестках с сердцевинкой в виде глобуса. Признаюсь, я потерпела фиаско, опростоволосилась, трудилась усердно, но тупо, уперлась в эти самые символы, бумаги извела несметно, а также дефицитнейшей голландской гуаши, от широты души пожертвованной по такому случаю старшей подружкой Викторией Ильиничной Гордон.

А ведь какой кайф можно было словить на улочках зимней Паланги, на пляже, продуваемом зимними ветрами, в пустынном парке графа Тышкевича!

Увы, истинную прелесть тех месяцев я прочувствовала постфактум. Только так всегда и бывает — сиюминутное ощущение уступает как его предвкушению, так и послевкусию. Чтобы вполне ощутить прелесть момента, нужно стряхнуть досаду, дискомфорт, а также угрызения совести и терзания, сопутствующие даже светлым мгновениям жизни. Вот и той зимой я ежеминутно корила себя и досадовала, как это меня угораздило ввязаться в эту псевдотворческую авантюру и оставить семью без присмотра. Притом что плюнуть на все и вернуться в Москву можно было лишь при условии денежной компенсации за все потраченное на тебя государством. Сумма оказывалась заоблачная — 600 рублей, в моем случае деньги неподъемные. То есть в каком-то смысле все мы оказались заложниками, помещенными в райские условия.

Зимой Паланга пустовала, немногие местные жители и редкие приезжие клубились на нарядном пятачке в окрестностях костела, почты, кондитерских заведений и универсама. Там и вправду присутствовало ощущение рождественского уюта. Матово светились стеклянные двери кафе и маленьких магазинчиков, продавцы не то чтобы приветливо, но корректно обслуживали гостей города: нарезали сыры разных сортов (в том числе с детства любимый «Рамбинас», отформованный в форме больших и малых многоугольников), никелированными совочками ссыпали в пакеты сдобные печенья и заворачивали в пергамент вафельные трубочки. На сыры, печенья и вафли мы спервоначалу алчно накинулись. А вот монументальными тортами «Шакотис», многодельными рукотворными сооружениями, смахивающими то ли на сталагмиты, то ли на Вавилонскую башню, слепленную из морского песка, этими кондитерскими шедеврами мы любовались и вдыхали их сладчайшие ароматы (оснащенный поэтической легендой и изначально свадебный, торт ныне находится под защитой фонда национального кулинарного наследия). А дополняли и расцвечивали ту гастрономическо-кондитерскую пастораль украшавшие все прилавки и подоконники цикламены таких цветов и такого калибра, о существовании которых мы и не подозревали.

Той зимой осенняя погода стояла долго на дворе, и если в имени Лариных снег выпал только в январе, на третье в ночь (то есть в ночь на 16 января по новому стилю), в нашем случае это случилось еще позже. Едва ли не до февраля Паланга жила в осеннем обличье, и на скупом монохромном фоне сочно зеленели древесные стволы, окаймлявшие ведущую к морю и завершавшуюся пирсом улицу Басанавичус. Экспрессивная угольная графика вострепанных древесных крон на белесом небе и замшелые изумрудные стволы. Летом на фоне тотального разноцветья цвет их коры звучит, вероятно, гораздо скромнее, но поздней осенью и зимой эта изумрудная замша спасает положение и вносит звучную ноту в скупой колорит пейзажа. Замшевый ствол хотелось погладить, вроде как потрепать дерево по загривку, подбодрить — мол, потерпи, весна придет, никуда не денется...

Но однажды ночью на город обрушился снегопад, и к утру ели в парке отяжелели, лапы их огузли, нижние увязли в сугробах, и настала зимняя

(в окрестностях квартиры № 2)

сказка. Но и это чудо не образумило меня, не взбодрило, не выманило из кельи. Все с тем же тупым упорством я трудилась, силясь саму себя побороть, вроде как в популярном некогда аттракционе «борьба эскимосов» (суть аттракциона, если кто не помнит, в том, что один человек, согнувшись в пояснице, имитирует борьбу двух маленьких эскимосиков, обряженных в малахаи).

А ведь той зимой у меня было все, что нужно человеку для самой что ни на есть комфортабельной жизни: устойчивый стол, удобное ложе и пара теплых пледов. А также душ и прочие удобства для единоличного пользования. Ну отчего же, отчего, если уж выпало такое счастье, я не наслаждалась жизнью не то что на полную катушку, но даже на ее половинку или жалкую какую-нибудь четвертушку? Какого черта мучилась и угрызалась? Отчего не бродила часами вдоль моря, не гуляла в парке, не пила кофе в уютных подвальчиках, не радовалась подарку судьбы? Отчего не плюнула на идиотскую ту символику, которая ну никак мне не давалась? Лучше б рисовала в свое удовольствие зимнюю Палангу, взбиралась бы на дюны, окантованные игрушечной высоты плетеными прутьями изгородями (чтобы не своевольничали, не блуждали, а оставались на месте), янтарь бы искала, больше было бы пользы и для души, и для тела. Вместо всех этих радостей по двенадцать часов кряду что-то чиркала, терзалась собственной несостоятельностью.

Из дома выскакивала уже в ночи. По Дарюс-Гиренас, Витауто и Басанавичус пробегала до пирса и рысью проносилась по пляжу в обратном направлении, в крошечной тьме и под аккомпанемент штормящего моря — рандеву это занимало не более часа. Всего несколько раз вышла на улицу при свете дня. Зато те прогулки запомнились. Особенно одна, случившаяся в ослепительно солнечный день и поразившая ярчайшей, непредставимо фосфоресцирующей морской лазурью. В тот день, отчего-то в приподнятом настроении, любуясь окружающим миром и по этой причине забывшись, шла я себе и шла вдоль полосы прибоя до тех самых пор, пока над самым ухом не раздался оглушительный хлопок. Оказывается, нелегкая занесла меня в запретную зону, и солдат на вышке произвел предупредительный выстрел поверх моей головы.

Но нас еще и кормили! Трапезы, происходившие в огромной столовой, похожей на ресторанный зал, могли бы стать забавными и даже веселыми. Но соблюдались странные церемонии. Сидеть полагалось только за тем столиком, который в первый день по прибытии в соответствии с понятной одному ему логикой определил мажордом (обязанности мажордома исполняла не вступавшая в переговоры суровая немолодая дама). Увы, за нашим столом все мы оказались неинтересны друг другу. И вместо того, чтобы за завтраком, за обедом и за ужином перекидываться искрометными шутками, каламбурить и заряжать друг друга бодростью, скучнейшим образом пережевывали пищу (вкусную, надо сказать, полезную и качественную) и завидовали чужому веселому застолью. За другими-то столами царило оживление, а за нашим было так же уныло и пресно, как за столиками шахтеров, молчаливо обедавших в

противоположном углу зала. Да-да, вместе с нами в Доме творчества обитали шахтеры, прибывавшие с севера по бесплатным профсоюзным путевкам. Художники занимали верхний этаж, остальные населяли шахтеры. Существовали мы в параллельных мирах, как бы не замечая друг друга и не пересекаясь. Встречаясь в коридорах, проходили словно бы сквозь друг друга, вроде как в «Марсианских хрониках» Бредбери.

Вот уж кого было жаль, так это шахтеров, вот уж кто влип так влип! Ну чем было заняться в зимней Паланге этим бедолагам? Не искупаться, не позагорать, только питаться и слоняться, слоняться и питаться. Утешал разве что прибалтийский шопинг. И государственные магазины не пустовали, а уж на рынке можно было обрести все, что угодно. Не только вязаные изделия, прославившие те края, не только самострок неплохого качества в широком ассортименте (самодельные изделия, имитирующие фирменные), но даже аутентичные американские джинсы. Ведь близкие родственники едва ли не каждой литовской (равно как латышской и эстонской) семьи проживали за рубежом исторической родины и поддерживали своих, как могли. Пересылать деньги смысла не было (иностранная валюта являлась в СССР субстанцией криминальной), поэтому присылали посылки с вещами. Фирменные джинсы ничем не уступали валюте, даже превосходили ее и были гораздо, гораздо выгоднее.

Одним словом, зимою 1984 года художники жили в Паланге как у Христа за пазухой, то есть при коммунизме — требовали от нас по способностям, а получали мы по потребностям. Денег у меня не было (так уж складывалась той зимой семейная ситуация), но ко дню рождения родители прислали перевод, и в отделе электротоваров местного универмага я обрела полезную вещь, электрическую вафельницу, в Москве предмет невиданный, экзотический. Хозяйственная покупка вызвала всеобщее оживление, и решили немедленно вафельницу испытать. Сложились, купили в ближайшем магазинчике необходимые ингредиенты и принялись экспериментировать с рецептами. Самым удачным оказался тот, что предложила соседка по столу, девушка Таня, и нынче литовская вафельница (охромевшая, неуклюжая, однако в рабочем состоянии), хоть и выглядит жалковато, напоминает о давней зиме, о канувших в небытие временах и об отдельных преимуществах советской власти. А вот и рецепт Таниных вафель: $\frac{1}{2}$ пачки масла (100 г), 3 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан сахара. Я, может, и позабыла бы о бывшей той девушке (теперь-то уж ей ближе к шестидесяти, да и живет она в дальних странах), но под этим именем рецепт записан на форзаце старой поваренной книги. Рецепт простей лаптей, как говаривала одна подруга, но вафли выпекаются отличные — толстенькие, хрустящие, по вкусу исключительно содержательные.

А на сдачу от вафельницы купила десятилетней дочери школьный фартук неземной красоты — из черного капрона, с крылышками (в России девочки все еще носили школьную форму гимназического образца). В этом фартуке, местами заштопанном, Наташа блистала до тех пор, пока школьниц не

(в окрестностях квартиры № 2)

переодели в тоскливые синие юбки и нелепые пиджаки наподобие тех, что с незапамятных времен полюбились делегаткам партийных и профсоюзных съездов. Видно, воздушным тем фартуком, фартучком феи, я подсознательно компенсировала тлевшую на дне души тайную детскую мечту о капроновом платьице в мелких розочках.

Между тем дела нашей компании шли неважно, творческих прорывов не наблюдалось, а ведь в конце февраля ожидалось прибытие московской комиссии, своего рода госприемки. Если б опозорились мы, рядовые члены творческого коллектива, это еще полбеды, так, сиюминутный конфуз, не более, но главное, мог пострадать престиж ЮЮ. И тогда, якобы нам на помощь, а на самом-то деле позавидовав нашему житью-бытью, в Палангу устремились лидеры промграфического сообщества, тогдашние его мэтры. То есть с олимпиа графического дизайна спустился десант, состоявший из бодрых, уверенных в себе красавцев-мужчин репродуктивного возраста. Великолепные небожители взяли нашу оробевшую массу в ежовые рукавицы и принялись закручивать гайки. И каждый вечер в промежутке между ужином и стаканом кефира пришлось предъявлять сообществу результаты дневных трудов. То есть даже тем юным девам, что, в отличие от меня и мне подобных рефлексирующих затворников, не корпели над пресловутой символикой, а радовались жизни, даже этим славным девчонкам (помнится, затесался в их компанию единственный мальчишка, чей-то юный муж) пришлось засесть за работу.

Ежевечерние разборки происходили со всей суровостью, спуску не было никому. Кто-то уходил с этих аутодафе раздавленный, для кого-то суровое мероприятие плавно перетекало в приятнейшие тусовки и танцы, чае-и-не-чае-пития, а также совместное фланирование до рассвета по номерам и мастерским. К счастью для одних и к несчастью для других, не все так уж сильно радели о советской символике, и за стенами мастерских бушевали страсти, как это обыкновенно бывает в домах творчества. И конечно же, случилась пара бурных романов, и кто-то обезумел от внезапной любви, а кого-то безжалостно растоптали, короче говоря, все как обычно...

К счастью для коллег, а тем более для их семейств, смиренно ожидавших жен и мужей, отцов и матерей на больших и малых родинах, той зимой в моде был невиннейший танец маленьких утят. Усатые-бородатые дяденьки и фигуристые дамы глубоко бальзаковского возраста, не отставая от юных дев, старательно изображали утят — подпрыгивали, притопывали, прихлопывали, вращались по часовой стрелке и против нее. Этот кокетливый танец носил коллективный характер и пародировал безмятежные детские хороводы с легчайшей эротической подоплекой. Не поздоровилось-то пару лет спустя другим художникам, тем, чья очередь творить в комфортных условиях Дома творчества прилась на эпоху соблазнительной ламбады, не столько танца, сколько искушения, явившегося с латиноамериканских широт на погибель российскому человеку. Различные у нас с латиноамериканцами темпераменты, разные менталитеты, что бразильянку здорово, то русскому смерти, однозначно!

Хотя, чего уж греха таить, накал страстей в атмосфере всех домов творчества традиционно и без ламбады зашкаливал. А дело-то в том, что художник должен во что бы то ни стало сохранить в себе свежее восприятие окружающего мира, будто бы он только что, в эту самую секунду с ним, с миром этим, впервые повстречался. То есть, оказавшись без присмотра взрослых, сбросив всяческие оковы и освободившись на два месяца от разного рода уз и обязательств, творческому человеку трудно справиться с обрушившимися на него впечатлениями и искушениями. Кое-кому мерещится перемена участи (разумеется, к лучшему), чудится, будто жизнь может начаться заново, засверкать яркими красками, сложиться продуктивнее и веселее.

Но главное, той зимой все мы, сплоченные ежевечерним танцем маленьких утят, ощущали себя интернационалистами, между тем как взаимные фобии, как врожденные, так и благоприобретенные, привычно бултыхались в глубинах отдельных организмов. И все же киевляне ничем не отличались от москвичей, балтийские девушки отлично говорили по-русски (разве что с обаятельными акцентами, добавлявшими им европейского шарма), широко и по-кавказски радушно вела себя компания двух красавцев и одной красавицы из Еревана. У них-то в гостях в компании с московским азербайджанцем я полакомилась однажды восхитительным тортом «Шакотис», аранжированным армянскими фруктами. Этот торт печется на вертеле, поэтому в его середине образуется естественным образом полой цилиндр наподобие колодца, в который ловко входит и органично вписывается бутылка армянского коньяка. Такая вот вкусная и нарядная интернациональная икебана украшала в тот вечер стол приветливых наших хозяев.

Между тем, пока я беззастенчиво эксплуатировала достижения супрематизма семидесятилетней давности, предавалась самобичеванию и отправляла в Москву самоуничижительные письма, где-то там, за окном, близилась к завершению «великая эпоха». И однажды из потока литовской речи, привычно вытекавшей из радиоточки, выкристаллизовалось слово «Андропов», произнесенное с интонацией, не оставлявшей сомнений в случившемся (из чего следует, что на дворе стояло утро 9 февраля 1984 года). Я выглянула в коридор, в ту же секунду распахнулось еще несколько дверей, художники переглянулись, желания обменяться мыслями ни у кого не возникло, двери захлопнулись, и все вернулись к работе. Вот так вот заглянешь из сегодняшнего дня в ретроспективу собственной жизни да и порадуешься мудрому чьему-то решению — ни в коем случае не открывать томо якобы sapiens тайны завтрашнего, а тем более послезавтрашнего дня. Если от ретроспективы дней нашей жизни спирает дыхание, что бы со всеми случилось, откройся нам перспектива? Той зимой почти все были живы, а сколько абсолютно непредставимого, прекрасного и ужасного, еще не случилось...

Жутко представить, сколько пертурбаций случилось в последующие годы в жизнях исполнителей танца маленьких утят. Все без исключения повзрослели, постарели, осиротели, родили и вырастили детей, обзавелись

(в окрестностях квартиры № 2)

внуками, сменили жен и мужей, разочаровались в прежних талантах, обнаружили новые, потрясений и бед, глобальных и личных, перенесли несметно, а многие оставили родные дома и перебрались на ПМЖ за моря и океаны (не считая тех, кто вообще покинул земную юдоль).

Некогда соотечественники, ныне подданные разных государств (ближних и дальних), в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года вкладывали душу в абсурдное дело. Ни один из тех проектов не воплотился в жизнь, все канули в Лету, то есть щедро оплаченные государством творческие усилия нашего коллектива благополучно отправились коту под хвост...

Ни с кем из тогдашних знакомцев дружеских и даже приятельских отношений не сложилось, но некоторые жизни прошли в пределах взаимной видимости, а на память о соратниках осталась смутная фотография плохого качества. Так уж завела в своем царстве-государстве Геновайте Прановна (то ли для отчетности, то ли из сентиментальности), но каждый «творческий поток» оставлял в пухлом альбоме групповую фотографию и автографы (лихие росчерки и замысловатые вензеля).

Итак, на память о Паланге-I и Паланге-II остались папины пейзажи, пачка моих дизайнерских потуг с изображениями звезд, радуг, знамен и прочих причиндалов (и где-то эти раритеты все еще пылятся, в каких-то глубинах, надо бы их выбросить...), но все же вафельница-инвалид — единственный материализованный свидетель моего пребывания в прекрасном городе на двух его исторических этапах — на пике якобы развитого социализма с нечеловеческим лицом и на печальном и обезличенном его исходе.

Про пивные кружки и прочие странности нашей жизни. Увы, но совсем немного в нашем доме предметов полезных, нужных в быту, нет, например, ни одного сервиза — ни чайного, ни обеденного, ни на шесть персон, ни на двенадцать. Так и не обзавелись мы ни кузнецовским фарфором, ни ломоносовским, ни чешской «Мадонной». И хорошо, что не обзавелись, все равно разбили бы ценные предметы. В результате принять гостей так, как это положено по протоколу, не можем. Чай пьем из разнокалиберных чашечек-кружечек, суп хлебаем из тарелок разных диаметров, фасонов и возрастов, а столовые приборы у нас с миру по нитке, с бору по сосенке. Без намека на ксенофобию и на равных правах столетние, наполовину истаявшие серебряные ложки-вилки с бабушкиной монограммой сосуществуют с простецкими штампованными. Затесались среди них и мельхиоровые приборы, нарядные, тяжеленькие, украшенные символикой московской Олимпиады 1980 года. История этого мельхиорового обретения не проста, ложки-вилки-ножи свидетели своей эпохи, теперь уж отдалившейся во времени.

Среди учеников и учениц моего отца была одна польская гражданка. Зубной врач, уральская уроженка, жительница города Свердловска (ныне

Екатеринбурга) в один прекрасный день обнаружила в своем стоматологическом кресле заезжего молодого поляка, присмотрелась, вышла за него замуж и родила двух чудных девочек. Несколько лет семейство проживало в Москве, бывало у нас дома, а потом перебралось в Варшаву. И милая пани пригласила моих родителей в гости. Дело было на переломе 70-х и 80-х годов, в Польше бурлило движение «Солидарность», мы ему горячо сочувствовали, родители получили официальное приглашение и стали собираться в путь.

Стоит ли напоминать, что во всех странах социалистического лагеря господствовала не столько компартия, сколько дефицит. Однако польский дефицит существенно отличался от нашего, советского. В Польше, к примеру, не было таких проблем с одеждой, как у нас. Мы и одевались-то большей частью в польские тряпки, прибывавшие в Москву с коробейниками (в те времена наших благодетелей называли обидным словом «спекулянты», а позже переименовали в «челноков»). То есть если москвички мечтали о польских нарядах, то варшавянки грезили о парижских — вот такая табель о рангах.

Зато у нас продавалось нечто такое, чего не было в Польше, а если и было, то стоило гораздо дороже. Дело самое что ни на есть житейское, и польская пани прислала список всего того, что ей хотелось бы обрести. Я, со своей стороны, составила список наших пожеланий, среди которых, как это ни шокирующе и даже неприлично звучит, оказались гигиенические тампоны «Татрах», о которых в Москве ходили легенды, хотя их никто никогда и в глаза не видывал.

В польском списке, состоявшем из самых разных наименований, были, кроме всего прочего, обручальные кольца, мельхиоровый чайный сервиз, набор столовых приборов и электрический утюг. Почти все заказанное не без некоторых усилий мы раздобыли и подготовили к эмиграции. Набор столовых приборов (и в Москве дефицитный) удалось купить благодаря тому, что только что закончилась Олимпиада, буквально накануне стала вчерашним днем, и потерявшие актуальность предметы с ее символикой выбросили на прилавки.

Тем временем грянули «польские события», в 1981 году «Солидарность» разгромили, и границу с Польшей для досужих московских гостей надолго закрыли. Единственный раз в жизни забрезжила для моих родителей поездка за рубеж, да и та рухнула. А возжеленные (хотя и сомнительные) тампоны «Татрах» прорвались на российский рынок лет десять спустя. Но уж прорвавшись однажды, на долгие годы заполонили собой телевизионный экран.

Таким образом, все предметы из польского списка остались в нашем распоряжении и постепенно рассосались. Мельхиоровый чайный сервиз подарили врачу, но столовые приборы в помпезной узорчатой коробке никому не отдали, и они покоились в своих бархатных гнездах в глубине платяного маминного шкафа. Мама бережно хранила их, решив, что раз уж так получилось, то им-то и предстоит стать со временем основополагающей частью Наташиного приданого. Так и вышло, и теперь, тридцать лет спустя, олимпийская

(в окрестностях квартиры № 2)

символика на черенках ножей, ложек и вилок уже не кажется старомодной, а стала самым натуральным ретро! О, как же я люблю, когда явления разного порядка (в нашем случае ложки-вилки, гигиенические тампоны «Татрах» и польское движение «Солидарность») складываются в своего рода пазл. Я называю это «принципом оливье» в честь любимого народом салата, который тем вкуснее, чем больше разнородных компонентов в него накрошили.

Сервизов-то у нас нет, это чистая правда, зато имеется набор пивных кружек отечественного производства. А ведь пивная советская кружка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Кроме неоспоримых пластических достоинств кружка обладает поразительной стойкостью к любым, самым неделикатным внешним воздействиям. Без всякого для нее ущерба кружкой можно колотить по кирпичной стене, обороняться, переходить в наступление, а если шваркнуть ею с размаху о кафельный пол, пострадает скорее кафель, чем кружка. И все потому, что стекло, из которого отлита стойкая кружка, сначала выплавлено в специальной печи при температуре 1400 градусов по Цельсию, а в другой печи уже готовое изделие дважды обожжено. Закаленные огнем кружки огранены по особой технологии, а в отдельных случаях даже с добавлением вредоносного свинца (наверное, для какой-нибудь тайной необходимости).

Согласитесь, без граненой пивной кружки, одного из символов эпохи, портрет этой самой эпохи, а также ее пейзаж были бы не только неполны, но и невыразительны. На протяжении долгих советских десятилетий кружки плодились в невероятном количестве. Учитывая все вышесказанное, предполагаю, что многие миллионы закаленных граненых долгожительниц и до сего дня пребывают в полном здравии, живут себе поживают в свое удовольствие, всех нас переживут и ни на чьих похоронах не разобьются.

А ведь и вправду, мысленно озирая груды черепков разнообразного генезиса — фарфоровых, стеклянных, фаянсовых жертв разрушительной моей жизнедеятельности от младенчества и до нынешних пенсионных лет, осколков пивных кружек что-то не разгляжу. Стаканы граненые бились, и в больших количествах, а вот пивные кружки... Нет, кружек-то и не припомню.

К слову сказать, до сих пор вспоминаю первую свою жертву — славную чашечку глубокого синего кобальта с россыпью мелких золотых цветочков. Единственный раз в жизни плакала я над разбитой чашкой, да так горько, что на следующий день мама купила мне точно такую же. Такую, да не такую — того же фасона, с такими же цветочками, да только не цвета ночного неба, а блеклую, незабудочную. Я долго хранила синие с золотом черепки — для этой цели имелась коробка из-под тюбиков масляной краски с узенькими ячейками, но потом и коробка, и сами черепки куда-то подевались, видно, мама выбросила втихаря.

Но как все же отраднo, что едва ли не в каждой российской семье присутствовали (и присутствуют ныне) произведения великих мастеров. Оказывается, лозунг «Искусство — в массы!» не пустые слова, не формальность.

Скептиков прошу не забывать, что цены на искусство нынче взлетели до небес, к примеру, поспешный и вполне незначительный рисунок Казимира Малевича продан на аукционе Сотбис за \$ 50 тысяч, а его гуашь «Человек в острой шапке» аж за \$ 1 млн. 300 тыс. Нам-то повезло, мы-то успели отхватить шедевр Казимира Малевича в тот как раз промежуток, когда произведение это уже сняли с массового производства, но оно еще не исчезло с прилавков галантерейных магазинов. Вроде как вскочили в последний вагон отходящего поезда. Чтобы не длить интригу, сообщаю, что это одеколон «Северный» во флаконе, имитирующем матовую ледяную глыбу (типа айсберг) с пробкой в виде фигурки белого медведя. Как только на одной из своих лекций великий дизайнер Михаил Аникст раскрыл нам этот секрет, мы опрометью ринулись в магазин «Галантерея» на углу Пречистенки и Зубовской площади. Вспомнили, что в этом популярном магазинчике (жаль, с наступлением новых времен век его завершился) флаконы одеколona «Северный» пылились за невостребованностью долгие советские десятилетия. А ведь пока мы не ведали об авторстве Казимира Малевича, флакон этот казался нам натуральным анахронизмом и апофеозом пошлости. Теперь-то отношение к нему диаметрально противоположное, теперь он, наполненный аутентичным, испарившимся всего лишь на треть зеленоватым содержимым, украшает наш интерьер — вот что значит магия имени!

Так вот, пивных кружек в нашем доме целый сервиз, не знаю даже на сколько персон. Все они достались нам даром при нижеследующих обстоятельствах. На полпути из дома в мастерскую, на углу 3-го Зачатьевского и Коробейникова переулков существовал пивной шалман незатейливой архитектуры — простенький параллелепипед, огороженный по периметру зеленым рифленым пластиком. Расположившийся в неплохом соседстве, под боком у Зачатьевского монастыря, основанного в 1584 году при попечительстве царя Феодора Иоанновича и жены его царицы Ирины Федоровны (в девичестве Годуновой) на месте небольшой монашеской общины. Феодор и Ирина мечтали о ребенке, наследнике русской короны, но горячие их молитвы услышаны не были, династия Рюриковичей прервалась, и на страну обрушилось Смутное время.

А в двух буквально шагах от пивного шалмана, под № 3 по 3-му Зачатьевскому переулку, притулился деревянный особнячок, где в 1904 году поселился с первой своей женой, актрисой Йолой Торнаги, другой Федор Иванович, Шаляпин. Бытуют две версии обретения домика. Первая, почти легендарная — дескать, это игуменья Валентина, приметив Шаляпина среди прихожан монастырского храма, присоветовала ему купить особнячок за монастырской оградой. По другой, диаметрально противоположной версии, дом свой Шаляпин будто бы выиграл в карты. Правдоподобны оба варианта, известно, что Федор Шаляпин был и молитвенником, и игроком.

В гостиной этого дома Валентин Серов нарисовал углем тот самый знаменитый портрет ослепительного статного мужчины тридцати двух лет от роду,

(в окрестностях квартиры № 2)

которым нынче можно полюбоваться на первом этаже старого здания Третьяковской галереи, что в Лаврушинском переулке (выходной день понедельник). Здесь же, в этом же домике, в 1904 году у Шалапиных родился сын, названный Борисом в честь любимой роли Шалапина, Бориса Годунова — шурина бедного, бедного Феодора Иоанновича. Самому-то Шалапину повезло, у него-то от двух его браков родилось девять детей, и только один мальчик, первенец, скончался в раннем детстве.

В домовый книге дома № 3 по 3-му Зачатьевскому переулку, обнаруженной одним увлеченным археографом, нашлась запись о том, что «Шеллейко (!) Владимир и Шелейко Анна Андреевна» проживали в квартире № 2 с 15 августа по 1 сентября 1918 г. (Сведение это почерпнуто из сборника «Сохрани мою речь...» Вып. 4/1. М., 2008. С. 200.) В те же дни не более чем в двух минутах ходьбы от 3-го Зачатьевского поселилось и наше семейство, но, в отличие от ассириолога и поэта, осело в этой местности не на две недели, а на восемьдесят лет и окончательно ее покинуло в самом конце второго тысячелетия anno Domini.

Видно, Ахматова не забывала о той ранней московской осени и в 1940 году написала грустное-прегрустное прозрачно-сумеречное стихотворение, которое сначала назвала «В старой Москве», а уж потом переименовала в «3-й Зачатьевский».

*Переулочек, переул...
Горло петелькой затянул.
Тянет свежесть с Москва-реки,
В окнах теплятся огоньки.
Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь...
Как по левой руке — пустырь,
А по правой руке — монастырь,
А напротив — высокий клен
Красным заревом обагрен,
А напротив — высокий клен
Ночью слушает долгий стон.
Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок,
Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.*

На основании этих строк несложно реконструировать окрестности пивного шалмана в том же почти что виде, в котором они дожили до наших дней. За вычетом, разумеется, звонаря и вынесенного за скобки стихотворения

огромного псевдогоготического собора Рождества Богородицы, выстроенного в начале предыдущего века двумя Матвеями, отцом и сыном Казаковыми. В 1924 году монастырь закрыли, обратили в «трудкоммуну для беспризорных» и для удобства заклеили чудовищной аббревиатурой ЗАЧМОН. А еще через десять лет собор вообще взорвали и выстроили на его месте типовое школьное здание. Многие завсегдаги пивного шалмана, те, что из местных пацанов, учились в школе № 36, тем более что до 1955 года школа была сугубо мужской. Кого-то в подростковом возрасте перевели в различные ПТУ (профессионально-технические училища, в наши дни обернувшиеся колледжами и лицеями), некоторые одолели восьмилетку, но подавляющее большинство худо-бедно получило-таки законченное среднее образование.

Храм Рождества Богородицы разрушили, но уцелели надвратная церковь Спаса Нерукотворного (некогда домовый храм Римских-Корсаковых), несколько монастырских строений, густо заселенных разнообразным людом (среди прочих проживал там и драматург Виктор Розов), и поседевшая от времени кирпичная стена с многочисленными проломами для удобства перемещения местных жителей. В остальном же окрестности монастыря не претерпели за годы советской власти существенных изменений.

Не поддамся соблазну и не стану растекаться по древу, а в нашем случае по асфальту окрестных переулков, по утопанным кочковатым дворам и их травяным закоулкам. Если примусь вспоминать все подряд, отвлекусь от шалмана и пивных кружек, занырну в ближайшую подворотню, вынырну из другой, окажусь неизвестно где, потеряю ориентацию, зацеплюсь за одно воспоминание — о чем-нибудь, за другое — о ком-нибудь, ну а там поминай как звали...

Вернемся-ка лучше к нашим баранам. Собственно говоря, шалман занимал краешек того самого ахматовского пустыря, что «по левой руке» шалляпинского домика. А мысль огородить его полупрозрачным пластиком оказалась чьей-то творческой удачей, озарением (так, и только так рождаются гениальные идеи), потому что ежедневно с наступлением сумерек пивное заведение превращалось в театр теней. До позднего его закрытия, на радость прохожим, силуэты завсегдагаев самых разных конфигураций — пузатые и худышки, высоченные и коротышки — перемещались на светящемся экране, вращались в ритуальном танце, манипулировали силуэтами кружек. Вывод: у любого, даже самого немудреного дела или явления есть своя эстетика.

Театр теней функционировал и зимой и летом, но в теплое время года участники представления предпочитали наслаждаться жизнью на свежем воздухе. Нанизав на растопыренные пальцы тяжеленькие кружечки с колышущимися и пузырящимися пенными облаками, мужчины разбрелись по ближайшим окрестностям.

Некоторые устраивались попросту на земле-матушке среди пыльных лопухов, разросшихся на «ахматовском» пустыре, кто-то притулялся возле руин древней монастырской стены, любители комфорта располагались

(в окрестностях квартиры № 2)

на лавочках в окрестных дворах и двориках. Все находили местечко себе по душе, устраивались уютно, беседовали за жизнь, философствовали кто во что горазд, матерились каждый в меру своей лингвистической одаренности и жизненного опыта. А опустевшие кружки оставляли там, где пили и закусывали (конечно же, воблой и сушками) — в лопухах, под скамейками, в выкрошившихся нишах кирпичной монастырской стены.

Так вот, ближе к ночи, когда питейное заведение запиралось до утра, мы с Женей брали кошелки и отправлялись на промысел — собирать урожай кружек. Совмещая это не слишком-то азартное (по причине предсказуемого успеха) занятие с выгулом Анютки, славной собачонки, подобранной на лестнице нашей мастерской. Самих выпивох Анютка на дух не выносила, при встрече с ними ярилась и рвалась с поводка, но к пивным кружкам ни малейшей фобии не питала. А еще по какой-то одной ей известной причине не терпела Анютка людей в спецодежде, а также обутых в сапоги и валенки. Можно только догадываться, откуда взялись столь аристократические замашки у чистокровной нашей дворняжки. Видно, претерпела она изрядно от чьих-то сапог и валенок с калошами.

Бывало, на занимающейся летней заре, но еще в потемках возвращаясь после ночного бдения из мастерской, воздух прозрачен и чист, переулки пустынные, город задумчив, прекрасен и будто бы вечен, будто бы и вправду он Третий Рим... И в таком вот благостном настроении притормозишь возле зарослей лопухов в устье ближайшего двора, не глядя запустишь руку по локоть в сизое и росистое их нутро да и извлечешь на свет еще одну кружечку. Оказывается, за прошедшую ночь на ее донышке произошла диффузия между субстанциями вроде бы несовместными (типа гения и злодейства) — пара капель вчерашнего пива слилась в ночном экстазе с капельками предутренней росы. Это ли не нектар, напиток богов, дающий бессмертие?

Аппетит, как известно, приходит во время еды, и будь мы людьми азартными, все кружки, принадлежавшие питейному заведению, могли бы постепенно перебраться в наш дом, но мы же не прорва какая-нибудь, меруто знаем и удовлетворились разумным количеством. Прошу заметить, кружки мы не воровали, а подбирали на ничейной территории, спасали от бездомья. И если бы не они, наши кружечки, кто помянул бы добрым словом в третьем уже тысячелетии пивной шалман на углу Коробейникова и 3-го Зачатьевского? Да нет, вспоминают-то шалман многие бывшие его завсегдатаи (те, что еще живы), не забывается гостеприимное это местечко. Давно уж разбрелись по белу свету, но вспоминают с сердечным чувством, ностальгируют — кто по молодости своей, кто по зрелости, а кто по прежней Москве с растворившимися в пространстве давними знакомцами. Вспоминать-то вспоминают, да ведь не каждый напишет...

И сегодня еще слоняются, фланируют и покачиваются в слабеющей моей памяти отдельные персонажи того пивного сообщества. Особенно полюбился нам коренастый человек атлетического телосложения. В коконе

перманентного сладостного предвкушения предстоящего удовольствия, всегда благорасположенный и оживленный, вечно в окружении друзей, этот мблodeц в расцвете лет, окончивший как минимум восемь классов школы № 36, во все времена суток победительно гарцевал в ближайших окрестностях пивной. Грудь выпячивал колесом, руки, по причине исключительно рельефных бицепсов (предмета собственной гордости, зависти сотоварищей и восхищения дам), к телу не прижимал, носил коромыслицем. Аккуратные усики, крепкая трапецевидная шея, всегда белоснежная футболка, стрижка полубокс, завидный жизненный тонус — не мужчина, загляденье! С таким-то торсом вторую бы пару ног да шелковистый хвост — отличный бы вышел кентавр!

Так что же сделало с шалманом и его окрестностями беспощадное и такое летучее время? А вот что! Блистательная Галина Вишневская, воспользовавшись своей профессиональной принадлежностью к одному с Федором Шаляпиным профсоюзу, в подходящий для своей затеи исторический момент вытребовала домик и прилегающие окрестности для благого вроде бы дела. Предполагалось, что трогательный шаляпинский особнячок станет Центром российского оперного пения.

Намерение свое Вишневская осуществила с блеском, и теперь на месте обширного сквера, в том числе и того самого старого клена, который давняя ахматовская осень облагривала некогда красным заревом, воздвигся комплекс помпезных зданий в стиле постсоветского ампира. Бесцеремонно вломившись в старомосковское пространство и без зазрения совести нарушив его масштаб, создатели-архитекторы исказили образ местности. С властной руки Галины Вишневской началась гибель Остоженки, бурно продолжилась и теперь, увы, завершилась, к чьей-то радости и к глубокому прискорбию не одних только «коренных», но и некоторых «пристяжных» москвичей (из тех, кто успел полюбить прежнюю Москву и грустит о ней). А я своими ушами слышала, как в одном из интервью в ответ на робкий упрек одного такого лузера восхитительная певица ответила в свойственной ей амбициозной манере: *Москва некрасивый город, и я ее украсила!*

Убийственно нарядная, чужая, а когда-то уютная и своя в доску Остоженка похожа теперь на прилавок с кремовыми тортами во главе с хитом продаж — тортом «Вишневский». Но за одно доброе дело я все же признательна строителям оперного центра — они пощадили древний дуб, растущий напротив Сеченовского (бывшего Полуэктова) переуллка, того самого, где жил некогда художник Николай Петрович Крымов. Во времена грандиозного строительства дуб милосердно защитили гофрированным жестяным футляром. Множество раз, во все времена года отец мой рисовал это прекрасное дерево, и теперь, изредка проходя мимо, я поглаживаю его морщинистую дубленую слоновью шкуру. Древний дуб в центре столицы, едва ли не на проезжей части, ну разве это не чудо?

Захват ценного куска московской земли произошел на моих глазах, и случилось это в самом начале 1994 года. Изрядно поредевшее к тому времени

(в окрестностях квартиры № 2)

местное население, прослышав о намерениях властной дамы, встревожилось, разволновалось и, как случалось в те еще демократические времена, устроило пикет в защиту сквера. Аргументируя сопротивление оперному замыслу тем, что зеленые насаждения — это якобы легкие города, а их того и гляди ампутируют.

И одним зимним утром я отправилась как ни в чем не бывало к себе в мастерскую. Готовилась выставка живописи моего отца, и пришла пора красить рамы. Свернув с Остоженки, миновала сквер, шалман и заскользила (сильнейший, помнится, гололед был в тот день) по Коробейникову переулку, круто стекавшему к Москве-реке. Отец мой помнил, как во времена его детства в пору весеннего половодья к подъезду дома, в котором целую жизнь спустя образовалась наша мастерская, люди подплывали на лодках (но это так, к слову).

Так вот, целый день, до позднего вечера, я усердно красила рамы и уже в ночи, боясь опоздать на последний поезд метро, мастерскую покинула. Радуюсь своей продуктивности, ползу потихонечку вверх по переулку, скольжу, а вот и шалман, он закрыт до утра, сейчас сверну на Остоженку... но что это? Остоженка-то вот она, рядом, все вроде бы на месте, но где же сквер? Что за сюр и паноптикум, как говаривали некогда молодые художники, учащиеся Центральной художественной школы имени Василия Ивановича Сурикова. А на месте сквера натуральный пустырь с сотнями низеньких пеньков и разъезжающиеся самосвалы с прицепами, груженными стволами столетних лип, тополей и кленов, спиленных под корень. Ну что тут скажешь? Могут наши люди работать, могут, если захотят, и особенно когда это нужно энергичному и предприимчивому работодателю.

Сквер, принесенный в жертву музе оперного пения, прежде был прекраснейшим садом, а липы его, тополя и клены, истребленные едва ли не на моих глазах, помнили и самого Федора Шаляпина, и хорошего его знакомого экономиста-агрария Павла Александровича Садырина, купившего некогда второй этаж двухэтажного деревянного дома на углу Коробейникова и 3-го Зачатьевского переулков.

Корни Шаляпина и Садырина общие, оба они вятичи. Родился-то Шаляпин в Казани, но предки его из Вятки. Некогда депутат I Государственной думы от партии кадетов, при советской власти Павел Александрович стал председателем правления Сельскосоюза СССР, членом ВЦИК. В течение всей своей жизни, насильственно (что характерно для XX века) прерванной, Павел Александрович оставался страстным меломаном. По воспоминаниям внучки его Марины, в доме жил белый рояль, который некогда втаскивали (а со временем, увы, и вытаскивали) через окно второго этажа, потому что в двери он не пролезал. Знакомство Шаляпина и Садырина отнюдь не миф, имеются сведения об их переписке. Федор Иванович мирно скончался в Париже 12 апреля 1938 года, и прах его покоится на кладбище Батиньоль, Павел Александрович пережил земляка всего-то на пять месяцев, его жизнь завершилась 16 сентября 1938 года на Бутовском полигоне.

Двухэтажный бревенчатый дом, а также кирпичные конюшни, в позднейшие времена ставшие дровяными сараями, снесли в 1960 году, и до последнего дня в коммунальных квартирах дома жили потомки хозяев (а также их горничной и кухарки). И среди них наш приятель, художник Александр Георгиевич Антонов, правнук жены Павла Ивановича Стефании Петровны. Бывшую горничную Олю и бывшую кухарку Анюту жизнь переквалифицировала в няnek, вырастивших мальчиков Антоновых, Александра и Андрея Георгиевичей. Тот серый дом, снесенный в самом начале 60-х, я помню смутно, но, по счастью, он запечатлен на давних, едва ли не студенческих временах Саши Антонова, так сказать, по еще свежим следам. Один оттиск Саша подарил внуку нашему Егору, и я в который раз взгляделась в интерьер квартиры Садырина, естественным образом преобразившийся на протяжении нескольких советских десятилетий. Композиционно офорт решен как развертка квартиры, состоящей из кухни, комнат и коридора. В центре композиции мальчик в круглых очечках, то ли сам Саша, то ли брат его Андрюша. Каждый сантиметр изобразительной поверхности заполнен не поддающимися перечислению предметами, предметиками и разнообразными деталями коммунального быта, для нынешнего ребенка не вполне внятными и нуждающимися в комментариях. По сути, это нечто вроде визуальной энциклопедии, предполагающее долгое и пристальное разглядывание. Для ровесников автора занятие ностальгическое, чреватое встречами и узнаваниями, для последующих поколений в некотором роде урок материальной культуры. На основе Сашиного офорта следовало бы смастерить диораму наподобие макета Бородинской битвы. Достоверность гарантируется, ибо это свидетельство очевидца и участника той жизни, пристрастно и со вкусом перечисляющего признаки ее и приметы.

Забавно, что выросший в той же квартире сын горничной-нянки по имени Даниил, которому «советская власть дала все», окончил балетное училище и танцевал на сцене Большого театра, той самой, где блистали и по которой мучительно тосковали в эмиграции Федор Шаляпин и Галина Вишневская. А мать Даниила Ольга, сидя в партере и задыхаясь от волнения и восторга, громогласно ликовала: *Данилок мой, Данилок!* Вот какие затейливые коленца выкидывает наша Остоженка!

Неудивительно, что в этом благоприятном месте, пропитанном и удобренным флюидами наивысшего качества, предприятие Галины Вишневской разрослось вглубь,вширь и ввысь, и чего только нет теперь в этом помпезном здании! Под оперным кровом нашлось место и меховому салону «Старое Мелково», и федеральной фондовой корпорации, и студии маникюра, и фитнес-центру «Доктор Лодер», а также отделению HSBC BANK'a. А несколько этажей занимает элитное жилье заповедного качества и соответствующей стоимости.

И на месте славного нашего шалмана тоже вам не хухры-мухры, а деловой центр «Чайка-плаза»! Один только домик Шаляпина не участвует в

(в окрестностях квартиры № 2)

празднике жизни, замер в анабиозе, до него-то, видно, руки пока не дошли. По слухам, славный домишко стал яблоком раздора в тяжбе между частной компанией, в 2000-м году купившей домик у московских властей по цене, равнозначной стоимости однокомнатной квартиры в спальном районе, и Центром им. Ф.И. Шаляпина, получившим шаляпинское гнездо по завещанию Федора Федоровича, сына Федора Ивановича. И вроде бы известный меценат барон Эдуард Фальц-Фейн замешался в это дело и готов был субсидировать дорогостоящие реставрационные работы, но только в том случае, если бы дом достался шаляпинскому центру, а не частной компании. Одним словом, без «поллитры», как говорили прежде в народе (а может, говорят и нынче), или хотя бы без кружки пива местного разлива (а пивной-то давно уж нет как нет) в тяжбе этой не разобраться.

Справедливости ради надо признать, что теперь над зачатъевскими окрестностями с раннего утра и до позднего вечера реют сопрано и контральто всех существующих в природе разновидностей, теноры и баритоны всевозможных оттенков, а также почти шаляпинские басы, самозабвенно распеваящиеся и исполняющие оперные арии широчайшего репертуара. И это, конечно, неплохо, да что там говорить — просто-напросто хорошо, даже прекрасно! Что же касается наших кружек, то пива мы из них не пьем, они служат нам емкостями, своего рода тарой. Складываем в них всякое-разное: бусины, ключи, пуговицы, мелкие природные формы, втыкаем кисточки и карандаши. Пригодились нам мухинские кружечки, спасибо Вере Игнатьевне, если она и вправду приложила к ним свою руку ваятеля!

А кирпичное здание школы № 36, выстроенное на месте взорванного собора Рождества Богородицы, разрушили до основания, и теперь на его месте снова собор Рождества Богородицы, краше прежнего. Таким образом, все возвращается на круги своя, наподобие стишков из прежнего времени, по замыслу своему бесконечных. Один из стишков запишу на тот случай, если возникнет молодой и несведущий читатель, передам ему эстафетную палочку. Тем более что мелькают в этом стишке давно уж отжившие реалии, чья-то сторожка, некий городской, и хорошо бы их сохранить хотя бы для памяти...

*Дело было вечером,
Делать было нечего.
Сидели в сторожке,
Ели картошку.
Вдруг звонок, вдруг другой.
Входит городской, спрашивает:
Как было дело?
Мы отвечаем:
Дело было вечером,
Делать было нечего...*

Ну и так и далее, до бесконечности...

Морские камешки, бараний череп и голубой кил.

Было время, когда апофеозом года, главным и праздничным его событием становились не новогодние праздники, не дни собственного рождения (вполне невинные еще цифры), не летние отпуска, а несколько дней в начале мая — неделя в Коктебеле. И осенью и зимой мерещились нам крымские пейзажи, чудились цвета их и запахи, с маниакальной мечтой о Коктебеле проживали мы март и апрель, покупали задешево билеты до Феодосии (признаюсь, жульнически покупали, по чужим студенческим билетам, потому что училась-то я на вечернем, а вечерникам льготы не полагались) и с предвкушением грядущего счастья покидали весеннюю монохромную Москву. Поглядывали сквозь мутное стекло на пригородные пейзажи, грязноватые, уже не тотально заснеженные, но с существенными еще островками снега. Облупливали крутые яйца, пили чай, предвкушали завтрашний день.

На рассвете за тем же мутным стеклом открывалось взору и вовсе безотрадное зрелище — озеро Сиваш, выморочное пространство, на фоне которого промелькивали укрепленные на железобетонных столбах лозунги из серии «Наша цель — коммунизм!». О Сиваш, Гнилое озеро, и не озеро даже, а залив, череда заливов, отделенные от Азовского моря Арабатской стрелкой, тот самый Сиваш, который в 1920 году во время Перекопско-Чонгарской операции, решившей судьбу полуострова, а также судьбы множества людей, мучительно, но успешно форсировала Красная армия. Форсировала якобы в направлении коммунизма... Жутковатое место, да и вода-то в Сиваше не вода, а концентрированный солевой раствор под названием рапа...

Обозрев безотрадные просторы и убедившись, что мы-то на правильном пути и наша цель отнюдь не фикция, прятались от депрессивного пейзажа под волглым вагонным одеялом, засыпали снова и в следующий раз просыпались в иной реальности, на станции Джанкой. В пристанционном садике сияла сирень, тетеньки на платформе торговали тюльпанами, дикими пионами и такой же как пионы звучно малиновой редиской. В Джанкое феодосийские вагоны отцепляли от состава, в ожидании попутного тепловоза мы успевали надыхаться сиренью, похрустеть редиской и начать адаптироваться к празднику жизни под названием Крымская Весна. Еще через пару часов ж.-д. станция Айвазовская, а уж оттуда на чем придется в Коктебель!

О Коктебеле не писал только очень и очень ленивый. И о «сонной» болезни, одолевавшей всех без исключения на следующий день после приезда в благословенное то местечко, и о «каменной». Некогда каменной страсти предавались здесь же, на коктебельском берегу, усыпанном драгоценной галькой, но однажды пригнали колонну грузовиков, засыпали гальку в кузова и вывезли в неизвестном направлении (живы еще свидетели той непонятной акции). Взяли да и заменили родную коктебельскую гальку чужой, привозной, прибывшей невесть откуда. То есть с коктебельской галькой обошлись точно так же, как поступили в мае 1944 года с коренными жителями полуострова: татарами, греками, турками-месхетинцами, болгарами и крымскими армянами,

(в окрестностях квартиры № 2)

депортировав их в одночасье с родины к черту на рога. А в домах тех изгнанников поселились люди, чуждые крымской земле.

И когда настал наш черед собирать камни, мы отправились в уединенные бухточки по другую сторону Карадага, протянувшиеся между селениями Отузы и Козы. На раннем рассвете, обыкновенно сереньком и дождливом, нечеловеческим усилием воли заставив себя проснуться, садились на первый рейсовый автобус, огибали Карадаг и прибывали в пункт назначения. Разворачивавшиеся по дороге пейзажи напрочь развеивали сон, и из автобуса мы выходили собранными, бодрыми, готовыми к делу.

Продравшись сквозь влажные заросли парковой сирени, вырывались на берег в тщетной надежде первыми оказаться у полосы прибоя и собрать вожаделенные плоды «ночного выброса». Но всегда, всегда нас опережали профессиональные каменщики, каменщики с многолетним стажем, почти аборигены, прибывавшие тем же самым автобусом, что и мы, но знавшие кратчайшие тайные пути к морю и первыми ревизовавшие берег.

Истинные, бывалые каменщики прибывали в Коктебель не в конце апреля, а в начале марта, к раннему весеннему «выбросу». Отдельные фанаты обретали в Коктебеле собственное жилье. Рассказывали об одной страстной каменщице, едва дождавшейся пенсии, обменявшей столичную квартиру на коктебельскую окраинную халупу и с ощущением счастья навеки в ней поселившуюся. Говорили, будто удивительную ее коллекцию можно увидеть, но для этого нужна рекомендация авторитетного каменщика. А другой каменщице, в благодарность за преданность ее и подвижничество, волна будто бы вынесла прямо к ногам сердоликовую античную гемму. Подобных апокрифов среди коктебельской публики бытовало множество.

Странное времяпрепровождение, одновременно азартное и медитативное. Часами брели мы вдоль полосы прибоя, вроде бы смиренно потупившись, а на самом-то деле алчно ожидая волны, которая вот-вот прихлынет на берег песчаный и пустой и преподнесет сюрприз — выбросит к ногам обкатанный морем сердолик, агат, яшму, халцедон или хорошенькую «лягушечку» (камешек с разноцветными глазками-вкраплениями). Ликовали, углядев в кипящей пене нечто чудесное, рассматривали на свет, терли камешек о крыло носа, дабы разглядеть и прочувствовать все его достоинства, дорожили находкой, кичились друг перед другом, откровенно завидовали, прятали за щеку, чтобы не потерять. И целую неделю жили в соответствии с особой, коктебельской шкалой ценностей, считали день удавшимся или не очень в зависимости от каменных достижений. Так и брели вдоль берега, потупившись, хотя время от времени все же озирали пейзажи то в золотистой сердоликовой, то в сиреневой аметистовой дымке, умилялись отарам овец на склонах холмов, прислушивались к позвякиванию колокольчиков.

В деревянном ящичке из-под гаванских сигар «Cabanas» на свалывшейся ватной подстилке того же грязноватого цвета, что и овечки на тех самых склонах, лежат два-три десятка наших коктебельских удач, на посторонний

взгляд абсолютно ничтожных. И хотя все майские недели спрессовались в одну, до бесконечности протяженную, в каждом камешке зашифрованы погода и цветовая гамма не похожего на другие весеннего дня, бухточка, преподнесшая это чудо, силуэт Карадага или Меганома вдали... В карманах всех плащей и всех курток всех коктейльцев всех времен и народов, рассеявшихся и расселившихся по всему белому свету, на правах памятков, оберегов или просто ради привычного тактильного ощущения живут-поживают камешки, подобранные в тех благословенных краях.

Ближе к вечеру, уже на обратном пути, в ожидании автобуса на Коктебель, ежась под недреманным ленинским оком, рассматривали каменный улов. Да-да, вождь мирового пролетариата даже в этом райском местечке не сводил с нас глаз, его гигантское черно-белое изображение взирало с утеса, вздымавшегося над поселком. Увы, изнуренные многокилометровыми переходами, мы ни разу не подошли поближе, чтобы выяснить наконец, в какой же технике, позволявшей благополучно переживать осеннюю непогоду, зимние шторма, весенние ветры и летний зной, выполнено это грандиозное произведение. На совесть потрудились деды нынешних мастеров граффити, провозвестники жанра.

Каменные удачи хранятся в ящичке из-под сигар, а килограммами обычной гальки, только на первый взгляд ординарной, заполнены многие емкости. Крымские камушки неплохо смотрятся в стеклянных сосудах разнообразных форм. Можно высыпать их на стол, перебрать, пересыпать из ладони в ладонь, окунуться в воспоминания...

Говорят, будто нынче бухты между Отузами и Козами лишились прежней прелести, что распадки и русла весенних ручьев доверху забиты мусором. Но мы-то застали пустынные и относительно чистые бухты — осенним и зимним штормам хватало сил смыть с берегов летний курортный сор. Да и сам Карадаг, и тогда изрядно загаженный и осыпанный гекатомбами бутылочных осколков, алмазно сверкавших на его склонах, был еще доступен всем желающим.

Красоты весеннего Карадага, цветущие его склоны и благоухающие кущи общеизвестны. И все же вспомню сюжет одной весенней недели, прожитой в Коктебеле в компании наших друзей Лены Трофимовой и Сережи Коваленкова. Сережин коктейбельский стаж исчислялся к тому времени не годами, как в нашем случае, а десятилетиями, он знал все о крымской природе, о флоре ее и фауне, владел множеством умений и бесценных сведений о жизни, а самое главное, мог обо всем на свете занимательно рассказать. А кое-что показать... Двум мальчикам, двум Сережам, спутникам нашим, взрослый Сережа (то есть в общей сложности в нашей компании было три Сергея) демонстрировал, как НЕ следует поступать. К примеру, навьюченный огромным рюкзаком, вставал на колени и пил из ручья, моделируя возможную ситуацию: центр тяжести рюкзака смещается, и можешь себя поздравить — ты утопленник!

(в окрестностях квартиры № 2)

Итак, Коктебель, начало мая. Счастливая неделя сорокалетней давности. Счастливая, но дождливая, хмурая. Небо над Коктебелем, Карадагом и окрестностями безрадостно, затянуто тучами. Многочасовые прогулки, грезвившиеся в зимней Москве, под угрозой, обидно до слез. Но огорчаться не стоило, потому что в тот раз с нами был Сережа Коваленков. О незаурядных Серезиных способностях мы знали и раньше, но чтобы до такой степени...

Каждое утро с рюкзаками и прочим походным скарбом выходили мы из домика у подножия Карадага, кратковременного нашего приюта, встречались над обрывом с Леной и Серезей, из года в год обитавшими неподалеку в доме садовника писательского Дома творчества, и замирали в ожидании чуда, которое неизменно происходило. Соколиным оком Сереза озирает небосвод, находил крошечный просвет в тучах и вступал в сговор с единственным лучом, вырывающимся из этого просвета размером в пятак.

Вверив судьбы Серезе, по горам, перевалам, холмам и долинам мы послушно следовали за ним и за прирученным им лучом, как утята за уткой, и ни разу за всю ту ненастную неделю не упало на нас ни единой дождевой капли. Бывало, в нескольких сотнях метров хлещет дождь, посверкивают молнии, закручиваются вихри, а нашу лужайку (дорожку, тропинку, перелесок) освещает единственный на всю округу луч солнца из того самого «коваленковского» просвета. Сереза пристально следил за лучом, следовал полученным от него указаниям, составлял маршруты, определял их темпы и паузы.

И привалы наши были не случайны, а обдуманно и комфортабельны. В походном снаряжении друзей не было ничего лишнего, но присутствовала разделочная доска, на которой с хрустом нарезались сочные стебли собранного на склонах дикого чеснока, обретавшего на дне котелка звучный розовый цвет... а запах! Соли у нас не было, но имелся запас морской воды, зачерпнутой на берегу в начале маршрута. Картошки вкуснее той, коктебельской, сваренной в морской воде, пробовать не приходилось...

На очередном привале для очередного костра мы собирали валежник одного-единственного вида. Семь дней — семь разных костров. Оказалось, что пламя бывает разным, что зола яблони отличается по цвету и фактуре от золы терновника или дикой груши. Рассевшись вокруг костра, окруженные стеной дождя, но неизменно в солнечном луче, развесив уши, слушали мы Серезины рассказы, образные, смешные, запоминающиеся навсегда. Вот в качестве вставной новеллы одна из Серезиных историй, рассказанная у одного из тех весенних костров.

Больше всего на свете Сереза любил сгущенное молоко — самое доступное лакомство советской эпохи. И правда, есть ли на свете что-нибудь вкуснее сгущенки? Мы и теперь храним ей верность, но так любить сгущенку, как любил ее Сереза, нам и не снилось... Серезино-то детство пришлось на войну, он-то пристрастился еще к американской, лендлизовской сгущенке... Так вот, однажды, в студенческие времена, возвращаясь из Коктебеля то ли в Москву, то ли в Питер (родители Серезины жили в Москве, а сам он

учился в питерской Академии художеств), на оставшиеся копейки Сережа решил купить в дорогу баночку сгущенки. А в те времена, если что и продавалось во всех без исключения магазинах едва ли не по всей территории СССР, так это как раз сгущенка. Было время, когда небоскребы, пирамиды и Вавилонские башни, сложенные из банок с бело-голубым геометрическим орнаментом, украшали интерьеры всех без исключения продовольственных магазинов, раскинувшихся на просторах родины чудесной.

В пирамиде, выстроенной на прилавке феодосийского привокзально-го магазинчика, острый Сережин глаз сразу же вычленил банку, размерами превосходившую своих сестриц. И хоть банка эта находилась в самой середине высоченного сооружения, Сережа решил попросить продавщицу продать ему именно ее. Удивительно, но продавщица не поленилась разобрать пирамиду и извлекла толстушку. Странно еще и то, отчего Сережу, искушенного, по-видимому вида человека, не насторожила любезность привокзальной продавщицы. Видно, молод был и голоден.

Едва поезд тронулся, Сережа вытащил из кармана перочинный нож, выдвинул лезвие и замахнулся на банку. Намереваясь, как водится, проткнуть в ней две дырки и высосать содержимое. Но стоило ему проделать первую дырку, как произошло натуральное извержение вулкана — из банки ударил фонтан (или гейзер) то ли перебродившего, то ли протухшего сгущенного молока, и в мгновение ока на потолке купе образовалось множество сталактитов. И целые сутки под надзором не склонной к сантиментам украинской проводницы Сережа соскребал с потолка всю эту липкую сладость, без отдыха и на голодный желудок...

Хорошо весной в Коктебеле, восхитительно, но едва окажешься на этой благословенной земле, как неминуемо и неотвратимо надвигается час отъезда. К счастью, на десерт полагалось полдня в Феодосии, то есть посещение музея Айвазовского и блуждание по старому городу. В один из таких блаженных часов между небом и землей (уже не в Коктебеле, еще не в Москве), выполнив обязательную программу, слонялись вдоль моря. Накрапывал редкий дождичек, и на пустынной набережной старик-армянин колдовал над жаровней с цыплятами, переворачивал их, сбрызгивал чем-то духовитым. Вступив в ароматное облако, мы окоченели от восторга, дыхание наше перехватило, мы переглянулись и поняли, что если не отведаем здесь и сейчас вот этого вот цыпленка, обречем себя на пожизненную досаду. Так и будем до конца дней вспоминать феодосийскую набережную в крупных крапинах майского дождя, старого армянина, благоухающего, но недоступного цыпленка. Так не бывать же тому!

Да, но цыпленок-то стоил четыре рубля, а у нас оставалось два традиционных рублика на два комплекта постельного белья и десять копеек на метро. Но мы-то знали, как поступают в подобных случаях и решительно направились к железнодорожной кассе. Сейчас обменяем билеты в купированный вагон на обычные плацкартные и получим ту самую разницу, которой хватит

(в окрестностях квартиры № 2)

на вожденное лакомство. Фокус с обменом дорогих билетов на дешевые мы отработали в городе Вологде, но на этот раз до отхода поезда оставалось меньше часа, и по железнодорожным правилам нам выдали малую часть той суммы, на которую мы рассчитывали — всего-навсего два рубля. Но нам и двух рублей хватило для счастья — мы съели половину цыпленка, самого сытного, самого вкусного и самого ароматного из всех съеденных на последующем жизненном пути.

Конечно же, в Вологде мы потрафили запросам нашего духа, а в Феодосии удовлетворили иные, низменные потребности. И если в Вологде на полученную от обмена билетов разницу мы обрели несколько килограммов чудесных стареньких книжечек, то половинка феодосийского цыпленка потянула всего-то грамм на триста, а может и меньше. То есть духовные потребности наших организмов в те незапамятные времена все же перевешивали плотские, и это утешительно.

Но при чем здесь череп барана, вынесенный в название главы? И где теперь этот череп? Да вот он, висит у нас в коридоре! Хотя кое-кто считает, будто бы черепа вредят экологии дома. Но не вышвыривать же его на помойку, как-то нечестно получится, не по-товарищески... Так вот, той «бараньей» весной дожди не шли, наоборот, над Коктебелем повис тягостный зной. Такая погода для наших целей не подходила, потому что с утра до вечера нам хотелось бродить и бродить по Северной Тавриде, и непременно посетить Старый Крым. Идти предстояло долгой степной дорогой (до Старого Крыма около 17 км), тени на нашем пути не предвиделось, Женю это обстоятельство не смущало, а я упиралась изо всех сил, ибо жары не выношу. И неожиданно явилось спасение в лице (во многих лицах) бараньих черепов...

Не более чем в километре от Коктебеля обнаружился ремейк картины художника Верещагина «Апофеоз войны» (она же «Торжество Тамерлана»). Точь-в-точь на таком же безрадостном фоне, что и гора человеческих черепов на полотне Василия Васильевича, высился курган, сложенный из овечьих и бараньих черепов с клубящимся над ними черным мушиным роем (в отличие от стаи верещагинских стервятников). Особенно выразительно смотрелись бараньи черепа с рогами, завитыми спиралью. Стоит ли говорить, что Женя не смог пройти мимо этого изобилия! Может, я бы и воспротивилась намерению власть порыться в смрадном нагромождении, но не в тот раз. Смекнула, что в Старый Крым с таким обретением не потащишься, придется повернуть обратно, а я только об этом и мечтала.

То есть, по своему обыкновению, мы вернулись в Москву не налегке, на обратном пути багаж наш существенно потяжелел. В тот раз мы везли с собой пару килограммов разноцветной гальки, бараний череп и трехлитровую банку кила — голубой глины, которую наковыряли перед отъездом на морском обрыве. Помните, у Зоценко: «...ну там, белишко залатанное, полукальсоны, мыльце „Кил“ и прочая отечественная чертовщинка». А сейчас, по слухам, и обрыва того нет, вроде бы срыли его, выстроили нечто высотное,

фешенебельное. Зато чистейший образец «отечественной чертовщинки», золотой запас голубого коктебельского кила, вот уж четвертое десятилетие хранится в неприкосновенности, закупоренный, как джинн, в трехлитровой банке из-под соленых огурцов доисторического урожая...

Нагруженные вышеперечисленной всячиной, в обнимку с гигантским букетом алых тюльпанов из Джанкоя, десятого, как правило, мая сходили с поезда и спускались во чрево Московского метрополитена. Не загорелые, но обгоревшие, с облупленными и шелушащимися физиономиями, в кедах на босу ногу, ощущали подобие вины перед согражданами, поднимавшимися нам навстречу. Все они выглядели усталыми и озабоченными, им-то, беднягам, не досталось ни кусочка от ломтя весеннего крымского счастья, переполнявшего наши организмы. Хотя к десятому мая и в Москве наступала весна, а дорога к родному дому (асфальт нашей Остоженки) пестрела крапинами тополиных почек и раздавленными червяками красно-коричневых сережек...

Juniperus sabina (можжевельник древовидный).

Можжевельник древовидный из семейства кипарисовых относится к реликтовым древесным породам, и это удивительное растение, известное с библейских времен, испаряет немыслимое количество фитонцидов, такое, что просто диву даешься. Фитонциды, в свою очередь, — это биологически активные вещества, убивающие или как минимум подавляющие рост и развитие всяческих недружественных бактерий и прочие гадости вроде вредоносных микроскопических грибов. Говорят, если засадить можжевельником (не обязательно древовидным, подойдет любой, а всего их около шестидесяти видов) гектар земли, этого хватит, чтобы очистить от всех болезнетворных организмов маленький город. Растет *Juniperus sabina* медленно, но живет долго — в естественных условиях до 3000 (трех тысяч!) лет. И при такой-то беспрецедентной продолжительности жизни толщина его ствола не превышает 10–12 см.

А у мужа моего Евгения умелые руки и прекрасный вкус. Увы, но до чего-нибудь существенного, жизненно важного, к примеру до загромождающей жилплощадь мебельной рухляди, руки Женины не доходят, он предпочитает малые формы, причем сугубо иррациональные. Но уж если берется за что-нибудь, то добивается совершенства. И в результате его усилий в доме скопилось некоторое количество чудаковатых артефактов, в том числе можжевеловых. Не какие-нибудь там поделки из серии «лесные фантазии», а натуральные скульптуры, мелкая пластика.

Кроме прочих достоинств и стáтей, шелковистая можжевеловая поверхность приятна на ощупь, а если потереть, еще и хвоей благоухает, летом и Балтийским морем. Именно в Прибалтике, невозмутимо игнорируя всяческие катаклизмы и смены социального строя (а их на его век выпало несколько), выросло, прожило долгую жизнь и пало дерево, из которого изваяны Женины шедевры. Все они дети одного и того же ствола, обнаруженного в глубоко советские времена на склоне оврага в дальнем эстонском лесу. Само-то дерево

(в окрестностях квартиры № 2)

давным-давно умерло, но ведь заботами фитонцидов древесине его ничего не делается... Наш можжевельник, похоже, действительно древний, потому что кое-где толщина его ствола достигла не десяти и даже не двенадцати сантиметров, а четырнадцати!

Доисторический ствол перебирался в Москву поэтапно, частями, в течение нескольких лет... В очередном августе, оказавшись в полюбившихся нам местах, отправлялись в поход. Ох какими же восхитительными лесными дорогами мы шагали, какими мягкими тропами, усталными пружинящей сосновой хвоей, какой упругий мох попирали китайскими кедами! Чем только не объедались в пути — и желтой морошкой, и черникой от пуза, захватывали брусничный сезон, а бывало что и начало клюквенного. Ландшафты сменялись, то обступали нас великанские черные ели, воткнувшиеся макушками в добросовестно взбитые кучевые облака, то являлось нам изумрудное болото с морошкой, но большей частью растягивались на многие километры просторные сосняки с листовенным подлеском.

Без сомнения, на нашей планете множество райских мест, и одно из них нам знакомо. Это дачный поселок Вызу на берегу Финского залива. Родственники наши освоили его еще в начале шестидесятых. А мы отчего-то не торопились, нам райское местечко открылось позже. Но и мы успели ему порадоваться и в советские времена, и в новейшие, и если сложить наши вызуанские августы, подверстать их друг к другу, то получится, будто в Вызу мы прожили года два.

Но не так-то просто попадали в этот эдем... Сначала добывалось приглашение от местного жителя (а его еще надо было найти), с приглашением отправлялись в отделение милиции по месту московской прописки, где некий милиционер оценивал гражданскую лояльность заявителя и решал, позволить ли тебе купаться, загорать, а также собирать грибы и ягоды на морской границе СССР. Однажды начальник паспортного стола, славный с виду человек, оценивающе взглянув на меня исподлобья, спросил смущенно: *Что это за место такое, какое там производство? Чего это евреи туда едут и едут?* — И, заметив мое изумление, добавил торопливо: — *Да вы не подумайте чего! Сам-то я интернационалист, просто из интереса спрашиваю.* А ведь не исключено, что стремление московских евреев в Вызу милиционер связывал с близостью государственной границы...

Но уж если получали добро на посещение пограничной зоны, то покидали Российскую Федерацию запросто, везли с собой что хотели, не то что в новейшие времена... Однажды в Ивангороде (суть Нарва) подслушала я занятный ночной монолог. Монолог потому, что российский таможенник говорил тихо (а может, вообще помалкивал и обходился мимикой) и из соседнего купе доносился лишь один голос. Итак, монолог скрипача:

*Вы что думаете — это антиквариат? Да ничего подобного!
Ей и ста лет нет! Даже пятидесяти! А наклейка эта фальшивая!*

Видите, тут от руки написано, а должна быть печать! Печатная этикетка! Просто какому-то прохиндею нужно было продать по дорожке, и все дела! Подделка это! Вы что, этикетке верите, а мне нет? Я что, у вас доверия не вызываю? Да мало ли что на ней написали! Просто нажать хотели! Да вы посмотрите, где я работаю! Поймите, я еду на тридцать дней! И мне нужно заниматься! Если я не буду заниматься, меня через месяц на работу не примут! Вы что, не верите, что я скрипач? Давайте я вам сыграю! Да нет у нее никакой ценности! Вы что думаете — это скрипка? Это не скрипка, это говно! Ей цена двести долларов! В базарный день! Вот дома у меня действительно скрипка! Не Страдивари конечно, но вроде того... Это что же? Я должен из поезда выйти? И по мосту пройти?! Пешком?! С чемоданами?!!! Мне это нужно?!!! Знаете что? Возьмите ее себе! А через месяц, когда я обратно поеду, я ее у вас заберу. Нет-нет, возьмите! Если вас не будет, сменщику передадите. Мне что, очень нужно чемоданы через мост тащить? А потом два часа в автобусе париться? Говорю вам — берите! Ой, ну спасибо! Я вижу — вы очень приличный человек! Вошли в мое положение. А этикетку эту я знаете что? А я ее чем-нибудь поддену и вообще отковырну! Ну ее к бесам!

Вот так вот! Десять раз подумаешь, брать ли в дорогу что-нибудь подозрительно антикварное...

Не знаю, как сейчас, а в прежние времена приют в Вызу найти было нелегко... Поселок небольшой, желающих толпы, но уж если найдешь пристанище, не дай бог блага этого лишиться. Хозяев следовало ублажать, дружить с ними. Кропотливая эта работа не прекращалась круглый год: отправляли поздравления к Рождеству и Пасхе (в соответствии с конфессиональной принадлежностью хозяев), везли московские сувениры, вели проникновенные беседы. Несколько лет приезжали мы к старенькой-престаренькой Хильде Иоганновне, исполняли все церемонии, казалось бы, почти сроднились. И все же в одночасье расположения ее лишились, отказала нам Хильда от дома, нас изгнали из рая, и вроде бы безо всякой на то причины, видно, конкуренты напраслину навели! Но случилось чудо, и новый приют нашелся... Да какой!

В лето нашей встречи Нине Александровне было уже под восемьдесят. На самом-то деле эстонцам и прочим западным людям, как уже было сказано, отчества не полагаются. И эстонцам, и литовцам, и латышам отчества, не спросив их согласия, присвоила советская власть, всех хотела постричь под одну гребенку. Хотя Нине, носившей фамилию матери, отчество, может, и полагалось, потому что отец ее был украинцем и служил смотрителем маяка на далеком острове. На маяк Нину привезли младенцем, и там она прожила все свое детство. Жаль, очень жаль, что я не знаю названия Нининой малой родины...

(в окрестностях квартиры № 2)

Сквозь облик грузной, тяжело передвигавшейся, очень уже пожилой женщины явственно просвечивал дивный молодой образ. Как говаривала мама нашей подруги, до последних дней сохранившая редкостную красоту: *Настоящая красота как оспа, следы остаются на всю жизнь*. Про Нину рассказывали удивительное. Будто бы однажды по поручению Нининого друга приехала из Швеции маленькая киногруппа. Не в силах добраться до Вызу, этот немощный уже человек хотел увидеть женщину, о которой тосковал всю жизнь. И приезжие операторы сняли фильм, побродив вслед за Ниной по уютному ее дому, по саду, по берегу моря. Для киносъемки Нина не стала наряжаться, демонстративно снималась в домашних каких-то отрепьях, потому что никогда не зависела ни от чьего мнения. Шведского эстонца звали Альберт. Посмеиваясь, Нина рассказывала, как однажды целых две ночи пряталась от Альберта на чужом сеновале.

Когда в 1944 году в Эстонию вошли советские войска, произошел массовый исход эстонских мужчин всех возрастов — совсем молодых, в расцвете лет и пожилых. Все они погрузились на катера и баркасы, в лодки весельные и лодки моторные и в одночасье покинули Эстонию, оставив дома семьи. В числе прочих и влюбленный в Нину Альберт. Винить их не за что, потому что имелся трагический опыт начала 40-х. Как только Эстония в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа, отошла к Советскому Союзу, с множеством эстонцев случилось то же самое, что со всеми прочими советскими людьми происходило к этому времени уже более двадцати лет. Аресты начались сразу, а 14 июня 1941 года 10 тысяч эстонских граждан без различия национальной принадлежности погрузили в телячьи вагоны и депортировали кого куда, преимущественно в Сибирь. На сборы давали не более часа, вывозили семьями, больных и здоровых, детей и стариков. Поэтому к 44-му году иллюзий не оставалось. Репрессии начались сразу, а 25 марта 1949 года войска НКВД осуществили масштабную операцию «Прибой», в результате которой в Сибирь и Среднюю Азию отправились, по самым скромным оценкам, 29 тысяч семей (то есть 87 тысяч человек).

Неподалеку от Вызу есть еще одно, не менее райское местечко — поселок Кясму. Селение это выросло вокруг мореходной школы, и жили в нем некогда семьи мореходов. И все эти люди: капитаны, помощники капитанов, боцманы, моряки и рыбаки — покинули родину, оставив жен, сестер и дочерей хранительницами домов и усадеб... в надежде на скорое возвращение, увы, так и не случившееся... Поэтому в Кясму еще на нашей памяти старились в немалом количестве соломенные вдовы. В новейшие времена бывшие мореходы, большей частью глубокие старики, а также их потомки от последующих браков стали наведываться на родину, навещать родственников (прежних и вновь народившихся), поддерживать материально, наверстывать упущенное.

Но нашу Нину советская власть ничуть не испугала, тем более что за ней стал ухаживать начальник погранзаставы. О серьезных отношениях речь не шла, Нина придерживалась твердых представлений о морали и правилах

поведения. Но не могло же молодой и прелестной женщине не льстить внимание интересного мужчины, к тому же военного...

Между тем, добравшись до Швеции, Альберт потерял покой, маялся, тосковал о Нине. И однажды темной осенней ночью вернулся за любимой девушкой, приплыл на рыбацьем судне. Нине сообщили, что Альберт ждет ее на берегу, просит прийти поскорее. Но Нине не хотелось покидать Эстонию, ничего плохого она от новой власти не ждала и поэтому спряталась от Альберта на чьем-то сеновале.

Настало утро, Нина не пришла, но Альберт не терял надежды, весь день, спрятавшись за валуном, простоял в ледяной воде, ожидая наступления следующей ночи и Нининою прихода. Напрасно надеялся, Нина решений не меняла. И вроде бы, по Нининым словам, начальнику погранзаставы донесли про Альберта, однако не арестовали... Похоже, историю про благородного пограничника Нина сочинила для красоты сюжета.

В советские времена Нинина жизнь сложилась неплохо. Работала учительницей, дослужилась до директора школы. Замуж не выходила, лелеяла статус неприступной красавицы. Отец Нинин умер до войны, и жили они с матерью в собственном своем доме. Прежде усадьба их начиналась от самого моря, от пляжа, но в 40-х изрядный кусок откусили, хотя и оставили немалый.

Ко времени нашего знакомства Эстония уже пару лет как обрела самостоятельность, однако Нина считала себя советской гражданкой и прежний свой паспорт обменивать на эстонский категорически отказалась. Так и прожила жизнь советским человеком. Чудачество это ей простили, местная власть не стала приставать с требованиями и претензиями.

От зверств и беззаконий, творившихся на эстонской земле, Нина отгораживалась, говорила одно и то же: *Меня же не сослали, потому что я ничего плохого не сделала. А про других не знаю и знать не хочу.* Так что от расспросов пришлось отказаться, любознательность свою я усмирила и на тягостную тему наложила вето.

Удивительные случаются встречи — едва мы познакомились с Ниной, как сразу же возникло взаимное чувство родства. Из-за этого мы оказались в неудобном положении — Нина категорически отказалась брать деньги за дачу, сказала, что деньги ее не интересуют, ей важны только люди. А если ее условия нам не подходят, можем подыскать себе другое жилище, она нас не держит. В конце концов пришли к соглашению — уезжая, оставили кроны на содержание кота. Кот от денег не отказался, а Нина и вправду не нуждалась. Что-то присылал Альберт, и Нина благосклонно принимала его помощь. Мизерную компенсацию она получила за экспроприированную советской властью землю. А потребности были самые скромные.

Двигалась Нина с трудом и поэтому обрадовалась предложению вместе гулять по вечерам. На закате натягивала вязаную шапочку, и мы отправлялись к морю, одним и тем же маршрутом: из задней калитки по усыпанной хвоей дорожке, медленно-медленно... По пути Нина здоровалась с елями,

(в окрестностях квартиры № 2)

гладила стволы и ветви, говорила что-то нежное. Не пропускала ни одного дерева. Добравшись до древней сосны, нависавшей над пляжем выветренными корявыми корнями, обнимала ствол, прижималась щекой к коре. Нинино лицо разглаживалось, молодело. А закатному небу (в Вызу умопомрачительные закаты), его отражению и самому морю радовалась так, будто встретилась после долгой-долгой разлуки.

Силы ее иссякали быстро, чаще всего объятиями с деревьями по пути туда и обратно прогулки наши и ограничивались. Но однажды Нина ощутила прилив сил, и мы побрели к зарослям камыша на краю пляжа. Увязая в песке, Нина передвигалась с трудом, но целеустремленно. Вошли в камышовые заросли, и она принялась шарить в них, нащупывать что-то. Вопросов я не задавала, поддерживала Нину, не давала упасть. Волнение ее нарастало, передалось мне, глаза Нинины наполнились слезами, мы шли дальше, дальше, и наконец... вздох облегчения и светлая улыбка. Нина нащупала валун, в зарослях неразличимый, но чем-то памятный. Что-то она загадала важное, и встреча с валуном состоялась...

Каждое лето, расставаясь в конце августа, на новую встречу не надеялись. Прощались навсегда, навеки. До поры до времени Нина провожала нас до остановки, совала в карман шоколадку (на дорогу), улыбалась сквозь слезы, махала платком вслед автобусу, уменьшалась в размерах, исчезала за поворотом. Да и вообще, приезду нашему Нина радовалась недолго, а печалиться, грустить о предстоящей разлуке начинала сразу же, когда отпуск наш еще только стремился к своему пику.

Возвратившись в Москву, мы тотчас звонили Нине, и потом звонили, весь год, каждую неделю, по четвергам. Но наступало новое лето, и мы встречались, и Нина радовалась, расцветала, доставала девичий альбом с фотографиями киноартистов, преимущественно мужчин. Мы умиленно рассматривали лица былых красавцев — идеальных героев Нининой молодости, восхищались волнистыми их прическами, осанками, ястребиными взорами.

Нину навещали бывшие ученики, заходили соседи, но ко всем к ним Нина относилась холодновато и жизнями их не интересовалась. Зато нежно полюбила Ингу, славную девушку, биолога из Таллина, радовалась ее приездам. Но самым близким и самым любимым человеком была Ирина (имя изменено, но не суть важно). Нина ждала ее писем и телефонных звонков, гордилась Ириной, радовалась за нее. Некогда москвичка, с некоторых пор Ирина жила в другой стране, и однажды мы с ней пересеклись в Нинином доме и целую неделю гуляли вместе по берегу залива, по лесным дорогам и разговаривали, разговаривали...

При первом же взгляде на Ирину со мной случилось нечто необъяснимое. Ни с того ни с сего рядом с Ириной возник, едва ли не материализовался образ давнего друга нашей семьи, Дмитрия Натановича. Дмитрию Натановичу выпала драматическая судьба со множеством поворотов и замысловатостей во вкусе прошедшего века: ополчение, окружение, плен, наши отечественные

лагеря и поражение в правах. Однако в разные времена и при разных обстоятельствах он дружил с «людьми искусства», и все его дружбыгодились, когда он стал душой и сердцем клуба гуманитарных факультетов МГУ на улице Герцена (изначально и нынче Б. Никитской). Поэтому самые яркие театральные, поэтические и киноконцертные встречи и впечатления отрочества моего и юности случились в клубе на Герцена и связаны с Дмитрием Натановичем.

Прозвучало это, наверное, странно, но первое, о чем я спросила Ирину: знала ли она Дмитрия Натановича? Ну конечно же знала, более того, дружила, состояла при нем добровольным переводчиком, навещала в больнице, бывала в его доме. Знакомы с Ириной мы в те времена не были, что неудивительно, ведь между нами десятилетняя разница в возрасте, и если мне было четырнадцать, то Ирине двадцать четыре, а это разница серьезная... Но тем летним утром нас с Ириной в мгновение ока связали едва ли не родственные узы.

Студентка биофака МГУ, Ирина с детства знала языки и по этой причине во время Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года сопровождала группу студентов, среди которых оказался юный славист (и имя ему будет Славист). Та праздничная фестивальная передышка в советских буднях стала для многих шоковой терапией, открыла множество глаз, изменила мириады судеб и мироощущений, многое поставила с ног на голову и наоборот.

Вернувшись домой, Славист не забыл Ирину, по роду славистских своих занятий бывал в Москве, звонил Ирине, но трубку брали родители. Наученные предыдущим жизненным опытом, они шарахались от иностранного голоса и отвечали, что Ирины нет в городе. На письма Слависта Ирина не отвечала по той же причине, родители не отдавали ей писем, и Славист решил, что Ирина его избегает, перестал звонить и писать, а вскоре стал персоной нон грата, потому что в качестве курьера вывозил из России «Хронику текущих событий» и однажды его задержали на таможне с запретным грузом.

Ирина стала высококлассным и востребованным переводчиком-синхронистом на биологических и медицинских конгрессах, замуж не выходила, родился и подрос сын, скончались родители. Наступили 90-е... И однажды вернулась из заграничной командировки приятельница с приветом от встреченного на конференции Слависта. Таким образом связь наладилась, оказалось, что все эти годы Славист не забывал Ирину, не женился, жил вдвоем со старенькой матерью в маленьком домике с садом в пригороде славного европейского города, и очень скоро Ирина с сыном полетели в гости к Слависту.

Видно, мать Слависта, старушка за девяносто, только того и ждала и скончалась со спокойным сердцем накануне Ирининого приезда. Славист оказался еще прелестнее, еще добрее и благороднее, чем можно было предположить. На фотографии на фоне серокаменной университетской стены, оплетенной вековым виноградом, он похож на моего дедушку. Такое же на нем пальтецо, тот же близорукий взгляд, мне даже почудилась шапочка пирожком вроде той, что была у дедушки.

(в окрестностях квартиры № 2)

Ирина писала Нине, но новая жизнь требовала огромного напряжения. Ирина работала, помогала сыну адаптироваться в новой реальности, приспособливалась к быту, вовсе не такому простому, как может показаться из нашего далека. Не смогла Ирина оказаться рядом с Ниной в тяжелые ее дни, не смогли и мы...

Несколько лет мы с Ириной переписывались. Все у нее складывалось неплохо: соседи ее полюбили, случалась интересная работа, сын вырос и женился на милой девушке. Ирина вкладывала в конверты фотографии. Славист спешил показать Ирине мир, и я видела ее то на набережной в Амстердаме, то на мосту Риальто, то в замке Эльсинор. Я же писала в ответ длиннющие послания, рассказывала бог знает о чем, безжалостно грузила Ирину тягостными российскими реалиями. Наконец терпение ее лопнуло, и я получила коротенькое письмецо, в котором Ирина честно и без экивоков извещала, что, по ее мнению, переписка наша себя исчерпала. Я просмотрела свои письма к Ирине (сохранившиеся в компьютере) и подумала, что она права, нельзя так беспощадно изнурять иностранного человека, писать долго и нудно о всяческой московской чернухе. И ничуть не обиделась на Ирину, но призадумалась и сделала выводы.

Прошли годы, все обзавелись электронными адресами и принялись заново налаживать связи, и в один прекрасный день позвонила по просьбе Ирины ее кузина, а через полчаса на мой мейл пришло письмо с вопросами о Дмитрии Натановиче. Опасаясь эффекта «испорченного телефона», я соединила Ирину с пасынком Дмитрия Натановича Борисом.

Оказалось, что Боря прекрасно помнит Ирину. Встретившись с ней весной 1968 года в садике академической больницы (оба навещали перенесшего инсульт «старика», как называл и называет отчима Боря), поразился ее удивительному сходству с Дмитрием Натановичем и удивился тому, что Дмитрий Натанович называл Ирину дочкой, а Ирина смущалась... А Ирине запомнился эпизод, произошедший в конце 50-х в консерватории, когда ее мама вдруг бросилась к тогда еще незнакомому Ирине мужчине с взволнованным возгласом: *Митенька!* А Дмитрий Натанович (это был он) воскликнул: *Леночка!* — и два расставшихся жизнь назад человека крепко обнялись. История эта изложена без подробностей и более чем конспективно во избежание упреков и обид, мол, нечего нос совать в чужие жизни... Эх, была бы я писателем, другое было бы дело, другие были бы у меня права и возможности... И все же, зачем и почему рядом с впервые увиденной в Нинином саду Ириной тотчас возникло передо мной видение Дмитрия Натановича, вечность спустя после его смерти?

Два последних лета (из пяти, нам с Ниной отпущенных) мы уже не гуляли вместе, недалекие путешествия стали ей не под силу. И провожала нас Нина только до калитки. А за две зимы до своего конца она пережила тяжелейший стресс.

У Нины не было близких родственников, но были косвенные — двоюродные или троюродные племянники. Им-то и завещала Нина и дом свой,

и усадьбу. Той зимой она заболела, и ее перевезли в Таллин. Нина очутилась в чужом высотном доме, оторванная от земли. И хотя из окна смотрела она на любимое море, Нину обуял ужас. И жилось ей на этой верхотуре неуютно, неласково, даже голодно, все вело к неминуемой гибели, может и запланированной. Видно, не предполагалось Нинино возвращение в родной дом, если даже кота ее любимого племянники усыпили.

Но был еще порох в Нининых пороховницах... Человек независимый, по роду прежних своих занятий властная, Нина сумела настоять на своем, заставила-таки родственников вернуть ее домой. Банальность, но ведь и правда дома стены лечат. А в Нинином случае и сосны, и ели, и близкое море, и воздух родной. Два года жизни отвоевала Нина и у наследников своих, и у болезни, и у судьбы. Умерла Нина весной 1998 года, в самом ее начале. Болела половину осени и всю зиму. Перестала брать телефонную трубку (племянники отключили телефон), тяжело пришлось Нине в ту зиму...

Нина хотела, чтобы ее кремировали, а прах развеяли в море. И вроде бы пограничники вызвались переправить прах на родной Нинин остров, туда, где на маяке служил некогда Нинин отец. В местной газете появилась заметка о предстоящем событии — в Вызу Нина была человеком заметным. Но плыть на дальний остров наследники не решились, побоялись морской качки. А прах вроде бы развеяли в Кясму, однако никто при этом событии не присутствовал. И почему в Кясму, а не в любимом Нинином Вызу?

Через год после Нининой смерти мы снова приехали в Вызу, привычке своей не изменили. К концу девяностых поток отдыхающих поиссяк, и друзья наши без особых проблем подыскали нам новое пристанище, удобнее Нинино, просторнее, комфортабельнее, на самом берегу. И в Вызу было, как всегда, хорошо, но очень-очень грустно.

Нинин дом глядел заброшенной сиротой, хотя страсти вокруг него кипели нешуточные, и в стареньком Нинином доме, в ее саду шла война, тихая (особенности эстонского менталитета), но беспощадная. Мы обходили дом стороной, а если все-таки возле него оказывались, нам мерещилось, будто бы на крыльце стоит Нина в многослойных своих одеждах и вязаной шапочке. Будто запрокинула она голову, старается дышать глубоко, вроде бы улыбается небу, соснам, гигантской ели посреди сада. Такая у нее была привычка — выйти утром на крыльцо, постоять, поозираться, вдохнуть поглубже, порадоваться новому дню. Светлая ей память, нашей Нине...

Однако возвратимся в советские времена. Проникнув в заповедную зону, не следовало обольщаться и забывать, что за тобою наблюдает недреманное око и в случае необходимости напомнит о себе. Вот и нас однажды доставили на погранзаставу. Под конвоем. Дело было так: накануне отъезда, в последний наш августовский вечер отправились мы попрощаться с лесом, заливами и валунами. В Москве ждала работа — книга о природных заповедниках, в том числе прибалтийских. И Женя решил запастись балтийскими закатами — вдруг пригодятся для оформления обложки. Мы подозревали, что

(в окрестностях квартиры № 2)

фотосъемка запрещена, но все же рискнули. Для страховки на фоне заката, моря и валунов Жене позировала малолетняя Наташа. Берег был пустынен, мы любовались небесами, грустили, конечно, но и предвкушали завтрашний день в Таллине.

Не более чем через пятнадцать минут после начала фотосессии из лесу, грозно рыча, выкатился небольшой грузовичок, из него выскочили вооруженные пограничники, подбежали, увязая в песке, окружили, затолкали в кузов и повезли без каких-либо комментариев в неизвестность. Вдоль бортов затянутого брезентом кузова тянулись деревянные скамьи, и Женя, умудренный армейским опытом, усадил нас с Наташей возле кабины. И правильно сделал, потому что предстояла тряска по лесной дороге, по сосновым корням, а чем ближе к кабине, тем тряска слабее. Прибыли на погранзаставу, а по дороге, незаметно для наших конвоиров, сообразительный Женя извлек отснятую пленку и зарядил аппарат девственной.

На погранзаставе нас замкнули в караульном помещении и приставили солдата с автоматом. Время было вечернее, начальник у себя дома ужинал, чай пил, смотрел по обыкновению местных жителей финское телевидение, но пришлось ему оторваться от экрана и прибыть на заставу для допроса задержанных. Человек он оказался невредный, но любопытный и допросил нас основательно. Все его интересовало: и для какой такой надобности прибыли мы из самой Москвы, и чего нам дома-то не сидится, и почему бродили по чужому берегу, что высматривали, зачем фотографировали, у кого живем, где и когда познакомились с эстонской хозяйкой, да и вообще — кто мы такие? Смягчило начальника Наташино присутствие. Хотя если б и вправду мы замыслили нечто шпионское, то очень неглупо было бы взять на дело (для конспирации и отвода глаз) десятилетнюю девочку с косичками.

Правдиво глядя в глаза начальнику заставы, мы ответили на все вопросы, предъявили паспорта и документы, подтверждающие законность нашего пребывания в пограничной зоне, и в заключение встречи Женя широким, хотя и чрезмерно эффектным жестом вытащил из аппарата чистую пленку и засветил ее на глазах пограничного командира. А ведь до того случая я и не подозревала в муже такого хитроумия и артистизма. Одним словом, все кончилось хорошо, нас отпустили восвояси, посоветовав впредь не заглядываться на заморские закаты, а предотъездное приключение стало изюминкой того августа.

Да уж, балтийскую границу охраняли на совесть... Между пляжной полосой и лесным извилистым берегом змеились бесконечные километры колючей проволоки. Видно, колючая проволока и вправду самая надежная защита от диверсантов и перебежчиков. А на стволах сосен и елей, прикрытые клеенчатыми фартучками то ли от дождя, то ли для маскировки, приделаны были некие кнопки. Кто должен был на них нажимать и в каких случаях, сами ли шпионы, прогуливающиеся ли граждане или пограничники, этого мы так и не поняли, но вот ведь сколько лет живут балтийские страны на свободе, а прибрежный лес все еще загажен колючей нечистью, того и гляди ногу пропорешь.

В советские времена отдыхающие люди уезжали домой тяжело нагруженные плодами эстонской земли. Чернику и голубику везли ведрами, бруснику рюкзаками, но более всего увлекались грибами, если, конечно, лето выдавалось грибным. Сушеные грибы увозили в наволочках, соленые в полиэтиленовых пакетах. Бахвалились друг перед другом добычей, взвешивали килограммы ягод, подсчитывали белые и подосиновики.

Но стоило Эстонии обрести независимость, как возникли иные сюжеты. Оказалось, что сбором грибов и ягод можно заработать неплохие деньги. Ближайшие-то соседи, что шведы, что финны, свою природу жалеют, не собирают грибы и ягоды в промышленных масштабах, поэтому у эстонского населения появилась возможность заработать на дарах своего леса. Самым большим спросом пользовались лисички, потому что эти веселые и легкомысленные с виду грибочки содержат хиноманнозу, которую органически не переносят жучки и червячки всех без исключения разновидностей. То-то лисички не червивеют... Но самое главное, из лисичек делают лекарство для лечения онкологических заболеваний.

Вторым по счету независимым эстонским летом лисички (видно, на радость) уродились на славу, несметными толпами высыпали на лесные просторы подышать воздухом свободы... И мы, москвичи и питерцы, вслед за эстонскими гражданами очертя голову ринулись в леса. Совместными усилиями прошерстили их вдоль и поперек, собрали небывалый урожай и продали финским заготовителям. За валюту продали, между прочим, килограмм лисичек стоил два с половиной доллара (в начале 90-х деньги солидные, не чета нынешним), а скольким кронам и центам это равнялось, не помню.

Усталые, но довольные собиратели лисичек пересыпали грибочки в специальные лотки, выстраивались в очередь к микроавтобусу финских заготовителей, взвешивали добычу, получали денежки, ныряли в поселковый супермаркет и покупали вкусности, по тем временам экзотические. В наших-то столицах (не говоря уж о российской глубинке) продуктовое изобилие еще не настало, а в Эстонии прилавки уже ломились. Вот мы и нажились, не с голодухи, но из любознательности, на чужеземные шоколадки, неведомые йогурты, чипсы и мюсли, на ненашенское мороженое ста сортов и всякое прочее. Не задумываясь, с какой-то, не побоюсь этого слова, оголтелостью обменивали натуральный, экологически чистый продукт на ничтожное, не столько съедобное, сколько декоративное лакомство... Как бы то ни было, но тем летом обуянные алчностью доктора и кандидаты всех на свете наук, профессора и доценты столичных учебных заведений, поэты и писатели, художники-реалисты и художники-концептуалисты, пианисты, скрипачи и альтисты, а также искусствоведы и музыкальные теоретики, то есть вся наша пришлая братия, не без садомазохистского удовольствия ощутила себя сообществом дикарей, с ликованием тащивших добычу к ногам финских миклухо-маклаев.

Мы втроем заработали, помнится, сто долларов, из чего следует, что совместными усилиями нам удалось обобрать эстонский лес на 40 кг лисичек.

(в окрестностях квартиры № 2)

И это был самый скромный результат среди соотечественников. Но сколько же удовольствия доставил нам тот грибной август! Какой азарт мы испытали, сколько адреналина произвели наши организмы! Одного жаль — не нажарили на ужин ни одной сковородки лисичек. А ведь какие они вкусные, эти лисички, в сто раз вкуснее бананов, чипсов и йогуртов вместе взятых! И гораздо, гораздо полезнее!

Возвращаюсь к *Juniperus sabina*, а именно к нашему экземпляру, много лет покоившемуся на склоне глубокого оврага. Того самого оврага, на дне которого росли папоротники в человеческий рост, а под ними в тот фантастически грибной год золотые букеты гигантских лисичек, каждая величиной с блюдо. Наш *Juniperus sabina* как ни в чем не бывало лежал на том же самом месте, где мы оставили его год назад. Передохнув пару минут, Женя доставал походную портативную пилу и приступал к ампутации очередного можжевельового фрагмента, чтобы в зимней Москве можжевельовый сук или ветка обрели иное качество и превратились в артефакт. Хотя артефакт — это всего лишь претендент на звание произведения искусства, не более... И стоило ли расчленять древний ствол ради претензии на столь сомнительное звание? Пусть бы лучше лежал себе на склоне оврага до скончания веков наподобие скелета доисторического ящера... Да ведь обратного пути нет...

И еще раз мы приехали в Вызу, уже с внуком. Там теперь гораздо пустыннее, чем в прежние годы, столпотворения не наблюдается, однако есть ощущение, будто бы вызуанское пространство кишит тенями. Видно, множество душ навещает эти места, потому что из года в год, в течение не менее чем двадцати восьми дней законного отпуска (24 рабочих плюс 4 выходных) прежние любители и фанаты Вызу бывали здесь счастливы. Независимо от того, какие каверзы и сюрпризы ожидали их в Москве, в Питере или откуда они там прибыли... Грустно мне стало в тех легких и радостных прежде местах. Вот если б знакомые давних лет (все без исключения, в том числе вызывавшие неприязнь) вдруг воскресли бы, заполонили окрестности, попадались бы на каждом шагу — на берегу, на лесных тропинках, в магазинчиках, в местном кинотеатре, я бы не фыркала, не юркала б за ближайший угол, не пряталась за сосну в попытке избежать встречи, не корчила бы скептическую гримасу, а радовалась бы встрече, восклицала приветливое, расспрашивала о жизни. Если бы да кабы, да во рту росли грибы... Может, даже полезный гриб лисичка, на латыни *Cantharellus cibarius*... Впрочем, многие наши вызуанские соратники живы-здоровы (а значит, что-то можно исправить), и можжевельовые артефакты на своих местах, и можно их потрогать и испытать приятнейшие тактильные ощущения.

Ножик на память. А вот еще один не то чтобы старинный, но все-таки старенький предмет — устрашающего вида нож с лезвием аж 25 см, кованый, рукотворный. Ручка у ножика деревянная, сильно потертая, с медными заклепками. Видно, множество людей подержали этот

ножик в руках, надеюсь, исключительно в хозяйственных целях. Встреча с ножиком случилась несколько десятилетий назад на Краснопресненской плодово-овощной базе. Весь тот давний рабочий день этим самым ножом Женя зачищал капустные кочаны, а по окончании смены не смог с ним расстаться (видно, прикипел рукою). Так уж случилось — не устояли, взяли грех на душу, вынесли казенное имущество за пределы государственного учреждения, и теперь, по истечении нескольких сроков давности, каемся в совершенном преступлении. Хотя на самом-то деле это народное достояние, нам-то все детство твердили, что в нашей стране все общее, а мы и поверили, вот и прихватили ножик на память о сотнях часов, прожитых в мрачноватых цехах и сырых подземельях овощной базы. Семнадцать лет добровольно-принудительно трудились на поприще сохранения и переработки овощей, фруктов, а также бахчевых культур, но только сегодня прояснился истинный смысл того похищения. Ведь если бы не ножик (типа тесак), за что зацепилась бы блуждающая моя мысль, чтобы припомнить вереницу сюжетов, близких множеству москвичей, служивших некогда в госучреждениях? Может и простится нам грех, если посредством кованого тесака с деревянной ручкой удастся произвести еще один срез якобы прошедшей эпохи.

Сделанный на совесть тесак, обреченный на рутинное существование (обрезание гнилых капустных листьев и кочерыжек), стал, по счастью, не орудием зла, а раритетом и поводом для мемуара. Да уж... кто бы поверил, что томительная обязаловка — ежемесячное посещение Краснопресненской овощной базы — со временем ностальгически зарумянится?

Обыкновенно в один из двух присутственных дней (во вторник или в пятницу) начальница нашего отдела Нина Григорьевна, дама романтического облика — в чалме, развевающимся крепдешине, в облаке французского аромата и серебряном звоне зачитывала список жертв, обреченных на очередное заклатие. Сюжет привычный, умеренно драматический, все ж таки минотавры, изгнанные банальными крысами, давно уж перевелись в лабиринтах овощной базы. В ответ на очередную разнарядку разрешалось поупрямиться, поторговаться, побузить, но ведь никуда не денешься, если в этот раз отмажешься, в следующий-то не удастся...

В назначенный день, обрядившись в отрепья, хранившиеся во всех семьях для подобных случаев (одежду, какой бы ветхой она ни была, хранили вечно), встречались у выхода из метро. В утренний час в вестибюле и в ближайших окрестностях станции скапливались толпы оборванцев, намеревавшиеся внести вклад в выполнение продовольственной программы коммунистической партии. Некогда, намереваясь ставить пьесу «На дне», костюмы для спектакля добыли аутентичные, посетив актерским коллективом (под надежной охраной дядюшки Гиляя) хитровские ночлежки, ну а нынешним актерам пригодились бы для какой-нибудь постановки в духе ретро наши одежды... Помнится, один молодежавый субъект (то ли доктор, то ли кандидат психологических наук) из года в год являлся в макинтоше по моде 30-х годов и в фетровой

(в окрестностях квартиры № 2)

шляпе той же эпохи наподобие героя трофейного фильма. Видно, перед войной дедушка его щеголял в этом шикарном прикиде.

Не спеша, нога за ногу, плелись по Хорошевке, сворачивали в знакомый проулок, причаливали к проходной, получали назначение в тот или иной цех (это как повезет) и на несколько часов поступали под единовластное начало хмурой тетки в платке и замурзанном сатиновом халате, напыленном на телогрейку. Никто из тех невнятных теток ни разу нам не обрадовался, не улыбнулся приветливо, все глядели исподлобья, то ли с брезгливым презрением, то ли с социальной неприязнью. Однако с негостеприимными аборигенами приходилось налаживать контакт, потому что от них зависела длительность нашего пребывания на базе. В конце-то концов, нас так и так отпустили бы восвосяи, но был шанс смыться пораньше, будто бы норму свою, целиком и полностью зависевшую от расположения хмурых теток, мы выполнили досрочно.

За полтора с лишним десятилетия мы изучили топографию овощной базы как свои пять пальцев, освоили широкий спектр работ и неплохо поднаторели в разнообразных уловках. В соответствии со шкалой местных ценностей самой черной работой считалась сортировка подгнившей картошки, поступавшей из огромного контейнера на допотопный жестяной желоб-транспортер. То есть процесс был отчасти автоматизирован. Представители творческого и умственного труда, интеллектуальная элита района, состоявшая из сотрудников КБ и НИИ, устроившись по обе стороны транспортера, высматривали в нескончаемом потоке осклизлые почерневшие картофелины, ловко выхватывали их из общей массы и сбрасывали в ящики, сколоченные из полусгнивших занозистых реек. А кондиционную картошку расфасовывали по пакетам, по 3 кило в каждый. Многие помнят картофельные пакеты цвета кофе с молоком (hand-made — ручная работа), склеенные из качественного крафта усилиями множества инвалидных артелей.

Обыкновенно мы оказывались в одной упряжке с младшими и старшими научными сотрудниками НИИ психологии. Из года в год узнавали друг друга, раскланивались, бывало, что и флиртовали. А в летнее время встречались в подшефных совхозах, совместно турнепс пропалывали, собирали смородину и крыжовник, сено ворошили, драили котлы в столовке, плескались в грязноватом пруду.

Сортировка картофеля — самый медитативный процесс из всего спектра работ. Бывало, в пропахшем плесенью подвальном микроклимате (к плесени, как таковой, а также к ее запаху можно относиться по-разному, гурманы меня поймут), укрывшись от внешнего мира пеленой не оседавшей серовато-коричневой взвеси, заполнявшей весь объем овощехранилища, совершаешь монотонные успокоительные манипуляции, никого не трогаешь, на жизнь не сетуешь, в горле, конечно, першит, зато является ощущение гармонии и собранности, а отсюда свободное течение мысли, а главное — смирение, смирение и еще раз смирение... Сосредоточению и душевному равновесию на пользу даже монохромная цветовая гамма вроде той, что на картине Ван-Гога

«Едоки картофеля». Бывало, затаишься во мгле, сгруппируешься, ощутишь себя внутри уютной картофельной гризайли и припомнишь утешительное — дух, дескать, дышит, где хочет... и чем хочет...

Иное дело бахчевые культуры. Арбузы и дыни медитации не способствуют, напротив! Вот памятный эпизод то ли во вкусе Рабле, то ли в духе Брейгеля, а может и Босха... Необъятный ангар, горы арбузов и дынь (мы фасуем их в гигантские сетки с крупными ячейками), возбужденная халявой публика, не разрезающая, а раскалывающая золотые и полосатые плоды и алчно впивающаяся в сахарную их плоть. Всеобщий разгул и ликование, счастье на грани опьянения, то есть натуральное безобразия и бесчинство. Одно могу сказать в оправдание той вакханалии — истинное арбузное счастье редко улыбалось простому советскому гражданину, бывало, выстоишь немалую очередь, кое-как дотащишь тяжеленную ягоду (да-да, ботаники сговорились, что арбуз, вопреки здравому смыслу, это якобы ягода...) до дома, по дороге желудочный сок преждевременно выделишь, наконец разрежешь гигантский плод, а нутро-то арбузное едва розовеет наподобие бедра взволнованной нимфы. И так, бывало, вскипишь, такая досада одолеет... Нет, что бы ни говорили ненавистники демократии и противники нитратов, но с крушением советского строя арбузы вопреки логике существенно покраснели! Можно было бы и поразмышлять об этом парадоксе, да не стоит, чтобы, по совету одного мудрого человека, не ожесточать душу сомнениями.

Как бы то ни было, но овощами и фруктами Софья Власьевна народ свой сроду не баловала, подданные ее все поголовно страдали авитаминозом и страстно алкали живых витаминов. А вот на овощебазе поесть (и даже пожирать) продукцию разрешалось в любом количестве, только выносить запрещалось, на выходе могли обыскать самым унижительным образом и за украденную луковицу покарать разоблачительным письмом на работу.

Помнится, в день того дынно-арбузного беспредела, покинув овощебазу, компания наша, состоявшая из взрослых уже людей (к этому времени уже встречались среди нас и плешивые), по домам не разошлась, а отправилась в гости к Элле и Игорю, нашим друзьям и коллегам, где и ликовала до позднего вечера. Увы, многие участники той раблезианской вакханалии переместились в иные миры, кое-кто скрылся за горизонтом, но есть, есть еще с кем предаться сладчайшим воспоминаниям...

А вот другой эпизод из той же коллекции. В тот раз местный Вергилий привел (привела) нас в сухое светлое помещение, до потолка утрамбованное мешками с сухофруктами. Часть мешков была набита накромсаннами кое-как отечественными яблоками и грушами каменной твердости, другая вполне съедобными абрикосами, а в аккуратных картонных коробах обнаружались нарядные целлофановые пакетики с сочным югославским черносливом и изюмом кишмиш. Нам объяснили, в каких пропорциях следует смешивать компоненты: побольше яблок и груш, поменьше абрикосов, по чуточке чернослива и изюма. И в результате наших усилий должен был получиться

(в окрестностях квартиры № 2)

классический компот из сухофруктов, традиционное третье блюдо, завершавшее любой советский обед — хоть в детском саду, хоть на школьной продленке, хоть в столовой самообслуживания. Готовую смесь паковали в дерюжные мешки и складывали в пирамиду для отправки в места назначения.

Конечно же, в раздирании аккуратно запаянных югославских пакетиков и смешивании цивилизованного маслянисто-антрацитового чернослива и первоклассного янтарного изюма с деревянистыми отечественными грушами и простецкими яблоками присутствовал элемент абсурда, оскорбительный для гостей из почти дружественной страны. Но ничего не поделаешь, задание есть задание, смешивать так смешивать!

Как вдруг наша надсмотрщица (тетка местной популяции), угодливо что-то приговаривая, ввела в помещение осанистого субъекта, велела сформировать в спешном порядке четыре мешка компота особого вида и выдала для этой цели не грубые дерюжные мешки, а полотняные, девственные, с притороченными к швам беленькими ярлычками. Эту компотную смесь следовало составить из чуточки яблок, некоторого количества абрикосов, вовсе без груш, но с существенным преобладанием изюма и чернослива. И предназначался этот компот не абы кому, а сотрудникам нашего родного Краснопресненского РК КПСС.

Плотный дяденька размером со шкаф и такой же примерно конфигурации, всего лишь райкомовский шофер, проследил за комплектацией привилегированного компота, и под строгим его надзором наши мужчины погрузили мешки в черную «Волгу». Вспоминаю хлипкую фигурку одного бородатенького художника, лауреата международных премий, покорно бредущего с мешком компота на спине и надзирающего за ним райкомовского шофера, покрывающего на пальце ключи от авто.

Однодневные рабы, мы, конечно же, оценили комизм ситуации, всласть похихикали и сделали соответствующие выводы. Одеты мы были в лохмотья и отрепья, поэтому немало компактных пакетиков с изюмом и черносливом перекочевало в подолы наших пальто и рваных курточек, провалились сами собой сквозь прорехи в подкладке и дырявые карманы. Аксию эту единодушно квалифицировали как противостояние режиму и борьбу за социальную справедливость. Хотя диссидентами отнюдь не были, ютились художественно во внутренней эмиграции и с молодых ногтей помнили — что дозволено Юпитеру, не позволено быку. Однако некоторое количество чернослива с изюмом благополучно вынесли за пределы овощной базы, личного досмотра избежали, и совесть нас не замучила, а если кому-то захочется бросить в нас камень, швыряйте на здоровье...

Но не всех совслужащих гоняли на овощные базы. К примеру, Женина сестра Инна, историк искусства, в те времена экскурсовод в ГМИИ им. Пушкина, по-соседски (всего-то Каменный мост перейти) посещала с лекциями шоколадную фабрику «Красный Октябрь». Принимали ее с шоколадным гостеприимством, на широкую шоколадную ногу, но ни о чем, кроме как о селедке,

она к концу посещения не мечтала. Вот и в нашем случае вослед сладчайшим воспоминаниям об арбузах, дынях и сухофруктах югославского качества вынырнул из глубин памяти денек, прожитый среди бочек с нежинскими огурчиками, хрустящими и пупырчатыми, теми самыми корнишонами, каждый из которых не больше мизинца.

Нежинские корнишоны прибыли в столицу в опоясанных железными обручами бочках, облик которых не претерпел ни малейших изменений со времен изобретения этого вида тары. От славных бочонков веяло чем-то теплым, родственным, уж не голос ли крови померещился? Ведь один из моих прапрадедов, согласно семейному преданию, был бондарем и жил если не в Нежине, то где-то в тех же краях...

Корнишонам, выросшим на одной грядке и вместе прошедшим инициацию (суть засолку), предстояло скорое расставание, нам поручили расфасовать их по полиэтиленовым пакетам и выдали для этой цели жестяные черпаки с длинными деревянными ручками. Но мы зачерпывали пупырчатые огурчики горстями, по локоть запускали руки в душистый рассол, наслаждались тактильными ощущениями и вдыхали аромат полнокровного малороссийского лета, сдобренного чесноком, укропом, душистым перцем, а также вишневым и смородиновым листом. В «день корнишона» мы перепробовали огурчики из всех бочек. Но сколько таких огурчиков можно съесть за один присест? Ну, десяток, ну, два, ну, три, но не больше же четырех... В таких случаях, вроде как в гостях за щедрым столом, лучше все-таки съесть побольше, чтобы наутро не сетовать и не бранить себя за упущенные возможности. Так мы и поступили...

Впрочем, такие лакомые сюжеты выпадали на нашу долю нечасто. Обыкновенно нас бросали на капусту, работу рутинную. Зато мы поднаторели в изготовлении капусты провансаль, продукта в российской действительности незаменимого, первостепенного, гаранта сытости, а также физического и психического здоровья — надежной защиты от авитаминоза и упадка народного духа. Картошка с кислой капустой — ну что еще требуется нашему человеку для выживания? Разве что селедка...

Капустные кочаны препарировали длинными острыми ножами на широких дощатых столах. Перво-наперво обрубали верхние (внешние) листья, особо пострадавшие от предыдущих жизненных пертурбаций. Потом кочаны разрубали, кочерыжки решительно ампутировали (этот деликатес безжалостно обрекали на выброс), а части разрубленного капустного тела швыряли на транспортер, доставлявший их прямоком к шинковальному механизму, достойному экспозиции Политехнического музея, — сооружению архаичному, устроенному надежно и остроумно, наподобие гильотины. Ну а на следующем этапе маэстро из штатных работников овощебазы в соответствии с нормами ГОСТа солил капусту, добавлял клюкву и морковь...

Выдался однажды роковой для капусты год, когда огромный урожай из-за ранних и жестоких заморозков, а также по чьей-то бесхозяйственности

(в окрестностях квартиры № 2)

замерз в гуртах. Леденящий душу парадокс — кочаны окоченели. И по какой-то химической закономерности эти замерзшие капустные кочаны местами обрели густой розовый цвет довольно ядовитого оттенка. Жутковатое зрелище — высоченные смерзшиеся капустные пирамиды (бурты), сочащиеся если не кровью, то сукровицей. Зрелище апокалипсическое, пародия все на те же вешагинские черепа, куда же без них...

У загадки «сто одежек и все без застежек» две отгадки. Это и лук, и капуста. Все учреждения Краснопресненского района бросили той осенью «на капуту» — обдирать с кочанов обмороженные одежды, дабы спасти хоть что-то. Мужчины ловко вскарабкивались на верхушки капустных айсбергов и отколупывали ломami обледеневшие кочаны. Странное возбуждение охватило в тот день капустных спасателей обоих полов, видно, фривольная какая-то компонента витала в атмосфере овощной базы. Однодневные супермены, оседлав вершины ледяных пирамид и попирая сочащиеся капустной сукровицей кочаны подошвами кирзовых сапог, победительно озирали скопившихся внизу дамочек и девиц и отпускали в их адрес игривые шуточки. Нечто вроде гендерного (не побоюсь этого слова) превосходства прочитывалось во взглядах лихих молодцев.

Дамы же и девицы ничуть на это не сетовали, напротив, задорно и кокетливо с молодцами пикировались. Иллюзия же мужского превосходства возникла, очевидно, от разницы в самоощущении тех, кого судьба вознесла на вершину горы (пусть даже капустной), и тех, кто оказался у ее подножия. Одна прекрасная дева из наших (особа благородных кровей и заоблачной самооценки), отбросив присущую ей повседневную спесь, даже прокричала на вершину холма номер своего телефона, и брутальный незнакомец диаметрально противоположного социального облика эффектным жестом отколупнул мороженный капустный лист, ногтем выцарапал на нем телефонные цифры и сунул за пазуху.

Верхние кочаны, отторгнутые хозяевами горы от капустного конгломерата, подпрыгивая на бугристых склонах (считай, по головам собратьев), скатывались со стуком к подножию холмов, девицы и дамочки их подхватывали, помещали на разделочный стол и азартно препарировали. Решительно отсекая обмороженные фрагменты капустных тел, ощущали себя то хирургами, то патологоанатомами, в зависимости от результата усилий (манипуляция эта называлась «зачисткой кочана», но термин «зачистка» не звучал еще так зловеще, как нынче, и душу не леденил). Какие-то кочаны реанимации не подлежали, другие удавалось спасти, вот только от крупного, некогда благополучного кочана совершенной формы размером с футбольный мяч после череды ампутаций оставался жалобный деформированный кочанчик размером с младенческую головку. Из прооперированных кочанчиков складывали новый холм. Не думаю, что те капустные инвалиды добрались-таки до ближайшей торговой точки, а уж тем более до чьей-то кастрюльки. Скорее всего, они снова окоченели, но теперь уж навеки. Видно, неплохую прибыль принесли кому-то те

форс-мажорные заморозки. Кочаны, как уже было сказано, зачищали длинными острыми ножами. Наш кованый ножик с деревянной рукоятью того самого происхождения.

Любая территория, огороженная стеной ли, забором, — это сепаратное пространство со своими свойствами и собственным климатом. Ощущение это знакомо каждому, оказавшемуся, к примеру, в монастырской ограде. Не в том дело, лучше атмосфера внутри ограды или хуже, чем снаружи — просто она иная.

Вот и овощная база представляла собой обширный пересеченный рельсами мирок с центром, окраиной, транспортным сообщением и своеобразной архитектурой (по-своему стильной), живший по своим правилам и населенный обитателями особой породы. За бетонным забором овощной базы текла иная жизнь (может, даже со своим летоисчислением) и кипели невнятные для нас страсти. Контакты между местной публикой и пришельцами практически не возникали, взаимный интерес отсутствовал начисто. Мы для них и они для нас были, судя по всему, все на одно лицо, как китайцы для европейцев. Только по необходимости и всего на одну рабочую смену смутно напоминалось лицо куратора, а если б встретили его через пару часов в иной обстановке, то не узнали бы.

Но вот что странно: ни одна из тех трудовых вахт, даже самая слякотная и самая склочная, не оставила по себе дурной памяти. Бывало, в процессе механической той работы являлись не самые глупые мысли, затевались увлекательные разговоры и даже души чьи-то и характеры раскрывались с неожиданной стороны. Философствовали помаленьку, упражнялись в остроумии, разгадывали по ходу дела кроссворды. Неужто и вправду физический труд объединяет? Не скрою, я грешу склонностью к идеализации прошедшего, сглаживанию углов, корявостей и всяческих заусенцев. Выборочная у меня память, и по этой причине нередко перегибаю с пасторалью. Знаю, что многие мои овощные соратники и коллеги вспоминают наши труды на благо социалистического общества с досадой и отвращением.

А вот питерская писательница Инга Петкевич, завсегда тай ленинградских плодоовощных баз, в романтической драме «Плач по красной суке» раскрыла ту же тему в ином ключе, фантазмагорическом, шокирующем, но абсолютно правдоподобном. Удивляюсь задним числом, как это получалось, что тысячи и тысячи граждан, десятилетиями трудившиеся на овощных базах, с задачей, поставленной перед нами партией и правительством, ну никак не справлялись. Видно, мафиози, заправлявшие этими предприятиями в советские времена, — младенцы из ясельной группы детского сада по сравнению с нынешними профессионалами овощной торговли (а может быть, за прошедшие годы прежние мафиози просто-напросто повысили свою квалификацию). Нынче-то мы по два часа в очереди за луком и за морковкой не стоим, зато овощные базы, по слухам, стали самыми натуральными рабовладельческими государствами, и трудятся там люди подневольные. Работают они день

(в окрестностях квартиры № 2)

и ночь, на совесть, носа за пределы базы не высовывают из-за отсутствия московской регистрации. Оказывается, на российских просторах рабовладельческий строй неизмеримо эффективнее развитого социалистического. Ну не печаль ли это?

Нынче в двух шагах от той проходной функционирует овощной рынок, относительно дешевый. К этому ангару стекаются со всех сторон пенсионеры с сумками на колесиках. Уверена, встречаются среди них и те, кто потрудился здесь в молодую, продуктивную свою пору, поэтому здешняя овощная продукция им слаще и милее обретенной в иной торговой точке...

Первая попытка итога. У каждого из тысяч предметов, поселившихся в нашем доме, свои жизненные сюжеты. В сущности, текст этот безразмерен, и одной человеческой жизни недостаточно, чтобы хотя бы малую их часть реконструировать и изложить. Выхвачено из всего удручающего изобилия несколько случайных объектов. Практически без всех них (ну, может, за исключением мебели — надо же на чем-то сидеть, спать, есть) лучше было бы обойтись.

Есть же на свете правильные, разумные люди, которые ни разу в жизни не притащили домой никакой рухляди, никакого хлама, не позарились ни на какую помоечную дрянь. Ежеминутно думают они о полезном, не забывают мозги размышлениями о черепахах, кружках, ножиках и прочей чепухе, а главное, регулярно одолевают ремонты (пусть не капитальные, не евроремонты, но хотя бы косметические). Я перед такими людьми преклоняюсь, завидую им отчаянно и сожалею, что мы уродились другими! Давно уж пришла пора пересмотреть свое поведение, исправиться и поставить в этом тексте точку. Однако еще разок, ухватившись за самый ничтожный предметец, возьму, да и отдамся на волю ассоциативных волн, прослежу путь, проделанный свободным от руля и ветрил иррациональным моим сознанием, и погляжу, какие сюрпризы оно преподнесет?

Взять, к примеру, этажерку обыкновенную. Ту самую, с незатейливыми, выточенными на токарном станке колонками и четырьмя полочками. Этажерку *vulgaris*, обитавшую в течение прошедшего века едва ли не в каждом доме. Предмет простенький, копеечный, но вместительный и удобный, заменявший советскому человеку и книжный шкаф, и буфет, и много чего еще. А самое главное, легкий, занимавший минимальное пространство (важное качество при тотальной тесноте жилищ) и с легкостью втискивавшийся в любой простенок.

И у нас была некогда бамбуковая этажерка, но от непомерной книжной тяжести она развалилась, распалась на бамбуковые составляющие, и мы отнесли ее на помойку, о чем вскоре и пожалели. Но однажды друг наш Александр Борисович, некогда отстоявший для нас книжный шкафчик в стиле третьего рококо, сообщил, что тетушку его и бабушку, проживавших испокон веку в доме на углу Большой Никитской и Большого Кисловского переулка, выселяют

из насиженного гнезда, и нужно пристроить в хорошие руки семейную этажерку и пару венских стульев. Стоит ли говорить, что «хорошие руки» — это про нас, и в тот же вечер мы поспешили на Большую Никитскую, в двухэтажный дом, выстроенный сразу же после пожара 1812 года.

Множество раз проходили мы мимо дома того же разбеленного желтого цвета, что и университетские и консерваторские здания по соседству, а оказавшись внутри, увидели своими глазами фрагмент классической жилой анфилады. Обычно анфилада представляла собой ту часть московского дома, где жили хозяева, а комнаты, выходящие в коридорчик, параллельный анфиладе, выполняли служебные функции. По коридорчику сновала прислуга и где-то там, в каких-то глубинах, она и обитала. Московские квартиры с анфиладами давным-давно стали коммунальными, а двустворчатые двери между комнатами ликвидировали: заложили кирпичами, заколотили досками, заклеили обоями, загородили буфетами и гардеробами. Жилые анфилады знакомы нам исключительно по картинам старинных мастеров, любителей интерьеров: Федора Толстого, Капитона Зеленцова, Евграфа Крендовского, а также виртуозного акварелиста Эдуарда Петровича Гау. А вот в доме на углу Большого Кисловского и Большой Никитской старомосковская анфилада частично сохранилась, и обитали в ней до поры до времени родственники нашего друга.

Переезд старых москвичей из обжитых, пусть даже и коммунальных берлог в центре города становился для многих событием драматическим, а бывало что и трагическим. В тот раз мы оказались в эпицентре драмы — быт уже разрушен, предметы смещены с привычных мест, сборы в разгаре. Не бодрые молодые хлопоты в светлых мечтах о прекрасном будущем, а тягостные сборы пожилых людей.

Покидая насиженные гнезда, переселенцы с болью в сердце отказывались от многого, в том числе от крупногабаритной мебели, в пространстве квартир-новостроек не помещавшейся. Продать старомодную мебель обычно не удавалось, и прекрасные вещи попросту бросали на произвол судьбы, то есть помойки московского центра, а также уже выселенные, но еще не разрушенные дома переполняли чье-то имущество и нередко антиквариат, далеко не всегда в руинированном состоянии. Ценители старины обследовали выселенные дома, отвинчивали бронзовые дверные ручки, шпингалеты, подбирали старинные фотографии и прочие брошенные за ненадобностью раритеты.

В доме Сашиных родственниц нас ожидали обещанная этажерка и два венских стула, с ними-то мы и пошли домой, пешком пошли, все тогда было близко, рукой подать. Вечер на дворе стоял нежнейший, Женя нес этажерку, мы с приятелем по венскому стулу, эталоном которого стал некогда стул № 14, сконструированный мебельным мастером Михаилом Тонетом в 1859 году. Это гениальное сооружение изготавливалось из гнутого дерева твердых пород (в идеале из бука), состояло из 6 деталей, скреплялось винтиками,

(в окрестностях квартиры № 2)

и каждый, даже самый неумелый человек мог собрать его совершенно самостоятельно. Объем ящика, вмещавшего детали для 36 стульев, составлял всего-навсего один кубический метр, прочность же изделия такова, что венский стул, сброшенный в рекламных целях с Эйфелевой башни, остался цел и невредим. Что же касается пропорций и конфигурации стула № 14, они кажутся мне совершенными...

Делегированный Серебряным веком в наши дни блистательный художник Дмитрий Исидорович Митрохин до конца своей долгой жизни рисовал все, что его окружало, ощущая в самом незначительном, самом будничном предмете неповторимую красоту. На равных правах с цветами, плодами, морскими раковинами и прочими красотами его вдохновляли предметы сугубо обыденные, наподобие склянок и аптечных пузырьков. На одном из его рисунков группа расставленных в беспорядке венских стульев, небольшое такое стадо трогательных животных неведомой породы.

Долгие годы работы Митрохина не выставляли, но наконец (дело было в конце 60-х) выставка состоялась. Мне повезло, первая моя заказная работа — макет каталога этой выставки (простейший, элементарнейший макет), и в качестве награды мне достался рисунок, который сама я и выбрала из предложенных двух, а может трех сотен листов. Так вот, то стадо (или стайку) венских стульчиков с выставки украли! Все пришли в ужас, не знали, как сообщить о случившемся девяностолетнему художнику. Наконец решились... Реакция оказалась неожиданной. Дмитрий Исидорович улыбнулся прелестной своей улыбкой и сказал: *Ну что же, значит, рисунок очень понравился человеку, если ради него он пошел на преступление. Художнику это должно быть лестно.*

Ну а стульчики, прибывшие из Кисловской слободы, ничуть не бравидуя венской своей генеалогией, сначала жили в нашей мастерской, а потом перебрались на дачу. И этажерка *vulgaris* тоже служит верой и правдой. Все эти годы она в деле, на удивление вместительна, прочна, по мере надобности кротко мигрирует в нашем загроможденном пространстве и скромно вписывается в любой предложенный обстоятельствами закуток. Хотя с точки зрения дизайнера не идет ни в какое сравнение со стулом № 14...

Обозрев все вышенаписанное, я подумала, что эксперимент более или менее удался. Всего лишь простенькая этажерка и два венских стула в качестве буксиров вытащили на свет пару сюжетов, вроде бы ничем друг с другом не связанных. А ведь много чего еще можно было бы при желании приплести (или присобачить) и к стульям, и к этажерке. Но для чего на самом-то деле пишутся такого рода тексты из разряда воспоминаний? Похоже, у них имеется подоплека, о которой не сразу и догадаешься. Видно, вороша прошедшую жизнь, перетряхивая ее и препарируя, извлекая на свет божий всяческую чепуху и разглядывая ее под микроскопом, на самом-то деле доморощенные мемуаристы, может и не отдавая себе отчета, ожидают тот миг, когда возникнет невесть откуда чье-то имя, вслед за именем лицо, голос и оживет

образ. То есть случится нежданная встреча, как если б из-за поворота вдруг вышел человек, давным-давно отсутствующий в этой жизни, вышел и оказался живым, здоровым и вполне еще молодым. Может, это и есть оправдание до-сужего писания подобного рода?

Вторая попытка итога. И еще один документ эпохи. Если не здесь, не в этом тексте, где же еще он будет уместен... Перечень предметов списан из записной книжечки моей прабабушки Зинаиды Яковлевны Бари, к моменту этих записей четыре года как овдовевшей. Одна из младших ее дочерей Мария, сестра милосердия, повстречала на войне свою судьбу — хирурга Владимира Михайловича Федорова, в последующей жизни педиатра. К предстоящей свадьбе прабабушка отнеслась со всей серьезностью и принялась готовить дочери приданое, дотошно фиксируя каждую по-купку, любое приобретение.

Тем более что опыт имелся, она уже выдала замуж четырех своих дочерей. Всего она родила шесть девочек и четырех мальчиков, самый старший умер в младенчестве, зато остальные прожили до старости, и некоторые до глубокой... То есть в общей сложности Зинаида Яковлевна подарила детям 758 лет жизни. Может показаться, что нижеследующий текст длинноват и однообразен, но я думаю иначе. В этом заботливом материнском перечне мне слышится ритм ушедшей эпохи (не верилось, что она канула навсегда и никогда не воротится), рачительная мать готовила дочь к семейной жизни по образу и подобию своей собственной, пришедшейся на иные времена. Сокращать текст не хочется не только в заботе о его аутентичности, но и потому, что есть в этом дотошном списке (тем более зная последующую судьбу всех этих разумных предметов) нечто трогательное и грустное... Итак:

Мане приданое

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 28 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА | 1 скатерть 4 арш. и 12 салфеток |
| 6 простынь | с ажурным рубцом — 33.90 |
| с ажурным рубцом — 84 | 24 арш. полотна |
| 12 полотенец — 41 | по 2 руб. 80 к. за арш. — 43.20 |
| Чайная скатерть 3 1/2 арш. серая | 1 гарнитур — батистовая сорочка |
| и 6 салфеток — 13.60 | и панталоны с кружевами 85.00 |
| Чайная скатерть голубая | 2 гарнитура батистовые — |
| и 6 салфеток 3 арш. — 23.75 | сорочка и панталоны — 31 |
| Скатерть белая | 1 сорочка — 5 |
| и 12 салфеток — 35.55 | 1 гарнитур — батистовая сорочка |
| 12 носовых платков — 14 | и панталоны — 15.75 |
| | 1 панталоны полотняные 7.50 |
| МАРТ 1917 | 1 сорочка нансуковая — 6.75 |
| 6 простынь с ажурным рубцом — | 1 сорочка нансуковая |
| 79.25 | и 1 панталоны нансуковыя — 6 |

(в окрестностях квартиры № 2)

1 панталоны нансуковые — 4.20

Чайная скатерть желтая
и 6 салфеток с ажурным
рубцом — 30.901 сорочка и панталоны
нансуковые — 12.50

1 гарнитур нансуковый — 12.50

2 сорочки ночные нансуковые — 20

2 денные сорочки нансуковые — 13

1 батистовая сорочка денная — 10

1 панталоны нансуковые — 7.25

8 арш. фэй шелковая лиловая
материя на костюм
по 16 р. 50 к. за арш. — 1323½ арш. белой подкладки шелков.
на костюм — 28.882½ арш. шелков. клетчатой материи
на блузку — 29.389 арш. шелковой белой
материи на подвенечное
платье — 112.502 скатерти по 3 арш. столовая
по 15 р. 80 к. за одну — 31.6012 салфеток столовых того же
рисунка — 25.5027¾ арш. полотна по 1 р. 80 к.
за аршин — 49.95

1 скатерть 4 арш. — 21

6 салфеток — 12.75

2 пары панталон нансуковых — 18

Накитки 2 батистовые — 32

Халат купальный — 32

Апрель 1917

1 ночная сорочка нансуковая
с шитьем — 13.751 ночная сорочка батистовая
с русской прошивкой — 11.501 ночная кофточка нансуковая
с шитьем — 6.85

1 ночная кофточка с шитьем — 8.50

2 ночные сорочки нансуковые
со строчкой — 3310 арш. белого либерти материи
для подкладки подвенечного
платья по 6 р. — 603½ арш. белой материи
прикуплено для подвенечного
платья — 43

6 полотенце мохнатых — 31.50

23½ арш. саржи шелковой материи
на 2 одеяла и 4 подушки — 14118 арш. сатину подкладки
для 2 одеял — 49.50

Остаток саржи фрез 1¾ арш. — 8

1 чайная скатерть лиловая
с ажурным рубцом 5 арш.
с 12 салфеток — 53.80Чайная белая скатерть
с ажурным рубцом — 22.506 салфеток
с ажурным рубцом — 5.75

Юбка белая шелковая нижняя — 45

45 арш. широкого полотна
по 4 р. 61 к. за арш.
для пододеяльников — 207.456 дюжин перломутовых пуговиц
для одеял — 4

1 синяя шелковая юбка — 31.75

2 белых покрывал — 22.50

2 купальные простыни
мохнатые — 20.207 фунт. Ваты пуховой
для 2-х одеял — 31.502 арш. кружев
для подвенечного
платья — 15.80

2 купальные простыни — 22

1¾ арш. серая скатерть — 7.75

2 метолческие кровати — 440

2 матрацы пружинных — 125

2 матраца волосяных — 125

Май 1917

20 арш. полотна
на 6 простынь — 45

14 арш. широких кружев
для подзорников — 28.70
Скатерть столовая в 3 арш.
и 6 салфеток — 23.48
Припложено за батистовыя
2 кофточки — 29.65
Чемодан — 67.50
3 дюжины запонок костяных
для налвочек — 1.65
Тюль на фату подвенечную
3 арш. по 4 р. 50 к. за арш. —
13.50
2½ арш. атласа розового
по 2 р. 50 к. за арш. — 6.25
3 букета флердоранжа — 15.80
Убор на голову
из флердоранжа — 17
За работу костюма шелкового
лилового — 98
За шитье подвенечного
платья — 75
За шитье блузки
серой шелковой — 28
Венчальные свечи — 18.40
Свадебный обед
для Мани и В.М. — 54. 19
Стол без вина и цветов — 375.75
Вино — Володя. Цветы — Витя
За метку 6 полотенец — 3
За шитье 2 одеял
стеганых шелковых — 24
За ажурную строчку
6 пододеяльников — 9
Скатерть столовая
5 арш. длины — 26.30
12 аршин прошивок
для налвочек русск. 13.20
За метку белья — 3.35
15½ аршин холста для 6 чайн.
полотенец и кружева — 20.28
15 гр. пуху на 4 подушки — 118
8 арш. муслину для накидок
на подушки — 10

Июнь 1917

За шитье 5 пододеяльников — 21
Столовый сервиз
1½ дюж. стаканов больших
1 дюж. маленьких, 1 дюж. рюмок,
графин и проч. — 151.45
Кухольная посуда разн. — 46.85
Чайный сервиз — 38
12 тарелок, ваза, 12 блюдечек
для варенья, салонки,
графин и стакан — 46.60
45 арш. для занавес,
18 арш. тюлю — 18.80
За метку 6 простынь — 3
За вышивания 2-х монограмм
на одеяла — 20
Самовар — 90
Поднос для самовара — 7.75
Ступка медная — 14.10
3 ножа для кухни — 10.55
Мясорубка — 9
Чайник и полоскательница — 2.70
На два окна занавесы — 4
2 коврика для кровати
и половики — 41.60
Кухольная посуда — 45.10
1 дюж. ножей
и вилок столов. — 30
1 дюж. ложек столовых — 45
1 дюж. ложек чайных — 22.50
1 разливательная ложка — 6.75
3 щепцов для орех и сахара — 3.70

Июль 1917

12 венских стульев — 140
Манедонд (?) на мебель — 100
3 передника прислуге — 11
Ведро эмалированное — 14.50
Кастрюля и ковши — 9.25
2 строченые салфетки — 22

СЕНТЯБРЬ 1917

2 покрывала пикейных — 30

(в окрестностях квартиры № 2)

Ковер на тахту — 228
 Ковер афганистанский — 650
 За метку 12 налвочек — 9
 За подшивку 3 дюж. салфеток
 и 3 скатертей — 4.50
 За метку 6 салфеток — 4.50
 Серебро 12 столовых и 12 чайных
 ложек, ситка чайная и 1 вилка
 для лимона — 900

Октябрь 1917

Скатерть плюшевая — 60
 2 салфетки
 для ночных столиков — 9
 2 медных кастрюли
 1 большая с крышкой — 50
 1 маленькая с крышкой — 25.50
 1 белая маленькая эмалированная
 кастрюля — 7.25
 1 кастрюля медная с крышкой
 и у крышки ручка — 47.25

Кофейник мелхилированный — 54.60
 Полоскательница — 10

Ноябрь 1917

За метку 12 полотенец — 8.40

Декабрь 1917

Гусятница — 9

Январь 1918

Дано на вилюнчель — 400

Июнь 1918

Кухольная посуда — 109
 5 сковород
 3 кастрюли
 3 формы

Июль 1918

Стол обеденный
 купленный у Кохманского — 150

7.152 р. 52 к.

*Манин свадебный обед
 стоил без вина и шампанского
 378 руб. в 1917 г.*

Федоровы обвенчались и переехали в Казань, где и прожили всю жизнь. Вслед молодым супругам в багажном вагоне отправилось и немаленькое Манино приданое, но места назначения не достигло, потому что по дороге состав атаковала банда и вагон разграбила. Не исключено, что некоторые из тех добротных предметов, рассчитанных на века, живы и поныне, но судьбы их сложились иначе, чем предполагала прабабушка. И по этой причине семье Федоровых пришлось особенно туго, ни при военном коммунизме, ни в последующие голодные годы не было у них никакого подспорья, нечего им было отнести в Торгсин или обменять на еду. А как выручили бы Маню все эти скатерти с мережками, простыни с ажурным рубцом и прошивками, вся эта «кухольная» посуда, эх-эх... Но ничего, обошлись, вырастили трех дочерей и двух сыновей, и нынче живет на свете обширное, разнообразно одаренное и очень славное их потомство, наши родственники. Орфографию прабабушкиных записок из опасения, как бы не нивелировался образ их автора и не выдохся аромат времени, оставляю без изменений...

А вот благодарственное письмо, написанное каллиграфическим (писарским) почерком тремя годами ранее, в те времена, когда с будущим своим мужем Маня Бари и знакома-то еще не была:

Москва 10 ноября 1914.

Госпоже Марии Александровне Бари.

Благодарственное письмо.

*От раненых солдат находящихся
на излечении в Земском лазарете
Симоновского района при котель. заводе
Инж. А. В. Бари.*

Мы раненые солдаты прибывшие с поля брани все грязные, усталые, холодные, голодные и больные не только телом но и душой. И мы нашли себе радушный приём в выше описанном лазарете. Там нас встретили все сёстры милосердия. И кто из нас мог идти сам тот шёл а некоторые идти не могли тех они носили на носилках. Первым делом повели нас в ванную мыть и щетками очищали всю копоть от Германской и Австрийской грязи и снарядов, которую мы уже не надеялись отмыть, после ванной нас накормили вкусным обедом, а после обеда нам стали оказывать помощь перевязывать наши больные раны и больше всего нам оказывала сестра Мария Александровна Бари, она помогала доктору перевязывать раны и каждого из нас ободряла ласковыми словами, как родная мать ободряет своих детей, а при её ободрении, много опытной и осторожной повязки мы не чувствовали своей сильной боли. В лазарете уход за нами прекрасный, кормят нас очень хорошо так, что нам дома у себя приходилось есть такую пищу очень редко разве только по большим праздникам это не каждый. И всего вдоволь. Но дорожке всего нам ласковья слова которые мы слышали от всех лиц ухаживающих за нами, но больше всего от сестры Марии Александровны Бари, которая всегда с нами шутила и смеялась. Люди мы простые, добро и ласку ценим и на той заботе им большое спасибо. Благодаря их заботам теперь мы здесь отдохнули и немного набрали сил. Помещение здесь тёплое, чистое и светлое. Еды дают вволю, провизия свежая и вкусно приготовленная. Папиросы, спички, открытки, бумагу и конверты, все дают без отказно по первой нашей просьбе. А так же нам выписывают разные газеты, дают читать книги и журналы. Кровати и белье все новое чистое, уход самый превосходный, отношение служащих предупредительное и сердечное, за что ещё раз приносим нашу самую искреннюю и сердечную благодарность. Теперь благодаря их заботе мы чувствуем себя бодрыми и снова готовы идти на врага для защиты Святой Руси, Царя, отечества и нашей родины. Когда нас выписывают к воинскому

(в окрестностях квартиры № 2)

начальнику то нам дают тёплые вещи. А когда мы вернёмся на Родину, то будем рассказывать, что какие на свете бывают добрые и хорошие люди которые заботятся больше чем о своих родных детях.

*В чем и своеручно подписуемся ниже следующими подписями
гренадёр 3 Перновского полка 3 роты...*

Да уж, давно пора мне вспомнить совет, данный на все времена Козьмой Прутковым: если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.

Но прежде чем заткнуть хрестоматийный фонтан, помещу-ка я здесь еще один документец во вкусе писателя Зощенко, напечатанный на пишущей машинке «Ундервуд». Две хрупкие странички, обнаруженные среди прочего в бумагах моего деда, присяжного поверенного. Напоминаю, что в те времена, когда документ этот явился на свет, к вещам относились со всей серьезностью и уважением, как они того и заслуживают, о какой-либо их девальвации не могло быть и речи. Согласитесь, что любой, даже самый ничтожный предмет является плодом цивилизации, результатом чьих-то раздумий, интеллектуальных и физических усилий, более или менее высоких технологий, а также залогом жизненного комфорта. В каждой из перечисленных ниже сугубо утилитарных вещей заключена бездна смыслов. Итак...

Охранительная опись

4-6-29 г. на основании предложения за № 66/10 произведена опись имущества, принадлежащего умершему 26-5-29 г. Троянову М.Л., постоянно проживавшего в д. 26, кв. 21 Южная Гостиница, Сандуновский пер., Налогучасток № 12, д. в ведении Жил. Т-ва.

Он был одинок, но когда описывались вещи, то хозяйкой квартиры было заявлено, что она с ним была в сожительстве, но не расписывалась. Из наследников совместно с умершим проживали следующие лица: Вадецкая Кира Андреевна (которая заявила, что она ему жена).

Бритва — 1 — 3 руб.

Портсигар серебр. — 1 — 1 руб.

Бутафор. кольцо — 1 — 30 руб.

Грелка резин. — 1 — 1 руб.

Одежн. щетка — 1 — 0 руб. 30 коп.

Одеяние синее шерстяное — 1 — 3 руб.

Войлок желт. одеял. — 1 — 1 руб.

Осеннее черн. сукон. пальто — 1 — 50 руб.

Зимн. пальто с выдр. воротн. — 1 — 30 руб.

Серое осен. пальто — 1 — 19 руб.

Ремень для бритвы — 1 — 0 руб. 50 коп.

Фокстротон — 1 — 2 руб.
Воротничков — 24 — 2 руб. 40 коп.
Кашне сер. — 1 — 1 руб.
Пульверизатор — 1 — 1 руб.
Монокль — 1 — 0 руб. 50 коп.
Лайков. перчатки — 1 п. — 2 руб.
Наволочка — 1 — 0 руб. 30 коп.
Кальсоны — 1 — 0 руб. 50 коп.
Носков — 3 п. — 1 руб.
Костюм серый — 1 — 30 руб.
Сорочки — 3 шт. — 10 руб.
Чемодан обит. клеен. — 1 — 1 руб.
Коробка для белья — 1 — 1 руб.

Описанные вещи сданы на хранение гр. Вадецкой Кире Андреевне, прож. д. № 20, кв. 21, Кузнецкий мост. Описанное имущество приняла на хранение и копию описи получила.

Вадецкая
Опись сост. предст. МФО (подпись)
При описи присутствовала
Курьер Кашлина

Договор

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Матильда Васильевна Цильц и с другой стороны Кира Андреевна Вадецкая, заключили настоящий договор в нижеследующем.

1. Цильц обязуется передать Вадецкой, выслав почтой по адресу: Москва, Кузнецкий Мост, 20, кв. 21, — котиковое манто, бурку, шляпу и юбку, находившиеся в вещах умершего Троянова, унаследованных Цильц.

2. Вадецкая обязуется выслать почтой по адресу: Киев, Михайловская, 24, кв. 4 Матильде Цильц унаследованные последней вещи покойного Троянова, находящиеся у Вадецкой на хранении, согласно описи от 4-6-29 г., на осн. Предл. От 30-5 за №66/10.

3. Вадецкая обязуется при подписании сего договора вернуть Цильц два обязательства Цильц о выдаче Вадецкой разного рода вещей из наследства Троянова с надписями на них Вадецкой об аннулировании их.

4. Вадецкая обязуется при подписании сего договора уплатить Цильц 28 (двадцать восемь) рублей в возмещение расходов по получению Цильц наследства Троянова в части пропорциональной стоимости вещей, выдаваемых Цильц Вадецкой.

(в окрестностях квартиры № 2)

5. Вадецкая обязуется выслать вещи Цильц в срок не позже трех дней от дня обмена сторонами подписанными экземплярами сего договора, а Цильц обязуется выслать вещи Вадецкой в срок не позже трех дней по получении всех вещей посланных Вадецкой согласно вышеупомянутой описи.

6. Расходы по пересылке и страховке каждой из посылок идут за счет каждого из посылающих посылку. Посылка, адресованная Цильц, должна быть застрахована в 214 рублей, а адресованная Вадецкой в 280 рублей.

7. Сторона, нарушившая этот договор, уплачивает правой стороне неустойку в сумме 200 (двести) рублей.

Можно, можно всласть похихикать над курьезным документом и сопутствующей ему дамской суетой, но это жестоко и несправедливо. В основе вроде бы мелочной тяжбы драматический треугольник, три судьбы, и если обе его фигурантки к июню 1929 года были еще живы, то мужчина, посеявший между ними рознь, уже покинул земную юдоль. Кира с Матильдой составили договор, не откладывая дела в долгий ящик, на девятый день после ухода дорогого обоим человека, может, и поторопились. Но не судите, да не судимы будете. Мы ведь не знаем, какие узы связывали Киру Вадецкую, Матильду Цильц и М.Л. Троянова, каких гордиевых узлов навязала им судьба...

Впрочем, внутренний голос советует воздержаться от ненужных фантазий и не пытаться реконструировать давнюю драму. Опасно загружать воображение образом еще живого Троянова с моноклем в глазу и бутафорским кольцом на безымянном пальце, привычным жестом вынимающего из кармана серых брюк серебряный портсигар; Киру Вадецкую, озабоченно распаковывающую киевскую посылку и взволнованно встряхивающую котиковое манто — не потрачено ли оно молью; Матильду Цильц, пересчитывающую прибывшие из Москвы вроде бы незначительные, но дорогие ее сердцу предметы, всего 24 наименования... Того и гляди потеряешь бдительность, примешься сочувствовать незнакомым и давно уж покойным людям, погрузишься ненароком в чужие бездны и оглянуться не успеешь, как посторонняя, мхом поросшая и заплесневевшая судебная тяжба затянет в свой омут...

Но почему бы не предположить, что разборка между Матильдой и Кирой вызвана не одной только алчностью этих гражданок, хотя по-человечески и понятной. Не исключено, что с некоторыми из перечисленных в описи предметов каждую из женщин связывали воспоминания личного свойства. Возможно, серебряный портсигар, бутафорское кольцо, монокль или серое осеннее пальто означали для каждой из них нечто большее, чем просто портсигар, бутафорское кольцо, монокль и серое осеннее пальто... Поэтому не станем ерничать над дотошной описью и мелочным договором, не отнесемся к этим человеческим документам высокомерно или снисходительно. Как и к любым другим, самым незначительным бумажонкам, свидетелям прошедших

эпох и чужих жизней. Занятных бумажек у нас прорва, судьбу каждой можно реконструировать с той или иной степенью достоверности, но это в другой раз, а пока постараемся почувствовать уважение к предметному миру во всех его проявлениях, будь то лайковые перчатки, обшитый клеенкой деревянный чемодан или потертый на сгибах клочок бумаги.

Вообразишь на минуточку биографии самых нелепых из перечисленных предметов (давным-давно, кстати сказать, обратившихся в прах и оставивших след своего существования исключительно в этой описи), пофантазируешь по поводу встреч, тайн и интриг, хранившихся в их памяти, если таковая у них имелась, и голова от такой ретроспективы закружится.

P.S.

Просьба к гипотетическому читателю: если кто-нибудь знает, что такое «фокстротон», пусть сообщит автору текста или его наследникам. А весь этот растянувшийся до бесконечности текст можно было бы завершить словами из рукописной книги поморского проповедника Ивана Филлипова «История краткая в ответах сих»: *Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевлени...* Именно эти строки Бунин поставил эпиграфом к «Жизни Арсеньева»...





017
21

Потаповский

переулок

Всему фейсбуку, а также его окрестностям известно, что доктор Моторов, alter ego медбрата Паровозова (см. «Юные годы медбрата Паровозова» и «Преступление доктора Паровозова», изд. «Corpus»),

не только лечит, но и дает бесценные советы, разгоняет тьму невежества, воссоединяет семьи и всяко заботится о людях, а также сводит их друг с другом (в хорошем смысле) и делится друзьями. А одновременно, как и положено медику, держит руку на пульсе издательства, с которым связан дружескими и производственными узами. Не только пишущий, но и читающий доктор охотно делится книжными открытиями. И когда придет пора антологии «Деяния медбрата Паровозова», желающие смогут присоединиться к проекту с собственными сюжетами, связанными так или иначе с добрым доктором, и внести свою лепту.

Вот одна из историй, в которой без доктора не обошлось. В 2013 году в издательстве «Corpus» вышла книга актрисы Александры Коротаевой «Наша прекрасная треклятая жизнь». Книжка о детстве, о маме и о сестре, о теплом городе Феодосия... Доктор высоко оценил книгу, тотчас познакомился с Шурой (он, как и положено медбрату-реаниматологу, человек стремительный) и познакомил с нею меня. А мы-то с Шурой авторы самодеятельные, натуральные неофиты, поэтому лишены ревнивого писательского чувства и полны свежего взаимного интереса, не замутненного духом соперничества и всякими разными фобиями. Я тотчас выписала в «Лабиринте» Шурину книжку, а Шура выписала мою. И вот что она мне написала:

(в окрестностях квартиры № 2)

Получила книжку, долго ее просто рассматривала. Есть там одна картинка А. Айзенмана «В Потаповском переулке». Мне было 13 лет, мы жили в Новосибирске, и в какой-то момент я ощутила острую необходимость иметь собственный угол. Что делают все нормальные советские люди в таких случаях? Перегораживают комнату шкафом. С невероятными усилиями выклянчив у мамы разрешение на перестановку нашей скромной мебели. Желтый зеркальный шифоньер, который в дальнейшем должен был играть роль стены, оказался таким тяжелым, что в какой-то момент мы даже думали расстаться с мыслью о пертурбации нашей спальни, но мой ослиный характер взял верх. Но задняя стенка шифоньера была так беспроблемно скучна, что образовавшийся угол, о котором я так мечтала, стал чистым наказанием.

Письменный стол, примыкавший теперь к шкафу, напоминал мне рабочее место сапожника или часовщика, а моя кровать — спальное место прислуги. Промаявшись полдня в личном полутемном закутке и попытавшись привыкнуть к автономии, я почти готова была своими силами вернуть все обратно, но тут в мою голову пришла новая блестящая мысль — прилепить на фанеру шкафа картинку!

Вырвав из журнала «Огонек» хитрое, почти мужское лицо Джоконды на весь разворот, я кусочками пластилина закрепила его в центре. Теперь за шкафом нас было двое. Я и она. Уютнее не стало. Казалось, что она подсмеивается надо мной. Это придало мне новые силы. Через несколько минут рядом с Джокондой красовался вырезанный из журнала «Крестьянка» фрагмент фрески Микеланджело «Сотворение Адама». На нем были изображены две руки, протянутые друг к другу. Я почувствовала поддержку, окрылилась и поняла, что стою на правильном пути.

Отойдя подальше, насколько это было возможно, я поняла, что жизни в этих картинках мало. Решительно открыв ящик серванта, я вынула оттуда пачку открыток с репродукциями картин, тогдашнее наше с сестрой увлечение. Теперь рядом с Микеланджело и Да Винчи поселился Лотрек. Три картинки, три тетки, которых никак нельзя было упрекнуть в отсутствии жизни. Одна, задрав юбки выше колен, танцевала канкан, другая, вытянув шею и безобразно кривя рот, пела, третья, наклонившись голой грудью над тазом, намыливала себе шею. Вот теперь была жизнь! Но меня в этой жизни не было.

Я попыталась прислушаться к своему внутреннему голосу, задала себе вопрос: «А какого рожна тебе надо? Шкаф стоит, собственный угол есть, картинки висят, что еще?» Алиска, наша кошка, уже сидела на шифоньере и, вытянув голову, требовательно таранилась на меня. Я еще раз стала пересматривать открытки, и тут

мое сердце дрогнуло... А. Айзенман. «Москва. В Потаповском переулке». Изображен кусочек улочки с мокрым асфальтом, две машины,двигающиеся в разных направлениях, несколько домов и деревьев, кусок набухшего от влаги забора. Все. Непонятно: было это утро или вечер, весна это или осень, дождь идет или уже прошел, но то, что вдруг, в секунду, я осознала, что это мое, родное, стало ясно!

Спустя много лет, живя в разных районах Москвы, переезжая с одной квартиры на другую, я и эта трехкопеечная открытка всегда были вместе, и она глядела на меня из всевозможных стекол книжных шкафов и сервантов. На протяжении всей жизни, когда ее вижу, вздрагиваю от созвучия МОЕГО с ЕГО, почему-то перехватывало горло, глядя на нее. Какая-то ПОТЕРЯ и НАДЕЖДА одновременно. У меня какое-то странное ощущение появилось. Ощущение чего-то нового в моей жизни. Нового этапа. Это я почувствовала, когда открыла книгу в отделе доставки. Увидела «Потаповский», что-то щелкнуло, я встrepенулась и пошла под дождем переулками Китай-города. Я сама себя не поняла тогда, просто шла и радовалась дождю...

Пейзаж «В Потаповском переулке», репродуцированный в числе прочих работ на цветной вклейке в книге «Квартира № 2 и ее окрестности», отец мой Алексей Айзенман написал в 1971 году, а в 1974 в свет вышла открытка ценой всего-навсего 3 копейки, зато тиражом 6000 экз. И эту открытку в холодном Новосибирске, куда судьба и обстоятельства треклятой жизни переместили Шурина семью из теплой родной Феодосии, купила тринадцатилетняя девочка. Ладно бы просто купила, но ведь прониклась к скромной репродукции особыми чувствами!

Трехкопеечные открытки, выпускавшиеся в широком ассортименте огромными тиражами издательством «Советский художник», были истинным благом. По ним можно было изучить едва ли не всю историю искусства. Бывало, оказавшись на Арбате, непременно зайдешь в магазин «Искусство» и в отделе «Плакаты, портреты» не удержишься и купишь товару копеек на девять, а то и на двенадцать.

Однако издание даже такой скромнейшей репродукции ценою в 3 копейки, если это работа современного художника, не принадлежащего к истеблишменту творческого союза, так просто, без блата, случиться не могло.

А произошло радостное событие по инициативе и при активном содействии давнего друга нашей семьи Павла Григорьевича Гиленсона. Мужчина редкостного обаяния, которое иначе как харизмой не назовешь (не отрицайте, воистину существует загадочная субстанция под названием мужская харизма...), звезда технического редактирования и автор исключительно ценного учебника, по которому многие поколения полиграфистов осваивали эту науку, служил в издательстве «Советский художник». И Павел Григорьевич решил во

(в окрестностях квартиры № 2)

что бы то ни стало издать несколько открыток с репродукциями папиных работ, однако нескольких не случилось, и вышла одна-единственная, та самая, «В Потаповском переулке».

Сюжет не так прост, как кажется, потому что для нашей семьи место это отнюдь не случайное. На перекрестии трех переулков, Архангельского, Кривоколенного и Потаповского, наискосок от тополя, изображенного на картине, стоит дом, в начале 50-х надстроенный лубянским ведомством до пяти этажей, а в 1901 году двухэтажный с мансардой, купленный прадедом для многодетной своей семьи.

В разные годы и при разных обстоятельствах шесть дочерей прадеда и три его сына покинули дом в Архангельском переулке. Самой последней уехала на московский юго-запад семья третьей по старшинству дочери Евгении, и случилось это уже в начале 60-х. То есть этот городской пейзаж, не изменившийся ни на йоту, открывался из окон дома с балконом, нависавшим над Архангельским (в советские времена Телеграфным) переулком. Из года в год точно таким же, как на открытке Шуры Коротаевой, видели его и прадед, и прабабка, и чада их с домочадцами, разве что прежнее дерево сменилось новым, да автомобили реже встречались.

Ну а если войти в подворотню зеленоватого четырехэтажного дома, повернуть налево и спуститься в подвал, то окажешься под сводами палат Гурьевых, выстроенных в XVII веке. Именно они послужили фундаментом для одного из многочисленных домов Абрикосова, тех, что в Потаповском.

В этом уютнейшем старинном подвале с замысловатым сложносочиненным пространством, только на первый взгляд мрачноватом и похожем на каземат, десятилетиями обитал факультет изобразительного искусства Заочного народного университета искусств со смешной аббревиатурой ЗНУИ, и самого по себе явления уникального, не имевшего и ныне не имеющего аналогов.

А подвал, отведенный факультету ИЗО, был, пожалуй, самым уютным из всех московских подвалов! Если и правда существуют такие сомнительные понятия, как аура, эманация, биополе, то в нашем подвале все это было наилучшего качества, высочайшей пробы, потому что тут обитали Художники. Около ста профессиональных московских художников (живописцев, графиков, скульпторов, ювелиров, керамистов, модельеров) одновременно составляли штат факультета, а учащихся одновременно же бывало тысяч до пятнадцати.

Тюками приходила в университет ежедневная почта. Если кто-то из педагогов прежде знал географию страны нетвердо, то работа в ЗНУИ этот недостаток компенсировала в кратчайшие сроки. Удивительная работа позволяла художникам, во-первых, нести культуру в народ, а во-вторых, зарабатывать на жизнь благородным делом, не нанося ущерба собственному творчеству, не размениваясь на халтуру, не наступая себе на горло и не прогибаясь перед всякого рода «художественными советами» и прочими инстанциями, курирующими, а следовательно угнетающими искусство.

Кто только не преподавал в ЗНУИ за многие десятилетия его существования (в том числе и супружеские пары, и целые семейные династии), как ответственно и увлеченно работали... Надо бы перечислить наших художников-педагогов, и я было принялась составлять этот список, но поняла, что исчисляется он сотнями имен, и непременно о ком-то забуду, случится обида и ужасная несправедливость, а ведь большинства тех прекрасных людей давно уж нет на этом свете...

Да, университет наш оказался спасительной гаванью и для нескольких поколений московских художников и для множества художников-любителей любого возраста, с каким угодно образованием или вовсе без него, проживавших в городах, в деревнях, в поселках городского типа, на полустанках и даже в тайге.

Ощувив порыв, зов, желание заняться тем или иным видом искусства, за мизерные, скорее символические деньги каждый мог эту потребность удовлетворить, любому гражданину: горожанину, сельскому жителю, солдату срочной службы, инвалиду, прикованному к кровати или коляске, офицеру из дальнего гарнизона, заключенному, отбывавшему срок хоть в тюрьме, хоть в лагере, старичку и старушке, на склоне лет впервые взявшим в руки карандаш, заочный наш университет дарил новую жизнь. С какими только людьми не сводило это не похожее ни на какое иное учебное заведение, сколько жизненных сюжетов, сколько судеб открывалось... Ежемесячно, год за годом, художники-любители присылали свои работы, а художники профессиональные, назначенные им в учителя, писали в ответ подробные письма, объясняли достоинства и недостатки присланных работ и давали такие советы, которые могут дать одни только профессионалы. И каков бы ни был уровень этих работ, и к самым беспомощным, и к мастеровитым, ко всем без исключения педагоги относились внимательно и серьезно.

В течение всех лет обучения каждый учащийся получал учебные пособия, продуманные и толково составленные самыми интеллигентными, опытными и компетентными педагогами факультета. А письма ученикам (они назывались консультациями) писали не от руки, а непременно на машинке на бланках с солидной шапкой, трудились мы под эгидой Министерства культуры Российской Федерации... То есть регулярное получение такого документа добавляло вес учебному заведению и повышало престиж учащегося в глазах окружающих.

Полный курс обучения рассчитан был на пять лет, и иногда результаты бывали потрясающие. Но главное, у людей появлялись смысл и жизненная идея, может и не изменявшие русло судьбы, но помогавшие проживать эту самую жизнь, улучшавшие не то чтобы ее качество, но самоощущение человека — это понятно каждому, кому не чуждо творчество... А еще появлялся друг, с которым хотелось поделиться своими бедами и проблемами и в ответ получить сочувственное письмо, совет, а нередко и практическую помощь (в дальние края вечно посылались лекарства, краски, кисти, что-то еще,

(в окрестностях квартиры № 2)

напрочь отсутствующее в провинции, но доступное москвичам). Случалось, что обучение заканчивалось, а переписка с педагогом длилась десятилетиями.

Учащиеся-москвичи, а также жители Подмосковья и ближних к столице областей услугами почты не пользовались, а дважды в неделю сами привозили работы в наш славный подвал. И какие чудесные бывали вечера! Дружеские эти сборища более всего напоминали творческий клуб, сообщество интересных друг другу людей. А педагог становился эпицентром этого сообщества, его ментором и судьей. Все вместе рассматривали работы, обсуждали их, а если по ходу дела возникала необходимость в экскурсах, углублялись в неожиданные и увлекательные дебри. К концу вечера никто не чувствовал себя усталым, обиженным или истощенным, все были бодры, воодушевлены, взаимно заряжены творчеством и добрым отношением друг к другу. А ведь среди учащихся ЗНУИ встречались люди на удивление талантливые и самообытные. Некоторые давно уж стали музейными художниками, классиками наивного искусства, не слабее Руссо и Пиросмани, вот только по-русски нераскрученными.

При встрече с художником самобытным, наивным главной задачей педагога было не только заметить уникальный талант, но и отнестись к нему предельно деликатно, не погубить, не нивелировать, а воодушевить и помочь раскрыться. Углубляться в тему не стану, далеко, очень далеко это заведет, однако хотелось объяснить гипотетическому читателю, каков был наш подвальчик и какова была его атмосфера.

Кстати говоря, и дышалось в нем легко, вроде бы ни затхлости, ни сырости, ни духоты не ощущалось, видно, выстроили его в XVII веке с чувством и с толком.

Да уж, благая это была затея, гуманнейшая — такое вот общедоступное учебное заведение. Несть числа прошедшим сквозь него человеческим судьбам, жизненным сюжетам и коллизиям, как учащихся, так и педагогов... Именно здесь с увлечением и самоотдачей тридцать пять лет трудился мой отец, потому что родился не только живописцем, но и педагогом, хотя живопись, конечно же, лидировала и до краев наполняла всю его жизнь, от ранних детских лет и до последнего часа...

То есть, по существу, этот московский пейзаж, вот уже более века неслучайный для нашей семьи и целую вечность назад репродуцированный на копеечной открытке, оказался своего рода сюжетным узлом, в который непостижимым образом вплелась Шурина история.

Между тем наше знакомство с Шурой грозило совместным погружением в мистические глубины, и поэтому, не откладывая в долгий ящик, мы решили повидаться и снизить пафос виртуальной встречи. А предыдущей осенью несколько папиных работ, в том числе картина «В Потаповском переулке», экспонировались на выставке «Московское счастье» в галерее «XXI век» у любимых друзей Воджо Утомо Интойо (для родных и друзей Агоши) и жены его Алены Борщаговской. И я никак не могла собраться, заказать вместительное

такси и забрать работы домой. Картина эта всегда висела на стене маминой квартиры, туда же должна была и вернуться, а в нашем нынешнем жилище не побывала ни разу. Но поздним вечером, едва ли не в ночи, накануне Сашиного появления, неожиданно и без предупреждения друзья привезли «Потаповский переулок» к нам домой.

То есть еще через несколько часов, не успев переступить порога нашего жилища, Шура Коротаева в обнимку с огромным букетом огненных красно-оранжевых тюльпанов встретилась лицом к лицу с дождливым Потаповским переулком, не с открыткой за стеклом серванта, а с тем самым живописным полотном. И почудилось мне, будто папу, которого давно уж не было рядом, это тронуло. Я явственно увидела растроганное выражение его лица... Никакой мистики, просто жизнь. А ведь и правда, как бы он изумился, если б узнал о нашей с Шурой встрече, об удивительной судьбе той репродукции, как бы обрадовался, умилился. А книжку Александры Коротаевой очень и очень рекомендую!





Некогда среди залежей милого сердцу бумажного хлама обнаружился ветхий-преветхий клочок бумаги. Это билет № 43 на лекцию Андрея Белого, случившуюся 6 января 1909 года в зале музыкального

училища Е.Н. Визлер на Большой Никитской, в доме Полякова. Цена билета 1 рубль плюс благотворительный сбор в размере 10 копеек. Начало лекции в 8 часов вечера. Протершаяся на сгибах бумажка почти эфемерна, более всего похожа на крыло прожившей свой век бабочки, ее и в руки-то взять страшновато, зато на обороте карандашный набросок — нарисованный с большим сходством профиль лектора. Это рисунок моей бабушки Ольги Александровны Бари.

Сама-то она относилась к Андрею Белому (да и не только к нему) весьма скептически, годом раньше, 6 мая 1908 года, писала сестре:

У нас сейчас в полном разгаре гастроли Мережковского. Сперва собственная лекция, потом его участие на докладе Философова, на лекции А. Белого, на толстовских заседаниях. На двух первых я была, обе остальных читала. В общем, получилось у меня отрицательное впечатление и, что особенно грустно, уже прежнего уважения Мережковский, да и вообще все их «trio» не возбуждает. Он невозможно стал держать себя и относительно публики, и относительно тех, кто не с ним, кто не видит в нем пророка. И это высокомерие сразу умалило его. Тяжелое было впечатление: презирал всех и братался с А. Белым. А этот дошел до настоящего хулиганства: подобного

(в окрестностях квартиры № 2)

не видали еще никогда, даже на митингах. Его, кажется, уже следует запереть — он, вероятно, болен. А число сочувствующих ему все увеличивается. Теперь уже публика за него: он ее третирует, а публика аплодирует. Ужасные впечатления...

Однако, невзирая на скептицизм, лекции Андрея Белого бабушка все же посещала...

Ну что было делать с этим раритетом? Вложила я ветхий билетик в файл, пошла в скоросшиватель в компанию к другим подобным артефактам, любовалась время от времени. Но однажды жизнь свела с девушкой изумительной красоты и с прекрасным именем Иоанна, оказавшейся сотрудницей музея Андрея Белого, разместившегося в той самой квартире Бугаевых, что над старой аптекой на углу Арбата и Денежного переулка. Бугаевский балкончик и сегодня нависает над потерявшей свой облик улицей. Весть о биле- тике Иоанну воодушевила, дар мой радостно приняли, а спустя время пригласили на день рождения Белого, ежегодно празднующийся в музее (а музей, к сведению тех, кто там ни разу не был, прелестнейший, самый уютный, самый теплый и самый достоверный из всех, где пришлось побывать).

Так вот, явившись на праздник, я узнала, что предстоит торжественное вручение даров, в том числе и моего скромного приношения, хотя на самом- то деле подарочек свой я давно уж отдала и о нем позабыла. То есть неждан- но-негаданно, в виде самом непрезентабельном (так уж случилось) оказалась перед телевизионной камерой, что-то в нее провякала, и, как назло, едва ли не все мои друзья и знакомые очутились тем вечером перед голубым экраном и сразу же принялись звонить встревожено, мол, что случилось, отчего ты так ужасно выглядишь?

В тот вечер дарителей было трое. Прелестная английская дама Аврил Пайман, седовласая вдова художника Кирилла Соколова, да и сама по себе крупнейший исследователь русского символизма, подарила музею серию ли- тографий мужа — иллюстрации к «Петербургу» Андрея Белого. Второй дари- тель, сын поэта Григория Санникова Даниил, всезнающий человек, по спе- циальности физик-теоретик, а по жизни и по душе гуманитарий, преподнес музею трость поэта, подаренную его отцу вдовой Бориса Бугаева.

Драгоценную трость с набалдашником в виде змеиной головки. Не- когда, навещая молодых друзей, Андрей Белый стучал этим набалдашником в окно, а хозяйева по стуку определяли, с какими вестями явился гость. Если сту- чал громко, значит, принес плохие вести, если тихо, деликатно, то вестей нет, просто соскучился, хочет поговорить и выпить чаю. В семье Санниковых, Гри- гория и Елены, Борису Николаевичу было тепло и приветливо. Кто ж знал, что так скоро и так трагически завершится жизнь красавицы Елены Санниковой (урожденной Беллы Назарбекян)...

В Чистополе через два месяца после гибели Марины Цветаевой и точ- но таким же образом она ушла из жизни, оставив сиротами двух маленьких

мальчиков, Никиту и Даниила. И существует предположение, будто бы к решению этому подвигла ее договоренность с Мариной Ивановной. Будто бы в те августовские дни, когда Цветаева приезжала в Чистополь в тщетной надежде перебраться сюда из Елабуги, женщины долго бродили по городу и совместно решали последующую свою судьбу. Как бы то ни было, две этих смерти оказались в трагической связке.

Так вот, после вручения ценных даров пришел черед и моего номера с билетиком (сам-то билетик находился в те дни на реставрации, так что не обошлось без фальши, под видом оригинала я вручала ксерокс). И в заключение церемонии всех нас, независимо от ценности подношений, наградили тяжеленными томами под названием «Дары и дарители» с перечнем всех даров и всех дарителей, когда-либо подаривших хоть что-нибудь литературному музею А.С. Пушкина, филиалом которого и является квартира Андрея Белого. И мой скромный дар оказался зафиксированным в роскошнейшем томе на равных правах с истинными драгоценностями.

Сначала я смутилась, настолько неравноценными показались мне три наших дара. И другие дарители, наверное, удивились, но виду не подали. Но, поразмыслив, поняла, что мой-то дар покруче прочих, и вовсе он не ничтожен, а, наоборот, бесценен.

Литографии-то почти современные, тиражные, драгоценную трость сохранить немудрено, а вот ветхий клочок столетней давности, такой эфемерный, что непонятно, как это он ухитрился вовсе не дематериализоваться, не истлеть и не раствориться во времени, — это и вправду реликвия.

Дело было 26 октября 2007 года (спустя девяносто восемь лет после той лекции в зале музыкального училища Е.Н. Визлер).

Прошло еще десять лет... Все эти годы я время от времени копалась в семейных архивах. И в очередной раз перелистывая один из бабушкиных альбомчиков, тех самых, в которых время пульсирует, то растягивается, то сжимается, где вслед за наброском, датированным началом девятисотых, следует пастель 46-го года, за 46-м — карандашный рисунок 29-го или акварель 34-го, то есть художник то стар, то снова молод, то он на склоне лет, то в апофеозе зрелости, в одном из этих альбомчиков обнаружился еще один, не замеченный прежде портрет Андрея Белого! Набросок, сделанный тем же вечером, что и тот, что на обороте ветхого билетика.

А странное устройство бабушкиных альбомов объясняется просто. Изделия эти, обтянутые серым холстом и сшитые из бумаги разных оттенков, бабушка покупала в мирные времена у Мюра и Мерилиза на Петровке или в магазине Дациаро на Мясницкой. Экономить бумагу нужды не было, поэтому для очередного рисунка она выбирала фон подходящего к случаю цвета, соответствующий тому или иному замыслу и сюжету, беззаботно пролистывая те страницы, черед которых еще не настал. А когда времена переменились и на долгие десятилетия наступил не просто дефицит бумаги, но натуральный бумажный голод, бабушка продолжала рисовать в тех же самых альбомчиках на

(в окрестностях квартиры № 2)

пустующих страницах, провиденциально припасенных высшим разумом для такого именно случая.

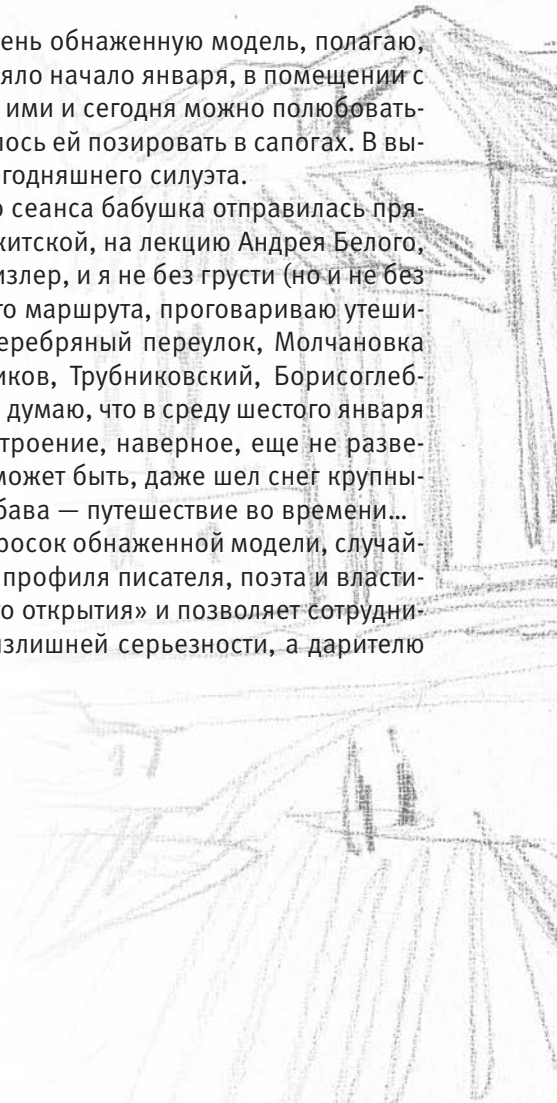
Понятно, что и это изображение Андрея Белого (разумеется, в профиль), ценность которого в точной датировке, отправился в арбатский музей. Кстати, на обороте рисунка обнаружилась некая изюминка, а именно набросок обнаженной модели.

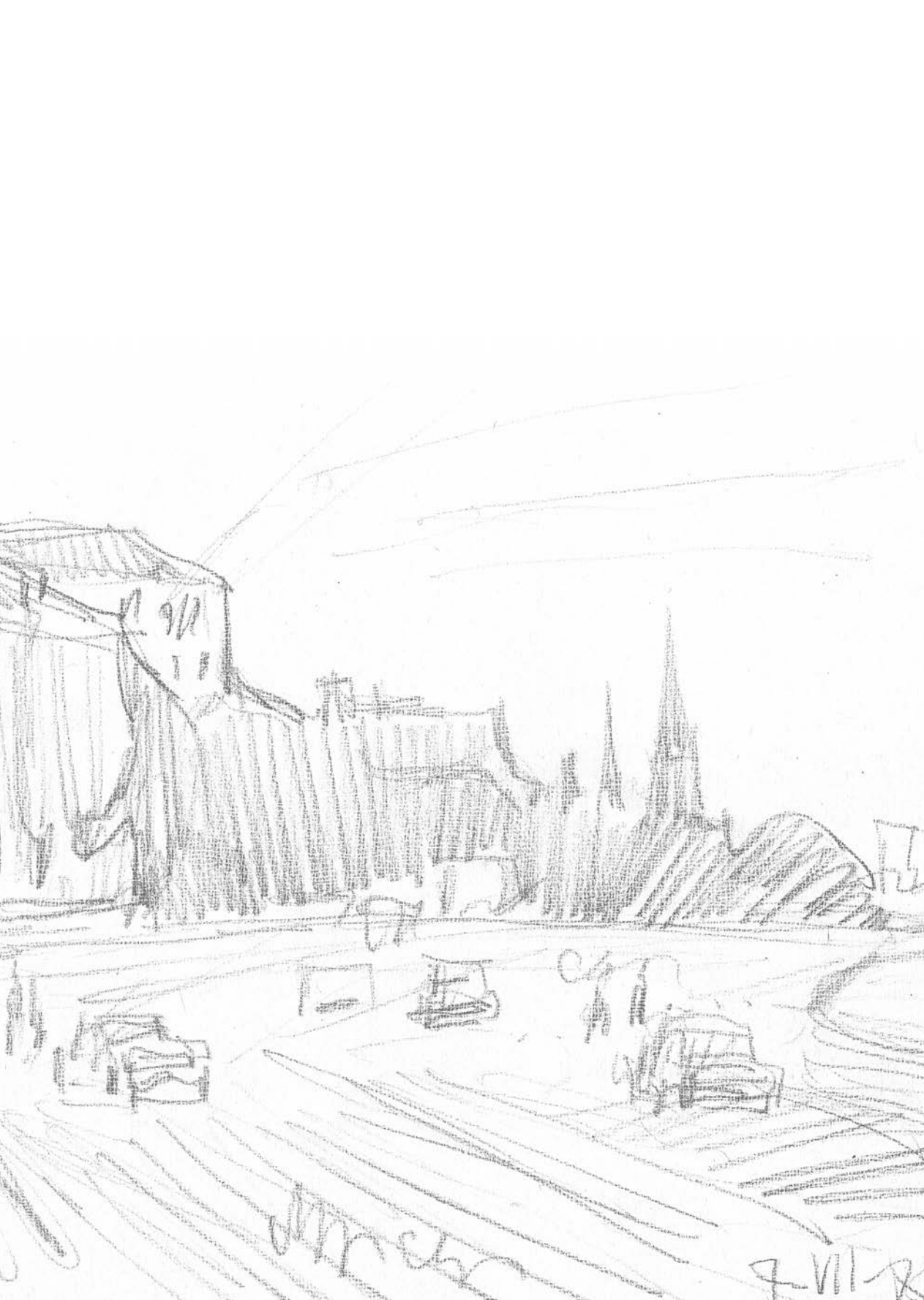
А дело-то в том, что в те времена бабушка посещала рисовальные классы, еще в 80-е годы предыдущего века устроенные друзьями-художниками Константином Юоном и Иваном Дудиным, арендовавшими для своей затеи часть второго этажа дома № 25/36, что на углу Арбата и Староконюшенного переулка. Более тридцати лет функционировали эти рисовальные классы, большой пользовались популярностью и дотянули аж до 1917 года. Видно, славное это было место, творческое, множество народу перебивало в студии Юона и Дудина. Среди прочих и Владимир Фаворский, и Роберт Фальк, и Давид Бурлюк, и братья-архитекторы Веснины, и Вера Мухина приходили на арбатские занятия.

Вот и бабушка моя рисовала в тот день обнаженную модель, полагаю, что с увлечением. А на дворе между тем стояло начало января, в помещении с огромными окнами (теми, что над аптекой, ими и сегодня можно полюбоваться) была стужа, натурщица мерзла, и пришлось ей позировать в сапогах. В высоких сапогах абсолютно современного, сегодняшнего силуэта.

Ну а после окончания рисовального сеанса бабушка отправилась прямиком в дом Полякова, что на Большой Никитской, на лекцию Андрея Белого, устроенную в музыкальном училище Е.Н. Визлер, и я не без грусти (но и не без удовольствия) реконструирую варианты того маршрута, проговариваю утешительные для московского уха названия: Серебряный переулок, Молчановка Большая и Молчановка Малая, Кречетеников, Трубниковский, Борисоглебский, Столовый, Ножовый и Скатертный — и думаю, что в среду шестого января 1909 года новогоднее рождественское настроение, наверное, еще не развеялось, еще витало в арбатском воздухе, и может быть, даже шел снег крупными театральными хлопьями. Привычная забава — путешествие во времени...

Как бы то ни было, но занятый набросок обнаженной модели, случайно оказавшийся на обороте карандашного профиля писателя, поэта и властителя дум, ничуть не снижает пафоса «нового открытия» и позволяет сотрудникам музея, принимающим дар, избежать излишней серьезности, а дарителю многозначительного надувания щек.





VI 9/11
7 8

7-VII-2

В-286

Вельчинская, О.А.

Переулоч (в окрестностях квартиры № 2) / Ольга Вельчинская. — М. : Викмо-М : Русский путь, 2018. — 352 с. : ил.

ISBN 978-5-98454-043-8 (Викмо-М)

ISBN 978-5-85887-501-7 (Русский путь)

Книга московской художницы Ольги Вельчинской объединила яркие, живые, окрашенные теплым юмором рассказы о Москве середины — второй половины XX века, людях, ее населявших, их взаимоотношениях, об укладе жизни, городских традициях, и стала продолжением сборника воспоминаний художницы «Квартира № 2 и ее окрестности» (2009). Но ареал обитания героев новой книги расширится — это не только окрестности Остоженки, Пречистенки, Арбата, Чистых прудов, но и район ВДНХ, Пресня, а также Подмосковье, Прибалтика, Русский Север. В мемуарное повествование органично вплетены прежде не публиковавшиеся исторические документы разного рода: письма, дневники, иллюстративные материалы, обнаруженные автором в семейном архиве.

Семейная археография связана с именами историка и хранителя государственных архивов в эпоху Николая II Я.Л. Барскова, искусствоведов П.Д. Эттингера, Т.С. Айзенман-Семеновы, И.А. Кузнецовой, В.И. Костина, писателя и поэта Андрея Белого, художника Л.О. Пастернака и его сына поэта Б.Л. Пастернака, издателей и библиофилов Б.Н. и Л.Э. Бухгеймов, писателя С.С. Заяицкого, пианиста Э.И. Гроссмана, а также отца и бабушки автора — художников Алексея Айзенмана и Ольги Бари и прадеда Александра Бари — главы первой в России инженеринговой компании «Строительная контора инженера Александра Бари», главным инженером которой в течение сорока лет ее существования был В.Г. Шухов. Воспоминания о культурной жизни Москвы и известных москвичих дают читателю возможность совершить путешествие в прошлый век, прикоснуться к живой истории столицы. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

УДК 947
ББК 84 (2 Рос) 6

Литературно-художественное издание
Вельчинская Ольга Алексеевна
Переулоч (в окрестностях квартиры № 2)

Редактор О.Б. Василевская
Корректор О.А. Савичева
Художественный редактор Т.Л. Белкина

Подписано в печать 22.08.18 Формат 70×100/16.
Тираж 1000 экз. Заказ

ООО «Викмо-М»
125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 6, оф. 65
Тел.: +7 (495) 629-04-82
E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www.kmrz.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8 (499) 270-73-59

ISBN 978-5-98454-043-8



9 785984 540438 >

